МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 9

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ

УСТАЛОСТЬ

Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела.

Она не только видна отовсюду, но вообще попадается вам на каждом шагу: она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин, как неотвязный, мучительный кошмар.

Впрочем, не только она внушила мне непреодолимое желание пожить некоторое время в одиночестве, но и все то, что делалось вокруг нее, внутри нее, на ней и рядом с ней. И как в самом деле смеют газеты говорить о новой архитектуре по поводу этого металлического остова! Ведь архитектура — наиболее непонятное и наиболее забытое в наши дни искусство, а также, пожалуй, наиболее эстетическое, таинственное и насыщенное идеями.

Архитектура имела то преимущество, что на протяжении столетий, так сказать, символизировала каждую эпоху и в очень небольшом количестве типичных памятников подводила итог манере думать, чувствовать и мечтать, присущей данному народу и данной цивилизации.

Несколько храмов и церквей, несколько дворцов и замков воплощают в себе почти всю мировую историю искусства; гармонией линий и прелестью орнамента они лучше всяких книг раскрывают нашему взору все изящество и величие своей эпохи.

Но я спрашиваю себя, что будут думать о нашем поколении, если только в ближайшее время какое-

нибудь восстание не смахнет эту высокую, тощую пирамиду железных лестниц, этот гигантский уродливый скелет, основание которого как будто предназначено для мощного циклопического памятника и вместо этого завершается убогим недоноском — тощим и нелепым профилем фабричной трубы.

Говорят, что это разрешение какой-то проблемы. Пусть так, но ведь она бесполезна. И этой устарелой затее возобновить наивную попытку строителей Вавилонской башни я скорее предпочел бы тот замысел, который еще в XII веке возник у архитекторов Пизанской колокольни.

Мысль построить эту прелестную башню с восемью ярусами мраморных колонн наклонившейся, словно она вот-вот упадет, доказать изумленному потомству, что центр тяжести — лишь ненужный предрассудок инженеров, что здания могут обходиться без него и все же быть очаровательными и привлекать по прошествии семи веков больше удивленных посетителей, чем привлечет их Эйфелева башня по прошествии семи месяцев,— это, конечно, тоже проблема, если уж говорить о проблеме, но гораздо более оригинальная, чем проблема этой гигантской металлической махины, размалеванной во вкусе краснокожих.

Мне известно, что, по другой версии, колокольня наклонилась сама собой. Как знать! Изящный памятник хранит свою тайну, вечно обсуждаемую и навек неразгаданную.

Впрочем, что мне за дело до Эйфелевой башни? Она была, по сакраментальному выражению, лишь маяком международной ярмарки, воспоминание о которой будет преследовать меня, как кошмар, как воплощение того отвратительного зрелища, каким представляется человеку брезгливому веселящаяся людская толпа.

Я далек от мысли критиковать это колоссальное политическое начинание — Всемирную выставку, которая показала всему свету, и притом в самый нужный момент, силу, жизнеспособность, размах деятельности и неисчерпаемые богатства той изумительной страны, которая именуется Францией.

Было доставлено большое удовольствие, большое

развлечение и показан великий пример народам и разноплеменной буржуазии. Они от души повеселились. Значит, и мы и они поступили прекрасно.

Но я убедился с первого же дня, что не создан для удовольствий этого рода.

Посетив и осмотрев с глубоким восхищением галерею машин и фантастических открытий современной науки, механики, физики и химии, убедившись в том, что танец живота забавен только в тех странах, где движется обнаженный живот, и что остальные арабские пляски обладают известной прелестью и красочностью только в белых алжирских ксарах, я сказал себе, что ходить время от времени на выставку хотя и утомительно, но занимательно и что отдыхать от нее можно в другом месте: у себя или у друзей.

Но я не подумал о том, во что превратится Париж, наводненный обитателями вселенной.

С утра улицы полны народа, по тротуарам непрерывно текут толпы, как вздувшиеся потоки. Все это спешит на выставку, либо с выставки, либо снова на выставку. На мостовой экипажи тянутся, как вагоны бесконечного поезда. Все они заняты, и ни один кучер не согласится везти вас куда-нибудь, кроме как на выставку или в конюшню, если ему нужно перепрягать. У клубов — ни одной кареты: они обслуживают теперь приезжих растакуэров; в ресторанах нет ни одного свободного столика, и вы не сыщете ни одного приятеля, который обедал бы дома или согласился бы пообедать у вас.

Если вы его пригласите, он примет ваше приглашение при условии отправиться обедать на Эйфелеву башню. Там веселее. И все, словно повинуясь какому-то приказу, приглашают вас туда каждый день недели то позавтракать, то пообедать.

В этой жарище, в этой пыли, в этой вони, в этой толпе подвыпившего, потного простонародья, среди обрывков сальной бумаги, валяющихся или летающих по ветру, среди запахов колбасы и пролитого на скамейках вина, среди дыхания трехсот тысяч ртов, благоухающих всем, что ими съедено, среди скученности, толкотни, давки всех этих разгоряченных тел, в этом

смешавшемся поте всех народов, усеивающих своими блохами все дорожки и все скамейки, еще можно было раз — другой с брезгливостью и с любопытством отведать стряпни воздушных трактирщиков — я готов был допустить это,— но меня поражало, что можно ежедневно обедать в такой грязи и в сутолоке, как это делали люди хорошего общества, изысканного общества, избранного общества, утонченного и чопорного общества, которых обычно мутит от одного вида трудового и пахнущего человеческой усталостью народа.

Впрочем, это служит неопровержимым доказательством полного торжества демократии.

Нет больше аристократических каст, родов, аристократической чувствительности. У нас есть только богатые и бедные. Никакая иная классификация не может установить различие между социальными ступенями современного общества.

Утверждается аристократия иного порядка, которая, по всеобщему признанию, только что одержала победу на Всемирной выставке; это аристократия науки, или, вернее, аристократия научной промышленности.

Что касается искусств, то они исчезают; самое понятие о них стирается даже у избранного слоя нации, который без протеста взирал на возмутительную роспись центрального купола и нескольких соседних зданий.

У нас начинает распространяться современный итальянский вкус, и зараза эта так сильна, что даже уголки, отведенные художникам на этом большом простонародном и буржуазном базаре, который только что закрылся, и те носили на себе отпечаток рекламы и ярмарочной шумихи.

Я бы отнюдь не протестовал против пришествия и воцарения настоящих ученых, если бы сама природа их трудов и открытий не убеждала меня в том, что они прежде всего ученые от коммерции.

Пожалуй, это не их вина. Но можно было бы сказать, что человеческая мысль зажата между двумя стенами, переступить через которые уже не придется: между промышленностью и торговлей.

В начальной стадии цивилизации душа человека

устремилась к искусству. Но можно подумать, что некое ревнивое божество сказало ей:

— Запрещаю тебе впредь и думать об этом. Обрати отныне свои помыслы только на животную сторону жизни, и тогда я дам тебе возможность сделать множество открытий.

И право, в наши дни пленительное и мощное волнение художественных эпох как будто угасло, а взамен этого пробуждаются к деятельности умы совсем иного рода, которые изобретают всевозможные машины, диковинные аппараты, механизмы, сложные, как живые тела; или же достигают необыкновенных, достойных удивления результатов, соединяя различные вещества. И все это для того, чтобы удовлетворять физические потребности человека или чтобы убивать его.

Идеальные построения, так же как и чистая, бескорыстная наука, наука Галилея, Ньютона, Паскаля, представляются нам чем-то запретным, а воображение наше словно все сильнее и сильнее притягивают открытия, полезные для жизни.

Но разве гений того, кто единым взлетом своей мысли перенесся от падения яблока к великому закону, управляющему мирами, не порожден началом более божественным, чем проницательный ум американского изобретателя, чудодейственного фабриканта звонков, звуковых и световых приборов?

Не в этом ли тайный порок современной души, признак ее неполноценности, несмотря на все ее торжество?

Возможно, что я совершенно неправ. Во всяком случае все эти вещи, возбуждая наш интерес, не могут, подобно древним формам мысли, увлечь нас, своевольных рабов мечты об утонченной красоте, мечты, которая преследует нас и портит нам жизнь.

Я почувствовал, что мне было бы приятно снова увидать Флоренцию, и отправился в путешествие.

НОЧЬ

Мы вышли из Каннской гавани в три часа утра и могли еще воспользоваться последним дуновением легких бризов, которые обычно несутся ночью из заливов в море. Потом повеял слабый ветерок с моря и погнал к берегам Италии поднявшую паруса яхту.

Это — судно, водоизмещением в двадцать тонн, все белое, как лебедь, с едва заметной опоясывающей его золотой полоской. Под августовским солнцем, мечущим на воду пламенные отсветы, новенькие паруса яхты из тонкого полотна походят на серебристые шелковые крылья, развернувшиеся на фоне голубого небосвода. Три кливера устремляются вперед легкими треугольниками, округляемыми дыханием ветра, а большой фок мягко полощется под острым флагштоком, возносящим на восемнадцать метров над палубой свое сверкающее в небе острие. Задний парус, бизань, как будто спит.

И скоро все задремали на палубе. Это летние послеполуденные часы на Средиземном море. Последнее дыхание бриза стихло. Жестокое солнце заполняет небеса и превращает море в безжизненную синеватую гладь, неподвижную и ровную, которая тоже дремлет под переливчатой дымкой тумана, похожего на испарину воды.

Несмотря на тент, который я приказал натянуть, чтобы укрыться в тени, жара под холстом такая, что я спускаюсь в салон и ложусь на диван.

Внутри всегда прохладно. Судно глубокое, построен-

ное для плавания по северным морям и способное выдержать непогоду. В этом небольшом плавучем доме, потеснившись, можно жить вшестером или всемером, считая экипаж и пассажиров, а за столом салона могут усесться и восемь человек.

Салон, отделанный внутри полированной северной сосной с панелью из индийского дуба, так и светится от ярко начищенных медных замков, дверных и оконных приборов, подсвечников, всей той желтой и весело сверкающей меди, которая составляет роскошь яхт.

Какое странное впечатление производит эта перемена после парижского гама! Я ничего больше не слышу, ничего, решительно ничего. Каждые четверть часа матрос, дремлющий у руля, покашливает и сплевывает. Шум, производимый маленькими стенными часами, висящими на деревянной перегородке, кажется до странности громким среди этого безмолвия неба и моря.

И это едва-едва слышное тиканье, которым только и нарушается неизмеримый покой стихий, наполняет меня вдруг изумительным ощущением беспредельных пространств, где шепоты миров, заглушенные всего в нескольких метрах от поверхности этих миров, уже неуловимы в безмолвии вселенной!

Так и кажется, что какая-то доля вечного покоя мировых пространств спускается и разливается по неподвижному морю в этот удушливый летний день. В этом есть что-то удручающее, непреодолимое, усыпляющее, уничтожающее — как соприкосновение с беспредельной пустотой. Воля парализуется, мысль замирает, телом и душой овладевает сон.

Приближался вечер, когда я проснулся. Несколько слабых порывов предвечернего бриза, впрочем совершенно неожиданного, немного подвинули нас вперед до захода солнца. Мы находились довольно близко от берега против городка Сан-Ремо, но не рассчитывали до него добраться. Другие деревни или городки расположились у подножия высокой серой горы, напоминая кучи белья, разложенного для просушки на берегу моря. По склонам Альп дымились кое-где клубы тумана, скрывая долины и взбираясь к вершинам гор, гребни которых чертили на розовом и сиреневом небе бесконечную зубчатую линию.

И вот на нас спустилась ночь; гора исчезла; вдоль всего обширного побережья у самой воды зажглись огни.

Из глубины яхты поднялся аппетитный запах кухни, приятно смешиваясь со здоровым, свежим запахом моря.

После обеда я растянулся на палубе. Этот спокойный день на воде очистил мой ум, как прикосновение губки к загрязненному стеклу, и в моей голове пробуждались воспоминания, множество воспоминаний о только что покинутой мною жизни, о людях, которых я знал, наблюдал или любил.

Ничто так не содействует полету мысли и воображения, как одиночество на воде, под небосводом, в теплую ночь. Я был возбужден, я трепетал, точно выпил хмельного вина, надышался эфира или влюбился в женщину.

Легкая ночная прохлада увлажняла кожу едва заметным осадком соленого тумана. Сладостный озноб, вызываемый этим теплым холодком, пробегал по моим членам, проникал в легкие, наполнял чувством блаженства тело и душу, пребывавших в полном покое.

Счастливее или несчастливее те люди, которые воспринимают ощущения не только глазами, ртом, обонянием и слухом, но в той же мере и всей поверхностью тела?

Редкую и, пожалуй, опасную способность представляет эта нервная и болезненная возбудимость эпидермы и всех органов чувств; благодаря ей малейшее ощущение превращается в эмоцию, и в зависимости от температуры ветра, от запахов земли и от яркости дневного освещения вы испытываете страдание, грусть или радость.

Не иметь возможности войти в театральный зал, потому что соприкосновение с толпой вызывает необъяснимое раздражение во всем вашем организме; не иметь возможности проникнуть в бальный зал, потому что пошлое веселье и кружащее движение вальса оскорбляет, возмущает вас; чувствовать себя печальным до слез или беспричинно веселым в зависимости от обстановки комнаты, от цвета обоев, от распределения света в квартире и испытывать порою при сочета-

ниях некоторых восприятий такое физическое удовлетворение, какого никогда не смогут постичь люди с грубым организмом,— что это, счастье или несчастье?

Не знаю. Но если нервная система не восприимчива до боли или до экстаза, то она передает нам лишь обыденные треволнения и вульгарную удовлетворенность.

Этот морской туман ласкал меня, как счастье. Он тянулся до самого неба, и я с наслаждением глядел на окутанные им, словно ватой, звезды, немного бледные на темном и белесом небосклоне. Берега тонули в этом тумане, который стлался по воде и окружал звезды мутным сиянием.

Казалось, чья-то волшебная рука, провожая мир в неведомый путь, окутала его в тонкую пушистую вату.

И вдруг сквозь эту снежную мглу над морем пронеслись неведомо откуда звуки отдаленной музыки. Мне представилось, что какой-то воздушный оркестр, блуждая в безграничном просторе, дает мне концерт. Приглушенные, но отчетливые звуки, пленительно певучие, наполняли тихую ночь журчанием оперных мелодий.

Возле меня раздался голос.

— Да ведь сегодня воскресенье,— сказал матрос,— вот в Сан-Ремо и музыка играет в городском саду.

Я слушал в таком изумлении, что считал себя во власти какого-то прекрасного сна. Долго в несказанном восторге прислушивался я к этой ночной мелодии, уносившейся в пространство.

Но вот в середине одного отрывка звуки стали расти, усиливаться и словно наплывать на нас. Это производило такое фантастическое, изумительное впечатление, что я приподнялся, чтобы послушать. В самом деле, звуки с секунды на секунду становились все отчетливее, все громче. Они приближались ко мне, но как? На каком призрачном плоту они появятся? Они надвигались так быстро, что я против воли вглядывался в темноту взволнованным взором; и вдруг я потонул в волне теплого воздуха, напоенного ароматами диких растений, в волне, разлившейся, как поток, полной густых запахов мирты, мяты, мелиссы, бессмертников,

мастикового дерева, лаванды, тимьяна, опаленных летним солнцем на склонах гор.

То поднялся ветер с земли, насыщенный всеми дыханиями берега и уносивший в открытое море и эту блуждающую музыку, смешав ее с запахом альпийской растительности.

Я задыхался и так был опьянен ощущениями, что от этого томящего дурмана путались мои чувства. Я, право, уже не знал, вдыхаю ли музыку, или слушаю ароматы, или сплю среди звезд.

Этот цветочный бриз унес нас в открытое море, улетучиваясь в ночном воздухе. Музыка постепенно затихла и наконец умолкла, в то время как яхта удалялась в тумане.

Я не мог уснуть и спрашивал себя, как описал бы поэт-модернист так называемой символической школы тот смутный нервный трепет, которым я только что был охвачен и который, мне кажется, непередаваем на общепонятном языке. Конечно, некоторые из этих трудолюбивых выразителей многообразной восприимчивости художника с честью вышли бы из затруднения, воплотив в благозвучных стихах, полных нарочитой звонкости, непонятных и все же доступных восприятию, эту невыразимую смесь душистых звуков, звездного тумана и морского бриза, сеявшего музыку в ночи.

Мне припомнился сонет их великого вождя, Бодлера:

Природа — это храм, где камни говорят,
Хоть часто их язык бывает непонятен.
Вокруг — лес символов, тревожен, необъятен,
И символы на нас с усмешкою глядят.

Как отголоски бурь порой объединятся
В обширной, точно ночь, глубокой, точно сон,
Гармонии, звуча друг другу в унисон,—
Так запах, цвет и звук сливаются, роднятся.

Зеленые, как луг, есть запахи, свежей,
Чем тельце детское, напевней флейты нежной...
И есть порочные, богаче и пышней,

Зовущие в простор таинственный, безбрежный...
Как ладан, и бензой, и мускус хороший
Они поют экстаз и тела и души.[1]

[1] Здесь и далее перевод Валентина Дмитриева.

Разве я только что не прочувствовал до мозга костей эти таинственные стихи?

Как отголоски бурь порой объединятся
В обширной, точно ночь, глубокой, точно сон,
Гармонии, звуча друг другу в унисон,—
Так запах, цвет и звук сливаются, роднятся.

И они сливаются не только в природе, но сливаются и внутри нас, а порою соединяются, по выражению поэта, «в обширной, точно ночь, глубокой, точно сон, гармонии», благодаря взаимодействию наших органов чувств.

Впрочем, это явление известно в медицине. В этом самом году появилось большое количество статей, где его обозначают термином «красочное слуховое восприятие».

Доказано, что у натур очень нервных, обладающих повышенной возбудимостью, всякое чересчур сильное воздействие на какой-нибудь орган чувств передается, как волна, соседним чувствам, которые воспринимают его каждое по-своему. Так, музыка вызывает у некоторых людей цветовые ощущения. Следовательно, существует своего рода заразительность восприятия, преображающегося в соответствии с функцией каждого задетого мозгового центра.

Этим и можно объяснить прославленный сонет Артюра Рембо, в котором говорится о цветовых оттенках гласных,— настоящий символ веры, принятый школой символистов.

В «А» черном, белом «Е», «И» алом, «У» зеленом,
«О» синем я открыл все тайны звуков гласных.
«А» — черный бархат мух, докучных, сладострастных,
Жужжащих в летний зной над гнойником зловонным.

«Е» — холод ледников, далеких и прекрасных,
Палатка, облачко в просторе отдаленном.
«И» светится во тьме железом раскаленным,
То — пурпур, кровь и смех губ дерзких, ярко-красных.

«У» — на воде круги, затон зеленоватый,
Спокойствие лугов, где пахнет дикой мятой,
Угрюмость, тусклый след мучительных ночей...

«О» — зовы громкие тромбона и гобоя,
Просторы без границ, молчанье голубое,
Омега, ясный взор фиалковых очей.[1]

Ошибается ли он, прав ли? Рабочему, разбивающему камни на шоссе, и даже многим великим людям этот поэт покажется сумасшедшим или шарлатаном. По мнению же других, он открыл и выразил абсолютную истину, хотя эти исследователи неуловимых восприятий всегда будут несколько расходиться во взглядах на оттенки и образы, которые могут быть возбуждены в нас таинственными вибрациями гласных или оркестра.

Если наукою — современной — признано, что музыкальные ноты, действуя на некоторые организмы, вызывают в них световые ощущения, если *соль* может быть красным, *фа* — лиловым или зеленым, то почему бы этим нотам не вызывать также вкусовых ощущений во рту и ощущения запахов в органе обоняния? Почему бы людям утонченным и слегка истеричным не воспринимать каждую вещь всеми своими чувствами одновременно и почему бы символистам, этим неизлечимым поэтам, этим поэтам по преимуществу, не открыть новых восхитительных ощущений людям одной с ними породы? Это скорее вопрос художественной патологии, чем подлинной эстетики.

В самом деле, разве не может случиться, что некоторые из этих интересных писателей, ставших неврастениками путем тренировки, достигнут такой степени возбудимости, что каждое впечатление, полученное ими, будет вызывать у них как бы концерт всех восприятий?

Не это ли самое выражает их причудливая поэзия звуков, которая кажется совершенно непонятной, но на самом деле пытается воспеть полную гамму ощущений и запечатлеть скорее сближением слов, чем их разумным согласованием и общепринятым смыслом, непередаваемые чувства, темные для нас и ясные для них?

Ведь художники истощили все ресурсы, им не хватает нового, еще не высказанного, эмоций, образов — решительно всего. Со времен древности все цветы на их лугах уже сорваны. И вот в своем бессилии они смутно чувствуют, что для человека, пожалуй, возможно расширить круг ощущений. Но разум имеет пять ворот, приоткрытых и запертых на цепь, называемых пятью чувствами; в эти-то пять ворот и ломятся изо

всех сил в наши дни люди, увлеченные новым искусством.

Разум, слепой и трудолюбивый незнакомец, ничего не может ни узнать, ни понять, ни открыть иначе, как при помощи чувств. Они единственные его поставщики, единственные посредники между ним и Мировой Природой. Он работает исключительно по указаниям, доставляемым ему чувствами, а те, в свою очередь, могут собирать эти указания лишь в меру своих способностей, своей впечатлительности, силы и изощренности.

Таким образом очевидно, что ценность мысли зависит непосредственно от качества органов чувств и пределы ее ограничены их количеством.

Впрочем, г-н Тэн подробно и основательно разобрал и развил эту точку зрения.

Чувств у нас пять, и только пять. Они открывают и истолковывают нам некоторые свойства окружающей нас материи; но она может, она должна заключать в себе неограниченное число других особенностей, воспринять которые мы не в состоянии.

Предположим, что человек был бы создан без ушей; он жил бы, вероятно, более или менее так же, как живет теперь, но для него вселенная была бы безмолвна. Он и не подозревал бы о шуме, о музыке — этих претворенных колебаниях воздуха.

Но будь он одарен другими органами, сильными и чувствительными, также обладающими способностью превращать в нервные восприятия действия и свойства всего неизведанного, что нас окружает, насколько разнообразней была бы область наших знаний и наших эмоций!

Вот в эту-то непроницаемую область и старается проникнуть каждый художник, мучая, насилуя и истощая механизм своей мысли. Те, кто умер от мозгового расстройства: Гейне, Бодлер, Бальзак, скиталец Байрон, искавший смерти, подавленный несчастьем быть великим поэтом, Мюссе, Жюль де Гонкур и многие другие,— разве их не погубило именно это усилие опрокинуть материальную преграду, ограничивающую свободу человеческого разума?

Да, наши органы чувств — это кормильцы и учителя таланта художника. Ухо родит музыканта, глаз

родит живописца. Все они участвуют в ощущениях поэта. У романиста господствует главным образом зрение. Оно господствует настолько, что, читая всякое отделанное и искреннее произведение, нетрудно обнаружить физические свойства и особенности зрения автора. Преувеличение деталей, их значимость или мелочность, выдвижение их на первый план и специфическая их природа совершенно определенно указывают на степень и характер близорукости автора. Согласованность же целого, пропорциональность общих линий и перспектив в ущерб деталям, даже опущение мелких черточек, зачастую очень характерных для действующего лица или среды, разве это не свидетельствует тотчас же о широком, но не отчетливом зрении человека, страдающего старческою дальнозоркостью?

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Все небо покрыто облаками. Зарождающийся сероватый день пробивается сквозь туман, поднявшийся за ночь и простирающий между зарей и нами свою темную стену, местами более густую, а местами почти прозрачную.

Сердце сжимается от смутного страха, что, может быть, этот туман до вечера будет застилать пространство траурным покровом, и то и дело подымаешь глаза к облакам с тоскливым нетерпением, как бы с молчаливой мольбой.

Однако, глядя на светлые полосы, отделяющие более плотные массы тумана друг от друга, догадываешься, что над ними дневное светило озаряет голубое небо и их белоснежную поверхность. Надеешься и ждешь.

Мало-помалу туман бледнеет, редеет, словно тает. Чувствуется, что солнце сжигает его, съедает, подавляет своим зноем и что обширный свод облаков, слишком слабый, подается, гнется, расползается и трещит под непреодолимым напором света.

Вдруг среди туч загорается точка, в ней сверкает свет. Пробита брешь, проскальзывает косой длинный луч и, расширяясь, падает вниз. Кажется, что в этом отверстии неба занимается пожар. Кажется, что это раскрывается рот, что он увеличивается, пламенеет, что его губы пылают и он выплевывает на волны целые потоки золотистого света.

Тогда сразу во множестве мест свод облаков ломается, рушится и пропускает сквозь множество ран

блестящие стрелы, которые дождем изливаются на воду, сея повсюду лучезарное веселье солнца.

Воздух освежился за ночь; слабый трепет ветра, только трепет, ласкает и щекочет море, заставляя чуть-чуть вздрагивать его синюю переливающуюся гладь. Перед нами по скалистому конусу, широкому и высокому, который словно вышел на берег прямо из волн, взбегает остроконечными крышами город, окрашенный в розовый цвет людьми, как горизонт окрашен победоносной зарею. Несколько голубых домов образуют ласкающие взор пятна. Кажется, что перед нами избранное обиталище сказочной принцессы из *Тысячи и одной ночи.*

Это Порто-Маурицио.

Когда его увидишь вот так, с моря, уже не стоит к нему причаливать.

Но я все-таки сошел на берег.

В городе одни развалины. Дома словно рассыпаны по улицам. Целый квартал обрушился и скатился к берегу, может быть, вследствие землетрясения; по всему склону горы уступами громоздятся треснувшие стены с разрушенным гребнем, остатки старых оштукатуренных домов, открытых ветру с моря. И окраска их, такая красивая издали, так гармонирующая с пробуждением дня, представляет собой вблизи на этих лачугах, на этих трущобах лишь безобразную мазню, выцветшую, поблекшую от солнца и смытую дождями.

А по длинным улицам, по извилистым проходам, заваленным камнями и мусором, носится запах, неописуемый, но вполне объяснимый при виде подножия стен, запах, столь сильный, столь упорный, столь едкий, что я возвращаюсь на яхту с отвращением и с чувством тошноты.

А между тем этот город — административный центр провинции. Когда вы вступаете на итальянскую землю, он словно встречает вас как знамя нищеты.

Напротив него, на другом берегу того же залива, лежит городок Онелья, также грязный, очень вонючий, хотя вид у него более оживленный и не столь безнадежно нищий.

В воротах королевского коллежа, открытых настежь по случаю каникул, сидит старуха и чинит отвратительно засаленный матрац.

Мы входим в Савонскую гавань.

Несколько огромных труб фабрик и чугунолитейных заводов, ежедневно питаемых четырьмя или пятью большими английскими пароходами-угольщиками, изрыгают в небо из своих гигантских пастей извилистые клубы дыма, которые тотчас же обрушиваются на город дождем черной сажи; ветер несет этот снег преисподней из квартала в квартал.

Любители каботажного плавания, не заходите в эту гавань, если вам хочется сохранить в чистоте белые паруса ваших маленьких судов.

Но все же Савонна мила, это типичный итальянский город с узкими, забавными улицами, с суетливыми торговцами, с обилием разложенных прямо на земле фруктов, огненно-красных помидоров, круглых тыкв, черного или желтого винограда, прозрачного и словно напоенного светом, зеленого салата, сорванного наспех, листья которого так густо рассыпаны по мостовой, что кажется, будто ее заполнила трава.

Возвращаясь на яхту, я вдруг увидел на набережной неаполитанскую баланчеллу, а за огромным столом во всю длину ее палубы нечто необычайное, как бы пиршество убийц.

Перед тридцатью смуглыми матросами разложено от шестидесяти до ста четвертушек взрезанных пурпурных арбузов, кровавых, красных, как кровь преступления; они окрашивают своим цветом весь корабль и вызывают с первого взгляда волнующие образы убийств, избиений, растерзанного мяса.

Можно подумать, что эти веселые ребята уплетают за обе щеки окровавленную говядину, точно дикие звери в клетках. Это праздник. Приглашены также команды соседних судов. Все довольны. Красные колпаки на их головах не так красны, как мякоть арбуза.

Когда настала ночь, я вернулся в город.

Звуки музыки привлекали меня, и я прошел через весь город.

Мне попался проспект, по которому медленно двигались группами буржуа и простолюдины, направляясь на вечерний концерт, даваемый два — три раза в неделю муниципальным оркестром.

В этой музыкальной стране такие оркестры, даже в самых маленьких городках, не уступают оркестрам наших хороших театров. Мне припомнился тот, который я слушал прошлой ночью с палубы яхты; воспоминание о нем сохранилось у меня, как о самой сладостной ласке, какую мне когда-либо дарило ощущение.

Проспект кончался площадью, переходившей в набережную; там у самого взморья, в тени, едва освещенной разбросанными желтыми пятнами газовых фонарей, этот оркестр и играл — не знаю только, что именно.

Волны, довольно крупные, хотя ветер с моря совершенно затих, разливали по берегу свой однообразный и равномерный шум в ритм живому пению инструментов, а с лилового небосклона, почти блестящего лилового оттенка, позолоченного неисчислимой звездной пылью, нисходила на нас темная легкая ночь. Она укутывала прозрачной тенью молчаливую, чуть шепчущую толпу, которая медленно прохаживалась вокруг группы музыкантов или сидела на скамейках бульвара, на больших камнях, лежащих вдоль набережной, на огромных балках, сложенных на земле возле высокого деревянного остова большого строящегося корабля с еще раскрытыми боками.

Не знаю, красивы ли савонские женщины; знаю только, что по вечерам они почти всегда прогуливаются с непокрытой головой и что у каждой из них в руке веер. Так прелестно это безмолвное биение крыльев, белых, пестрых или черных, чуть видных, трепещущих, словно попавшие в плен большие ночные бабочки. У каждой встречной женщины, в каждой гуляющей или отдыхающей группе снова и снова видишь это порханье плененных, дрожащих лепестков, их слабую попытку взлететь, и они словно освежают вечерний воздух, примешивая к нему что-то кокетливое, женственное, что так сладостно вдыхает мужская грудь.

И вот среди этого трепетания вееров, среди всех этих ничем не прикрытых женских волос, окружавших меня, я предался глупейшим мечтам, навеянным воспо-

минаниями о волшебных сказках, как, бывало, мечтал в коллеже, в холодном дортуаре, вспоминая, прежде чем заснуть, прочитанный тайком под крышкой парты роман. Так порою в глубине моего состарившегося сердца, отравленного недоверием, пробуждается на несколько мгновений наивное сердечко мальчугана.

Одно из самых красивых зрелищ на свете — это вид на Геную с моря.

Город подымается в глубине залива, у подножия горы, словно выходя из воды. Вдоль обоих берегов, закругляющихся вокруг, словно обнимая, защищая, лаская его, расположено пятнадцать маленьких городков — соседей, вассалов, слуг,— светлые домики которых отражаются и купаются в воде. Налево от своей покровительницы — Коголето, Аренцано, Вольтри, Пра, Пельи, Сестри-Поненте, Сан-Пьер д'Арена, а справа — Стурла, Кварто, Квинто, Нерви, Больяско, Сори Рекко и Камольи — последняя белая точка на мысе Портофино, замыкающем Генуэзский залив с юго-востока.

Генуя поднимается над своим огромным портом на первые уступы Альп, которые высятся за нею, изгибаясь гигантской стеной. На дамбе стоит очень высокая квадратная башня, маяк, называемый «фонарем» и похожий на непомерно длинную свечу.

Прежде всего попадаешь во внешнюю гавань, в обширный, прекрасно защищенный бассейн, где шныряет в поисках работы флотилия буксирных пароходов; затем, обогнув восточный мол, вы оказываетесь в самой гавани, населенной целым полчищем кораблей, красивых кораблей Востока и Юга самых очаровательных оттенков — тартан, баланчелл, магон, расписанных, оснащенных парусами и мачтами с совершенно неожиданной изобретательностью, несущих на себе голубых и золоченых мадонн, святых, выпрямившихся на носу корабля, и причудливых зверей, которые тоже являются их священными покровителями.

Весь этот флот с его мадоннами и талисманами выстроен вдоль набережных, а своими острыми и разнокалиберными носами обращен к центру бассейна. Далее видны распределенные по пароходным компаниям мощные железные пароходы, узкие, высокие, с массивными и изящными формами. Среди этих морских

странников попадаются сплошь белые корабли, большие трехмачтовики, или бриги, облаченные, как арабы, в ослепительную одежду, по которой скользят солнечные лучи.

Если нет ничего красивее входа в гавань, то нет ничего грязнее входа в город. Бульвар на набережной — это болото нечистот, а узкие, извилистые улицы, стиснутые, как коридоры, между двумя неровными рядами непомерно высоких домов, непрестанно вызывают тошноту своими омерзительными испарениями.

Генуя производит то же впечатление, что Флоренция и еще более Венеция,— впечатление в высшей степени аристократического города, оказавшегося во власти черни.

Здесь все время приходят на ум суровые вельможи, которые сражались или торговали на море, а затем построили на деньги, полученные от военной добычи, от пленников или от торговли, те дивные мраморные дворцы, которые и поныне стоят на главных улицах города.

Когда попадаешь в эти великолепные жилища, отвратительно размалеванные потомками великих граждан горделивейшей из республик, и когда сравниваешь их стиль, их дворы, сады, портики, внутренние галереи, всю эту декоративную и великолепную планировку здания с варварской роскошью самых красивых особняков современного Парижа, с дворцами миллионеров, которые не знают толку ни в чем, кроме денег, которые не в состоянии измыслить и пожелать что-нибудь новое, прекрасное и создать это при помощи своего золота,— начинаешь постигать, что подлинная утонченность ума, понимание изысканной красоты мельчайших форм, совершенства пропорций и линий исчезло из нашего демократизированного общества, этой смеси богатых финансистов, лишенных вкуса, и выскочек, лишенных традиций.

Интересно отметить эту банальность современных особняков. Пройдитесь по старинным генуэзским дворцам, и вы увидите вереницу парадных дворов с галереями и колоннадами и мраморные лестницы невероятной красоты, причем все они по-разному задуманы и выполнены истинными художниками для людей с развитым и требовательным вкусом.

Обойдите старинные французские замки; вы найдете в них те же стремления к постоянному обновлению стиля и орнамента.

А потом пойдите в богатейшие дома современного Парижа. Вы будете восхищаться в них любопытными старинными вещами, тщательно занесенными в каталоги, пронумерованными, выставленными под стеклом соответственно их рыночной ценности, установленной экспертами, но вас никогда не поразит оригинальность и новизна отдельных частей самого жилища.

Архитектору поручают выстроить великолепный дом ценой в несколько миллионов франков, а платят ему пять — десять процентов стоимости работ по украшению здания, которые он должен предусмотреть в своем плане.

Обойщику на несколько иных условиях поручают отделать дом. Так как этим дельцам хорошо известно прирожденное отсутствие художественного чутья у клиента, то они и не рискуют предлагать ему что-нибудь новое, а довольствуются тем, что более или менее повторяют уже сделанное ими раньше для других.

После того как осмотришь в Генуе старинные и благородные жилища и полюбуешься несколькими картинами, особенно же тремя чудными творениями того великого мастера кисти, которого зовут Ван-Дейк, остается лишь осмотреть Кампо Санто, современное кладбище, музей надгробных изваяний, самый оригинальный, самый удивительный, самый жуткий и, пожалуй, самый комический музей на свете. Огромная галерея опоясывает четырехугольный монастырский двор, который покрыт, как снегом, белыми надгробными плитами бедняков; по этой галерее вы проходите мимо вереницы мраморных буржуа, оплакивающих своих покойников.

Что за странность! Исполнение этих фигур свидетельствует о замечательной искусности, о подлинной талантливости мастеров. Ткань платьев, курток, панталон изображена с поразительным мастерством. Я видел, например, муаровое платье, причем переливы были с невероятной правдоподобностью переданы на отчетливых складках материи. И вместе с тем трудно представить себе что-либо более уродливо-карикатурное,

более чудовищно-вульгарное, недостойно-пошлое, чем эти люди, оплакивающие своих любимых родственников.

Чья здесь вина? Скульптора ли, который в физиономиях своих моделей не разглядел ничего, кроме вульгарности современного буржуа, и не сумел найти в них тот высший отблеск человечности, который так хорошо постигли фламандские художники, с величайшим мастерством изображая самые обыденные и некрасивые типы своего народа? Или, может быть, это вина буржуа, которого низменная демократическая цивилизация отшлифовала, как море шлифует гальку, соскабливая, стирая его отличительные черты и лишив его в результате такого обтесывания последних признаков оригинальности, которыми природа некогда, казалось, наделяла каждый общественный класс?

Генуэзцы, видимо, очень гордятся этим изумительным музеем, сбивающим с толку критику.

Начиная от Генуэзской гавани до мыса Порто-фино, между синевою моря и зеленью горы, по взморью тянутся, как четки, города — целая россыпь маленьких домиков. Юго-восточный бриз вынуждает нас лавировать. Он не очень силен, но внезапные его порывы накреняют яхту, гонят ее рывками вперед, словно коня, закусившего удила, и два валика пены бурлят у ее носа, как слюна морского зверя. Потом ветер стихает, и судно, успокоившись, снова мирно идет своим путем, который в зависимости от галса то удаляет его от итальянского побережья, то приближает к нему. Около двух часов дня капитан, разглядывавший в бинокль горизонт, чтобы по парусам и по галсу других судов определить силу и направление воздушных течений в этих местах, где в каждом заливе дует свой ветер, то бурный, то легкий, и перемены погоды наступают так же быстро, как нервные припадки у женщин, внезапно заявил мне:

— Надо спустить гафтопсель, сударь. Оба брига впереди нас только что убрали верхние паруса. Видно, там сильно дует.

Последовала команда; длинный вздувшийся парус

спустился с вершины мачты и скользнул, обвислый и дряблый, еще трепеща, как подстреленная птица, вдоль фока, который уже начинал предчувствовать предсказанный и приближающийся шквал.

Волн не было совсем. Только кое-где небольшие барашки. Но вдруг вдали перед нами я увидел совершенно белую воду, такую белую, точно по ней разостлали простыню. Она двигалась, приближалась, спешила нам навстречу, и, когда эта пенящаяся полоса оказалась на расстоянии нескольких сот метров, паруса яхты внезапно дрогнули от сильного порыва ветра, который мчался по поверхности моря, гневный и бешеный, срывая с нее клочья пены, как рука, которая ощипывает пух с груди лебедя. И весь этот пух, сорванный с воды, вся эта эпидерма пены порхала, летала, разносилась под невидимым и свистящим напором шквала. Яхта, накренившись на бок, погрузясь бортом в плещущие, заливавшие палубу волны, с натянутыми вантами, с трещавшими мачтами, понеслась бешеным аллюром, как бы охваченная головокружительной, безумной жаждой скорости. И, право, какое несравнимое опьянение, какое невообразимо увлекательное чувство — так вот, напрягая все мускулы, от щиколоток до самой шеи, держать обеими руками длинный железный руль и вести сквозь бурю это бешеное и безвольное существо, покорное и безжизненное, сооруженное из дерева и холста!

Бешеный шквал продолжался всего лишь три четверти часа, и когда Средиземное море снова окрасилось в свой красивый голубой цвет, воздух стал сразу таким мягким, что, казалось мне, дурное настроение неба рассеялось. Гнев улегся; наступил конец неприветливому утру, и радостный смех солнца широко разлился по всему морскому простору.

Мы приближались к мысу, и я увидел на самой его окопечности, у подножия отвесной прибрежной скалы, в месте, по-видимому, недоступном, церковь и три дома. Боже мой! Да кто же в них живет? Что эти люди могут там делать? Как общаются они с прочими смертными? Уж не при помощи ли одной из двух маленьких лодочек, вытащенных на узкую полосу берега?

Вот мы обогнули мыс. Берег тянется до Порто-Венере при входе в залив Специя. Весь этот участок итальянского побережья бесподобно пленителен.

В широкой и глубокой бухте, открывшейся перед нами, виднеется Санта-Маргерита, далее Рапалло, Кьявари, а еще дальше — Сестри-Леванте.

Яхта, повернув на другой галс, скользила на расстоянии двух кабельтовых от скал, и вот в конце мыса, который мы только что обогнули, внезапно открылось ущелье, куда вливается море, скрытое ущелье, которое едва можно найти, заросшее пиниями, оливковыми и каштановыми деревьями. Крошечная деревушка Порто-фино расположилась полумесяцем вокруг этой тихой заводи.

Медленно проходим мы по узкому проливу, соединяющему с открытым морем прелестную естественную гавань, и проникаем в этот амфитеатр домов, увенчанный лесом с пышной и свежей зеленью; все это отражается в спокойном круглом зеркале воды, где словно дремлют несколько рыбачьих лодок.

Одна из них приближается к нам; на веслах сидит старик. Он здоровается с нами, поздравляет с благополучным прибытием, указывает, где пристать, берет у нас канат для причала, чтобы отвезти его на берег, возвращается предложить свои услуги и советы, все, что нам может понадобиться,— словом, оказывает нам гостеприимство в этом рыбацком поселке. Он начальник порта.

Пожалуй, ни разу еще во всю мою жизнь я не испытывал такого удовольствия, как при входе в эту маленькую зеленую бухту, и ни разу еще не охватывало меня более глубокое и благотворное чувство покоя, умиротворения и отдыха от той бесплодной суеты, в которой барахтается наша жизнь, чем то, какое я испытал, когда звук брошенного якоря возвестил всему моему восхищенному существу, что мы прочно стали на месте.

Вот уже неделя, как я увлекаюсь греблей. Яхта стоит неподвижно на микроскопическом и тихом рейде; я же плаваю в своей шлюпке вдоль берега, забираюсь в пещеры, где море ревет на дне невидимых ям, огибаю островки с причудливыми и изрезанными берегами, которые оно, набегая, всякий раз увлажняет сво-

ими поцелуями, скольжу над подводными камнями, почти что выступающими из воды и покрытыми гривой морских водорослей. Я люблю смотреть, как колеблются подо мною от едва заметного движения волны эти длинные красные или зеленые растения, среди которых кишат, прячутся и скользят бесчисленные семьи едва появившихся на свет мальков. Кажется, что это живут и плавают всходы серебряных иголок.

Переводя взгляд на прибрежные скалы, я вижу на них группы голых мальчишек с загорелыми телами, удивленно глядящих на незнакомого скитальца. Они так же бесчисленны, как другое порождение моря — выводок молодых тритонов, только вчера родившихся, которые резвятся и карабкаются на гранитные берега, чтобы подышать воздухом широких просторов. Этих мальчуганов можно найти во всех расселинах, они стоят на вершинах скал, и их изящные, стройные фигуры вырисовываются на фоне итальянского неба, как бронзовые статуэтки. Другие сидят, свесив ноги, на краю больших камней, отдыхая между двумя прыжками в воду.

Мы покинули Порто-фино для стоянки в Санта-Маргерита. Это не гавань, но глубокая бухта, несколько защищенная дамбой.

Суша здесь настолько пленительна, что почти забываешь о море. Город защищен выступом, образуемым двумя горами. Их разделяет долина, идущая по направлению к Генуе. По обе ее стороны разбегается бесчисленное множество дорожек, заключенных между двумя каменными стенами высотою приблизительно в один метр; эти дорожки, узкие, каменистые, пересекают одна другую, подымаются и спускаются, идут вправо и влево, то в виде рвов, то в виде лестниц, отделяя друг от друга бесчисленные поля, или, вернее, сады оливковых и фиговых деревьев, увитых красными гирляндами виноградных лоз. Сквозь сожженную солнцем листву лоз, взобравшихся на деревья, видны уходящие в бесконечную даль синее море, красные мысы, белые селения, еловые леса на склонах гор и высокие серые гранитные вершины. Перед домами, там и сям попадающимися на пути, женщины плетут кружева. Впрочем, в здеш-

них местах почти не встретишь дома, на пороге которого не сидели бы две — три рукодельницы, занятые этой работой, переходящей по наследству; они перебирают ловкими пальцами бесчисленное множество белых и черных нитей, на концах которых висят и подскакивают в непрерывной пляске короткие желтые деревянные палочки. Кружевницы нередко красивы, рослы, с гордой осанкой, но неряшливы, плохо одеты и совершенно лишены кокетства. В жилах у многих еще течет сарацинская кровь.

Однажды на углу деревенской улицы мимо меня прошла одна из них, и я был поражен ее изумительной красотой, какой до тех пор, пожалуй, еще не встречал.

Под тяжелой копной ее темных волос, разметавшихся вокруг лба, небрежно и наспех зачесанных, виднелось продолговатое и смуглое лицо восточного типа, лицо дочери мавров, от которых она унаследовала и величавую поступь; но солнце флорентинок придало ее коже золотистый оттенок. Ее глаза — какие глаза! — продолговатые, непроницаемо-черные, словно не глядя, излучали ласку из-под ресниц, таких длинных и густых, каких я никогда не видывал. А кожа вокруг этих глаз была так темна, что если бы я не видел ее при ярком дневном свете, то заподозрил бы тут искусственные приемы наших светских дам.

Когда встречаешь одну из таких женщин, одетых в лохмотья, так и хочется схватить ее и унести хотя бы для того, чтобы украшать ее, говорить ей, как она прекрасна, восхищаться ею. Что нужды в том, что они не понимают тайны наших восторгов; бессмысленные, как все идолы, обворожительные, подобно им, они созданы только для того, чтобы восторженные сердца любили их и воспевали в словах, достойных их красоты!

Все же, если бы мне предложили выбор между самой прекрасной из живых женщин и женщиной, написанной Тицианом, которую я снова увидал неделю спустя в центральном круглом зале Уффици во Флоренции, я выбрал бы женщину Тициана.

К Флоренции, которая манит меня, как город, где мне когда-то более всего хотелось жить, которая таит

в себе невыразимое очарование для моих глаз и для моего сердца, я испытываю вдобавок почти чувственное влечение, вспоминая образ лежащей женщины, дивной мечты о плотской прелести. Когда я вспоминаю об этом городе, настолько полном чудес, что к концу дня возвращаешься домой усталым и разбитым оттого, что слишком много перевидал, подобно охотнику, который слишком много ходил, то передо мной среди всех других воспоминаний возникает это большое продолговатое ослепительное полотно, где покоится большая женщина, бесстыдная, нагая и белокурая, бодрствующая и спокойная.

Потом, после нее, после этого воплощения силы соблазна, свойственного человеческому телу, передо мною встают нежные и целомудренные мадонны, прежде всего мадонны Рафаэля: *Мадонна с щегленком, Мадонна Гран Дукка, Мадонна делла Седиа* и еще другие, бесплотные и мистические мадонны примитивов, с их невинными чертами лица, с бледными волосами, а также мадонны, полные плотской силы и здоровья.

Блуждая не только по этому единственному в своем роде городу, но и по всей этой стране, по Тоскане, где люди эпохи Возрождения обильно разбросали шедевры искусства, спрашиваешь себя в изумлении, что же представляла собою эта экзальтированная и плодовитая душа, опьяненная красотою, охваченная безумным творческим порывом, душа этих поколений, бредивших искусством? В церквах маленьких городов, куда отправляются в поисках того, что не указано в путеводителях для рядовых путешественников, вы находите на стенах в глубине хоров бесценную живопись скромных великих мастеров, которые не продавали своих полотен в Америку, тогда еще не исследованную, и, окончив свой труд, уходили, не помышляя стать богачами, и работали для одного искусства, как благочестивые труженики.

И поколение это, не ведавшее слабости, не оставило после себя ничего посредственного. Тот же отблеск неувядаемой красоты, вышедшей из-под кисти живописца, из-под резца ваятеля, проглядывает и в каменных фасадах построек. Церкви и часовни полны скульптурами Луки делла Роббиа, Донателло, Микеланджело, а их

бронзовые двери — творения Бонанна или Джованни да Болонья.

Придя на площадь Синьории и остановившись против Лоджии деи Ланци, вы сразу видите под одним и тем же портиком *Похищение сабинянок* и *Геркулеса, побеждающего Кентавра* Джованни да Болонья, *Персея с головой Медузы* Бенвенуто Челлини, *Юдифь и Олоферна* Донателло. Всего лишь несколько лет тому назад там же стоял и микеланджеловский *Давид.*

Но чем больше опьяняет, чем больше покоряет вас прелесть этого путешествия по целому лесу художественных творений, тем сильнее также начинаете вы испытывать странное, болезненное чувство, которое вскоре примешивается к радости созерцания. Его вызывает удивительный контраст между современной толпой, такой пошлой, такой невежественной, и теми местами, где она живет. Вы чувствуете, что чуткий, гордый и утонченный дух прежнего, исчезнувшего народа, который усеял эту почву шедеврами, не волнует более голов, покрытых круглыми шляпами шоколадного цвета, не зажигает равнодушных глаз, не возвышает этот лишенный мечты народ над его вульгарными желаниями.

На обратном пути к побережью я остановился в Пизе, чтобы еще раз взглянуть на соборную площадь.

Кто сумеет объяснить проникновенную и грустную прелесть некоторых почти умерших городов?

Такова Пиза. Едва вы вступаете в нее, как вашу душу охватывает меланхолическое томление, какое-то бессильное желание уехать и остаться, ленивое желание бежать и бесконечно упиваться тоскливой сладостью ее воздуха, ее неба, ее домов, ее улиц, где живет самое спокойное, самое унылое и молчаливое на свете население.

Желтоватая река Арно пересекает город, плавно извиваясь между двумя высокими крепостными стенами, по которым проходят два главных проспекта с желтоватыми, как и река, домами, гостиницами и несколькими скромными дворцами.

Одиноко стоящая на набережной, извилистый путь которой она неожиданно преграждает, маленькая часовня Санта-Мария делла Спина в стиле французских церквей XIII века возносит над водой свой резной про-

филь ковчежца с мощами. Видя ее на самом берегу реки, можно подумать, что это изящная готическая прачечная пресвятой девы, куда ангелы по ночам приносят полоскать поношенные ризы мадонн.

Улица Санта-Мария ведет на соборную площадь.

Для людей, которых еще может взволновать и растрогать красота и мистическая мощь памятников искусства, не существует, конечно, на всей земле ничего более удивительного и более поражающего, чем эта обширная, заросшая травою площадь, со всех сторон замкнутая высокими крепостными стенами, в которых заключены во всем их разнообразии и выразительности собор, Кампо-Санто, Баптистерий и Падающая башня.

Когда вы доходите до края этого пустынного и заросшего поля, обнесенного старинными стенами, где перед вашими глазами встают вдруг эти четыре гигантских мраморных творения, поражающие своими очертаниями, цветом, гармоническим и гордым изяществом, вы останавливаетесь, пораженный изумлением и восторгом, как перед редчайшим и грандиознейшим зрелищем, какое только может представить взору человеческое искусство.

Но собор с его невыразимой гармонией, непреодолимой мощью пропорций и великолепием фасада вскоре привлекает все ваше внимание.

Это базилика XI века в тосканском стиле, вся из белого мрамора, с инкрустациями черного и цветных мраморов. Стоя перед этим совершеннейшим памятником романо-итальянского зодчества, вы не испытываете того изумления, какое внушают некоторые готические соборы своим смелым взлетом, изяществом башен и колоколенок, каменным кружевом, которым они как бы окутаны, и колоссальной диспропорцией между своей высотой и основанием.

Зато здесь вас до такой степени поражает и захватывает безупречность пропорций, непередаваемое очарование линий, форм и фасада, который внизу украшен пилястрами, связанными между собою посредством аркад, а наверху четырьмя галереями колонок, все уменьшающихся с каждым этажом, что пленительность этого памятника сохраняется в вашей душе, как воспоминание о дивной поэме, о пережитом волнении.

Бесполезно описывать эти вещи, их надо видеть, и притом видеть на фоне здешнего неба, этого классического неба особой синевы, где медленно плывущие облака, свернувшиеся на горизонте серебристыми клубами, кажутся скопированными природой с картин тосканских мастеров, ибо эти старинные художники были реалистами, пропитанными итальянским воздухом; лгут лишь те мастера, которые подражали им под французским солнцем.

Колокольня позади собора, вечно наклоненная, словно готовая упасть, иронизирует над заложенным в нас чувством равновесия, а против нее Баптистерий закругляет свой высокий конусообразный купол перед воротами Кампо-Санто.

Это старинное кладбище, фрески которого, по общему признанию, представляют величайший интерес, опоясывает очаровательная галерея, полная проникновенной и меланхолической прелести; посреди кладбища растут две древние липы, скрывающие в своей густой листве столько сухих ветвей, что при каждом порыве ветра они производят странный шум, напоминающий стук костей.

Дни бегут, лето на исходе. Я хочу посетить еще одну далекую страну, где другие люди оставили не так хорошо уцелевшие, но тоже вечные следы. И, право, они одни сумели подарить своему отечеству Всемирную выставку, которую не перестанут посещать во все грядущие века.

СИЦИЛИЯ

Во Франции считается, что Сицилия — страна дикая и что ездить по ней трудно и даже опасно. Время от времени какой-нибудь путешественник, слывущий за смельчака, рискует доехать до Палермо и, возвратившись, объявляет, что это чрезвычайно интересный город. Вот и все. Но чем же, собственно, интересны Палермо да и вся Сицилия? У нас этого в точности не знают. По правде говоря, все дело в моде. Этот остров, эта жемчужина Средиземного моря, не принадлежит к числу тех стран, которые принято посещать, знакомство с которыми считается признаком хорошего вкуса и которые, как Италия, входят в программу образования благовоспитанного человека.

Между тем Сицилия должна бы привлекать путешественников с двух точек зрения, ибо ее естественные красоты и красоты художественные столь же своеобразны, как и замечательны. Известно, насколько плодородна эта страна, которую называли житницей Италии, и как бурно протекала ее история: все народы, один за другим, завоевывали Сицилию и владели ею — до того велико было их стремление обладать ею, заставлявшее стольких людей драться и умирать за нее, как за страстно желанную красавицу. Подобно Испании, это страна апельсинов, цветов, воздух которой весною — сплошной аромат; и каждый вечер она зажигает над морем чудовищный маяк — Этну, величайший в Европе вулкан. Но прежде всего необходимо посетить эту единственную в мире страну потому, что

она сплошь представляет собою оригинальный и полный чудес музей памятников архитектуры.

Архитектура умерла в наши дни, в наш век, который хотя еще остается веком искусства, но, по-видимому, утратил способность творить красоту из камней, таинственный дар очаровывать гармонией линий, чувство грации в зданиях. Мы словно уже не можем понять, уже не знаем того, что одна лишь пропорциональность стены может вызвать в душе человека такую же эстетическую радость, такое же тайное и глубокое волнение, как шедевры Рембрандта, Веласкеса или Веронезе.

На долю Сицилии выпало счастье принадлежать поочередно плодовитым народам, приходившим то с севера, то с юга, усеявшим ее землю памятниками зодчества бесконечно разнообразными, где неожиданно и органически соединились самые противоположные влияния. Отсюда возникло особое искусство, неизвестное в других местах, в котором преобладает арабское влияние среди греческих и даже египетских реминисценций, в котором суровость готического стиля, ввезенного норманнами, смягчается дивным искусством византийских архитектурных украшений и орнамента.

Доставляет утонченное наслаждение отыскивать в этих восхитительных памятниках отличительные черты каждого искусства, подмечать то деталь, пришедшую из Египта, вроде занесенных арабами копьевидно заостренных сводов, выпуклых, или, вернее сказать, подвесных сводов, напоминающих сталактиты морских пещер, то чисто византийский орнамент или великолепные готические фризы, которые среди этих несколько приземистых церквей, построенных норманскими государями, внезапно пробуждают воспоминание о высоких соборах северных стран.

Когда повидаешь все эти памятники, которые хотя и принадлежат к различным эпохам и происходят из разных источников, но имеют один и тот же характер, одну и ту же природу, можно смело сказать, что они не готические, не арабские, не византийские, но сицилийские; можно утверждать, что существуют сицилийское искусство и сицилийский стиль, всегда легко распозна-

ваемый и, несомненно, самый очаровательный, самый разнообразный, самый красочный и самый богатый фантазией из всех существующих архитектурных стилей.

Именно в Сицилии и можно найти наиболее прекрасные и законченные образцы античной греческой архитектуры среди пейзажей несравненной красоты.

Всего легче путь в Палермо из Неаполя. Когда вы сходите на берег, вас поражает оживление и веселость этого большого города с двумястами пятьюдесятью тысячами жителей, полного лавок и шума; в нем меньше сутолоки, чем в Неаполе, но не меньше жизни. Прежде всего вы останавливаетесь перед первой встретившейся вам тележкой. Эти тележки — небольшие квадратные ящики на высоких желтых колесах, украшенные наивной и оригинальной живописью, изображающей исторические события или события из частной жизни, всевозможные приключения, битвы, встречи монархов, особенно же сражения времен Наполеона I и крестовых походов. Какое-то странное резное приспособление из железа и дерева поддерживает колеса на оси; спицы также покрыты резьбой. У животного, которое их везет, один помпон на голове, а другой — посередине спины; сбруя нарядная и пестрая, причем каждый ее ремешок украшен красной шерстью и крошечными бубенчиками. Эти расписные тележки, разнообразные и забавные, разъезжают по улицам, привлекая взоры и внимание; это какие-то передвигающиеся загадки, которые все время пытаешься разгадать.

Расположение Палермо чрезвычайно своеобразно. Город, лежащий посередине широкого амфитеатра обнаженных гор голубовато-серого оттенка, тронутого кое-где красным, разделен на четыре части двумя большими прямыми улицами, которые перекрещиваются в центре. С этого перекрестка в конце огромных коридоров, образованных домами, видны в трех направлениях горы, а в конце четвертого — море, синее, ярко-синее пятно, которое кажется совсем близким, словно город свалился в воду!

В день моего приезда меня преследовало одно неотвязное желание: мне хотелось увидать Дворцовую капеллу, о которой мне говорили как о чуде из чудес.

Дворцовая капелла — самая прекрасная в мире и самая удивительная религиозная драгоценность, порожденная человеческой мыслью и выполненная рукой художника,— заключена в тяжеловесном здании королевского дворца, старинной крепости, построенной норманнами.

У этой капеллы нет наружного фасада. Вы входите во дворец, где вас прежде всего поражает изящество внутреннего двора, окруженного колоннадой. Красивая лестница с прямоугольными поворотами неожиданно создает чрезвычайно эффектную перспективу. Против входной двери находится другая дверь, пробитая в стене дворца и выходящая на далекие поля; внезапно открывая перед вами узкий и глубокий горизонт, она как будто уносит вас в безграничные дали и к беспредельным грезам через это сводчатое отверстие, которое, завладев вашим взглядом, неудержимо увлекает его к синей вершине горы, виднеющейся там, далеко-далеко, над огромной равниной апельсиновых рощ.

Когда входишь в капеллу, сразу же останавливаешься в изумлении, как перед каким-то чудом, силу которого ощущаешь, еще не успев его понять. Спокойная и многоцветная, неотразимая и глубоко волнующая красота маленькой церковки — этого подлинного шедевра — покоряет вас с первого же взгляда; вы останавливаетесь, как зачарованный, перед ее стенами, покрытыми огромными мозаиками на золотом фоне: они излучают мягкое сияние, и весь храм как бы светится тусклым светом, увлекая мысль к библейским и божественным пейзажам, где оживают под огненными небесами все те, кто был причастен к жизни богочеловека.

Впечатление, производимое этими сицилийскими памятниками зодчества, особенно сильно потому, что, на первый взгляд, в них больше поражает декоративное искусство, чем искусство архитектуры.

Гармония линий и пропорций служит лишь рамкой для гармонии цветовых оттенков.

Входя в наши готические соборы, испытываешь впечатление суровое, почти печальное. Их величие внушительно, их грандиозность поражает, но не пленяет. Здесь же вы побеждены, тронуты той почти чувствен-

ной прелестью, которую привносят краски в красоту форм.

Люди, которые задумали и создали эти церкви, полные света и все же темные, имели, несомненно, совсем иное представление о религиозном чувстве, чем зодчие немецких или французских соборов: их своеобразный талант стремился главным образом к тому, чтобы впустить свет в эти изумительно украшенные нефы, но так, чтобы его не чувствовали, не видели, чтобы он проскользнул сюда незаметно, лишь слегка касаясь стен и создавая таинственную и очаровательную игру красок, чтобы казалось, будто свет исходит из самых стен, из огромных золотых небес, населенных апостолами.

Дворцовая капелла, построенная в 1132 году королем Рожером II в норманском готическом стиле, представляет собою небольшую базилику в три нефа. Она имеет всего тридцать три метра в длину и тринадцать метров в ширину; это игрушка, драгоценность.

Два ряда великолепных мраморных колонн, все разных цветов, уходят под купол, откуда на вас глядит колоссальный Христос, окруженный ангелами с распростертыми крыльями. Мозаика, украшающая заднюю стену левой боковой капеллы, представляет поразительную картину. Она изображает Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне. Это словно картина Пюви де Шаванна, но более красочная, более мощная, более наивная, менее надуманная, созданная вдохновенным художником во времена исступленной веры. Пророк обращается с речью к нескольким лицам. За ним — пустыня, а в глубине — синеющие горы, те горы, с мягкими очертаниями, окутанными дымкой, которые знакомы всем путешествовавшим по Востоку. Над святым, вокруг святого, позади святого — золотое небо, настоящее небо видений, где как будто присутствует бог.

Возвращаясь к входным дверям, вы останавливаетесь под кафедрой; это просто-напросто квадратная глыба бурого мрамора, окруженная беломраморным фризом с мелкими мозаичными инкрустациями и поддерживаемая четырьмя колоннами, покрытыми тонкой резьбой. Поражаешься, чего может достигнуть вкус,

чистый вкус художника при помощи столь ничтожных средств.

Весь дивный эффект этих церквей построен вообще на сочетании и противопоставлении мрамора и мозаики. Это их характерная особенность. Нижняя часть стен, белая и украшенная лишь мелким орнаментом, тонкой каменной вышивкой, оттеняет своей нарочитой простотой красочную роскошь монументальной живописи, покрывающей верхнюю часть стен.

Но даже в этой мельчайшей вышивке, которая, как цветное кружево, окаймляет нижнюю часть стен, встречаются очаровательные мотивы величиной с ладонь; таковы, например, два павлина, несущие крест на скрещенных клювах.

Этот же стиль внутренней отделки можно видеть во многих палермских церквах. Мозаики Марторана по выполнению, пожалуй, еще замечательнее, чем мозаики Дворцовой капеллы, но нигде в мире не встретишь той изумительной целостности, которая делает капеллу — это дивное произведение искусства — единственной и непревзойденной.

Я медленно возвращаюсь в гостиницу Пальм, у которой один из лучших садов в городе, настоящий сад теплых стран, полный огромных и причудливых растений. Один путешественник, сидя со мною рядом на скамейке, рассказал мне за несколько минут все события текущего года, потом перешел к событиям прошлых лет и между прочим заметил:

— Это случилось в то время, когда здесь жил Вагнер.

Я удивился:

— Как, здесь, в этой гостинице?

— Именно. Здесь он дописывал последние ноты *Парсифаля* и держал корректуру.

И я узнал, что знаменитый немецкий композитор провел в Палермо целую зиму, покинув этот город лишь за несколько месяцев до смерти. Здесь, как и повсюду, он выказывал несносный характер, невероятную гордыню и оставил о себе воспоминание как о самом неуживчивом человеке.

Я захотел осмотреть помещение, которое занимал гениальный музыкант, ибо мне казалось, что он должен

был оставить в нем частичку своего «я» и что мне попадется какая-нибудь вещь, которая ему нравилась, любимое кресло, стол, за которым он работал, какой-нибудь след его пребывания, его пристрастий или привычек.

Сперва я ничего не увидел, кроме прекрасного номера гостиницы. Мне сообщили, какие изменения он в нем велел произвести, показали место, как раз посередине комнаты, где стоял диван, на который он нагромождал пестрые, шитые золотом ковры.

Но вот я открыл дверцу зеркального шкафа.

Восхитительный сильный запах пахнул оттуда, как ласка легкого ветерка, пронесшегося над полем розовых кустов.

Сопровождавший меня хозяин гостиницы сказал:

— Здесь он держал свое белье, надушенное розовой эссенцией. Теперь уж этот запах не улетучится никогда.

Я упивался этим дыханием цветов, запертым в шкафу, забытым, заточенным в нем, и мне казалось, что я нахожу в этом дуновении что-то от Вагнера, частицу его самого, частицу его желаний, частицу его души, запечатлевшуюся в этих пустяшных, тайных и любимых привычках, составляющих интимную жизнь человека.

Потом я пошел побродить по городу.

Нет людей, менее схожих между собой, чем сицилийцы и неаполитанцы. Неаполитанец из простонародья — всегда на три четверти паяц. Он жестикулирует, суетится, беспричинно воодушевляется, разговаривает жестами столько же, сколько и словами, и передает мимикой все, о чем говорит; он всегда любезен ради выгоды, ласков как из хитрости, так и по природе и отвечает шуточками на неприятные замечания.

В сицилийце же много арабского. От араба у него серьезная важность, хотя, как итальянец, он обладает очень живым умом. Природная надменность, любовь к титулам, самый характер гордости и черты лица скорее приближают его к испанцу, чем к итальянцу. Но что непрестанно вызывает в вас глубокое впечатление Востока, едва вы вступаете на почву Сицилии,— это тембр голоса, носовые интонации уличных разносчиков. По-

всюду слышишь здесь пронзительную ноту арабских голосов, эту ноту, которая как бы спускается от лба к горлу, между тем как на севере она подымается из груди в рот. И песня, протяжная, однообразная и нежная,— вы слышите ее, проходя мимо открытых дверей дома — по ритму и звучанию та же, которую поет всадник в белом, сопровождающий путешественников по безграничным голым просторам пустыни.

Зато в театре сицилиец снова становится настоящим итальянцем, и для нас чрезвычайно любопытно побывать на каком-нибудь оперном представлении в Риме, в Неаполе или Палермо.

Все впечатления публики прорываются наружу сразу же, с полной непосредственностью. Нервная до крайности, одаренная тонким, восприимчивым слухом, до безумия любящая музыку, вся толпа превращается в единое трепещущее живое существо, которое чувствует, но не рассуждает. За какие-нибудь пять минут она восторженно аплодирует и остервенело шикает одному и тому же актеру; она топает ногами от радости или гнева, а если певец невзначай сфальшивит, то изо всех ртов одновременно вырывается странный, отчаянный, пронзительный вопль. Если мнения разделились, то шиканье и аплодисменты сливаются. Ничто не проходит незамеченным в этом зале, внимательном и взволнованном, который ежеминутно выражает свои чувства, а порою, когда его охватывает взрыв внезапного гнева, начинает реветь, как зверинец, полный взбесившихся диких зверей.

Сейчас сицилийцев приводит в восторг *Кармен,* и вы с утра до ночи слышите, как прохожие на улице напевают знаменитого «Тореадора».

Улицы в Палермо не представляют собою ничего особенного. Они широки и красивы в богатых кварталах, а в бедных похожи на обычные узкие, извилистые и красочные улицы городов Востока.

Женщины, одетые в яркие, красные, синие или желтые, лохмотья, болтают у своих домов и, когда вы проходите мимо, разглядывают вас черными глазами, сверкающими из-под чащи темных волос.

Порою перед конторой казенной лотереи, работающей без перерыва, как некое богослужение, и прино-

сящей государству крупные доходы, можно наблюдать комическую и типичную сценку.

Против конторы стоит в нише мадонна, прикрепленная к стене; у ее ног горит фонарик. Из конторы выходит человек с лотерейным билетом в руке; он опускает медный грош в церковную кружку, раскрывающую маленький черный зев под статуей мадонны, а затем совершает крестное знамение нумерованной бумажкой, которую только что вверил попечению святой девы, подкрепив это милостыней.

Вы останавливаетесь время от времени перед продавцами видов Сицилии, и ваш взгляд задерживается на странной фотографии, изображающей подземелье с множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах. Под ней надпись: «Кладбище капуцинов».

Что это такое? Если вы обратитесь с этим вопросом к жителю Палермо, он с отвращением ответит вам:

— Не ходите смотреть на эту мерзость. Это ужасная, дикая вещь, которая, к счастью, должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже несколько лет никого не хоронят.

Трудно добиться более подробных и точных указаний — так сильно, по-видимому, отвращение большинства сицилийцев к этим необыкновенным катакомбам.

В конце концов мне все же удалось узнать следующее. Почва, на которой построен монастырь капуцинов, обладает особенным свойством настолько ускорять процесс разложения мертвецов, что через год на костях остается только немного прилипшей к ним высохшей черной кожи, порою с волосами на подбородке и щеках.

Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от восьми до десяти покойников; по прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воет, словно корчится в ужасных муках. Затем скелет подвешивают в одной из главных галерей, где семейство умершего время от времени навещает его. Люди, желавшие, чтобы их законсервировали таким способом, высказывали перед смертью свою волю, и за известную плату, ежегодно вносимую

родственниками, они навеки останутся выставленными в ряд под этими мрачными сводами наподобие предметов, хранимых в музеях. Если родные перестают платить, то покойника хоронят обычным способом.

Мне сразу же захотелось осмотреть эту мрачную коллекцию мертвецов.

У ворот небольшого скромного монастыря мне встречается старый капуцин в коричневой рясе и, не говоря ни слова, идет впереди меня, прекрасно зная, что́ хотят видеть приходящие сюда иностранцы.

Мы проходим через бедную часовню и медленно спускаемся по широкой каменной лестнице. И я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа; на иных сохранились все волосы, на других — клок усов, на третьих — часть бороды.

Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом.

И они одеты, эти мертвецы, эти бедные, безобразные и смешные мертвецы, одеты своими родными, которые вытащили их из гробов, чтобы поместить в это страшное собрание. Почти все они облачены в какие-то черные одежды; у некоторых накинуты на голову капюшоны. Впрочем, есть и такие, которых захотели одеть более роскошно — и жалкий скелет с расшитой греческой феской на голове, в халате богатого рантье, лежит на спине, страшный и комичный, словно погруженный в жуткий сон.

Картонная дощечка, как у слепых, висит у них на шее; на ней написаны имя умершего и дата смерти. Эти числа вызывают содрогание. Вы читаете: 1880, 1881, 1882.

Так это, значит, человек или то, что было человеком восемь лет тому назад! Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь! Перед этим двойным рядом неописуемых существ нагромождены ящики и гробы, роскошные гробы черного дерева с медными украшениями, с небольшими застекленными четырехугольными отверстиями, чтобы можно было заглянуть внутрь. Они напоминают сундуки и ящики дикарей, купленные на каком-нибудь базаре отъезжающими «в дальний путь», как сказали бы прежде.

Направо и налево открываются другие галереи, продолжая до бесконечности это подземное кладбище.

Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах.

А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!

Но вот мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков: это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали. И трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей!

Часто около трупа висит фотография, которая показывает покойника, каким он был при жизни; нет ничего более потрясающего и жуткого, чем это сопоставление, чем этот контраст, чем те мысли, которые порождает это сравнение.

Мы проходим через галерею, более сумрачную, более низкую, предназначенную для бедных. В темном углу висит штук двадцать скелетов под слуховым окном, сквозь которое их обвевает резкими порывами свежий воздух. Они закутаны в какой-то черный холст, завязанный у ног и шеи, и склоняются один к другому. Кажется, что они дрожат от холода, что они хотят бежать, что они кричат: «Помогите!» Можно подумать, что это матросы с тонущего корабля, исхлестанного разгулявшимся ветром; они одеты в коричневую просмоленную парусину, которую моряки надевают в бурю, и еще содрогаются от ужаса последнего мгновения, когда их поглотило море.

А вот квартал священников. Большая почетная галерея! На первый взгляд они кажутся еще страшнее других, эти скелеты в красных, черных и фиолетовых облачениях. Но когда вы ближе присматриваетесь к ним, на вас нападает неудержимый нервный смех при виде их странных и жутко комических поз. Одни поют, другие молятся. Им запрокинули головы и сложили руки. На макушке их оголенных черепов надеты шапочки, какие священники носят во время богослужения; у одних они лихо сдвинуты на ухо, у других спускаются до самого носа. Какой-то карнавал смерти, которому придает еще более комический характер позолоченная роскошь церковных облачений.

Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова: это мыши перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышей живут в этой кладовой человеческого мяса.

Мне показывают человека, умершего в 1882 году. За несколько месяцев перед смертью, веселый и здоровый, он приходил сюда в сопровождении приятеля, чтобы выбрать себе место.

— Вот где я буду,— говорил он и смеялся.

Друг его теперь приходит сюда один и целыми часами глядит на скелет, неподвижно стоящий на указанном месте.

По некоторым праздникам катакомбы капуцинов открыты для уличной толпы. Однажды какой-то пьяница заснул здесь и проснулся среди ночи. Он начал звать, взвыл, растерялся от охватившего его безум-

ного ужаса, стал бросаться во все стороны, пытаясь убежать. Но никто его не услышал. Когда его нашли утром, он так сильно вцепился в решетку входных дверей, что потребовались огромные усилия, чтобы оторвать его.

Он сошел с ума.

С тех пор у дверей повесили большой колокол.

После посещения этих мрачных мест мне захотелось посмотреть на цветы, и я велел отвезти себя на виллу Таска, сады которой, находящиеся посреди апельсиновой рощи, полны дивных тропических растений.

На обратном пути в Палермо я увидал налево от себя городок, расположенный на склоне горы, а на вершине ее — развалины. Этот город — Монреале, а развалины Кастеллаччо, последнее убежище, в котором, как мне сказали, укрывались сицилийские разбойники.

Великий мастер поэзии Теодор де Банвиль написал трактат о французской просодии, трактат, который следовало бы выучить наизусть всем тем, кто пытается сочетать рифмы. Одна из глав этой прекрасной книги озаглавлена «О поэтических вольностях»; вы переворачиваете страницу и читаете:

«Их не существует».

Точно так же, прибыв в Сицилию, вы спрашиваете то с любопытством, то с беспокойством:

— А где же разбойники?

И все вам отвечают:

— Их больше не существует.

В самом деле, вот уже пять или шесть лет, как они перестали существовать. Благодаря тайному покровительству некоторых крупных помещиков, интересам которых они часто служили, но на которых накладывали дань, им удалось продержаться в сицилийских горах до прибытия генерала Палавичини, который до сих пор командует в Палермо. Этот генерал так энергично принялся их преследовать и уничтожать, что вскорости исчезли и последние из них.

Правда, в этой стране часто происходят вооруженные нападения и убийства, но это обыкновенные преступления, совершаемые отдельными злоумышленника-

ми, а не организованными бандами, как в прежние времена.

В общем, Сицилия столь же безопасна для путешественников, как Англия, Франция, Германия или Италия, и тем, кто жаждет приключений в духе Фра-Дьяволо, придется их искать где-нибудь в другом месте.

По правде говоря, человек находится в полной безопасности почти повсюду, за исключением больших городов. Если подсчитать число путешественников, схваченных и ограбленных бандитами в диких странах, а также убитых кочевыми племенами пустыни, и сравнить число несчастных случаев, приключившихся в странах, которые слывут опасными, с теми случаями, какие происходят только за один месяц в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, то станет ясно, насколько спокойнее этих столиц страны, внушающие страх.

Мораль: если вы хотите получить удар ножа или лишиться свободы, отправляйтесь в Париж, в Лондон, но не ездите в Сицилию. В этой стране можно разъезжать по дорогам днем и ночью без конвоя и без оружия; вы здесь встретите только людей, полных благожелательности к иностранцам, если не считать нескольких почтовых и телеграфных чиновников. Я говорю, впрочем, лишь о чиновниках Катании.

Итак, на середине склона одной из гор, возвышающихся над Палермо, стоит маленький город Монреале, знаменитый своими старинными памятниками, и в окрестностях этого высоко взгромоздившегося городка подвизались последние разбойники острова. До сих пор сохранился обычай расставлять часовых вдоль всего пути, который туда ведет. Хотят ли этим успокоить или напугать путешественников? Не знаю.

При виде этих солдат, расставленных на некотором расстоянии друг от друга на всех поворотах дороги, невольно приходит на память легендарный часовой французского военного министерства. В течение десяти лет в коридоре, который вел в квартиру министра, ежедневно ставили часового, и он требовал от всех проходящих по коридору, чтобы они держались подальше от одной из стен; никто не знал, зачем это делалось. Вновь назначенный министр, отличавшийся умом пыт-

ливым и вступивший в должность после пятидесяти других, которые проходили мимо часового, не обращая на него внимания, заинтересовался причиной такой бдительности.

Никто не мог дать ему объяснений: ни правитель канцелярии, ни столоначальники министерства, уже полвека прочно сидевшие в своих креслах. Но один курьер, человек памятливый, а может быть, писавший мемуары, припомнил, что некогда там был поставлен часовой, потому что в коридоре перекрасили стену, а жена министра, не будучи предупреждена, запачкала краской платье. Краска высохла, а часовой остался.

Так и здесь: разбойники исчезли, а часовые на дороге в Монреале остались. Дорога эта извивается по горе и наконец доходит до города, чрезвычайно оригинального, очень колоритного и страшно грязного. Улицы, идущие уступами, словно вымощены острыми зубьями. Мужчины повязывают здесь головы красными платками, как испанцы.

Вот собор, большое здание, свыше ста метров длиною, в форме латинского креста с тремя абсидами и тремя нефами, отделенными друг от друга восемнадцатью колоннами из восточного гранита, опирающимися на беломраморное основание и на квадратный цоколь из серого мрамора. Поистине изумительный портал обрамляет великолепные бронзовые двери, которые создал *Bonannus, civis Pisanus* [1].

Внутренность этого храма отделана мозаикой на золотом фоне; богаче, совершенней и поразительней этой отделки ничего нельзя себе представить.

Эта мозаика, крупнейшая в Сицилии, сплошь покрывает стены на поверхности в *шесть тысяч четыреста метров*. Вообразите себе эту огромную и великолепную роспись, изображающую по стенам храма легендарную историю ветхого завета, миссии и апостолов. На золотом небе, развертывающем вокруг нефов фантастический горизонт, выступают в размерах больше человеческого роста пророки, возвещающие пришествие бога, Христос и те, кто окружал его.

---

[1] «Бонанн, пизанский гражданин» *(лат.)*.

В глубине алтаря гигантский лик Иисуса, напоминающий Франциска I, царит над храмом, словно наполняя и подавляя его,— так огромен и могуч этот странный образ.

Нельзя не пожалеть, что потолок, разрушенный пожаром, восстановлен так неискусно. Кричащий тон позолоты и слишком яркие краски режут глаза.

Рядом с собором вход в старинный монастырь бенедиктинцев.

Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели.

Как можно не любить монастырские дворы, эти спокойные, прохладные, замкнутые места, как будто придуманные для того, чтобы будить мысль, которая изливается из уст, глубокая и ясная, в то время как вы идете медленным шагом под длинными, навевающими грусть аркадами?

Они словно созданы для того, чтобы порождать размышления, эти каменные аллеи, аллеи маленьких колонн, замыкающих небольшой садик, на котором глаз спокойно отдыхает, не отвлекаясь, не рассеиваясь.

Дворы наших северных монастырей отличаются порою слишком монашеской, слишком унылой суровостью, даже самые красивые из них, как, например, дворик монастыря Сен-Вандриль в Нормандии. Сердце в них сжимается, душа мрачнеет.

Загляните, например, в печальный двор картезианского монастыря Верны в диких горах мавров. Холод пронизывает вас там до мозга костей.

И, наоборот, чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда. Он обширен, образует правильный квадрат, полон тонкого и пленительного изящества; тот, кто его не видел, не способен и представить себе, как может быть гармонична колоннада. Изысканная соразмерность, невероятная стройность этих легких колонн, идущих попарно, одна возле другой, причем все они разные — то выложенные мозаикой, то совсем гладкие, то украшенные несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узо-

ром, вырезанным в камне и обвивающимся вокруг них, как растение,— сначала поражают взгляд, потом чаруют, восхищают и порождают ту эстетическую радость, которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса.

Подобно прелестным четам колонн, капители тоже тончайшей работы и тоже отличны друг от друга. И, что редко бывает, восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей.

Глядя на этот шедевр красоты и изящества, невольно вспоминаешь стихи Виктора Гюго о греческом художнике, который сумел запечатлеть

> Красу, подобную улыбке человека,
> На очертаньях Пропилей.

Дивная галерея заключена в высокие, очень старые стены со стрельчатыми аркадами; это все, что уцелело от монастыря.

Сицилия — родина, подлинная, единственная родина колоннад. Все внутренние дворы старинных дворцов и старинных домов в Палермо украшены прелестными колоннадами, которые были бы знамениты во всякой другой стране, кроме этого острова, столь богатого памятниками зодчества.

Маленький дворик при церкви Сан-Джованни дельи Эремити, одной из древнейших норманских церквей восточного стиля, хотя и не столь замечателен, как монастырский двор в Монреале, но, тем не менее, гораздо интереснее всего, что мне довелось видеть в этом роде.

Выходя из монастыря, вы попадаете в сад, откуда открывается вид на всю долину, покрытую цветущими апельсиновыми деревьями. Из этой душистой рощи непрерывно несется ветерок, дурманящий ум и волнующий чувства. Кажется, что смутное и поэтическое желание, которое неотвязно преследует душу, витает вокруг нее, неуловимое, сводящее с ума, готово здесь осуществиться. Этот аромат, внезапно окутывающий вас, примешивает к эстетическим радостям изысканное наслаждение, доставляемое благоуханием, и погружает на миг вашу душу и тело в блаженный покой, близкий к чувству счастья.

Я поднимаю глаза на высокую гору, возвышающуюся над городом, и вижу на ее вершине развалины, которые заметил еще накануне. Сопровождающий меня друг расспрашивает местных жителей, и нам отвечают, что этот старинный замок был в самом деле последним убежищем сицилийских разбойников. И поныне почти никто не поднимается в старинную крепость, называемую Кастеллаччо. Не знают даже пути к ней, потому что она стоит на малодоступной вершине горы. Мы решаем туда взобраться. Один палермский житель, гостеприимно показывающий нам свою страну, настаивает на том, чтобы мы взяли проводника, но, не найдя никого, кто хорошо знал бы дорогу, обращается, не предупредив нас, к начальнику полиции.

И вскоре агент, профессия которого была нам неизвестна, начинает вместе с нами взбираться на гору.

Однако он и сам идет неуверенно и по дороге берет себе в помощь товарища, нового проводника, который должен вести и нас и его. Затем оба они начинают расспрашивать встречных крестьян и крестьянок, погоняющих своих ослов. Наконец какой-то священник советует нам идти все прямо вперед. И мы карабкаемся вверх, а за нами — наши проводники.

Дорога становится почти непроходимой. Приходится взбираться на скалы, подтягиваясь на руках. Это длится долго. Пламенное солнце, солнце восточных стран, изливает на наши головы отвесные лучи.

Наконец мы добираемся до вершины среди поразительного и великолепного хаоса огромных камней, торчащих из земли, серых, голых, круглых и остроконечных, которые окружают одичалый и полуразрушенный замок причудливым полчищем скал, уходящим далеко за пределы его стен.

Вид, открывающийся с этой вершины, один из самых изумительных. По склонам ощетинившейся горы спускаются глубокие долины, заключенные между другими горами, уходящими в глубь Сицилии бесконечной вереницей вершин и пиков. Против нас море, у наших ног Палермо. Город окружен апельсиновой рощей, которая носит название Золотой Раковины, и эта черно-зеленая роща тянется траурной каймой у подножия серых гор, рыжих гор, словно обожженных,

разъеденных и позолоченных солнцем, до того они обнажены и колоритны.

Один из наших проводников исчез. Другой идет за нами к развалинам. Они красивы в своей дикости и очень обширны. При входе чувствуется, что никто их не посещает. Повсюду под ногами гудит изрытая почва; местами видны входы в подземелья. Сопровождающий нас человек рассматривает их с любопытством и говорит, что несколько лет тому назад здесь жило много разбойников. Это было их лучшее и самое грозное убежище. Едва мы начинаем спускаться, появляется первый проводник, но мы отказываемся от его услуг и без труда открываем весьма удобную тропинку, по которой могла бы пройти и женщина.

Можно подумать, что сицилийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть иностранцев; даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь же безопасный, как Швейцария.

Вот одно из последних приключений, которое приписывают преступникам-бродягам. За правдивость этой истории я могу поручиться.

Один выдающийся палермский энтомолог, г-н Рагуза, открыл нового жука, которого долго смешивали с *Polyphilla Olivtei.* И вот некий немецкий ученый, г-н Краац, убедившись, что этот жук принадлежит к совершенно особому виду, и желая заполучить несколько его экземпляров, написал в Сицилию одному из своих друзей, г-ну ди Стефани, который, в свою очередь, адресовался к г-ну Джузеппе Миралья с просьбой поймать несколько таких насекомых. Но жуки исчезли по всему побережью. Как раз в это время г-н Ломбардо Марторана из Трапани сообщил г-ну ди Стефани, что только что поймал более пятидесяти полифилл.

Г-н ди Стефани поспешил предупредить об этом г-на Миралья следующим письмом:

«Дорогой Джузеппе!

Polyphilla Olivieri, узнав о твоих смертоубийственных намерениях, избрал иной путь и скрылся на побережье Трапани, где мой приятель Ломбардо захватил уже более пятидесяти».

Тут приключение начинает принимать характер трагикомедии и эпического неправдоподобия.

В это время, по слухам, в окрестностях Трапани бродил разбойник по имени Ломбардо.

Г-н Миралья бросил письмо своего друга в корзинку. Лакей опорожнил корзинку на улицу, а мусорщик, проходивший мимо, подобрал ее содержимое и выбросил в поле. Какой-то крестьянин, увидав в поле красивую голубую бумажку, почти не смятую, поднял ее и положил в карман из предосторожности или из инстинктивного стремления к стяжательству.

Прошло несколько месяцев, потом этого человека как-то вызвали в полицейское управление, где он выронил письмо. Жандарм схватил письмо и представил судье, которому бросились в глаза слова *смертоубийственные намерения, избрал иной путь, скрылся, захватил, Ломбардо.* Крестьянина посадили в тюрьму, допросили и заперли в одиночную камеру. Он ни в чем не сознался. Его держали под замком и повели строжайшее следствие. Судебные власти опубликовали подозрительное письмо, но так как они по ошибке прочитали «Петронилла Оливьери» вместо «Полифилла», то энтомологи не обратили на него внимания.

Наконец удалось разобрать подпись г-на ди Стефани, и его вызвали в суд. Его объяснения были признаны неудовлетворительными. Вызванный, в свою очередь, г-н Миралья в конце концов разъяснил это таинственное дело.

Крестьянин просидел в тюрьме три месяца.

Итак, последний сицилийский разбойник оказался особого вида жуком, известным в науке под именем *Polyphilla Ragusa.*

Теперь путешествовать по страшной Сицилии в экипаже, верхом или даже пешком можно вполне безопасно. Впрочем, самые интересные экскурсии можно совершить почти целиком в экипаже. Главная из них — эго экскурсия к храму Сегесты.

Столько поэтов воспело Грецию, что каждый из нас носит ее образ в своем воображении, каждый думает, что немного знает ее, каждый представляет ее себе такою, какой желал бы увидеть.

Для меня эту мечту воплотила Сицилия; она пока-

зала мне Грецию, и когда я думаю об этой стране искусства, мне кажется, что я вижу перед собою высокие горы с мягкими классическими очертаниями и на их вершинах храмы, строгие храмы, может быть, немного грузные, но удивительно величественные, какие встречаешь на этом острове повсюду.

Все видели Пестум и восхищались тремя великолепными развалинами, лежащими среди этой голой равнины, которая вдали переходит в море, а с другой стороны замыкается широким полукругом голубоватых гор. Но если храм Нептуна лучше сохранился и, как говорят, выдержан в более чистом стиле, чем храмы Сицилии, то последние расположены среди таких дивных, таких неожиданных пейзажей, что трудно даже вообразить себе то впечатление, которое они производят.

Покинув Палермо, прежде всего проезжаешь через апельсиновую рощу, прозванную Золотою Раковиной; далее железная дорога идет вдоль берега моря — берега сплошь из бурых гор и красных скал. Наконец путь уклоняется в глубь острова, и вы выходите на станции Алькамо-Калатафими.

Далее вы едете по чрезвычайно волнистой местности, похожей на море с чудовищными неподвижными волнами. Лесов нет, очень мало деревьев, только виноградники и хлебные поля; дорога идет в гору между двумя прерывающимися рядами цветущих алоэ. Можно подумать, что они уговорились между собою вознести в небо в один и тот же год и почти в один и тот же день свои огромные странные стебли, неоднократно воспетые поэтами. Бесконечной вереницей тянутся эти воинственные растения, толстые, колючие, в броне и с оружием, словно подняв свои боевые стяги.

После двухчасового примерно пути вы вдруг видите две высокие горы, соединенные отлогим склоном, закругленным в виде полумесяца от одной вершины к другой, а посередине этого полумесяца — профиль греческого храма, одного из тех величественных и прекрасных памятников, которые этот божественный народ воздвигал своим человекоподобным богам.

Приходится делать длинный объезд, чтобы обогнуть одну из этих гор, после чего перед нами появляется тот

же храм, но уже со стороны фасада. Теперь нам кажется, что он прислонен к горе, хотя его отделяет от нее глубокий овраг; но она развертывается за ним и над ним, обнимает, окружает, как будто укрывает и ласкает его. И он с великолепной отчетливостью выделяется всеми своими тридцатью шестью дорическими колоннами на широкой зеленой завесе, служащей фоном огромному зданию, одиноко стоящему среди безбрежно широкого простора.

Когда глядишь на этот величественный и простой пейзаж, чувствуешь, что здесь можно было поставить только греческий храм и что поставить его можно было только здесь. Мастера декоративного искусства, обучавшие человечество, показали, особенно в Сицилии, каким глубоким, утонченным знанием эффектов и компановки они обладали. Дальше я буду говорить о храмах Джирдженти. Храм Сегесты воздвигнут у подножия горы, наверно, гениальным человеком, которому в озарении открылось то единственное место, где надо было его воздвигнуть: этот храм один оживляет беспредельность открывшейся панорамы, придает ей жизнь и божественную красоту.

На вершине горы, вдоль подножия которой нам пришлось следовать, чтобы дойти до храма, находятся развалины театра.

Когда попадаешь в страну, где греки жили или основали некогда свои колонии, достаточно разыскать их театры, чтобы найти место, с которого открываются самые красивые виды. Если они воздвигали свои храмы именно в тех местах, где последние производят наибольший эффект и лучше всего украшают пейзаж, то театры, наоборот, они помещали именно там, где глазу открывалась наиболее волнующая перспектива.

Сегестский театр, расположенный на вершине горы, образует центр целого амфитеатра возвышенностей, окружность которого достигает по меньшей мере от ста пятидесяти до двухсот километров. Вдали, за ближайшими вершинами, глаз различает еще другие, а сквозь широкий пролет, прямо против вас, видно море, синее среди зеленых вершин.

На следующий день после осмотра Сегесты можно посетить и Селинунт — огромное нагромождение рух-

пувших колонн, одни из которых упали рядами друг подле друга, как убитые солдаты, другие же рассыпаны хаотическими грудами.

Эти развалины гигантских храмов, самые обширные в Европе, наполняют целую равнину и усеивают еще один холм в конце этой равнины. Они тянутся по всему взморью, длинному взморью, покрытому бледным песком, на котором лежит несколько рыбацких лодок, хотя нигде не видно жилья рыбаков. Впрочем, эти бесформенные кучи камней могут заинтересовать только археологов или людей с поэтической душой, которых волнуют следы прошлого.

Джирдженти — древний Агригент,— расположенный, как и Селинунт, на южном берегу Сицилии, представляет самое удивительное собрание храмов, какое только можно увидать.

На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, берегом и гаванью на синем фоне южного неба,— если глядеть снизу,— величественные каменные очертания трех великолепных храмов.

Они как бы парят в воздухе среди этого великолепного и печального пейзажа. Все мертво, бесплодно и желто вокруг них, перед ними и позади них. Солнце сожгло, испепелило землю. А может быть, и не солнце источило почву, а подземный огонь, который никогда не угасает в жилах этого вулканического острова. Ведь повсюду вокруг Джирдженти тянется своеобразная область серных копей. Здесь все из серы: земля, камни, песок, решительно все.

А они, эти храмы, вечные жилища богов, умерших так же, как и их братья, люди, по-прежнему стоят на диких холмах на расстоянии полукилометра друг от друга.

Вот прежде всего храм Лакинийской Юноны, где, по преданию, хранилась знаменитая картина с изображением Юноны, написанной Зевксисом, который выбрал себе для модели пять самых красивых девушек Акрагаса.

Потом храм Мира, один из наиболее сохранивших-

ся храмов древности, потому что он в средние века служил церковью.

Еще дальше — остатки храма Геркулеса.

И наконец гигантский храм Юпитера, тот храм, который снискал похвалу Полибия и был описан Диодором; он построен в V веке и содержит тридцать восемь полуколонн по шести с половиной метров в окружности. В каждом желобке такой колонны может поместиться человек.

Сидя на краю дороги, идущей у подножия этого изумительного скалистого побережья, невольно предаешься мечтам и воспоминаниям об этом величайшем народе-художнике. Кажется, что видишь перед собою весь Олимп, Олимп Гомера, Овидия, Вергилия, Олимп очаровательных богов, плотских, страстных, как мы сами, поэтически олицетворявших все порывы нашего сердца, все грезы нашей души, все влечения наших чувств.

На фоне этого античного неба встает весь античный мир. Вас охватывает могучее и необычное душевное волнение, вам хочется преклонить колени перед этим величественным наследием, оставленным нам учителями наших учителей.

Конечно, Сицилия — прежде всего священная земля, ибо если мы в ней находим эти последние обители Юноны, Юпитера, Меркурия и Геркулеса, то здесь же встречаются и самые замечательные христианские церкви в мире. Воспоминание, которое остается у вас о соборах в Чефалу или в Монреале, а также о Дворцовой капелле, об этом чуде из чудес, еще более глубоко и живо, чем воспоминание о памятниках греческой архитектуры.

У подножия холма с храмами Джирдженти начинается изумительная страна, которая представляется подлинным царством сатаны; ведь если, как верили в прежние времена, сатана обитает в обширной подземной области, где в расплавленной сере варятся грешники, то несомненно, что он основал свое таинственное царство именно в Сицилии.

Сицилия дает чуть ли не всю мировую добычу серы. На этом огненном острове серные копи насчитываются тысячами.

Прежде всего, в нескольких километрах от города находится любопытный холм, названный Маккалуба, состоящий из глины и известняка и покрытый небольшими конусами в два — три фута высотою. Они напоминают нарывы, какую-то чудовищную болезнь природы, так как из каждого конуса течет горячая грязь, похожая на отвратительный почвенный гной; порою они выбрасывают на значительную высоту камни и со страшным хрипом выдыхают газы. Кажется, что они ворчат, эти грязные, стыдливые маленькие вулканы, прокаженные ублюдки, прорвавшиеся нарывы.

Оттуда мы отправляемся осматривать серные копи. Мы вступаем в область гор. Это поистине страна опустошения, жалкая, как бы проклятая земля, осужденная самой природой. Перед нами открываются серые, желтые, каменистые, мрачные долины, носящие на себе печать божьего гнева и в то же время словно гордящиеся своим одиночеством и нищетой.

Наконец нам удается разглядеть какие-то жалкие низенькие постройки. Там находятся копи. В этой местности их, кажется, насчитывают более тысячи.

При входе в ограду одной из копей нам прежде всего бросается в глаза странный холмик, сероватый и дымящийся. Это и есть серный источник, созданный трудом человека.

Вот как добывают серу. Выходя из копей, она черновата, смешана с землей, с известняком и прочими породами. Она представляет собою нечто вроде камня, твердого и ломкого. Как только эти камни доставлены из штольни, их складывают в высокую кучу, которую затем поджигают изнутри. И вот медленный, непрерывный и глубокий пожар в течение целых недель пожирает центр этой искусственной горы, выделяя из нее чистую серу, которая плавится и стекает, как вода, по маленькому каналу.

Полученный таким образом продукт снова обрабатывают в чанах, где он кипит и окончательно очищается.

Копи, из которых добывают серу, похожи на любые другие копи. По узкой лестнице с огромными неровными ступенями вы спускаетесь в штольни, вырытые в сплошном слое серы. Этажи, расположен-

ные одни над другими, соединены широкими отверстиями, подающими воздух в самые глубокие из них. И все же в конце спуска вы задыхаетесь от удушливых серных испарений и страшной, как в бане, жары, от которой бьется сердце и кожа покрывается испариной.

Время от времени вам попадается навстречу партия взбирающихся по крутой лестнице детей, нагруженных корзинами. Надрываясь под тяжестью ноши, несчастные мальчуганы хрипят и задыхаются. Им по десяти — двенадцати лет, и они проделывают это ужасное путешествие по пятнадцати раз в день за плату в одно су за каждый подъем. Они низкорослые, худые, желтые, с огромными блестящими глазами, с худыми лицами и тонкими губами, открывающими зубы, блестящие, как их глаза.

Эта возмутительная эксплуатация детей — одно из самых тягостных зрелищ, какое только можно видеть.

Но на другом берегу острова, или, вернее сказать, в нескольких часах езды от берега, можно наблюдать такое изумительное явление природы, что, увидев его, вы забываете о ядовитых копях, где убивают детей. Я говорю о Вулькано, этом фантастическом серном цветке, распустившемся среди открытого моря.

Вы отплываете в полночь из Мессины на грязном пароходе, где даже пассажиры первого класса не могут найти скамейки, чтобы присесть на палубе.

Ни малейшего ветерка; движение судна одно нарушает тишину воздуха, словно дремлющего над водой.

Берега Сицилии и берега Калабрии благоухают таким сильным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, что весь пролив надушен, как женская спальня. Вскоре город уходит вдаль, мы плывем между Сциллой и Харибдой, горы позади нас опускаются, и над нами появляется приплюснутая снеговая вершина Этны; при свете полной луны гора кажется увенчанной серебром.

Потом вы ненадолго засыпаете — монотонный шум винта убаюкивает — и открываете глаза уже при свете зарождающегося дня.

Вон там, прямо против вас, Липарские острова. Первый слева и последний справа выбрасывают в не-

бо клубы густого белого дыма. Это Вулькано и Стромболи. Между этими двумя огнедышащими горами вы видите Липари, Филикури, Аликури и несколько островков, невысоко подымающихся над водой.

Вскоре пароход останавливается перед маленьким островом и маленьким городком Липари.

Несколько белых домов у подножия высокого зеленого берега. Больше ничего, и ни единой гостиницы: иностранцы не приезжают на этот остров.

Он плодороден, очарователен, окружен восхитительными скалами причудливых форм, густого приглушенного красного цвета. Здесь имеются минеральные воды, которые раньше посещались, но епископ Тодазо велел разрушить построенные тут купальни, дабы оградить свою паству от притока и влияния иностранцев.

Липари заканчивается на севере оригинальной белой горой, которую издали под более холодным небом можно было бы принять за снеговую. Здесь добывают пемзу для всего света.

Я нанимаю лодку, чтобы посетить Вулькано.

Четыре гребца ведут ее вдоль плодородного берега, засаженного виноградниками. Странно видеть отражение красных скал в синем море. Вот и маленький пролив, разделяющий оба острова. Конус Вулькано выступает из волн, как огнедышащая гора, потонувшая в море до самой вершины.

Это дикий островок, наиболее высокая точка которого достигает четырехсот метров над уровнем моря, а поверхность равняется приблизительно двадцати квадратным километрам. Прежде чем добраться до него, приходится объехать другой островок, Вульканелло, поднявшийся внезапно из воды около двухсотого года до рождества Христова и соединенный со старшим своим братом узкою полосою земли, которая в бурную погоду заливается волнами.

Но вот мы в глубине плоской бухты, прямо против дымящегося кратера. У его подножия стоит дом, в котором живет один англичанин; в эту минуту он, по-видимому, спит, иначе я не имел бы возможности взобраться на вулкан, эксплуатируемый этим промышленником; но он спит, и я прохожу обширным огородом, затем минуя небольшой виноградник, принадлежащий

англичанину, и наконец целую рощу цветущего испанского дрока. Кажется, что огромный желтый шарф обмотан вокруг конуса горы, вершина которой тоже желтая, ослепительно желтая под яркими лучами солнца. Я подымаюсь по узкой тропинке, которая извивается по пеплу и лаве, поворачивает то вправо, то влево и возвращается назад, крутая, скользкая и твердая. Местами вы видите окаменевший каскад серы, который излился из расселины, подобно водопадам, низвергающимся в швейцарских горах.

Это похоже на ручей из феерии, на застывший свет, на поток солнечных лучей.

Я наконец добираюсь до вершины — до широкой площадки, окружающей большой кратер. Земля дрожит, и передо мной из отверстия величиной с человеческую голову неистово вырывается огромный фонтан пламени и пара, а с краев этого отверстия стекает жидкая сера, позолоченная огнем. Она образует вокруг этого фантастического источника желтое, быстро затвердевающее озеро.

Дальше другие расселины также извергают белый пар, подымающийся тяжелыми клубами в синем воздухе.

Я не без страха ступаю по горячему пеплу и лаве и дохожу до самого края большого кратера. Трудно представить себе зрелище более неожиданное и поражающее.

На дне огромной чаши, называемой «фосса», шириною в пятьсот метров и около двухсот глубиною, штук десять гигантских расселин и широких круглых отверстий изрыгают огонь, дым и серу со страшным шумом кипящих котлов. Спускаюсь по склону этой пропасти и прохожу у самого края разъяренных пастей вулкана. Все желто вокруг меня, у моих ног и надо мною, ослепительно, умопомрачительно желто. Все желто: почва, высокие стены кратера и самое небо. Желтое солнце льет в клокочущую бездну пылающий свет, который в соединении с жаром этой серной чаши причиняет боль, словно ожог. И видишь, как кипит текущая желтая жидкость, видишь, как расцветают причудливые кристаллы, как пенятся кислоты ярких и странных оттенков на раскаленных губах очагов.

Англичанин, почивающий в эту минуту у подножия горы, собирает, эксплуатирует и продает эти кислоты, эти жидкости, все то, что изрыгает кратер; ведь все это, по-видимому, стоит денег, и больших денег.

Я медленно возвращаюсь, с трудом переводя дух, запыхавшись, чувствуя удушье от невыносимого дыхания вулкана, и, вскоре достигнув вершины конуса, вижу все Липарские острова, рассыпанные, как бусинки, вдоль берега.

Вон там, прямо напротив, возвышается Стромболи, а позади меня — гигантская Этна, которая словно смотрит издали на своих детей и внуков.

На обратном пути я заметил с лодки скрывавшийся за Липари остров. Лодочник назвал его «Салина». На этом-то острове и выделывают мальвазию.

Мне захотелось выпить на месте бутылку этого знаменитого вина. Оно похоже на сироп из серы. Это подлинное вино вулканов, густое, сладкое, золотистое и настолько насыщенное серою, что вкус ее остается у вас во рту до самого вечера. Вино сатаны.

Грязный пароходик, который доставил нас сюда, увозит меня и обратно. Сперва я вижу Стромболи. Это круглая высокая гора, вершина которой дымится, а подножие погружено в море. Это просто огромный конус, подымающийся из воды. На склонах горы видишь несколько домов, прилепившихся к ней, как морские раковины к скале. Затем глаза мои обращаются к Сицилии, куда я возвращаюсь, и уже не могут оторваться от Этны, грузно усевшейся на острове, подавляя его своей страшной, чудовищной тяжестью и возвышаясь снежною вершиною над всеми другими сицилийскими горами.

Все эти высокие горы выглядят карлицами перед Этной, но и сама она кажется невысокой, настолько она широка и тяжела. Чтобы постигнуть размеры этого грузного великана, надо глядеть на него с открытого моря.

Налево показывается гористое побережье Калабрии, и Мессинский пролив раскрывается, как устье реки. Мы проникаем в него и вскоре входим в гавань.

Город Мессина не представляет ничего интересного. В тот же день я сажусь в поезд и еду в Катанию. До-

рога идет по очаровательному берегу, огибает заливы причудливой формы, которые оживлены маленькими белыми деревушками, расположенными в глубине бухт и около песчаных пляжей. А вот и Таормина.

Если бы человек, располагающий всего одним днем для пребывания в Сицилии, спросил меня: «Что мне повидать в Сицилии?»,— я бы, не колеблясь, ответил ему: «Таормину».

Это только пейзаж, но такой пейзаж, в котором вы найдете все то, что, словно нарочно, создано на земле, чтобы пленять взор, ум и воображение.

Деревня прилепилась к склону большой горы, словно скатившись с ее верха, но мы только проходим через нее, хотя там есть несколько интересных памятников старины, и направляемся к греческому театру, чтобы оттуда полюбоваться заходом солнца.

Говоря о театре в Сегесте, я сказал, что греки как несравненные мастера декоративного искусства умели выбрать то единственное место, где должен быть построен театр, место, созданное для того, чтобы радовать эстетическое чувство.

Театр Таормины так изумительно расположен, что во всем мире не найдется места, которое могло бы выдержать сравнение с ним. Проникнув в ограду и осмотрев сцену, единственную, которая хорошо сохранилась до наших дней, вы подымаетесь на обрушившиеся и поросшие травою скамьи амфитеатра; некогда они предназначались для публики и могли вместить тридцать пять тысяч зрителей. Затем вы бросаете взгляд вокруг.

Прежде всего вы видите развалины, печальные, гордые, рухнувшие; среди них стоят, все еще совершенно белые, прелестные мраморные колонны, увенчанные капителями; далее, поверх стен, вы видите у своих ног безграничную морскую даль, берег, который тянется до самого горизонта, усеянный огромными скалами, окаймленный золотыми песками, оживленный белыми деревушками; а вправо от вас, превыше всего, господствуя над всем, заполняя своей массой половину небосклона,— дымящая в отдалении, покрытая снегом Этна.

Где в наши дни найдется народ, который сумел бы создать нечто подобное? Где люди, которые для увесе-

Худ. Л а н о. 1903. «ИТАЛЬЯНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ».

Худ. Л а н о. 1903. «СИЦИЛИЯ».

ления толпы сумели бы воздвигнуть здания, подобные этому?

А вот те люди, люди древности, обладали душой и глазами, не похожими на наши, и в их крови было нечто такое, что теперь исчезло: любовь к Прекрасному и восхищение им.

Но мы едем в Катанию, откуда я намереваюсь взобраться на вулкан.

Время от времени он показывается между двумя горами, увенчанный неподвижным белым облаком паров, исходящих из кратера.

Повсюду вокруг нас почва коричневая, цвета бронзы. Поезд несется по берегу из лавы.

Все же чудовище еще далеко от нас, пожалуй, на расстоянии тридцати шести или сорока километров. Тут только постигаешь, до чего оно огромно. Его гигантская черная пасть время от времени изрыгала горячий поток горной смолы, который стекал по отлогим или крутым скатам, заполнял долины, погребал деревни, уносил людей, как река, и наконец, докатившись до берега, угасал в море, заставляя его отступать. Эти медленные, вязкие красные волны образовали гряды прибрежных утесов, горы и овраги, затем они затвердели и потемнели, создав вокруг огромного вулкана черную и странную местность, изрытую, бугристую, извилистую, невероятную, начертанную случайностью извержений и страшной фантазией горячей лавы.

Иногда Этна в течение нескольких веков пребывает в покое и только выпускает из кратера в небо тяжелые клубы дыма. Тогда под действием дождей и солнца лава старых потоков распыляется, превращаясь в своего рода золу, в песчаную и черную землю, на которой растут оливковые, апельсиновые, лимонные и гранатовые деревья, виноградники и хлеба.

Трудно найти местечко более зеленое, более привлекательное, более чарующее, чем Ачи-Реале, расположенный среди апельсиновой и оливковой рощи. Далее между деревьев порою снова мелькает широкая черная полоса, устоявшая перед временем, сохранившая первоначальные формы кипящей лавы, необычайные контуры, подобия сплетенных животных и сведенных рук и ног.

А вот и Катания, обширный и красивый город, весь выстроенный на лаве. Из окон Гранд-отеля мы видим вершину Этны.

Прежде чем на нее взобраться, расскажем в нескольких словах историю этой горы. По верованию древних, Этна была кузницей Вулкана. Пиндар описал извержение 476 года, однако Гомер не упоминает об Этне как об огнедышащей горе. Впрочем, уже в доисторические времена сиканы вынуждены были бежать от нее. Всех ее извержений насчитывается около восьмидесяти.

Самые страшные были в 396, 126 и 122 годах до рождества Христова, далее извержения 1169, 1329, 1537 и особенно сильное в 1669 году, которое выгнало из жилищ свыше двадцати семи тысяч человек и уничтожило очень многих.

Тогда-то и вышли неожиданно из земли две высоких горы — Монти Росси.

Извержение 1693 года, сопровождаемое страшным землетрясением, разрушило около сорока городов и погребло под их развалинами почти сто тысяч человек. Извержение в 1755 году произвело страшные опустошения. Извержения 1792, 1843, 1852, 1865, 1874, 1879 и 1882 годов были столь же сильны и разрушительны. Лава то вырывается из главного кратера, то открывает для себя на склонах горы новые выходы в пятьдесят — шестьдесят метров шириною и, прорвавшись сквозь эти расселины, стекает в равнину.

26 мая 1879 года лава, сперва вытекавшая из кратера, возникшего в 1874 году, вскоре прорвалась из нового конуса высотою в сто семьдесят метров, образовавшегося под ее напором на высоте в две тысячи четыреста пятьдесят метров над уровнем моря. Она быстро сбегала вниз и, перерезав дорогу из Лингваглосса в Рондаццо, остановилась близ речки Алькантара. Пространство, залитое этим потоком лавы, равнялось двадцати двум тысячам восьмистам шестидесяти гектарам, хотя извержение длилось не более десяти дней.

В то время кратер на вершине Этны извергал лишь густые клубы пара, песок и пепел.

Благодаря исключительной любезности г-на Рагуза, члена Альпийского клуба и владельца Гранд-отеля, мы

совершили с величайшей легкостью восхождение на вулкан, восхождение, несколько утомительное, но вовсе не опасное.

Сперва мы ехали в экипаже до Николози — через поля и сады, деревья которых выросли на разрыхленной лаве. Время от времени мы пересекали потоки застывшей лавы, сквозь которую прорублен проход для дороги. Почва повсюду черная.

После трёх часов пути по отлогому скату мы доезжаем до последней у подножия Этны деревни Николози, расположенной уже на высоте семисот метров и на расстоянии четырнадцати километров от Катании.

Здесь мы оставляем коляску, берем проводника, мулов, одеяла, шерстяные чулки и перчатки и отправляемся дальше.

Уже половина пятого. Жгучее солнце восточных стран изливает свои лучи на эту необыкновенную землю, накаляет ее и жжет.

Животные идут медленно, усталым шагом, поднимая вокруг себя облака пыли. Последний мул, нагруженный багажом и провизией, то и дело останавливается, словно огорчаясь тем, что ему еще раз приходится проделывать этот бесполезный и трудный путь.

Теперь вокруг нас виноградники, растущие на лаве, одни — старые, другие — недавно посаженные. А вот ланда, ланда из лавы, покрытая цветущим дроком, золотая ланда; потом мы пересекаем огромный поток застывшей лавы 1882 года и останавливаемся, пораженные этой грандиозной рекой, черной и неподвижной, этой бурлящей и окаменелой рекой, докатившейся сверху, с дымящейся вершины, такой далекой-далекой, километров за двадцать отсюда. Эта река текла по долинам, огибала остроконечные вершины, пересекала равнины, и вот она теперь у наших ног, внезапно остановившаяся в своем течении, когда иссяк ее огненный источник.

Мы подымаемся, оставляя слева горы Монти Росси и открывая все время другие горы, множество других гор, которые наши проводники называют сыновьями Этны, выросшими вокруг этого чудовища, обвитого ожерельем вулканов. Их всего около трехсот пятидеся-

ти, этих черных отпрысков старого вулкана; многие из них достигают высоты Везувия.

Теперь мы проезжаем через редкий лес, тоже выросший на лаве. Вдруг поднимается ветер. Сперва это резкие, сильные порывы, за которыми следует момент затишья, потом налетает бешеный, почти непрерывный ураган, который вздымает и мчит густые тучи пыли.

Мы останавливаемся за стеной из лавы, чтобы переждать, и задерживаемся здесь до ночи. Наконец приходится опять пускаться в путь, хотя буря не прекращается.

И вот понемногу нас охватывает холод, тот пронизывающий холод горных вершин, который леденит кровь и парализует тело. Он словно подстерегает нас, притаившись в самом ветре; он колет глаза и жжет кожу леденящими прикосновениями. Закутавшись в одеяла, мы идем, белые, как арабы, надев теплые перчатки, закрыв головы капюшонами и предоставив нашим мулам самим выбирать дорогу; они следуют гуськом, один за другим, спотыкаясь на неровной и темной тропе.

Вот наконец Casa del Bosco, лесная хижина, в которой живут пять — шесть дровосеков. Проводник заявляет, что дальше идти в такую бурю невозможно, и мы просим приюта на ночь. Дровосеки встают, зажигают огонь и уступают нам два теплых соломенных матраца, набитых, видимо, одними блохами. Вся хижина дрожит и колеблется под напором бури, и ветер бешено врывается под плохо скрепленные черепицы кровли.

Не придется нам увидать восход солнца на вершине горы.

После нескольких часов отдыха без сна мы снова пускаемся в путь. Настал день, и ветер стихает.

Теперь перед нами развертывается черная волнистая местность; она незаметно подымается к области вечных снегов, ослепительно блистающих у подножия последнего конуса высотою в триста метров.

Хотя солнце восходит на безоблачно синем небе, но от холода, от жестокого холода горных высот, стынут пальцы и лицо. Наши мулы медленно бредут гуськом

по извилистой тропе, огибающей все капризные неровности лавы.

Вот первая снежная поляна. Мы делаем крюк, чтобы ее обойти. Но вскоре за первой следует вторая, которую приходится пересекать по прямой линии. Животные в нерешительности нащупывают ногами путь и осторожно продвигаются вперед. Вдруг я чувствую, что проваливаюсь. Передние ноги моего мула пробили корку замерзшего снега, на которую они опирались, и животное погрузилось по самую грудь. Испуганный мул бьется, подымается, снова проваливается всеми четырьмя ногами и опять подымается, чтобы снова упасть.

То же происходит и с другими мулами. Нам приходится спешиться, успокаивать их, помогать им, вытаскивать их. На каждом шагу они погружаются по брюхо в эту белую и холодную пену, куда наши ноги также уходят до колен. Между полосами снега, покрывающего впадины, нам снова попадается лава, широкие равнины лавы, подобные огромным полям черного бархата, сверкающие под солнцем так же ярко, как самый снег. Это *пустынная область,* мертвая страна, как бы одетая в траур, сплошь белая и черная, ослепительная, страшная, великолепная, незабываемая.

После четырех часов тяжелого пути мы доходим до Casa Inglese [1], маленького каменного домика, окруженного льдами, почти погребенного в снегах, у подножия последнего конуса, который возвышается за ним, огромный, отвесный, увенчанный дымом.

Обычно здесь проводят ночь на соломе, чтобы утром взойти на вершину кратера и полюбоваться оттуда восходом солнца. Здесь мы оставляем своих мулов и начинаем взбираться по этой страшной стене из застывшего пепла, подающегося под ногами, где не за что ухватиться, не за что удержаться, где сползаешь назад через каждые два шага. Мы подвигаемся вперед, задыхаясь, тяжело переводя дух, втыкая в мягкую почву железное острие палки и поминутно останавливаясь.

При подъеме необходимо втыкать палку между колен, чтобы не поскользнуться и не слететь вниз: скат та-

[1] Английский дом *(итал.).*

кой крутой, что на нем невозможно удержаться даже сидя.

Приходится затратить около часа, чтобы взобраться на триста метров. Уже с некоторого времени горло щекочут удушливые серные пары. То справа, то слева мы видим высокие столбы дыма, вырывающиеся из расселин в почве; мы дотрагиваемся руками до больших раскаленных камней. Наконец мы достигаем узкой площадки. Перед нами, как белый занавес, медленно подымается густое облако, исходящее от земли. Мы делаем еще несколько шагов, закрывая нос и рот, чтобы не задохнуться от серы, и вдруг под самыми нашими ногами разверзается огромная страшная пропасть *пяти* километров в окружности. Сквозь удушливые испарения едва можно разглядеть противоположный край этой чудовищной ямы, достигающей в ширину тысячи пятисот метров, отвесные стены которой уходят в таинственную и страшную область огня.

Зверь сейчас спокоен; он спит в глубине, в самой глубине. Только дым вырывается из этой гигантской трубы, вышиною в три тысячи триста двенадцать метров.

Вокруг нас еще более необычайное зрелище. Всю Сицилию скрывают от наших взоров туманы, которые обрываются на берегу моря, окутывая одну лишь сушу; мы словно стоим в небе, над облаками, среди голубого воздушного океана, на такой высоте, что Средиземное море, простирающееся перед нами, насколько видно глазу, тоже кажется синим небом. Лазурь обнимает нас со всех сторон. Мы же стоим на вершине дивной горы, которая как бы выходит из облаков и тонет в небесах, распростершихся над нашей головой, у наших ног, повсюду.

Но мало-помалу туман, разлитый над островом, подымается вокруг нас и окружает огромный вулкан кольцом облаков, бездной облаков. Теперь и мы, в свою очередь, на дне совершенно белого кратера, откуда уже ничего не видно, кроме голубого неба там, наверху.

Говорят, что в другие дни картина бывает совершенно иная.

Обычно ждут восхода солнца, которое появляется из-за берегов Калабрии. Они далеко отбрасывают тень через море, до самого подножия Этны, темный, необъятный силуэт которой покрывает всю Сицилию своим огромным треугольником, постепенно тающим, по мере того как восходит дневное светило. Тогда открывается панорама диаметром больше четырехсот километров и окружностью в тысячу триста километров, с Италией на севере и с Липарскими островами, оба вулкана которых словно приветствуют своего отца; далеко на юге едва виднеется Мальта. В сицилийских портах корабли похожи на ползущих по морю насекомых.

Александр Дюма-отец дал нам восторженное и очень удачное описание этой картины.

Мы начинаем спускаться по крутому склону кратера больше на спине, чем на ногах, и вскоре вступаем в пояс густых облаков, окружающих вершину горы. Целый час мы пробираемся сквозь туман и наконец выходим из него и видим у наших ног зеленый остров с изрезанными берегами, с заливами, мысами, городами и с обрамляющим его ярко-синим морским простором.

По возвращении в Катанию мы на другой же день отправляемся в Сиракузы.

Путешествие по Сицилии надо завершать посещением этого небольшого, оригинального и очаровательного городка. Он прославился не менее самых крупных городов; царствовавшие в нем тираны были столь же знамениты, как и Нерон; город производит вино, воспетое поэтами, и господствует над заливом, в который впадает небольшая речка Анапо, а на берегах этой речки растет папирус — хранитель тайн человеческой мысли. В стенах Сиракуз заключена одна из прекраснейших Венер в мире.

Люди пересекают материки, чтобы поклониться какой-либо чудотворной статуе, я же совершил паломничество, чтобы поклониться Венере Сиракузской.

В альбоме одного путешественника я как-то увидел фотографию этой божественной мраморной самки; и я влюбился в нее, как влюбляются в живую женщину. Возможно, что ради нее я и предпринял это путешествие; я говорил и мечтал о ней постоянно, еще не видев ее.

Но мы приехали слишком поздно, чтобы попасть в музей, вверенный попечению профессора Франческо Саверио Кавалари, который, подобно новому Эмпедоклу, спустился в кратер Этны, чтобы выпить там чашку кофе.

Итак, мне оставалось пройтись по городу, построенному на островке и отделенному от суши тремя стенами, между которыми проходят три морских пролива. Город, небольшой и привлекательный, стоит на берегу залива, и его сады и бульвары спускаются к самой воде.

Затем мы отправляемся осмотреть Латомии — огромные ямы под открытым небом, которые сперва были каменоломнями, а впоследствии превратились в тюрьмы, где в течение восьми месяцев были заключены афиняне, взятые в плен после поражения Никия; они страдали в этом огромном рву от голода, жажды, невыносимой жары и умирали в грязи, где кишела всякая нечисть.

В одной из них, в Райской Латомии, в глубине пещеры имеется странное отверстие, называемое ухом Дионисия, который, по преданию, подходил к краю этой дыры, чтобы слушать стоны своих жертв. Существуют и другие версии. Некоторые хитроумные ученые полагают, что эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при ее необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров.

Самая любопытная из Латомий,— несомненно, Латомия капуцинов; это большой широкий сад, разделенный сводами, арками, огромными скалами и окруженный белыми утесами.

Немного подальше можно осмотреть катакомбы, занимающие, как говорят, площадь в двести гектаров, где г-н Кавалари нашел один из самых красивых христианских саркофагов, какие только известны.

Затем мы возвращаемся в нашу скромную гостиницу над морем и долго сидим, погрузившись в смутные грезы, глядя на красный и синий глаз корабля, стоящего на якоре.

Наступает утро, и так как о нашем посещении предупреждены, то нам тотчас же открывают двери оча-

ровательного маленького дворца, в котором заключены местные коллекции и произведения искусства.

Войдя в музей, я тотчас увидал ее в глубине одной залы; она была прекрасна, как я ее себе и представлял.

У нее нет головы и недостает руки, но никогда еще формы человеческого тела не казались мне более дивными и более волнующими.

Это не опоэтизированная, не идеализированная женщина, не величественная или божественная женщина, как Венера Милосская,— это женщина, какова она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять.

Она полная, с сильно развитою грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами; это плотская Венера, и когда видишь, как она стоит, ее мечтаешь увидеть лежащей. Отломанная рука прикрывала ее грудь; уцелевшею рукою она приподымает одежду, очаровательным жестом заслоняя сокровеннейшие свои прелести. Все ее тело изваяно и задумано ради этого движения, все линии сосредоточены на нем, вся мысль устремлена на него. Этим простым и естественным жестом, полным стыдливости и бесстыдства, который прячет и указывает, скрывает и обнаруживает, привлекает и отстраняет, как будто и определяется все положение женщины на земле.

И мрамор живет. Хочется его ощупать; кажется, что он подастся под рукой, как живое тело.

Бедра в особенности дышат жизнью и красотой. Как развертывается во всей своей прелести эта волнистая округлая линия женской спины, что идет от затылка до ступни и выказывает все оттенки человеческой грации в контурах плеч, в округленности бедер, в легком изгибе икр, утончающихся к щиколоткам!

Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ и точное выражение реального.

Венера Сиракузская — это женщина и в то же время символ плоти.

Глядя на голову Джоконды, вы чувствуете себя во власти какого-то искушения мистической и расслабляющей любви. Существуют и живые женщины, глаза которых внушают нам эту мечту о несбыточном, таин-

ственном счастье. В них мы ищем чего-то иного, скрытого за тем, что есть на самом деле: нам кажется, будто они носят в себе и выражают какую-то долю этого неуловимого идеала. Мы гонимся за ним, никогда его не достигая, мы ищем его за всеми неожиданными проявлениями красоты, которые, как нам кажется, таят в себе скрытую мысль, мы ищем его в беспредельной глубине взгляда, которая на самом деле только оттенок радужной оболочки, в очаровании улыбки, которое зависит лишь от складки губ и мгновенного блеска эмали зубов, в грации движений, порожденной случайностью и гармонией форм.

Так поэты, бессильно пытающиеся сорвать звезды с неба, всегда мучились жаждою мистической любви. Естественная экзальтация поэтической души, доведенная до крайности художественным возбуждением, заставляет эти избранные натуры создавать себе какую-то туманную любовь, безумно нежную, полную экстаза, никогда не удовлетворенную, чувственную, но не плотскую, настолько утонченную, что она исчезает от самой ничтожной причины, недосягаемую и сверхчеловеческую. И эти поэты, пожалуй, единственные мужчины, которые никогда не любили ни одной женщины, настоящей женщины, с плотью и кровью, с ее женскими достоинствами и женскими недостатками, с ограниченным, но очаровательным женским умом, с женскими первами, со всей волнующей природой самки.

Всякая женщина, вдохновляющая их мечту, является символом существа таинственного, но сказочного, того существа, какое они воспевают, эти певцы иллюзий. Она, эта живая, обожаемая ими женщина, является для них чем-то вроде раскрашенной статуи, вроде иконы, перед которой народ преклоняет колени. Где же это божество? Что оно представляет собой? В какой части неба обитает та незнакомка, которой поклонялись все эти безумцы, от первого мечтателя до последнего? Едва они касаются руки, отвечающей на их пожатие, как душа их уносится на крыльях невидимой грезы, далеко от земной действительности.

Обнимая женщину, они преображают, дополняют, искажают ее своим искусством поэтов. Это не ее губы они целуют: это губы, которые им пригрезились. Не в

глубину ее синих или черных глаз погружается их восторженный взор, но во что-то неведомое и непознаваемое. Взор их любовницы — лишь окно, через которое они стремятся увидеть рай идеальной любви.

Но если некоторые женщины, волнующие нас, могут внушить нашей душе эту редкую иллюзию, то другие пробуждают в наших жилах тот бурный порыв любви, который положил начало человеческому роду.

Венера Сиракузская является совершенным выражением этой мощной, здоровой и простой красоты. Говорят, что этот чудный торс, изваянный из парасского мрамора, и есть та самая Венера Каллипига, которую описали Афиней и Лампридий и которую подарил сиракузянам император Гелиогабал.

Она без головы? Ну так что же! Символ от этого стал еще полнее. Это женское тело выражает всю истинную поэзию ласки.

Шопенгауэр сказал, что природа, желая увековечить человеческий род, превратила акт его воспроизведения в ловушку.

Эта мраморная статуя, которую можно видеть в Сиракузах,— подлинная ловушка для людей, которую угадал древний ваятель; это женщина, скрывающая и в то же время показывающая соблазнительную тайну жизни.

Ловушка? Ну так что ж! Она притягивает уста, привлекает руку, предлагает поцелуям осязаемую, подлинную, дивную плоть, белую и упругую плоть, округленную, крепкую, сладостную для объятий.

Она божественна не потому, что выражает какую-либо мысль, но потому только, что прекрасна.

Любуясь ею, вспоминаешь о сиракузском бронзовом овне, одном из лучших экспонатов Палермского музея: он тоже как бы воплощает в себе животное начало мира. Могучий баран лежит, поджав под себя ноги, повернув голову влево. И эта голова животного кажется головою бога, скотского, нечистого и великолепного бога. Лоб у него широкий и кудрявый, глаза далеко расставлены, нос горбатый, длинный, крепкий и гладкий, с поразительным выражением грубой силы. Рога, откинутые назад, закручиваются и загибаются, выставляя в стороны острые концы под узкими ушами,

которые тоже походят на два рога. И взгляд животного — бессмысленный, тревожный и жестокий — пронизывает вас. Чуешь зверя, когда подходишь к этой бронзе.

Кто же эти два дивных художника, которые сумели так ярко воплотить в двух столь различных образах простую красоту живого создания?

Это единственные две статуи, которые, как живые существа, оставили во мне горячее желание увидеть их снова.

В дверях, уходя, я в последний раз бросаю прощальный взгляд на этот мраморный торс, прощальный взгляд, который бросают любимой женщине, покидая ее, и тут же сажусь в лодку, чтобы приветствовать — это долг писателя — папирусы Анапо.

Мы пересекаем залив из конца в конец и видим на плоском голом берегу устье маленькой речки, почти ручья, куда въезжает наша лодка.

Течение очень быстрое, и плыть против него нелегко. Мы пользуемся то веслами, то багром, чтобы скользить по воде, которая быстро бежит между двумя берегами, усеянными массой маленьких ярко-желтых цветочков, между двумя золотыми берегами.

Вот и камыши, которые мы задеваем, проезжая; они сгибаются и выпрямляются снова; дальше из воды встают синие, ярко-синие ирисы, а над ними реют бесчисленные стрекозы, величиною с колибри, трепеща стеклянными перламутровыми крылышками. Далее, на крутых, нависших берегах, растут гигантские лопухи и огромные вьюнки, обвивающие наземные растения и речные камыши.

Под нами, на дне реки, целый лес длинных волнистых водорослей; они движутся, колышутся и словно плывут в колеблющей их воде.

Потом Анапо отделяется от своего притока, древней Цианеи. Мы продолжаем плыть, подталкивая лодку багром. Речка, извиваясь, открывает нашим взорам все новые и новые очаровательные уголки, цветущие и живописные. Наконец появляется остров, заросший странными деревцами. Жидкие трехгранные стебли, от девяти до двенадцати футов вышиною, увенчаны круглыми пучками зеленых нитей, длинных, тонких и

гибких, как волосы. Они похожи на головы людей, обращенных в растения и брошенных в воды священного источника языческими богами, некогда населявшими эти места. Это и есть древний папирус.

Крестьяне зовут этот камыш parruca [1].

А там дальше их еще больше, целый лес. Они дрожат, шелестят, склоняются, сталкиваются волосатыми лбами и словно ведут между собой беседу о неведомых делах далекого прошлого.

Не странно ли, что почтенное растение, которое сохранило для нас мысли умерших, которое было стражем человеческого гения, носит на тщедушном теле пышную гриву, густую и развевающуюся, как у наших поэтов?

Мы возвращаемся в Сиракузы при заходе солнца и видим на рейде только что прибывший почтовый пароход, который сегодня же вечером увезет нас в Африку.

---

[1] Парик *(итал.)*.

ОТ АЛЖИРА ДО ТУНИСА

Эти фигуры, задрапированные в какие-то монашеские одеяния, эти головы, покрытые тюрбанами, концы которых развеваются сзади, эти строгие черты лица, эти неподвижные взгляды, встречаешь ли их здесь, на набережных Алжира, или в горах Сахеля, или же среди песков Сахары,— все они как будто принадлежат монахам одного и того же сурового ордена, рассеянным по целой половине земного шара.

Самая походка их та же, что у священников; жесты те же, что у апостолов-проповедников, манера держаться та же, что у мистиков, полных презрения ко всему земному.

И правда, мы здесь среди людей, у которых религиозная идея господствует над всем, все затмевает, диктует поступки, связывает совесть, формует сердца, управляет мыслью, первенствует над всеми интересами, над всеми заботами, над всеми волнениями.

Религия — вот великая вдохновительница их поступков, душ, достоинств и недостатков. Благодаря религии и ради религии они добры, храбры, нежны и верны, потому что сами по себе они как будто ничто, как будто не обладают ни единым качеством, которое не было бы им внушено или предписано верой. Мы не в состоянии познать непосредственную или первобытную природу араба: она, так сказать, пересоздана его верой, кораном, учением Магомета. Никогда еще никакая другая религия не внедрялась до такой степени в человеческие существа.

Пойдем же посмотрим, как они молятся в своей мечети, в белой мечети, которая виднеется там, в конце набережной Алжира.

В первом дворе под аркадой, опирающейся на зеленые, голубые и красные колонки, мужчины, сидя на корточках или прямо на земле, беседуют вполголоса с величавым спокойствием людей Востока. Против входа, в небольшой квадратной комнате, похожей на часовню, кади вершат правосудие. Истцы ждут, сидя на скамейках; один араб говорит, стоя на коленях, а судья, закутанный в одежды, почти скрытый их бесчисленными складками и огромным тяжелым тюрбаном, из-под которого видна лишь часть его лица, слушает жалобщика, устремив на него суровый спокойный взгляд. Стена, в которой проделано решетчатое окно, отделяет эту комнату от помещения, где женщины, создания менее благородные, чем мужчины, и не имеющие права предстать перед лицом кади, ждут очереди, чтобы изложить свои жалобы через это окошко исповедальни.

Солнце изливается огненным потоком на белоснежные стены этих маленьких зданий, подобных гробницам марабутов, и на двор, где старая арабская женщина кормит рыбой массу полосатых кошек; оно поблескивает и в комнате на бурнусах, на сухих коричневых ногах, на бесстрастных лицах. Еще дальше — школа около фонтана, где под деревом течет вода. Все объединено здесь, в этой тихой, мирной ограде: религия, правосудие, просвещение.

Я вхожу в мечеть, сняв сначала обувь, и иду по коврам, среди светлых колонн, правильные ряды которых наполняют безмолвный, огромный и низкий храм. Они очень широки, эти четырехгранные столбы, и одною стороной обращены к Мекке, дабы правоверный, встав перед одной из них, ничего не видел, ничем не отвлекался и целиком погрузился в молитву.

И вот одни из молящихся бьют земные поклоны, другие стоя бормочут тексты из корана, приняв позу, полагающуюся по обряду; некоторые, уже выполнив свой религиозный долг, беседуют, сидя на полу, вдоль стен, ибо мечеть не только место молитвы, но и место

отдохновения, где остаются подолгу, где проводят целые дни.

Все просто, все голо, все бело, все тихо, все мирно в этих убежищах веры; они не похожи на наши декоративные церкви, в которых так неспокойно, когда они полны народа, из-за шума службы, движения причта, пышности церемоний, священных песнопений, и которые до того печальны, до того горестны, когда они пусты, что сжимается сердце, и кажется, что стоишь в комнате умирающего, в холодном каменном склепе, где все еще длится агония распятого.

То и дело входят арабы, бедные и богатые, портовый грузчик и бывший вождь — знатный араб в шелковистом бурнусе ослепительной белизны. Все они босы, все повторяют одни и те же жесты, молятся одному и тому же богу с той же горячей простой верой, не позируя и не отвлекаясь. Сначала они стоят прямо, подняв лицо, держа раскрытые ладони на уровне плеч, в позе мольбы. Затем руки падают вдоль тела, голова склоняется: они стоят перед владыкою мира в позе смирения. После этого руки соединяются на животе, как будто они связаны. Это стоят пленники, отдавшиеся во власть владыки. Наконец они несколько раз подряд очень быстро и бесшумно кладут земные поклоны. Они садятся на пятки, положив ладони на бедра, и наклоняются вперед, пока не коснутся лбом пола.

Эта молитва, всегда одна и та же, начинающаяся с чтения первых стихов корана, должна пять раз в день повторяться правоверными, которые перед входом в мечеть омывают ноги, руки и лицо.

В безмолвном храме не слышно ничего, кроме журчания воды, текущей во втором внутреннем дворе, из которого проникает свет в мечеть. Тень смоковницы, растущей у фонтана для омовений, бросает зеленые блики на ближние циновки.

Мусульманские женщины могут приходить в мечеть наравне с мужчинами, но почти никогда не приходят. Бог слишком далек, слишком высок, слишком важен для них. Разве посмеешь рассказать ему о своих заботах, поверить все свои горести, попросить у него небольшой милости, небольшого утешения, небольшой

поддержки при мелких столкновениях с семейством, с мужем, с детьми — всего, в чем нуждается сердце женщины? Между ним, таким великим, и ими, такими ничтожными, нужен более скромный посредник.

Этот посредник — марабут. Разве и у нас, в католической религии, нет святых и девы Марии, естественных ходатаев перед богом за робких и смиренных?

И потому молящуюся арабскую женщину мы встретим у гробницы святого, в маленькой часовне, где он похоронен.

Пойдем же туда посмотреть на нее.

Зауйя Абд-эр-Рахман-эль-Ткальби самая интересная в Алжире. «Зауйей» называется маленькая мечеть, сочетающаяся с «куббой» (гробницей марабута) и включающая иногда еще школу, а также высший курс обучения для образованных мусульман.

Чтобы дойти до зауйи Абд-эр-Рахмана, надо пересечь весь арабский город. Невообразим этот подъем по целому лабиринту переулков, перепутанных и извилистых, идущих между глухими стенами мавританских домов. Наверху стены почти соприкасаются, и небо, видное в просветах между плоскими крышами, кажется голубой причудливо фантастической арабеской. Длинный извилистый сводчатый проход, крутой, как горная тропа, порою ведет, кажется, прямо в небесную лазурь, яркое и залитое солнцем пятно которой внезапно поражает взор за поворотом стены, там, высоко, где кончаются ступени улочки.

Вдоль этих узких проходов на порогах домов расположились на корточках арабы и дремлют в своих лохмотьях; другие наполняют мавританские кофейни и там, неподвижно сидя на круглых скамейках или на полу, пьют кофе из маленьких фаянсовых чашек, с важностью держа их пальцами. В эти узкие улицы, по которым приходится карабкаться, солнечный свет неожиданно падает тонким лучом или широкими пятнами на каждом повороте и перекрестке и выписывает на стенах неожиданные узоры, ослепительно яркие, словно покрытые лаком. В полуоткрытые двери видны внутренние дворы, откуда тянет свежестью. Повсюду имеется четырехугольный колодец, который окружен

колоннадой, поддерживающей галерею. Нежная и дикая музыка доносится порой из этих домов, откуда часто выходят по две женщины. Из-под вуали, скрывающей лица, они бросают вам взгляд черных печальных глаз, взгляд пленниц, и проходят мимо.

Их головы покрыты куском ткани, стянутым вокруг головы, как на изображениях богоматери, тело закутано в хаик, ноги спрятаны в широких шароварах, полотняных или коленкоровых, доходящих до щиколотки; женщины идут медленной, довольно неловкой, неуверенной походкой; глядя на них, стараешься угадать черты лица под вуалью, которая немного обрисовывает их, прилегая к его выпуклостям. Синеватые дуги бровей, соединенные полоской сурьмы, продолжены до самых висков.

Вдруг меня окликают. Я оборачиваюсь и в открытую дверь вижу внутри дома, на стенах, большие непристойные картины, какие встречаешь в Помпее. Вольность нравов, пышный расцвет на улицах бесчисленной проституции, веселой и наивно-дерзкой, сразу обнаруживают глубокую разницу, существующую между европейской стыдливостью и восточной бессознательностью.

Не надо забывать, что здесь всего несколько лет назад запретили уличные представления Карагусса (нечто вроде чудовищно непристойного Гиньоля), на которого глядели большие черные невинные и развращенные глаза детей, смеявшихся и аплодировавших его невероятным, мерзким, непередаваемым подвигам.

По всему верхнему арабскому городу рядом с галантерейными, бакалейными и фруктовыми лавками неподкупных мозабитов, этих магометанских пуритан, которых оскверняет каждое прикосновение других людей и которые по возвращении на родину подвергнутся долгим очистительным обрядам, широко распахнуты двери лавок, торгующих человеческим телом, куда зазывают прохожих на всевозможных языках. Мозабит, восседающий в своей маленькой лавочке, посреди тщательно разложенных товаров, как будто ничего не видит, не знает, не понимает.

Справа от его лавки испанские женщины воркуют,

как голубки; слева арабские женщины мяукают, как кошки. Среди них, среди этих бесстыдно оголенных тел, размалеванных для привлечения клиентов в оба эти притона, продавец фруктов сидит, подобно загипнотизированному и погруженному в грезы факиру.

Я сворачиваю вправо, в маленький проулок, который, кажется, обрывается прямо в море, раскинувшееся вдали за мысом Сент-Эжен, и вижу в конце этого туннеля, в нескольких метрах под собой, очаровательнейшую мечеть-игрушку, или, вернее, изящную, крошечную зауйю, маленькие постройки которой и маленькие квадратные, круглые и остроконечные гробницы рассыпаны вдоль лестницы, зигзагами спускающейся с террасы на террасу.

Вход в нее скрыт за стеной, как будто сделанной из серебристого снега и окаймленной зелеными фаянсовыми изразцами; в стене пробиты равномерно расположенные отверстия, сквозь которые виден Алжирский рейд.

Я вхожу. На каждой ступеньке сидят нищие, старики, дети, женщины и, протягивая руку, просят милостыню на арабском языке. Направо, в маленьком здании, также украшенном фаянсовыми плитками, находится первая усыпальница, и в открытые двери можно видеть правоверных, сидящих перед гробницей. Ниже блестит круглый купол куббы марабута Абд-эр-Рахмана рядом с тонким четырехгранным минаретом, с которого призывают на молитву.

Вдоль всего спуска — другие гробницы, более скромные, и наконец гробница знаменитого Ахмеда, бея Константины, который науськивал собак рвать зубами животы французских пленных.

С последней террасы, у входа в гробницу марабута, открывается чудный вид. Вдали собор Африканской богоматери возвышается над мысом Сент-Эжен и надо всем морем, простирающимся до самого горизонта, где оно сливается с небом. Ближе, справа, арабский город подымается до самой зауйи, и его белые известковые домики взбираются еще выше по уступам горы. Вокруг меня гробницы, кипарис, смоковница и те мавританские орнаменты, что обрамляют и увенчивают зубцами все священные стены.

Сняв обувь, я вхожу в куббу. Передо мной в тесной комнатке сидит на пятках мусульманский ученый и читает рукопись, держа ее обеими руками на уровне глаз. Вокруг него на циновках разложены книги и пергаментные свитки. Он не поворачивает головы.

Дальше я слышу какой-то шелест и шепот. При моем появлении все женщины, сидящие вокруг гробницы, поспешно закрывают лица. Они похожи на большие клубки белой ткани с блестящими глазами. Посреди них, в этой пене из фланели, шелка, шерсти и полотна, спят или двигаются дети, одетые в красное, синее, зеленое. Это наивно и очаровательно. Женщины — у себя, у своего святого, жилище которого они украсили, ибо бог слишком далек для их ограниченного ума, слишком велик для их смирения.

Они обращаются лицом не к Мекке, а к телу марабута и отдают себя под его непосредственное покровительство, которое и тут, как всегда, является покровительством мужчины. Их женские глаза, их кроткие и печальные глаза, подчеркнутые двумя белыми повязками, не умеют видеть бесплотное, им понятно только живое создание — мужчина, который при жизни кормит их, защищает и поддерживает; мужчина после своей смерти замолвит за них слово и перед богом. И вот они здесь, у самой гробницы, разукрашенной, размалеванной и немного напоминающей бретонское брачное ложе, но ярко расписанное, покрытое материями, шелками, флагами, принесенными подарками.

Они шепчутся, разговаривают между собою и рассказывают марабуту о своих делах, о заботах, о ссорах, об обидах, понесенных от мужа. Они собрались интимным кружком, чтобы запросто поболтать у святыни.

Вся часовня наполнена их странными дарами: стенными часами разнообразной величины, которые тикают, отмечая секунды, и бьют в положенное время; принесенными по обету хоругвями, всевозможными люстрами, медными и хрустальными.

Этих люстр навешано так много, что за ними не видно потолка. Они висят одна подле другой независимо от размера, как в ламповом магазине. Стены украшены изящными фаянсовыми изразцами прелест-

ного рисунка, в которых всегда преобладают зеленый и красный цвета. Пол застлан коврами, а свет проникает через купол, разделенный на тройные стрельчатые окна, из которых среднее выше других.

Это уже не та суровая, голая мечеть, где бог пребывает в одиночестве, это будуар, украшенный для молитвы по детскому вкусу дикарок. Сюда часто приходят волокиты, чтобы условиться с ними о свидании и обменяться по секрету несколькими словами. Европейцы, говорящие по-арабски, порою завязывают здесь знакомства с этими закутанными медлительными созданиями, у которых видны только глаза.

Когда прихожане-мужчины посещают, в свою очередь, марабута, чтобы помолиться у его гробницы, они не проявляют такого исключительного внимания к святому обитателю этого места. Поклонившись гробнице, они обращаются лицом к Мекке и поклоняются богу, ибо нет бога, кроме бога, как они повторяют во всех своих молитвах.

ТУНИС

Прежде чем достигнуть Туниса, железная дорога пересекает великолепную гористую местность, поросшую лесами. Описав несколько огромных петель и поднявшись на высоту в семьсот восемьдесят метров, откуда открывается обширный, великолепный пейзаж, она проникает на территорию Туниса через Хрумир.

Тут начинается чередование гор и пустынных долин, в которых некогда стояли римские города. Вот сначала развалины Тагасты, родины блаженного Августина, отец которого был декурионом.

Дальше идет Тубурсикум Нумидарум, руины которого покрыты круглыми зеленеющими холмами. Еще дальше Мадаура, где в конце царствования Траяна родился Апулей. Не перечесть всех мертвых городов, мимо которых проезжаешь на пути в Тунис.

Вдруг, после долгих часов пути, на низкой равнине возникают высокие арки полуразрушенного, местами уничтоженного акведука, который некогда тянулся от одной горы до другой. Это Карфагенский акведук, о котором говорит Флобер в *Саламбо*. Потом дорога проходит мимо красивого селения, следует берегом сверкающего озера, и наконец показываются стены Туниса.

Вот мы и в городе.

Чтобы охватить взглядом его общий вид, надо подняться на ближний холм. Арабы сравнивают Тунис с разостланным бурнусом; сравнение удачно. Город простирается на равнине, слегка волнистой из-за неровностей почвы, так что местами над ней выступают края большого пятна, образуемого белесыми домами, над которым высятся купола мечетей и башни минаретов.

Едва различаешь, едва догадываешься, что это дома, до такой степени это белое пятно кажется сплошным, непрерывным, разлившимся. Три озера вокруг него сверкают под ярким восточным солнцем, как три огромных стальных щита. На севере, вдали,— озеро Себкра-эль-Буан; на западе — Себкра-Сельджум, на юге, за городом,— большое озеро Бахира, или Тунисское; дальше к северу — море, глубокий залив, тоже похожий на озеро в обрамлении далеких гор.

И повсюду вокруг этого плоского города тянутся топкие болота, полные разлагающихся нечистот,— невообразимое кольцо гниющих клоак, голые низменные поля, где извиваются наподобие змеек узкие блестящие ручьи. Это сточные воды Туниса, разливающиеся под синим небом. Они текут непрестанно, заражая воздух, и катят свой медленный зловонный поток по землям, пропитанным гнилью, к озеру, которое они заполнили и насытили на всем его протяжении, ибо опущенный в него лот погружается в тину почти на восемнадцать метров; приходится постоянно прочищать канал в этой топи, чтобы через нее могли пройти небольшие суда.

И все же в яркий, солнечный день зрелище города, лежащего среди этих озер, на этой обширной равнине, замыкаемой в отдалении горами, самая высокая из которых, Загуан, зимою почти всегда увенчана облаками, производит, пожалуй, самое захватывающее, самое волнующее впечатление на всем побережье африканского материка.

Спустимся с нашего холма и войдем в город. Он состоит из трех совершенно отдельных частей: французской, арабской и еврейской.

На самом деле Тунис — не французский и не арабский город, это город еврейский. Это одно из редких мест на земном шаре, где еврей чувствует себя дома, словно на родине, где он почти явный хозяин, где он держится со спокойной уверенностью, хотя еще немного боязливой.

Особенно интересно видеть и наблюдать его здесь, в этом лабиринте узеньких улочек, где движется, суетится и кишит самое яркое, пестрое, расфранчен-

ное, переливающееся всеми цветами радуги, драпирующееся в шелка красочное население, какое только можно встретить на всем этом восточном побережье.

Где мы? В стране арабов или в ослепительной столице Арлекина, наделенного высоким художественным чутьем, друга живописцев, неподражаемого колориста Арлекина, который забавы ради вырядил свой народ с умопомрачительной фантастичностью? Этот божественный костюмер побывал, наверно, и в Лондоне, и в Париже, и в Петербурге, но, вернувшись оттуда, полный презрения к северным странам, расцветил своих подданных с безошибочным вкусом и с беспредельным воображением. Он не только пожелал придать их одеждам изящный, оригинальный и веселый покрой, но и применил для раскраски тканей все оттенки, созданные, составленные, придуманные самыми утонченными акварелистами.

Одним лишь евреям он предоставил резкие тона, хотя и запретил им слишком грубые сочетания цветов и с благоразумной смелостью ограничил яркость костюмов. Что же касается мавров, его любимцев, флегматических торговцев, восседающих в своих суках, или проворных юношей, или медленно шествующих по маленьким улочкам тучных горожан, он разодел их, забавы ради, в такие разнообразные ткани, что глаз, глядя на них, пьянеет, как певчий дрозд от винограда. Для них, для этих славных восточных людей, для этих левантинцев — метисов, происшедших от турок и арабов,— он собрал целую коллекцию оттенков, таких тонких, нежных, спокойных, мягких, бледных, блеклых и гармоничных, что прогулка среди них — истинное наслаждение для глаз.

Вот бурнусы из кашемира, переливчатые, как потоки света, и тут же лохмотья, великолепные в своей нищете, рядом с шелковыми геббами (длинными, спускающимися до колен туниками) и мягкими жилетами, облегающими тело под курткой, обшитой по бортам мелкими пуговками.

И на этих геббах, куртках, жилетах, хаиках играют, смешиваются и наслаиваются друг на друга самые нежные расцветки. Все это розовое, лазоревое, сиреневое, бледно-зеленое, пастельно-голубое, бледно-корич-

невое, палевое, оранжевое, бледно-лиловое, красноватое, аспидно-серое.

Это волшебная процессия цветов от самых блеклых оттенков до самых ослепительных, но и последние тонут в таком потоке сдержанных тонов, что ничто не кажется резким, нет ничего кричащего, ничто не бьет в глаза на улицах — в этих светлых коридорах, бесконечно извивающихся, стиснутых между низкими, выбеленными известью домами.

Эти узкие проходы то и дело наводняются какими-то оплывшими существами, бедра и плечи которых покачиваются, еле протискиваясь в этих проходах. Существа эти носят остроконечный головной убор, часто посеребренный или позолоченный, словно колпак волшебницы; сзади с него спадает шарф. На их чудовищных телах — колыхающихся и вздутых горах мяса — надеты просторные блузы ярких цветов. Бесформенные ляжки заключены в узкие, обтягивающие белые кальсоны. На икрах и щиколотках, налитых жиром, вздуваются чулки или — если одежда праздничная — нечто вроде чехлов из золотой или серебряной парчи. Они тяжело выступают, волоча туфли без задников, так что пятки шлепают по мостовой. Эти странные, расплывшиеся создания — еврейки, прекрасные еврейки!

Как только юные дочери Израиля приближаются к брачному возрасту, к тому возрасту, когда за ними начинают ухаживать богатые мужчины, они мечтают о том, чтобы растолстеть: ведь чем женщина грузнее, тем больше чести мужу и тем больше у нее шансов выбрать его по своему вкусу.

В четырнадцать, в пятнадцать лет эти девочки стройны и легки, дивно красивы, изящны и грациозны. Их бледный, немного болезненный, прозрачно-нежный цвет лица, их тонкие черты, столь мягкие черты древней и усталой расы, кровь которой никогда не освежалась, их темные глаза под ясным лбом, придавленным черной, тяжелой, густой массой всклокоченных волос, их гибкие движения, когда они перебегают от одной двери к другой,— все это наполняет еврейский квартал Туниса видениями соблазнительных маленьких Саломей.

Но вот они начинают думать о супруге. Тут наступает пора того невообразимого объедания, которое скоро превращает их в чудовища. Соблюдая неподвижность после ежедневного приема по утрам пилюль из трав, возбуждающих аппетит и раздражающих желудок, они целые дни едят тяжелые, жирные печения, от которых невероятно толстеют. Груди вздуваются, животы вспухают, зады округляются, бедра ширятся, покрываясь жиром; кисти рук и щиколотки исчезают в тяжелых складках мяса. И любители собираются, осматривают их, сравнивают, восхищаются ими, как на выставке откормленного скота. До чего же они красивы, соблазнительны, очаровательны, эти необъятные невесты!

Тогда-то и можно встретить эти чудовищные фигуры, увенчанные острым конусом, называемым *куфия,* с которого свисает на спину *бехкир,* одетые в развевающиеся широкие кофты из простого полотна или яркого шелка, в белых или вышитых, узких, как трико, панталонах, обутые в шлепанцы, называемые *саба,*— существа, невыразимо странные, но лица которых на этом гиппопотамовом теле часто еще хранят былую красоту.

У себя в домах, куда нетрудно проникнуть в субботу, в священный день, в день праздника и визитов, девушки принимают подруг в выбеленных комнатах, где они сидят одна подле другой, как символические идолы, покрытые шелками и блестящей мишурой, богини из плоти и металла с золотыми гетрами на ногах и золотым рогом на голове!

Все богатство Туниса в их руках, или вернее, в руках их мужей, всегда улыбающихся, всегда приветливых и готовых к услугам. Вероятно, через несколько лет они превратятся в европейских дам, будут одеваться по французской моде и, подчиняясь моде, начнут поститься, чтобы похудеть. Тем лучше будет для них и тем хуже для нас, зрителей.

Самая интересная часть арабского города — это квартал *суков:* длинные улицы под сводами или дощатыми крышами, сквозь щели которых солнце проскальзывает огненными клинками, как будто рассекающими прохожих и купцов. Это базары, извилистые и перекре-

щивающиеся галереи, где торговцы, разбившись по цехам, сидя прямо на земле или на корточках посреди своих товаров в маленьких крытых лавочках, энергично зазывают покупателей или же хранят неподвижность в нишах из ковров, из материй всевозможных цветов, из выделанных кож, уздечек, седел, шитой золотом сбруи или среди нанизанных, как четки, желтых и красных туфель.

У каждого цеха своя улица, и можно видеть, как во всю длину галереи, отделенные друг от друга простой перегородкой, работают ремесленники одного и того же цеха, делая одни и те же жесты. Оживление, красочность, веселье этих восточных рынков не поддаются описанию, потому что тут надо было бы одновременно передать и ослепительный свет, и шум, и движение.

Один из суков настолько своеобразен, что оставляет о себе воспоминание, необычайное и неотвязное, как сон. Это сук духóв.

В одинаковых узких отделениях, до того узких, что они напоминают ячейки улья, и расположенных рядами по обе стороны темноватой галереи, люди с прозрачным цветом лица, почти все молодые, в светлых одеждах, восседают, как будды, храня изумительную неподвижность, в рамке из подвешенных длинных восковых свечей, образующих вокруг их голов и плеч мистический и правильный узор.

Верхние свечи, более короткие, окружают тюрбан; другие, более длинные, доходят до плеч; самые большие спускаются вдоль рук. Симметричная форма этого странного убранства несколько меняется от одной лавки к другой. Продавцы, бледные, неподвижные, безмолвные, сами кажутся восковыми фигурами в восковой часовне. Если зайдет покупатель,— вокруг их колен, вокруг ног; под рукой находятся всевозможные духи, заключенные во всевозможные крошечные коробочки, крошечные флакончики, крошечные мешочки.

В воздухе, из одного конца сука в другой, носится слегка дурманящий запах курений и духов.

Некоторые из этих экстрактов продаются каплями по очень дорогой цене. Для отсчитывания их торговец употребляет кусочек хлопка, который он вынимает из уха и затем снова водворяет туда же.

С наступлением вечера весь квартал суков запирается тяжелыми воротами у входа в галереи; подобно некоему драгоценному городу, он заключен в другом городе.

Когда же вы прогуливаетесь по новым улицам, упирающимся в болото, в какой-нибудь сток нечистот, вы вдруг слышите странное ритмическое пение в такт глухим ударам, которые похожи на отдаленные пушечные выстрелы и прерываются на несколько мгновений, чтобы возобновиться снова. Вы озираетесь и наконец на уровне земли замечаете головы десятка негров, обмотанные фулярами, платками, тюрбанами, лохмотьями. Эти головы поют по-арабски какой-то припев, в то время как руки, вооруженные бабами для трамбования почвы, мерно ударяют ими на дне канавы по слою щебня и известкового раствора; так закладывают прочный фундамент для какого-нибудь нового дома, строящегося на этой жирной, вязкой почве.

На краю ямы старый негр, начальник этой партии трамбовщиков, отбивает такт, смеясь, как обезьяна; смеются и все другие, продолжая распевать свою странную песню и скандируя ее энергичными ударами. Они ударяют с воодушевлением и лукаво смеются, поглядывая на останавливающихся прохожих; прохожим тоже весело: арабам — потому что они понимают слова, другим — потому что зрелище забавное; но уж, конечно, никто так не веселится, как сами негры; ведь старик кричит:

— Ну-ка, хватим!

И все, скаля зубы и ударяя три раза трамбовкой, подхватывают:

— По башкам собачьих руми!

Старый негр снова кричит с таким жестом, как будто он кого-то раздавил:

— Ну-ка, хватим!

И все хором:

— По башкам собачьих ютов!

Вот как строится европейский город в новом квартале Туниса!

Ах, этот новый квартал! Когда вспомнишь, что он весь выстроен на постепенно затвердевшем иле, на какой-то невообразимой почве, создавшейся из всех нечи-

стот и отбросов, извергаемых городом, невольно спрашиваешь себя, каким образом население его не гибнет от всевозможных болезней, лихорадок и эпидемий. А глядя на озеро, которое постепенно завоевывают и переполняют те же стоки городских нечистот, на озеро — эту вонючую помойную яму, из которой поднимаются такие миазмы, что в жаркие ночи вас мутит от отвращения, не понимаешь даже, как еще существует старый город, расположившийся у этой клоаки.

Вспоминаешь о больных лихорадкой, которые встречаются в некоторых деревнях Сицилии, Корсики или Италии, об уродливых, чудовищных людях, с раздутыми животами, трясущихся, отравленных водою чистых ручьев и красивых прозрачных озер, и приходишь к убеждению, что Тунис должен быть очагом заразных болезней.

Но нет! Тунис — здоровый город, очень здоровый! Зловонный воздух, которым вы в нем дышите, живит и успокаивает вас. Это самый умиротворяющий, самый приятный для возбужденных нервов воздух, каким мне когда-либо доводилось дышать. После департамента Ланд, наиболее здорового района Франции, Тунис является местом, где менее всего распространены обычные в наших странах заболевания.

Это кажется невероятным, однако это так. О вы, современные врачи, смешные оракулы, профессора гигиены, посылающие ваших больных дышать чистым воздухом горных вершин или животворящим воздухом зеленых лесов, приезжайте сюда, взгляните на эту навозную жижу, омывающую Тунис, посмотрите затем на эту землю, которую не защищает и не освежает своею тенью ни одно деревце; проживите год в этой стране, на этой низменной равнине, летом иссушенной солнцем, зимой превращенной в болото дождями, а потом зайдите в здешние больницы. Они пусты!

Справьтесь со статистикой, и вы узнаете, что здесь гораздо чаще, чем от ваших болезней, умирают от того, что называют — пожалуй, ошибочно — мирной естественной смертью. Тогда вы, может быть, спросите себя, не современная ли наука отравляет нас своим прогрессом; не являются ли канализационные трубы в наших погребах и сточные ямы, находящиеся по соседству

с нашим вином и водою, домашними рассадниками смерти, очагами и распространителями эпидемий, более действенными, чем ручейки нечистот, текущие под солнечными лучами вокруг Туниса; вы убедитесь, что чистый горный воздух менее успокоителен, чем бациллоносные испарения здешних городских нечистот, и что сырость лесов опаснее для здоровья и чаще порождает лихорадки, чем сырость гниющих болот, вокруг которых на сто лье нет ни единой рощицы.

Неоспоримо здоровый климат Туниса действительно изумляет и может объясниться только абсолютной чистотой воды, которую пьют в этом городе, а это полностью подтверждают наиболее современные теории о способе распространения смертоносных зародышей.

В самом деле, вода с горы Загуана, каптированная под землей на расстоянии восьмидесяти километров от города, доходит до домов без малейшего соприкосновения с наружным воздухом и, следовательно, не получив никаких зародышей заразных болезней.

Я был так удивлен, когда мне говорили о здешнем здоровом климате, что пожелал посетить больницу, и врач-мавр, заведующий главной больницей Туниса, разрешил мне осмотреть ее.

Как только передо мною открылись ворота, ведущие в обширный арабский двор, над которым, под защитой плоской крыши, возвышается галерея с колоннадой, мое удивление и волнение так возросли, что я позабыл о цели своего прихода.

Вокруг меня по бокам четырехугольного двора, в узких камерах за решетками, как в тюрьме, были заключены люди; при нашем появлении они поднялись и прижали к железным решеткам изможденные бледные лица. Затем один из них просунул руку и, помахав ею, прокричал несколько ругательств. Тогда и остальные принялись вдруг скакать, словно звери в клетках, и орать во все горло, а на галерее второго этажа длиннобородый араб, с тяжелым тюрбаном на голове и медными ожерельями вокруг шеи, небрежно свесил над перилами покрытую браслетами руку, пальцы которой были унизаны кольцами, и, улыбаясь, слушал весь этот гам. Это был сумасшедший, свободный и спокойный, который воображал себя царем царей и мирно влады-

чествовал над буйными помешанными, запертыми внизу.

Мне захотелось обойти и оглядеть этих страшных безумцев, которые невольно приковывают внимание своими восточными одеяниями, а благодаря своей оригинальности более интересны и, быть может, менее волнуют, чем наши бедные европейские сумасшедшие.

Мне разрешили войти в камеру первого из них. Подобно большинству своих товарищей, он был доведен до такого состояния гашишем, или, вернее, кифом. Он еще очень молод, страшно худ, страшно бледен и разговаривает со мной, глядя на меня огромными пристальными мутными глазами. Что он говорит? Он просит меня подарить ему трубку для курения и рассказывает, что его ждет отец.

Время от времени он приподнимается, причем из-под его геббы и бурнуса выглядывают ноги, тощие, как у паука, а негр, который его сторожит, гигант, с лоснящейся кожей и блестящими белками глаз, всякий раз отбрасывает его на циновку легким толчком в плечо, и безумец слишком слаб, чтобы устоять при этом на ногах.

Его сосед, желтое гримасничающее чудовище, испанец из Рибейры, сидит, скорчившись, вцепившись в железные прутья решетки, и также просит трубку или кифа с непрерывным смехом, похожим на угрозу.

В следующей камере двое: еще один курильщик конопли — крупный араб мускулистого сложения, встречающий нас бешеной жестикуляцией, тогда как его сосед неподвижно сидит на пятках, устремив на нас прозрачные глаза дикой кошки. Это человек редкой красоты; черная борода, короткая и курчавая, придает прекрасному цвету его лица мертвенно-бледный оттенок. Нос тонкий, лицо продолговатое, изящное, полное благородства. Это мозабит, сошедший с ума после того, как он нашел мертвым своего юношу-сына, которого он разыскивал два дня.

А вот старик, который смеется и, приплясывая, как медведь, кричит нам:

— Сумасшедшие, сумасшедшие, все мы сумасшедшие: я, ты, доктор, сторож, бей — все, все сумасшедшие!

Он выкрикивает это по-арабски, но мы его понимаем, до того страшна его мимика, до того убедителен протянутый к нам палец. Старик указывает на каждого из нас поочередно и смеется; ведь этот сумасшедший убежден, что сумасшедшие — мы, и он повторяет:

— Да, да, ты, ты, ты сумасшедший!

И кажется, что в вашу душу проникает дуновение безумия, заразная и страшная эманация, исходящая от этого злобного бесноватого.

И вы уходите, подымая взор к большому синему квадрату неба, простирающемуся над этой ямой проклятых. Тут снова показывается по-прежнему улыбающийся, спокойный и прекрасный, как царь-волхв, повелитель всех этих безумцев, длиннобородый араб; он перегнулся через перила галереи и сверкает на солнце множеством всевозможных предметов из меди, железа и бронзы — ключами, кольцами, гвоздями, которыми он тщеславно украшает свое воображаемое царское достоинство.

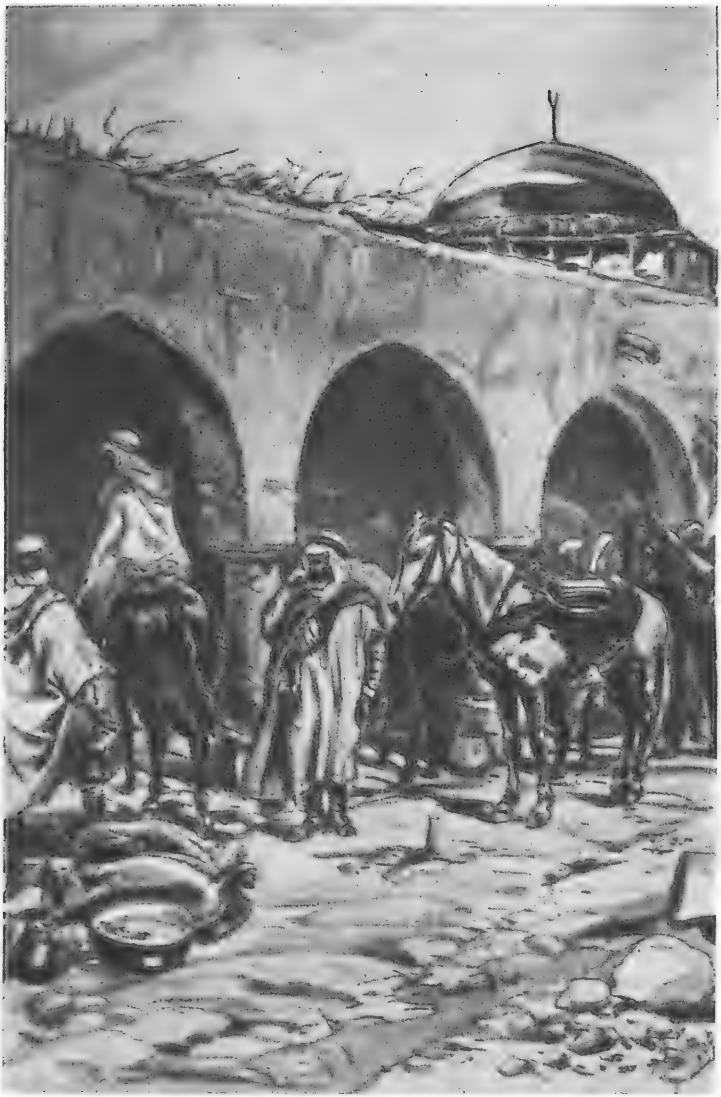
Вот уже пятнадцать лет, как этот мудрец живет здесь и бродит медленным шагом со спокойным и величественным видом — действительно, настолько величественным, что ему с почтением кланяются. Он произносит в ответ царственным тоном несколько слов, означающих: «Добро пожаловать! Рад вас видеть». А потом больше не смотрит на вас.

Вот уже пятнадцать лет, как этот человек не ложился. Он спит, сидя на ступеньке посередине больничной каменной лестницы. Никто ни разу не видал, чтобы он вытянулся.

Мне неинтересны теперь остальные больные, к тому же настолько немногочисленные, что они наперечет в больших белых залах, откуда из окон открывается вид на широко раскинувшийся, сверкающий на солнце город, над которым, как пузыри над водой, вздымаются купола мечетей и кубб.

Я ухожу, охваченный смутным волнением, полный жалости, а может быть, и зависти к некоторым из этих одержимых бредом людей, переживающих в своей тюрьме, не замечаемой ими, ту мечту, которую они когда-то нашли на дне маленькой трубочки, набитой несколькими желтыми листочками.

Худ. Л а н о. 1903. «ОТ АЛЖИРА ДО ТУНИСА».



Худ. Лано. 1903. «НА ПУТИ В КАИРУАН».

В тот же вечер один французский чиновник, снабженный особыми полномочиями, предложил проводить меня в некоторые арабские злачные места, куда доступ для иностранцев крайне затруднен.

Впрочем, нам пришлось отправиться в сопровождении агента местной полиции, без чего перед нами не открылась бы ни одна дверь даже самого гнусного туземного притона.

Арабский город в Алжире по ночам полон оживления. С наступлением вечера Тунис словно вымирает. Узенькие улицы, извилистые и неровные, кажутся проходами покинутого города, в котором местами позабыли погасить газовые фонари.

Вот мы в самой глубине этого лабиринта из белых стен, и нас вводят к еврейкам, исполняющим танец живота. Этот танец безобразен, неграциозен и интересен только для любителей мастерства исполняющей его артистки. Три девицы, три сестры, чрезвычайно разряженные, проделывали свои непристойные кривляния под благосклонным оком матери, неимоверной груды жира с колпаком из золоченой бумаги на голове; после каждого приступа содрогания дочерних животов мать производила среди зрителей сбор на содержание заведения.

Через три полуоткрытых двери салона можно было видеть низкие ложа трех спален. Я открыл четвертую дверь и увидал лежавшую на кровати женщину, показавшуюся мне красивой. Но тут на меня набросились мать, танцовщицы, двое слуг-негров и какой-то раньше не замеченный мною человек, глядевший из-за занавески, как волнуются животы его сестер. Я чуть было не вошел в комнату его законной жены, которая была беременна, в комнату снохи, невестки этих распутниц, которые тщетно пытались привлечь нас, хотя бы на один вечер, в лоно своей семьи. В извинение за то, что меня не впустили, мне показали первого ребенка этой дамы, девочку лет трех или четырех, которая уже пыталась воспроизвести танец живота.

Я ушел с чувством глубокого отвращения.

С великими предосторожностями меня провели затем в квартиру дорогих арабских куртизанок. Пришлось сторожить в конце улицы, вести переговоры,

угрожать, так как если бы туземцы узнали, что к этим женщинам входил руми, они были бы отвергнуты, заклеймены, разорены. Там я увидел толстых брюнеток, весьма посредственной красоты, в комнатушках, переполненных зеркальными шкафами.

Мы собирались уже вернуться в гостиницу, когда агент туземной полиции предложил провести нас в самый обыкновенный притон, в публичный дом, двери которого он заставит открыть своей властью.

И вот мы снова следуем за ним ощупью по черным переулкам, которых никогда не забудешь, зажигаем спички, чтобы не упасть, но, тем не менее, оступаемся на неровной почве, задеваем о стены домов то плечом, то рукой и слышим порою за стенами голоса, звуки музыки, шум дикого веселья, приглушенные, далекие, жуткие по своей невнятности и таинственности. Мы в самом центре квартала разврата.

Мы останавливаемся у одних дверей, притаясь справа и слева от них, в то время как полицейский стучит кулаком, выкрикивая какую-то фразу по-арабски, по-видимому, приказание.

Из-за двери отвечает слабый голос, голос старухи, и теперь до наших ушей доносятся из самой глубины этого вертепа звуки музыкальных инструментов и крикливое пение арабских женщин.

Нам не хотят отпирать. Полицейский сердится, и из его горла вырываются быстрые, резкие, раздраженные звуки. Наконец дверь приоткрывается, он толкает ее, входит в дом, точно в завоеванный город, и широким жестом победителя как бы говорит нам: «Следуйте за мною!»

Мы следуем за ним и спускаемся по трем ступенькам, которые приводят нас в низкую комнату, где вдоль стен спят на коврах четверо арабчат; это дети дома. Старуха, одна из тех туземных старух, похожих на кучу движущегося желтого тряпья, из которого торчит невероятная, татуированная голова ведьмы, еще пытается преградить нам дорогу. Но дверь закрылась, и мы входим в первый зал, где стоят несколько человек, загораживая проход во второй зал, куда им не удалось проникнуть; они сосредоточенно слушают странную резкую музыку, доносящуюся оттуда. Пер-

вым проходит в зал полицейский, растолкав постоянных посетителей, и мы проникаем в узкое, продолговатое помещение, где арабы скученно сидят на досках, которые тянутся вдоль обеих выбеленных стен до самого конца комнаты.

Там, на большой европейской кровати, занимающей всю ширину помещения, возвышается пирамида других арабов, невероятным образом взгромоздившихся друг на друга, целая груда бурнусов, откуда торчат пять голов в тюрбанах.

Перед кроватью на скамейке, лицом к нам, за низким столиком красного дерева, уставленным стаканами, бутылками пива, чашками кофе с маленькими оловянными ложками, сидят четыре женщины и поют бесконечную тягучую южную мелодию под аккомпанемент инструментов, на которых играет несколько музыкантов-евреев.

Женщины разряжены, как в феерии, как принцессы из *Тысячи и одной ночи,* и одна из них, лет пятнадцати, отличается такой изумительной, такой совершенной, такой редкостной красотой, что она озаряет это странное место, превращая его в нечто неожиданное, символическое, незабываемое.

Ее волосы сдерживает золотой обруч, стягивающий лоб. Под этой прямой металлической полоской — два огромных глаза, со взглядом пристальным, бесстрастным, бездонным, два черных, продолговатых, широко расставленных глаза; их разделяет нос этого божества, нисходящий к маленькому детскому ротику, который раскрывается для пения и кажется единственной живой частью лица. Это лицо без выражения; правильность его черт первобытна и великолепна; она создана такими простыми линиями, что они кажутся естественными и единственно возможными здесь формами.

Во всяком лице можно было бы, казалось, заменить какую-нибудь черту или деталь, позаимствовав ее у другого человека. Но в лице этой арабской девушки решительно ничего нельзя изменить, настолько рисунок его совершенен и типичен. Гладкий лоб, словно изваянные щеки, незаметно переходящие в тонкий подбородок, безупречный овал чуть смуглого лица, единственно возможные здесь нос, рот и глаза — все это

воплощает идеальное представление об абсолютной красоте, которая чарует наш взгляд и не вполне удовлетворяет разве только нашу мечту. Рядом с первой девочкой находится другая, тоже очаровательная, но не такой исключительной красоты, одно из тех белых, нежных лиц, которые словно вылеплены из молочного теста. А по сторонам этих двух звезд сидят две другие женщины, животного типа, круглоголовые, скуластые, две бродячие проститутки из тех пропащих созданий, которых племена теряют на пути, снова подбирают и снова теряют, чтобы оставить их наконец в хвосте какого-нибудь отряда спаги, который уводит их за собой в город.

Они поют, ударяя по дарбуке руками, покрасневшими от хны, а евреи-музыканты аккомпанируют им на маленьких гитарах, тамбуринах и пронзительных флейтах.

Все слушают молча, без улыбки, с величавой серьезностью.

Куда мы попали? В храм ли какой-то варварской религии или в публичный дом?

В публичный дом? Да, мы в публичном доме, и ничто в мире не производило на меня более неожиданного, более свежего, более красочного впечатления, чем эта длинная низкая комната, где девушки, убранные, как для священнодействия, ожидают прихоти одного из этих важных мужчин, которые словно бормочут про себя стихи корана даже посреди кутежа.

Мне указывают на одного из них, который сидит перед крошечной чашкой кофе, подняв глаза к небу с благоговейным видом. Он содержит это божество, и почти все остальные — его гости. Он угощает их напитками, музыкой и созерцанием красавицы до той поры, пока не попросит их разойтись по домам. И они уйдут, величественно откланявшись ему. Этот человек, с таким тонким вкусом, хорош собою, молод, высок; у него прозрачная кожа араба-горожанина, которая кажется еще светлее от черной бороды, шелковистой, блестящей и немного редкой на щеках.

Музыка умолкает, мы аплодируем. Присутствующие вторят нам. Мы сели на табуретки среди груды людей. Вдруг длинная черная рука ударяет меня по плечу, и

голос, странный голос туземца, пытающегося говорить по-французски, заявляет:

— Мой тоже не отсюда. Француз, как и ты.

Я оборачиваюсь и вижу великана в бурнусе, одного из самых высоких, самых худых, самых костлявых арабов, каких мне только приходилось встречать.

— Откуда же ты? — спрашиваю я с удивлением.

— Из Алжира!

— А! Держу пари, что ты кабил?

— Да, мусью.

Он рассмеялся в восторге, что я угадал его происхождение, и, указывая на своего товарища, добавил:

— И он тоже.

— А! Вот что.

Это было во время чего-то вроде антракта.

Женщины, к которым никто не обращался, сидели неподвижно, как статуи, и я пустился в разговор с моими двумя соседями-алжирцами при помощи агента туземной полиции.

Я узнал, что они пастухи, землевладельцы из окрестностей Буджи, и что в складках бурнусов они носят с собою туземные флейты, на которых играют по вечерам для развлечения. Видимо, им хотелось похвалиться своим талантом, и они показали мне две тонкие тростниковые трубочки с просверленными в них дырочками, две настоящие тростинки, срезанные ими на берегу речки.

Я попросил, чтобы им позволили поиграть, и все тотчас же смолкли с изысканной вежливостью.

Ах, какое удивительное и сладостное ощущение проникло в мое сердце с первыми нотами, такими легкими, необычными, незнакомыми и неожиданными, этих двух голосков, исходящих из двух трубочек, выросших в воде! Мотив был изящный, нежный, отрывистый, скачущий: звуки летали и летали друг за другом, но никогда не могли сочетаться, встретиться и слиться, пение то и дело замирало и начиналось снова, проносилось мимо, реяло вокруг нас, как дыхание души листьев, души лесов, души ручейков, души ветра, проникшее вместе с двумя этими рослыми пастухами кабильских гор в публичный дом тунисского пригорода.

НА ПУТИ В КАЙРУАН

11 декабря

Мы выезжаем из Туниса по прекрасной дороге, которая сперва тянется вдоль возвышенности, затем берегом озера, потом пересекает равнину. Широкий горизонт, замкнутый цепью гор, вершины которых подернуты дымкой, совершенно пустынен, и только местами виднеются вдали белые пятна деревень, где над неясной массой домов возвышаются остроконечные минареты и маленькие купола кубб. По всей фанатичной африканской земле нам то и дело встречаются эти блестящие купола — то среди плодородных равнин Алжира и Туниса, то, как маяки, на округленных вершинах гор, то в глубине кедровых или сосновых лесов, то по краям глубоких оврагов, в чаще мастиковых деревьев и пробковых дубов, то в желтой пустыне, между двумя финиковыми пальмами, склоняющими свои вершины, одна справа, другая слева, над молочно-белым куполом, на который они бросают легкую и тонкую тень ветвей.

В останках марабутов содержится некое священное семя, оплодотворяющее безграничную почву ислама, зарождая в ней от Танжера до Тимбукту, от Каира до Мекки, от Туниса до Константинополя, от Хартума до Явы самую могучую и наиболее таинственно-властную из всех религий, когда-либо подчинявших себе человеческие души.

Маленькие круглые, стоящие особняком, и такие

белые, что от них излучается свет, эти гробницы в самом деле производят впечатление божественных семян, пригоршнями разбросанных по свету великим сеятелем веры Магометом, братом Аиссы и Моисея.

Нас уносит крупной рысью четверка лошадей, запряженных в ряд, и мы долго едем по бесконечным равнинам, засаженным виноградниками и засеянным злаками, которые только начинают всходить.

Но вдруг дорога, великолепная дорога, построенная инженерным ведомством уже после установления французского протектората, разом обрывается. Последними дождями смыло мост, который был слишком мал, чтобы пропустить массы воды, хлынувшей с гор. Мы с великим трудом спускаемся в овраг, и коляска, поднявшись на другую его сторону, снова катит по прекрасной дороге, одной из главных артерий Туниса, выражаясь официальным языком. Мы едем рысью еще несколько километров, пока не встречается еще один маленький мост, тоже не выдержавший напора воды. Дальше, наоборот, уцелел только мост; он стоит невредимо, какою-то крошечной триумфальной аркой, а дорога, размытая с обеих сторон, превращена в две пропасти, окружающие эту новехонькую руину.

Около полудня мы видим перед собою какое-то странное сооружение. На краю дороги, почти уже исчезнувшей, появляется целая группа плотно слившихся домиков, немногим выше человеческого роста, перекрытых непрерывным рядом сводов, одни из которых несколько возвышаются над другими и придают всему этому селению сходство со скопищем гробниц. Вокруг бегают ощетинившиеся белые собаки, встречающие нас громким лаем.

Эта деревушка называется Горомбалия: она была основана одним андалузским вождем-магометанином, Мохаммедом Горомбали, изгнанным из Испании Изабеллою Католической.

Здесь мы завтракаем и едем дальше. Повсюду в отдалении можно разглядеть в бинокль развалины римских городов. Сперва Вико Аурелиано, далее более значительный Сиаго, в котором сохранились византийские и арабские постройки. Но вот прекрасная дорога, главная артерия Туниса, превращается в сплошные

ужаснейшие ухабы. Дождевая вода изрыла ее, размыла и разрушила. Мосты или провалились и представляют собою лишь груду камней на дне оврага или уцелели, но вода, пренебрегая ими, проложила себе путь в другом месте и прорезала в насыпи инженерного ведомства траншеи в пятьдесят метров шириной.

Отчего эти повреждения и развалины? Все тут понятно с первого взгляда даже ребенку. Эти мостики, к тому же слишком узкие, оказываются ниже уровня воды, как только наступают дожди. Одни из них, затопленные потоком и загроможденные сучьями, которые он несет с собою, бывают просто смыты, а под другими мостами, расположенными не по обычному его пути, капризный поток не желает проходить и течет, назло инженерам, по старому руслу. Эта дорога от Туниса до Кайруана производит потрясающее впечатление. Она не только не помогает передвижению людей и экипажей, но делает его просто невозможным, создавая на пути бесчисленные опасности. Старую арабскую дорогу, которая была вполне хороша, уничтожили и заменили рядом рытвин, разрушенных арок, бугров и ям. Работы еще не закончены, а уже приходится все перестраивать заново. После каждого дождя снова принимаются за работу, не желая сознаться, не желая понять, что придется только вечно восстанавливать эту цепь рушащихся мостов. Мост в Анфидавиле перестраивался два раза. Его только что снесло опять. Мост Уэд-эль-Хаммам разрушен уже в четвертый раз. Это какие-то плавучие, ныряющие, кувыркающиеся мосты. Одни лишь старые арабские мосты стоят прочно.

Сначала сердишься, так как коляска вынуждена спускаться в почти непроходимые овраги, где раз десять за час рискуешь опрокинуться, потом начинаешь смеяться, как над неподражаемой шуткой. Чтобы избежать этих опасных мостов, приходится делать длиннейшие объезды, ехать на север, возвращаться на юг, поворачивать на восток и снова направляться на запад. Бедные туземцы вынуждены были пробить себе топором, киркой и косарем новый путь через заросли каменного дуба, туи, мастикового дерева, вереска и алепской сосны, так как старый путь нами разрушен.

Вскоре мелкая поросль исчезает и впереди простирается лишь волнистая равнина, изборожденная рытвинами, в которых кое-где виднеются белые кости скелета животного с выдающимися ребрами или падаль, наполовину съеденная хищными птицами и собаками. Пятнадцать месяцев на эту землю не упало ни единой капли дождя, и половина животных околела здесь от голода. Их трупы, рассеянные повсюду, отравляют воздух и придают этим равнинам вид бесплодной пустыни, сожженной солнцем и опустошенной чумою. Одни лишь собаки жирны: они откормились этим разлагающимся мясом. Нередко можно видеть, как они вдвоем или втроем с остервенением терзают гнилую тушу. Упершись лапами, они тянут к себе длинную ногу верблюда или короткую ногу осла, раздирают грудь лошади или копаются в брюхе коровы. Видно издали, как они, ощетинившись, бродят в поисках падали, обратив нос по ветру, вытянув острые морды.

Трудно себе представить, что эта почва, которую в течение двух лет жгло беспощадное солнце и целый месяц затопляли проливные дожди, превратится к марту и апрелю в бесконечную степь, поросшую травой в рост человека и бесчисленными цветами, каких не встретишь в наших садах. Каждый год, когда идут дожди, вся область Туниса переходит в течение нескольких месяцев от самой ужасной засухи к самому бурному плодородию. Из Сахары, лишенной последней травинки, она внезапно, как по волшебству, чуть ли не в несколько дней превращается в буйно-зеленую Нормандию, в Нормандию, опьяневшую от зноя, где посевы наливаются таким богатым соком, что они у вас на глазах выходят из земли, растут, желтеют и вызревают.

Эта равнина местами обрабатывается арабами чрезвычайно оригинальным способом.

Они живут либо в белеющих вдали деревнях, либо в гурби — шалашах, построенных из веток, либо в бурых остроконечных палатках, которые, подобно огромным грибам, прячутся в сухом кустарнике или в зарослях кактусов. Если последний урожай был обилен, арабы рано приготовляют пашню; но если засуха довела их до голода, они обычно выжидают первых

дождей, прежде чем решиться высеять последнее зерно или испросить посевную ссуду у правительства, которое дает ее довольно легко. Когда же проливные осенние дожди размочат почву, арабы отправляются к каиду, в руках которого сосредоточены все плодородные земли, или к новому землевладельцу-европейцу, который часто сдает землю по более дорогой цене, но не обворовывает их и разрешает все споры более справедливо и, конечно, неподкупно; они указывают выбранный ими участок, обозначают границы, снимают его в аренду на один лишь сезон и принимаются за обработку.

Тогда можно наблюдать удивительное зрелище! Всякий раз, как, покинув бесплодные и каменистые районы, вы вступаете в плодородную местность, в отдалении показываются неправдоподобные силуэты верблюдов, запряженных в плуги. Высокое фантастическое животное тащит своим медленным шагом жиденькое деревянное орудие, которое подталкивает сзади араб, одетый во что-то вроде рубахи. Вскоре эти странные группы увеличиваются числом, потому что вы приближаетесь к области, которая всех привлекает. Они движутся взад и вперед, вкривь и вкось по всей равнине, эти невыразимые силуэты животного, орудия и человека, причем все эти три составных элемента словно спаяны между собою, образуя единое апокалиптическое, забавное в своей торжественности существо.

Иногда верблюда заменяет корова, осел, а иногда даже женщина. Однажды я видел женщину, запряженную в паре с осликом: она тащила тяжесть не хуже, чем животное, а мужчина подталкивал сзади плуг, подгоняя эту жалкую упряжку.

Борозда, которую проводит араб, не так красива, глубока и пряма, как у европейского пахаря; это зубчатая линия, петляющая как попало по поверхности земли, вокруг кустиков африканского шиповника. Небрежный землепашец не остановится, не нагнется, чтобы выполоть сорняк, растущий на его пути. Он старательно обходит его, оберегает, заключая в кривые извилины своей пахоты, как нечто драгоценное, как нечто священное. И поэтому поля покрыты здесь кустиками, иные из которых так малы, что вырвать их

рукой ничего не стоит. Один вид этих посевов, представляющих смесь злаков и сорняка, под конец так раздражает, что хочется взять мотыгу и прополоть эти поля, где среди кустов дикого шиповника движется фантастическая тройка: верблюд, плуг и араб.

В этом спокойном равнодушии, в этом уважении к растению, выросшему на божьей земле, мы снова встречаемся с фаталистической душой жителя Востока. Раз оно здесь выросло, это растение, на то, несомненно, была воля господа. Зачем разрушать и уничтожать дело его рук? Не лучше ли свернуть в сторону и обойти сорняк? Если он разрастется настолько, что заполнит весь участок, разве нет другой земли подальше? Зачем брать на себя этот труд, делать лишнее движение, лишнее усилие, увеличивать неизбежную работу лишней затратой сил, как бы ничтожна она ни была?

У нас крестьянин, относящийся более ревниво к своей земле, чем к жене, гневно набросился бы с мотыгой в руках на врага, выросшего на его поле, и без устали до полной победы размашисто бил бы, как дровосек, по цепким корням, глубоко проникшим в почву.

А здесь — какое до этого дело арабам? Никогда они не уберут попавшегося им на пашне камня; они и его обойдут плугом. Некоторые поля один человек мог бы за час очистить от камней, лежащих на поверхности, из-за чего плуг бесконечное число раз искривляет свой путь. Но поля никогда не будут очищены. Камень лежит, и пусть его лежит. На то божья воля!

Когда кочевники кончают сев на избранных ими участках, они уходят в другие места искать пастбищ для своих стад, оставляя для охраны посевов только одну семью.

Сейчас мы проезжаем по огромному поместью в сто сорок тысяч гектаров, носящему название Энфида; оно принадлежит французам. Покупка этого огромного владения, проданного генералом Хайр-эд-Дином, бывшим министром бея, явилась одним из решающих факторов французского влияния в Тунисе.

Забавны и характерны обстоятельства, сопровождавшие эту покупку. Когда французские капиталисты и генерал договорились относительно цены, обе стороны отправились к кади для составления купчей. Но в ту-

нисском законодательстве имеется специальное постановление, предоставляющее владельцам участков, смежных с продаваемой землей, преимущественное право приобретения ее по той же цене.

У нас под «той же ценой» разумеется равная сумма денег в любой ходячей монете; между тем восточный кодекс, который всегда оставляет лазейки для сутяжничества, требует, чтобы цена была уплачена соседом теми же денежными знаками, тем же числом одинаковых по ценности процентных бумаг, банковых билетов одинакового достоинства, золотых, серебряных или медных монет. И наконец, дабы в некоторых случаях сделать эту трудную задачу совершенно неразрешимой, закон предоставляет кади право позволить первому покупателю добавлять к обусловленной цене горсть мелких монет неопределенного, а следовательно, и неизвестного достоинства, что лишает соседей возможности представить совершенно тождественную сумму денег.

Ввиду протеста одного еврея, г-на Леви, владельца соседнего с Энфидой поместья, французы просили у кади разрешения добавить к условленной цене эту горсть мелких монет, в чем им, однако, было отказано.

Но мусульманское законодательство изобилует всяческими уловками; найден был другой прием. Решено было купить этот огромный земельный массив — сто сорок тысяч гектаров, исключив из него узкую ленту в метр шириною по всей его периферии. Таким образом, участок не граничил больше ни с одним из прежних соседей, и Франко-африканской компании удалось приобрести Энфиду вопреки стараниям ее врагов и министерства бея.

Компания произвела огромные мелиорационные работы на всех плодородных частях Энфиды, насадила виноградники, деревья, основала поселки и разбила земли на равные участки в десять гектаров каждый, чтобы арендатор-араб имел возможность выбирать и указывать облюбованный им участок без всяких недоразумений.

Нам придется ехать по этой тунисской провинции в течение двух дней, прежде чем мы достигнем противоположного ее края. С некоторого времени дорога

из простой тропы, извивавшейся среди кустов крушины, стала вполне проезжей, и мы уже радовались тому, что нам удается засветло добраться до Бу-Фиша, где собирались ночевать, как вдруг увидели целую многоплеменную армию рабочих, которая вместо вполне сносной дороги сооружала дорогу французскую, чреватую бесчисленными опасностями; нам снова пришлось ехать шагом. Удивительны эти рабочие! Толстогубый негр с выпуклыми белками глаз, с ослепительными зубами работает киркой возле араба с тонким профилем, волосатого испанца, марокканца, мавра, мальтийца, землекопа-француза, неведомо как и почему попавших в эту страну; тут и греки и турки — все типы левантинцев; можно себе представить, каков уровень нравственности, честности и дружелюбия в этой разношерстной орде!

Часов около трех мы подъезжаем к самому обширному караван-сараю, какой мне доводилось когда-либо встречать. Это целый город, или, вернее, деревня, заключенная в единую ограду, опоясывающую три последовательно расположенных огромных двора, где в маленьких, как стойла, чуланах размещены люди — хлебопеки, сапожники, разного рода торговцы,— а под арками — животные. Несколько чистых келий с кроватями и циновками предназначены для знатных путешественников.

На стене террасы сидят два белых, серебристых, блестящих голубя и глядят на нас красными глазами, сверкающими, как рубины.

Лошадей напоили. Мы снова пускаемся в путь.

Дорога несколько приближается к морю, и мы видим на горизонте синеватую его полосу. На конце мыса появляется город, прямая линия которого, ослепительно блестящая в лучах заходящего солнца, словно бежит по воде. Это Хаммамет, который при римлянах назывался Пут-Пут. Вдали на равнине перед нами возвышаются округлые развалины, которые благодаря миражу кажутся огромными. Это опять римская гробница, вышиною всего лишь в десять метров, известная под названием Карс-эль-Менара.

Наступает вечер. Небо над нашей головой синее, но перед нами простирается густая фиолетовая туча,

в которую заходит солнце. Ниже этого слоя облаков, на горизонте, тянется над морем узкая розовая полоса, совершенно прямая и правильная, которая с минуты на минуту, по мере того как к ней спускается невидимое светило, становится все ярче и ярче. Птицы проносятся мимо нас, тяжело и медленно взмахивая крыльями; это, кажется, сарычи. Я глубоко ощущаю наступление вечера; это чувство с необычайной силой проникает в душу, в сердце, во все тело на этой дикой равнине, которая тянется до самого Кайруана, находящегося на расстоянии двух дней пути. Такова же, наверное, бывает и русская степь в вечерние сумерки. Навстречу нам попадаются три человека в бурнусах. Издали я принимаю их за негров — до того черна и так лоснится их кожа,— потом узнаю арабский тип лица. Это люди из Суфа, любопытного оазиса, наполовину погребенного в песках между шоттами и Тугуртом. Вскоре спускается ночь. Лошади идут шагом. Но вдруг во мраке вырастает белая стена. Это северная контора Энфиды, бордж Бу-Фиша, своего рода квадратная крепость, защищенная от внезапного налета арабов глухими стенами, с одной лишь железной дверью. Нас ждут: жена управляющего, г-жа Моро, приготовила нам превосходный обед. Вопреки инженерному ведомству мы все же проехали восемьдесят километров.

12 декабря

На рассвете мы снова пускаемся в путь. Заря розовая, густо-розовая. Как бы выразиться? Лососево-розовая, сказал бы я, будь этот тон поярче. В самом деле, у нас не хватает слов, чтобы вызвать перед взором все сочетания тонов. Наш глаз, глаз современного человека, умеет улавливать бесконечную гамму оттенков. Он различает все соединения красок, все их переходы, все изменения, обусловленные посторонними влияниями, светом, тенью, часом дня. Но для того, чтобы выразить все эти тончайшие цветовые оттенки, у нас имеется только несколько слов, тех простых слов, которыми пользовались наши отцы, рассказывая о редких впечатлениях своих неискушенных глаз.

Взгляните на современные ткани. Сколько здесь невыразимых оттенков между тонами основными! Для того, чтобы определить их, приходится прибегать к сравнениям, всегда неудовлетворительным.

То, что я видел в это утро за какие-нибудь несколько минут, я не сумею передать глаголами, существительными и прилагательными.

Мы еще ближе подъезжаем к морю, или, вернее, к обширному водоему, соединенному с морем. В бинокль я замечаю на воде фламинго и выхожу из экипажа, чтобы подползти к ним сквозь кусты и поглядеть на них вблизи.

Я приближаюсь и вижу их лучше. Одни плавают, другие стоят на своих длинных ходулях. Это белые и красные пятна, плавающие по воде, или, скорее, огромные цветы, выросшие на тонком пурпурном стебле, цветы, скучившиеся сотнями то на берегу, то в воде. Можно подумать, что это клумбы алых лилий, откуда, как из цветочного венчика, подымаются птичьи головы в кроваво-красных пятнах на тонкой изогнутой шее.

Я подхожу еще ближе, и вдруг ближайшая стая замечает или чует меня и обращается в бегство. Это похоже на волшебный полет цветника, клумбы которого одна за другой взлетают к небу; я долго слежу в бинокль за розовыми и белыми облаками, которые уносятся в сторону моря, словно таща за собою кроваво-красные лапки, тонкие, как срезанные ветки.

Этот большой водоем в древности служил убежищем флоту жителей Афродизиума, грозных пиратов, которые устраивали здесь засаду и укрывались от преследования.

В отдалении виднеются развалины этого города, где останавливался Велизарий, идя походом на Карфаген. Там еще можно видеть триумфальную арку, развалины храма Венеры и огромной крепости.

На одной лишь территории Энфиды встречаются остатки семнадцати римских городов. Там на берегу лежит Гергла — некогда богатая Ауреа Целия императора Антонина, и если бы, вместо того чтобы свернуть к Кайруану, мы продолжали двигаться по прямому направлению, то к вечеру третьего дня пути увидали бы на совершенно пустынной равнине амфитеатр Эль-

Джем, равный по размерам римскому Колизею,— гигантские развалины здания, вмещавшего до восьмидесяти тысяч зрителей.

Вокруг этого великана, который сохранился бы в полной неприкосновенности, если бы тунисский бей Хамуда не подверг его пушечному обстрелу, чтобы выбить оттуда арабов, не желавших платить подати, найдены были кое-где следы обширного и роскошного города: огромные цистерны и гигантская коринфская капитель самого чистого стиля, высеченная из целой глыбы белого мрамора.

Какова история этого города — Тисдриты Плиния, Тисдра Птоломея,— города, имя которого упоминается всего лишь один или два раза у историков? Чего недоставало ему, такому большому, людному, богатому, чтобы прославиться? Почти ничего... Только Гомера!

Чем была бы Троя без Гомера? Кто знал бы об Итаке?

В этой стране наглядно познаешь, что такое история, и особенно, что такое библия. Здесь постигаешь, что патриархи и все легендарные лица, такие великие в книгах, такие внушительные в нашем воображении, были всего-навсего бедняки, бродившие среди первобытных племен, как бродят эти арабы, серьезные и простые, еще сохранившие душу древних и носящие одежду древности. Но только у патриархов были поэты-историки, воспевшие их жизнь.

По крайней мере, хоть раз в день под оливковым деревом или на опушке кактусовой заросли мы видим *Бегство в Египет;* невольно улыбаешься, когда вспоминаешь, что наши галантные живописцы посадили деву Марию на осла, на котором, конечно, сидел Иосиф, ее муж, в то время как она следовала за ним тяжелым шагом, немного согнувшись и неся на спине в сером от пыли бурнусе маленькое, круглое, как шарик, тельце младенца Иисуса.

Но кого мы встречаем на каждом шагу, у каждого колодца — это Ревекку. Она одета в синее шерстяное платье, великолепно драпирующее ее тело; на щиколотках у нее серебряные обручи, а на груди ожерелье из блях того же металла, соединенных цепочками. Иногда при нашем приближении она закрывается,

иногда же, если красива, показывает нам свежее загорелое лицо, глядя на нас огромными черными глазами. Это подлинно библейская девушка, та, о которой сказано в Песне Песней «Nigra sum sed formosa» [1],— та, которая, держа на голове сосуд, полный воды, спокойно ступая по каменистой дороге упругими, смуглыми ногами, слегка покачивая бедрами и гибким станом, некогда соблазняла небесных ангелов, так же как теперь соблазняет нас, далеко не ангелов.

В Алжире и в алжирской Сахаре все женщины, как городские, так и кочевых племен, одеты в белое. В Тунисской же области, напротив, горожанки с головы до ног закутаны в черные покрывала, которые превращают их в какие-то странные видения на сияющих улицах городков юга, а сельские жительницы носят ярко-синие платья, очень живописные и изящные, придающие им еще более библейский характер.

Теперь мы пересекаем равнину, на которой повсюду видны следы человеческого труда, так как мы приближаемся к центру Энфиды, переименованному в Энфидавиль из прежнего Дар-эль-Бея.

Деревья! Вот чудеса! Они уже высокие, хотя посажены всего четыре года назад; это свидетельствует об удивительном богатстве здешней почвы и о тех результатах, каких можно достигнуть основательной и разумной ее обработкой. Дальше среди деревьев показываются большие дома, над которыми реет французский флаг. Это жилище главноуправляющего и ядро будущего города. Вокруг основных построек уже возник поселок, и каждый понедельник здесь происходит базар, где заключаются весьма крупные сделки. Арабы толпами приходят сюда из самых отдаленных местностей.

Нет ничего занимательнее организации этой огромной территории, где интересы туземцев соблюдаются не в меньшей степени, чем интересы европейцев. Она может служить образцом аграрного управления для стран со смешанным населением, где самые различные и противоположные нравы требуют весьма тонко предусмотренного законодательства.

---

[1] «Я черна, но прекрасна» *(лат.)* — слова из «Песни Песней».

Позавтракав в этой столице Энфиды, мы отправляемся осматривать чрезвычайно любопытную деревню, прилепившуюся на скале, в пяти километрах отсюда.

Сначала мы проезжаем через виноградники, потом возвращаемся на ланду, на бесконечные пространства желтой земли, поросшей кое-где лишь жидкими кустиками крушины.

Уровень подпочвенной воды находится на глубине двух, трех или пяти метров во всех этих равнинах, которые с небольшой затратой труда могли бы быть превращены в огромные оливковые рощи.

Теперь же на них встречаются лишь там и сям небольшие заросли кактусов, не больше наших фруктовых садов.

Вот каково происхождение этих зарослей.

В Тунисской области существует чрезвычайно любопытный обычай, называемый правом оживления почвы, согласно которому каждый араб может захватить необработанную землю и чем-нибудь засадить ее, если в настоящую минуту нет налицо хозяина, который этому бы воспротивился.

И вот араб, облюбовав поле, показавшееся ему плодородным, сажает на нем оливковые деревья или чаще всего кактусы, которые он неправильно называет берберийскими фигами, и в силу одного этого приобретает право ежегодно пользоваться половиной урожая до тех пор, пока существует посаженное им дерево. Другая половина принадлежит собственнику земли, которому остается лишь следить за продажей урожая, чтобы получить причитающуюся ему долю доходов.

Араб-захватчик должен заботиться об этом поле, содержать его в порядке, охранять от воров, ограждать от всякого вреда, как если бы оно принадлежало ему самому, и каждый год он продает плоды с аукциона, чтобы дележ был правильный. Впрочем, почти всегда он приобретает их сам, выплачивая действительному собственнику земли своего рода арендную плату, точно не установленную и пропорциональную стоимости урожая.

Эти кактусовые рощи имеют фантастический вид. Их скрюченные стволы походят на тела драконов, на

лапы чудовищ с вздыбленной и покрытой колючками чешуей. Когда встречаешь такое растение ночью, при лунном свете, кажется, что попал в страну кошмаров.

Подножие крутой скалы, на которой стоит селение Так-Руна, покрыто этими высокими дьявольскими растениями. Пробираешься словно по дантовскому лесу. Кажется, что чудовища вот-вот зашевелятся, замашут широкими круглыми листьями, толстыми и покрытыми длинными иглами, что они схватят вас, сожмут и растерзают своими страшными когтями. Трудно вообразить себе что-нибудь более жуткое, чем этот хаос огромных камней и кактусов, охраняющий подножие горы.

Вдруг посреди этих скал и свирепых растений мы видим колодезь, окруженный женщинами, пришедшими сюда за водой. Серебряные украшения их ног и шеи блестят на солнце. Увидев нас, они закрывают смуглые лица складками синей материи, в которую одеты, и, приставив ко лбу руку, пропускают нас, стараясь получше разглядеть.

Тропинка крута, едва проходима для наших мулов. Кактусы также карабкаются среди скал вдоль дороги. Они словно сопровождают, окружают, теснят нас, следуют за нами и обгоняют. Там, на высоте, в конце подъема, опять виднеется ослепительный купол куббы.

Вот и село: это груда развалин, полуобвалившихся стен, среди которых трудно отличить обитаемые лачуги от тех, которые уже заброшены. Остатки крепостной стены, еще сохранившиеся на севере и на западе, настолько подточены и грозят обвалом, что мы не решаемся к ним подойти: малейшего толчка достаточно, чтобы они обрушились.

Вид сверху великолепен. На юге, востоке и западе бесконечная равнина, почти на всем протяжении омываемая морем. На севере — горы, голые, красные, зубчатые, как петушиный гребень. А там вдали Джебель-Загуан, царящий над всей страной.

Это последние горы, которые мы увидим до самого Кайруана.

Деревушка Так-Руна представляет собой своего рода арабскую крепость, защищенную от внезапных набегов. Слово «Так» — это сокращенное «Таккеше»,

что означает крепость. Главная обязанность жителей — ибо назвать это занятием нельзя — хранить зерно, сдаваемое им кочевниками после сбора урожая.

Вечером мы возвращаемся на ночлег в Энфидавиль.

13 декабря

Сначала мы едем посреди виноградников Франко-африканской компании, затем достигаем безграничных равнин, где повсюду бродят незабываемые видения, состоящие из верблюда, плуга и араба. Дальше почва становится бесплодной, и я вижу в бинокль расстилающуюся перед нами бесконечную пустыню, полную огромных, торчком стоящих камней; они со всех сторон — и справа и слева, насколько хватает глаз. Приблизившись, мы видим, что перед нами долмены. Это некрополь невообразимых размеров: ведь он занимает сорок гектаров! Каждая могила состоит из четырех плоских камней. Три камня, поставленные вертикально, образуют заднюю и две боковые стороны; четвертый камень, положенный сверху, служит крышей. Долгое время все раскопки, производимые управляющим Энфиды для обнаружения склепов под этими мегалитическими памятниками, не имели успеха. Полтора или два года тому назад г-ну Ами, хранителю парижского этнографического музея, удалось после длительных поисков обнаружить вход в эти подземные гробницы, весьма искусно скрытый в толстом слое камня. Внутри он нашел кости и глиняные сосуды — свидетельство, что это берберские гробницы. С другой стороны, г-н Манджавакки, управляющий Энфиды, обнаружил неподалеку почти исчезнувшие следы обширного берберского города. Каков же был этот город, покрывавший своими мертвецами площадь в сорок гектаров?

Впрочем, часто поражаешься тому пространству, какое восточные народы отводят в этом мире своим предкам. Кладбища их огромны, бесчисленны. Они встречаются повсюду. Могилы в Каире занимают больше места, чем дома. У нас, наоборот, земля дорога и с ушедшими в вечность не считаются. Их укладывают

одного вплотную с другим, одного над другим, одного к другому в четырех стенах какого-нибудь закоулка, в городском предместье. Мраморные плиты и деревянные кресты прикрывают поколения, погребенные за целые века на таком кладбище. Это навозные кучи из мертвецов возле любого европейского города. Им едва дают время утратить свою форму в земле, уже удобренной человеческой гнилью, едва дают время смешать свою разложившуюся плоть с этой трупной глиной, но так как все время поступают новые мертвецы, а рядом на соседних огородах выращиваются овощи для живых — эту почву, пожирающую людей, взрывают мотыгами, выбирают из нее попадающиеся кости, черепа, руки, ноги, ребра мужчин, женщин, детей, уже забытых, перемешавшихся между собою, сваливают их кучей в канаву и отводят мертвецам новым, мертвецам, имя которых еще не забыто, место, украденное у тех, которых уже никто не знает, которых поглотило целиком небытие; ведь в цивилизованном обществе надо быть бережливым.

По выходе из этого древнего необъятного кладбища мы видим белый дом. Это Эль-Мензель, южная контора Энфиды, где кончается наш дневной переход.

Мы долго засиделись после обеда, увлекшись беседой, и нам пришла охота немного прогуляться, прежде чем лечь спать. Яркая луна озаряла степь, и свет ее, проникая между лапчатыми листьями огромных кактусов, росших на расстоянии нескольких метров от нас, придавал им сверхъестественный вид стада адских животных, которые вдруг лопнули и раскидали во все стороны круглые части своих безобразных тел.

Мы остановились поглядеть на них, как вдруг слух наш поразил какой-то отдаленный непрерывный могучий гул. То были бесчисленные пронзительные и низкие голоса всевозможных тембров, свист, возгласы, призывные крики, невнятный и страшный рокот обезумевшей толпы, бесчисленной нереальной толпы, которая сражается неизвестно где, не то в небесах, не то на земле. Напрягая слух, поворачиваясь во все стороны, мы наконец убедились, что эти звуки доносятся с юга. Тут кто-то воскликнул:

— Да это птицы с озера Тритона!

На следующий день нам действительно пришлось проезжать мимо этого озера площадью в десять — тринадцать тысяч гектаров, которое арабы называют Эл-Кельбия (сука); некоторые современные географы видят в нем остатки древнего внутреннего моря Африки, местоположением которого до сих пор считали окрестности шоттов Феджедж, Р'арса и Мельр'ир.

Действительно, это было крикливое племя водяных птиц, расположившееся, как разноплеменная армия, на берегах озера, отдаленного от нас на шестнадцать километров; они-то и подняли ночью весь этот гам, потому что там тысячи птиц разных пород, разной величины, разной окраски, начиная с плосконосой утки и кончая длинноклювым аистом. Там можно видеть целые армии фламинго и журавлей, целые эскадры турпанов и морских рыболовов, целые полчища нырков, зуйков, бекасов и пресноводных чаек. В мягком свете луны все эти птицы, радуясь чудной ночи, вдали от человека, который еще не построил себе жилища близ их обширного водяного царства, резвятся, верещат на все голоса, наверно, переговариваются на своем птичьем языке и наполняют ясное небо пронзительными криками, на которые откликается только далекий лай арабских собак да тявканье шакалов.

14 декабря

Проехав еще несколько равнин, местами распаханных туземцами, но большей частью не тронутых плугом, хотя и вполне пригодных для обработки, мы замечаем слева длинную водную поверхность озера Тритона. Мы постепенно к нему приближаемся, и нам кажется, что на нем виднеются острова, множество больших островов, то черных, то белых. Это целые птичьи племена, сплошными массами плавающие на его поверхности. Берегом прогуливаются по двое, по трое, ступая на длинных ногах, огромные журавли. Другие виднеются на равнине между кустами аристотелии, над которыми торчат их настороженные головы.

Это озеро, глубина которого не превышает шести — восьми метров, совершенно пересохло прошлым летом после пятнадцатимесячной засухи, которой не запом-

нят тунисские старожилы. Однако, несмотря на значительную площадь озера, оно заполнилось осенью в один день, так как в него стекает вся вода от дождей, выпадающих на горах. Залог великого будущего богатства этих земель обусловлен тем, что здесь нет, как в Алжире, таких рек, которые часто пересыхают, но имеют определенное русло, куда собирается небесная влага; напротив, эти земли покрыты едва заметными рытвинами, где достаточно малейшей преграды, чтобы остановить поток воды. А так как уровень их повсюду одинаков, то каждый ливень, выпавший в далеких горах, разливается по всей равнине и превращает ее на несколько дней или на несколько часов в огромное болото, оставляя при каждом из этих наводнений новый слой ила, удобряющий и оплодотворяющий почву, как в Египте, но только без Нила.

Теперь мы достигли беспредельных ланд, покрытых, как проказой, небольшим мясистым растением цвета медянки, которое очень любят верблюды. Поэтому повсюду, куда ни кинешь взгляд, пасутся огромные стада дромадеров. Когда мы проезжаем среди них, они оглядывают нас большими блестящими глазами, и нам кажется, что мы переживаем первые дни мироздания, когда творец в нерешительности, словно желая проверить ценность и результаты своего сомнительного творчества, бросал пригоршнями на землю безобразных животных, которых он впоследствии мало-помалу уничтожил, оставив только некоторые первоначальные типы на этом заброшенном материке, в Африке, где сохранились среди песков забытые им жираф, страус и дромадер.

Какая забавная и милая картина: самка верблюда только что разрешилась от бремени и возвращается к становищу в сопровождении своего верблюжонка, причем его подгоняют прутьями два арабских мальчугана, головы которых не доходят до его крупа. Он уже большой; на его длинных ногах посажено крошечное тельце, заканчивающееся птичьей шеей и удивленной головкой, а глаза всего лишь четверть часа как смотрят на все эти новые вещи: на дневной свет, на ланду, на большое животное, за которым он бежит. Впрочем, он прекрасно, без всяких затруднений и колебаний

ступает по этой неровной почве и уже начинает обнюхивать материнское вымя: ведь это животное, которому всего несколько минут от роду, для того и создано природою таким длинноногим, чтобы оно могло дотянуться до материнского брюха.

А вот и другие, которым исполнилось несколько дней или несколько месяцев, и совсем большие с взъерошенной шерстью; одни сплошь желтые, другие светло-серые, третьи черноватые. Окружающая нас природа становится настолько странной, что я ничего подобного в жизни не видел. Справа и слева из земли торчат камни, выстроившиеся рядами, как солдаты, с наклоном в одну и ту же сторону по направлению к Кайруану, пока еще невидимому. Все эти камни, стоящие ровными шеренгами на расстоянии нескольких сот шагов между ними, словно выступили в поход побатальонно. Так они усеивают несколько километров. Между ними нет ничего, кроме песка с примесью глины. Это собрание камней — одно из любопытнейших на земле. У него, впрочем, есть и своя легенда.

Когда Сиди-Окба со своими всадниками прибыл в эту мрачную пустыню, где теперь лежат развалины священного города, он разбил лагерь в этом уединенном месте. Его товарищи, удивленные тем, что он здесь остановился, советовали ему удалиться, но он ответил:

— Мы должны здесь остаться и даже основать город, ибо такова божья воля.

На это они возразили, что здесь нет ни питьевой воды, ни дерева, ни камня для стройки.

Сиди-Окба велел им замолчать и сказал:

— Бог об этом позаботится.

На следующее утро ему доложили, что собачонка нашла воду. Стали рыть землю в том месте и на глубине шестнадцати метров обнаружили ключ, питающий теперь большой, покрытый куполообразным навесом колодец, вокруг которого целый день ходит верблюд, приводя в движение рычаг насоса.

На следующий день арабы, посланные на разведку, сообщили Сиди-Окба, что на склонах соседних гор они заметили леса.

И наконец на третий день выехавшие с утра всадники прискакали, крича, что они только что встре-

тили камни, целое войско камней, идущее походом и, несомненно, посланное богом.

Несмотря на это чудо, Кайруан почти целиком построен из кирпича.

Но вот равнина становится болотом желтой грязи; лошади спотыкаются, тянут, не продвигаясь вперед, выбиваются из сил и падают. Они уходят до самых колен в этот вязкий ил. Колеса тонут в нем по ступицу. Небо заволокло тучами, моросит мелкий дождик, затуманивая горизонт. Дорога становится то лучше, когда мы взбираемся на одну из семи возвышенностей, называемых семью холмами Кайруана, то снова превращается в отвратительную клоаку, когда мы спускаемся в разделяющие их низины. Вдруг коляска остановилась: одно из задних колес увязло в песке.

Приходится вылезать из экипажа и идти пешком. И вот мы бредем под дождем, исхлестанные бешеным ветром, и подымаем при каждом шаге огромные комья глины, облепляющей обувь; это затрудняет путь, который становится просто изнурительным; мы проваливаемся порою в ямы, полные жидкой грязи, задыхаемся, проклинаем неприветливую землю и совершаем настоящее паломничество к священному граду; оно, быть может, зачтется нам на том свете, если паче чаяния бог пророка окажется истинным богом.

Известно, что для правоверных семь паломничеств в Кайруан равняются одному паломничеству в Мекку.

После того как мы таким утомительным способом месим грязь на протяжении одного — двух километров, перед нами в отдалении вырастает среди тумана тонкая остроконечная башня, едва заметная, лишь немного гуще окрашенная, чем окружающий ее туман, и теряющаяся верхушкой в облаках. Это смутное и волнующее видение постепенно выступает более отчетливо, принимает более ясную форму и превращается наконец в высокий минарет, уходящий в небо; ничего другого не видно ни вокруг, ни внизу: ни города, ни стен, ни куполов мечетей. Дождь хлещет нам в лицо, и мы медленно идем к этому сероватому маяку, выросшему перед нами, как башня-призрак, которая вот-

вот растает и сольется с туманом, откуда она только что возникла.

Но вот вправо от нас вырисовывается здание, увенчанное куполами — это так называемая мечеть Брадобрея,— и наконец показывается самый город — расплывчатая, неопределенная масса за пеленою дождя; минарет кажется теперь уже не таким высоким, словно он ушел в землю, после того как поднялся в поднебесье, чтобы указать нам путь к городу.

Боже, какой это печальный город, затерянный в пустыне, в одиноком, бесплодном и голом месте! На узких, извилистых улицах арабы, укрывшись в лавочках торговцев, смотрят на нас, когда мы проходим мимо, а встречная женщина — черное привидение на фоне пожелтевших от дождя стен — походит на смерть, прогуливающуюся по городу.

Нам оказывает гостеприимство тунисский губернатор Кайруана Си-Мохаммед-эль-Марабут, генерал бея, благороднейший и благочестивейший мусульманин, трижды совершивший паломничество в Мекку. С изысканной и важной любезностью проводит он нас в комнаты, предназначенные для иностранных гостей, где мы находим большие диваны и дивные арабские покрывала, в которые закутываются, ложась спать. Из почтения к нам один из его сыновей собственноручно приносит все предметы, в которых мы нуждаемся.

В тот же вечер мы обедали у гражданского контролера и французского консула, где встретили радушный прием; было оживленно и весело, и это согрело и утешило нас после нашего плачевного прибытия.

15 декабря

Еще не рассвело, когда один из моих спутников разбудил меня. Мы сговорились пойти в мавританскую баню рано утром, до осмотра города.

Уличное движение уже началось, так как жители Востока привыкли вставать до зари, а между домами мы видим чудное небо, чистое и бледное, сулящее жару и солнечный свет.

Мы идем по одним улицам, затем по другим, минуем колодезь, где верблюд, привязанный под куполо-

образным навесом, без конца ходит по кругу, накачивая воду, и проникаем в темный дом с толстыми стенами, где сперва ничего не видно и где уже при входе захватывает дыхание от жаркого и влажного воздуха.

Затем мы различаем арабов, дремлющих на циновках; хозяин заведения, после того как нам помогли раздеться, вводит нас в баню — нечто вроде черной сводчатой темницы, куда свет зарождающегося дня проникает сверху, через узкое окошко в своде, и где пол залит какой-то клейкой водой, идя по которой на каждом шагу рискуешь поскользнуться и упасть.

Когда после всех операций массажа мы выходим на свежий воздух, нас ошеломляет и пьянит радость, потому что взошедшее солнце озаряет улицы, и мы видим город, белый, как все арабские города, но еще более дикий, более характерный, более ярко запечатленный фанатизмом, поразительный своей явной бедностью, своим жалким, но гордым благородством,— священный град Кайруан.

Население его только что пережило страшный голод, и на всем лежит отпечаток нужды, кажется, даже на самих домах. Здесь, как в поселках Центральной Африки, торговцы, сидя по-турецки на земле, в лавчонках, величиной с коробку, продают всевозможные нехитрые товары. Вот финики из Гафсы или из Суфа, слипшиеся в большие комья вязкого теста, от которого продавец, сидя на той же доске, отрывает пальцами нужный кусок. Вот овощи, пряности, печения; в суках — длинных, сводчатых, извилистых базарах — материи, ковры, конская сбруя, украшенная золотым и серебряным шитьем, и тут же невообразимое количество сапожников, изготовляющих желтые кожаные туфли. До французской оккупации евреям не удавалось поселиться в этом недоступном для них городе. Сейчас они в Кайруане кишат и постепенно завладевают им. В их руках уже находятся драгоценные украшения женщин и купчие на часть домов, под которые они выдали ссуды и собственниками которых быстро становятся благодаря системе переписки долговых обязательств и быстрого роста суммы долга — системе, практикуемой ими с поразительной ловкостью и неукротимой алчностью.

Мы идем к мечети Джама-Кебир, или Сиди-Окба, высокий минарет которой господствует над городом и над пустыней, отделяющей его от остального мира. На повороте одной улицы мечеть внезапно появляется перед нами. Это обширное, тяжеловесное здание, поддерживаемое огромными контрфорсами, белая масса, грузная, внушительная, красивая какой-то необъяснимой и дикой красотой. При входе в мечеть прежде всего видишь великолепный двор, окруженный двойной галереей, которую поддерживают два ряда изящных римских и романских колонн. Можно подумать, что вы попали во внутренний двор какого-то прекрасного итальянского монастыря.

Самая мечеть находится направо; свет в нее проникает из этого двора через семнадцать двухстворчатых дверей, которые мы просим раскрыть настежь, прежде чем войти.

Во всем мире я знаю только три храма, которые вызывали во мне то же неожиданное и потрясающее волнение, какое я ощутил при посещении этого варварского и изумительного памятника: аббатство горы Сен-Мишель, собор св. Марка в Венеции и Дворцовую капеллу в Палермо.

Но там это продуманные, сознательно созданные, превосходные произведения великих архитекторов, уверенно творивших людей, несомненно благочестивых, но прежде всего художников, вдохновляемых любовью к линиям, к формам и к внешней красоте в той же, если не в большей мере, чем любовью к богу. Здесь — дело иное. Здесь фанатический кочевой народ, едва способный построить простую стену, прибыв в страну, покрытую развалинами, оставленными его предшественниками, стал собирать все то, что ему показалось самым красивым, и из этих обломков одного и того же стиля воздвигнул в божественном вдохновении жилище для своего бога, жилище из кусков, отторгнутых от развалин города, но не менее совершенное и не менее великолепное, чем самые лучшие творения величайших зодчих.

Перед нами открывается храм неимоверных размеров, напоминающий священную рощу, ибо в нем сто восемьдесят колонн из оникса, порфира и мрамора под-

держивают своды семнадцати нефов, соответствующих семнадцати дверям.

Взгляд останавливается, блуждает среди этого глубокого лабиринта стройных, круглых, безупречно изящных пилястров, все оттенки которых смешиваются и гармонически сочетаются между собою, а византийские капители африканской и восточной школы обнаруживают редкую тонкость работы и бесконечное разнообразие рисунка. Некоторые из них, на мой взгляд,— совершенство красоты. Наиболее оригинальная представляет пальму, согнутую порывом ветра.

По мере того, как я иду вперед по этому божественному зданию, все колонны, кажется, перемещаются, кружатся вокруг меня и образуют все новые, разнообразные и правильные фигуры.

В наших готических соборах главный эффект достигается нарочитой несоразмерностью высоты и ширины. Здесь же, наоборот, редкая гармоничность этого низкого храма достигается многочисленностью и пропорциональностью легких столбов, которые поддерживают здание, заполняют его, заселяют, делают его тем, что оно есть, создают его красоту и величие. Их красочное множество производит впечатление беспредельности, между тем как незначительная высота здания вызывает в душе чувство тяжести. Этот храм обширен, как мир, и в то же время вы чувствуете себя здесь подавленным могуществом божества.

Бог, вдохновивший творцов этого великолепного произведения искусства,— тот самый, который продиктовал коран, но он, конечно, не евангельский бог. Его тонкая и сложная мораль скорее разливается вширь, чем подымается ввысь, скорее поражает нас своим распространением, чем своей возвышенностью.

Повсюду в храме встречаются замечательные детали. Комната султана, входившего в мечеть через особую дверь, сделана из дерева, покрытого тончайшей резьбой, напоминающей ювелирную работу.

Кафедра из резных панелей оригинального рисунка производит дивное впечатление, а мираб, указывающий направление к Мекке, представляет собою восхитительную нишу из окрашенного и позолоченного мрамора и отличается изяществом орнамента и стиля.

Возле этого мираба стоят две колонны так близко одна к другой, что человек с трудом может протиснуться между ними. Арабы, которым это удается, по словам одних, излечиваются от ревматизма, по словам других, удостаиваются более возвышенных милостей.

Против средних дверей мечети — девятых, считая как с правой, так и с левой стороны,— на другом конце двора возвышается минарет. У него сто двадцать девять ступеней. Мы взбираемся по ним.

С этой высоты Кайруан, лежащий у наших ног, представляется шахматной доской, образуемой его глинобитными плоскими крышами, среди которых вздымаются со всех сторон блестящие плотные купола мечетей и кубб. Кругом необозримая желтая безбрежная пустыня, а около городских стен местами виднеются зеленые пятна кактусовых полей. Горизонт здесь бесконечно пуст и печален и сильнее хватает за душу, чем сама Сахара.

По-видимому, прежде Кайруан был гораздо больше. До сих пор еще упоминают названия исчезнувших кварталов.

Это Драа-эль-Теммар — холм продавцов фиников, Драа-эль-Уйба — холм весовщиков зерна, Драа-эль-Керруйя — холм торговцев пряностями, Драа-эль-Гатрания — холм торговцев дегтем, Дерб-эс-Месмар — квартал торговцев гвоздями.

Уединенно, за стенами города, на расстоянии около одного километра, стоит зауйя, или, вернее, мечеть Сиди-Сахаб (брадобрея пророка); она издали привлекает взоры, и мы направляемся к ней.

Совсем не похожая на Джама-Кебир, откуда мы только что вышли, она отнюдь не величественна, но зато это самая изящная, самая красочная, самая нарядная мечеть и самый совершенный образчик декоративного арабского искусства, какой я когда-либо видел.

По лестнице из старинных фаянсовых изразцов восхитительного стиля вы подымаетесь в прихожую, пол и стены которой выложены такими же изразцами. Затем идет длинный узкий двор, окруженный галереей, арки которой, в форме подков, опираются на римские колонны; когда вы попадаете на этот двор в яркий,

безоблачный день, вас ослепляет солнце, широким золотым покровом застилающее все стены, выложенные фаянсовыми изразцами дивных тонов и бесконечного разнообразия рисунков. Обширный квадратный двор, куда вы затем проникаете, в свою очередь, весь украшен ими. Свет блестит, разливается и горит огнем на стенах этого эмалевого дворца, где под пылающим небом Сахары сверкают все узоры, все краски восточной керамики. Поверху бегут причудливые тончайшие арабески. Из этого волшебного двора открываются двери в святилище с гробницей спутника и брадобрея пророка, Сиди-Сахаба, до самой смерти хранившего на своей груди три волоска из его бороды.

Это святилище, украшенное симметричными узорами из белого и черного мрамора, вокруг которых обвиваются надписи, увешанное мягкими коврами и знаменами, показалось мне не таким красивым, не таким неожиданным и оригинальным, как те незабываемые дворы, через которые проходишь, прежде чем в него проникнуть.

Выходя из мечети, мы пересекаем третий двор, полный молодых людей. Это своего рода мусульманская семинария, школа фанатиков.

Все эти зауйи, которыми покрыта почва ислама, являются, так сказать, бесчисленными ячейками орденов и братств, которые разнятся друг от друга видами и формами благочестия правоверных.

В Кайруане зауйи очень многочисленны (я не говорю о мечетях, воздвигаемых исключительно в честь аллаха); вот главные из них: зауйя Си-Мохаммед-Элуани; зауйя Сиди-Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, величайшего и наиболее чтимого у магометан святого; зауйя эт-Тиджани; зауйя Си-Хадид-эль-Хрангани; зауйя Сиди-Мохаммед-бен-Айса из Мекнеса; в последней хранятся тамбурины, дарбуки, сабли, железные стрелы и другие орудия — необходимые принадлежности диких церемоний Айсауа.

Эти бесчисленные ордена и братства ислама, во многом напоминающие наши католические монашеские ордена, находятся под особым покровительством какого-нибудь чтимого марабута и связаны с пророком целой цепью благочестивых учителей, называемых у

арабов «сельселят»; в начале этого столетия они получили особенное распространение и представляют самый грозный оплот магометанской религии против цивилизации и господства европейских народов.

В книге под заглавием *Марабуты и Хуан* г-н майор Ринн перечислил и описал их самым исчерпывающим образом.

В этой книге я нашел чрезвычайно любопытные данные об учении и деятельности этих союзов.

Каждый из них утверждает, что в нем одном сохранилось с полной неприкосновенностью послушание пяти заповедям пророка и что пророк указал ему единственный путь к единению с богом, что и составляет цель всех религиозных стремлений мусульман.

Но хотя все эти братства и ордена претендуют на абсолютную ортодоксальность и чистоту учения, у них чрезвычайно разнообразные и отличные друг от друга обычаи, наставления и тенденции.

Одни образуют мощные благочестивые ассоциации, руководимые учеными богословами-аскетами, людьми, действительно выдающимися, теоретически глубоко образованными и опасными дипломатами в их сношениях с нами; они с редким искусством руководят этими школами, где преподается священная наука, возвышенная мораль и способы борьбы с европейцами. Другие организации представляют собой причудливое сборище фанатиков или шарлатанов и напоминают труппу духовных фокусников, то экзальтированных и убежденных, то просто скоморохов, эксплуатирующих людскую глупость и благочестие.

Как я уже сказал, единственная цель всех усилий доброго мусульманина — тесное единение с богом. Различные мистические приемы ведут к этому совершенному состоянию, и каждый союз обладает своим особым методом тренировки. Как общее правило, эти методы приводят простого посвященного в состояние полного одурения, благодаря которому он становится слепым и покорным орудием в руках начальника.

Во главе каждого ордена стоит шейх — хозяин ордена: «В руках твоего шейха ты должен быть, как труп в руках омывающих умерших. Повинуйся ему во всем, что он тебе прикажет, ибо его устами повеле-

вает сам бог. Непослушанием ему ты навлечешь на себя божий гнев. Не забывай, что ты его раб и что ты ничего не должен делать без его приказания.

«Шейх — избранный богом человек; он выше всех прочих существ и занимает место непосредственно после пророков. Поэтому ты должен видеть повсюду его, только его одного. Изгони из своего сердца всякую иную мысль, кроме мысли о боге или о шейхе».

Ниже этой священной особы стоят *макаддемы,* викарии или заместители шейха, проводники учения.

И наконец простые посвященные ордена называются *хуанами,* братьями.

Чтобы достигнуть того состояния галлюцинации, при котором человек сливается с богом, каждое братство имеет свои специальные молитвословия, или, вернее, гимнастику одурения; они называются *диркр.*

Почти всегда это очень короткое воззвание, или, вернее, повторение одного слова или одной фразы, которые нужно произнести бесконечное число раз.

Равномерно двигая головою и шеей, адепты повторяют двести, пятьсот, тысячу раз подряд слово «бог» или формулу, которая встречается во всех мусульманских молитвах: «Нет бога, кроме бога»,— прибавляя к ней несколько стихов, порядок которых составляет пароль данного братства.

Новообращенный в момент своего посвящения называется *таламид,* после посвящения он *мюрид,* затем *факир,* затем *суфи,* затем *сатек* и наконец *мед джедуб* (восхищенный, галлюцинирующий). В этом сане у него появляется вдохновение или безумие, дух отделяется от материи и подчиняется влиянию своего рода мистической истерии. С этого момента человек уже не принадлежит к физическому миру. Для него существует один лишь духовный мир, и ему более не нужно выполнять обряды культа.

Выше этого состояния существует лишь состояние *тухида,* представляющее собою высшее блаженство, отожествление с божеством.

Экстаз также имеет различные степени, интереснейшее описание которых дает Шейх-Сенусси, член ордена Хелуатия, тайновидцев — толкователей снов. Интересно отметить странную аналогию, какую можно

провести между этими мистиками и мистиками христианства.

Вот что пишет Шейх-Сенусси: «...Позднее адепт воспринимает проявления других светочей, служащих ему самым совершенным талисманом.

«Число этих светочей достигает семидесяти тысяч; оно подразделяется на несколько групп и составляет *семь ступеней*, через которые достигается совершенство души. Первая из этих ступеней — человечество. Здесь различают десять тысяч светочей, доступных восприятию лишь достойных; цвет этих светочей тусклый. Они сливаются между собою... Чтобы достигнуть второй ступени, надо освятить свое сердце. Тогда открываются десять тысяч других светочей, присущих второй ступени, являющейся ступенью *страстного экстаза;* их цвет светло-голубой... После этого подходят к третьей ступени — *экстаза сердца.* На этой ступени адепт видит ад и его атрибуты, а также десять тысяч новых светочей, цвет которых красен, как цвет чистого пламени... С этой ступени можно лицезреть гениев и все их атрибуты, ибо сердце получает возможность наслаждаться семью духовными состояниями, доступными лишь некоторым посвященным.

«Поднявшись на следующую ступень, адепт различает десять тысяч новых светочей, присущих состоянию экстаза бесплотной души. Эти светочи отличаются ярко-желтым цветом. В них видны души пророков и святых.

«Пятая ступень — это ступень таинственного экстаза. На ней можно созерцать ангелов и десять тысяч новых светочей ослепительно белого цвета.

«Шестая ступень — это ступень одержимости. На ней также имеешь возможность видеть десять тысяч новых светочей, цвет которых — цвет прозрачных зеркал. Достигнув этой ступени, испытываешь сладостное восхищение духа, называемое *эль-Хадир* и составляющее основу духовной жизни. И только тогда удостаиваешься лицезреть нашего пророка Магомета.

«Наконец подходишь к десяти тысячам последних скрытых светочей, дойдя до седьмой ступени, которая есть блаженство. Эти светочи — зеленые и белые, но они испытывают последовательные изменения: так, они

проходят через цвета драгоценных камней, чтобы затем приобрести светлый оттенок, и наконец получают такую окраску, которая не имеет себе подобной, ни на что не похожа, нигде больше не существует, но которая разлита по всей вселенной... Когда достигнешь этого состояния, открываются атрибуты бога... Тогда кажется, что уже не принадлежишь к этому миру. Все земное исчезает для тебя».

Разве это не те же семь небесных замков святой Терезы и семь цветов, соответствующих семи ступеням экстаза? Чтобы достигнуть этого состояния безумия, члены ордена Хелуатия применяют следующий специальный прием:

«Садятся, скрестив ноги, и повторяют в течение некоторого времени: «Нет бога, кроме аллаха»,— поворачивая голову так, чтобы рот приходился сперва над правым плечом, а потом перед сердцем под левой грудью. Затем произносят обращение, которое состоит в том, чтобы отчетливо выговаривать имена бога, содержащие идею его величия и могущества, упоминая лишь десять следующих, и в том порядке, в каком они приведены: Он; Праведный; Живой; Непреодолимый; Высший дарователь; Высший покровитель; Тот, кто раскрывает сердца зачерствелых людей для истины; Единый; Вечный; Неизменный».

После каждого обращения адепты должны прочитать некоторые молитвы сто раз подряд или более.

Они садятся в кружок для особых молений. Тот, кто их читает, произнося слово *он,* высовывает голову на середину круга, склонив ее направо, затем снова откидывает назад, нагибая влево, к наружной стороне круга. Сначала только один произносит слово *он,* после чего все остальные хором подхватывают это слово, поворачивая головы вправо и влево.

Сравним эти приемы с теми, которые приняты у членов ордена Кадрия: «Усевшись со скрещенными ногами, они дотрагиваются до кончика правой ноги, затем до главной артерии, называемой *эль-кияс,* которая проходит вокруг внутренностей; кладут на колено раскрытую руку с растопыренными пальцами, поворачивают лицо к правому плечу, произнося *ха,* затем к левому плечу, произнося *ху,* затем опускают голову на грудь,

произнося *хи,* и начинают все сначала. Важно и даже необходимо, чтобы тот, кто произносит эти слова, задерживался на первом из них, насколько хватает дыхания; затем, очистившись, он так же растягивает имя бога, пока душа его еще может подлежать осуждению; потом он произносит слово *ху*, когда она готова к повиновению и наконец, когда душа достигает желанной степени совершенства, он может произнести последнее имя — *хи*».

Эти молитвы, которые должны уничтожить индивидуальность человека, погруженного в сущность бога (то есть привести к состоянию, при котором человек достигает созерцания бога в его атрибутах), называются *уэрд-дебереd.*

Но из всех алжирских религиозных братств более всего, конечно, привлекает любопытство иностранцев братство Айсауа.

Всем известны отвратительные приемы этих истерических жонглеров, которые, придя в состояние исступления, образуют некую магнетическую цепь и, читая свои молитвы, поедают колючие листья кактуса, гвозди, толченое стекло, скорпионов и змей. Нередко эти безумцы пожирают в ужасных конвульсиях живого барана, шерсть, кожу и кровавое мясо, оставляя на земле лишь несколько костей. Они вонзают себе в щеки и живот железные спицы; после смерти, при вскрытии, в стенках их желудков находят самые разнообразные предметы.

И что же, из всех мусульманских братств самые поэтические молитвы и самые поэтические нравоучения встречаются в текстах Айсауа.

Цитирую из книги г-на майора Ринна всего несколько фраз:

«Однажды пророк сказал Абу-Дирр-эль-Р'ифари: «О Абу-Дирр! смех бедных — это молитва; их игры — хвала богу; их сон — милостыня».

Шейх говорит еще:

«Молиться и поститься в пустыне и не иметь сострадания в сердце — это на истинном пути называется лицемерием».

«Любовь — высшая ступень совершенства. Тот, кто не любит, ничего не достиг на пути к совершенству. Су-

ществует четыре рода любви: любовь разумная, любовь сердечная, любовь душевная, любовь таинственная...»

Была ли когда-либо определена любовь более полно, более тонко, более прекрасно?

Можно было бы приводить такие цитаты до бесконечности.

Но наряду с мистическими орденами, принадлежащими к великим правоверным исповеданиям ислама, существует отколовшаяся секта ибадитов, или Бени-Мзаб, представляющая крайне любопытные особенности.

Бени-Мзаб населяют к югу от наших алжирских владений, в самой бесплодной части Сахары, небольшую страну Мзаб, которую они путем неимоверных усилий сделали плодородной.

Не без удивления встречаем мы в маленькой республике этих пуритан ислама принципы управления, присущие социалистической общине, и в то же время церковную организацию пресвитериан Шотландии. Мораль их — жестокая, нетерпимая, непреклонная. Они питают отвращение к кровопролитию и допускают его лишь для защиты веры. Большинство обыденных поступков, случайное или произвольное прикосновение к женской руке, к влажному, грязному или запрещенному предмету, считается серьезными проступками, требующими особых длительных омовений.

Безбрачие, ведущее к разврату, гнев, пение, музыка, игра, пляски, все формы роскоши, табак, кофе, выпитое в общественном заведении, составляют грехи, которые в случае упорствования в них влекут за собою страшное отлучение, называемое *тебрия*.

В противоположность учению большинства мусульманских общин, согласно которому для правоверного, каковы бы ни были его дела, достаточно быть благочестивым, молиться и познать состояние мистической экзальтации, чтобы спасти свою душу, ибадиты признают, что вечное спасение человека возможно лишь путем чистой жизни. Они доводят до крайности соблюдение предписаний корана, считают еретиками дервишей и факиров, не признают, что пророки и святые, память которых они, однако, чтут, способны быть заступниками перед богом, владыкой абсолютно спра-

ведливым и непреклонным. Они не верят во вдохновенных и в озаренных людей и не признают даже за имамом права отпускать грехи ближнему, ибо один лишь бог может судить о важности проступка и искренности раскаяния.

Надо сказать, что ибадиты — схизматики, принадлежащие к одной из древнейших схизм ислама; они непосредственно происходят от убийц Али, зятя пророка.

Но ордена, насчитывающие в Тунисе наибольшее число адептов,— это, по-видимому, наряду с Айсауа, братства Тиджания и Кадрия; последнее было основано Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, самым святым человеком ислама после Магомета.

Зауйи обоих этих марабутов, которые мы посетили после зауйи Брадобрея, далеко уступают по изяществу и красоте первым двум памятникам, осмотренным нами сначала.

16 декабря

Впечатление уныния, производимое священным городом, еще усиливается при отъезде из Кайруана в Сус.

После бесконечных кладбищ, широких полей, усеянных камнями, начинаются холмы, состоящие из городских отбросов, которые накапливались целые столетия; потом опять идет болотистая равнина, где то и дело наступаешь на щиты небольших черепах, а затем снова ланда, где пасутся верблюды. Город с его куполами, мечетями и минаретами возвышается позади нас, как мираж, в этой мрачной пустыне; потом он постепенно удаляется и исчезает.

После нескольких часов пути мы делаем первый привал около куббы, среди оливковой рощи. Мы находимся в Сиди-ль Ханни; мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый! И все же свет так странно преломляется на этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков, скорее, кажется, вызванных чарами, чем естественным явлением; они более иллюзор-

ны, чем реальны, и так тонки и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу, а лишь после того, как ослепленный взгляд привыкнет к ним. Но тогда уже не видишь ничего, кроме этих оттенков, таких многочисленных, разнообразных, сочных и все же почти невидимых. Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреневой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой; я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый, а самый купол кажется мне сейчас почти розовым, да, почти розовым, когда слишком долго в него всматриваешься, когда из-за утомления, вызванного его сиянием, сливаются все эти тона, такие мягкие и светлые, что они опьяняют глаз. А тень, тень этой кубы на земле,— какого она цвета? Кто сумеет постичь, показать, изобразить ее красками? Сколько лет еще придется воспринимать нашему взору и мысли эти неуловимые расцветки, столь новые для нас, привыкших видеть европейскую природу, ее эффекты и отражения, прежде чем мы научимся понимать, различать и выражать эти тона, прежде чем мы сумеем передать волнующее впечатление подлинности для тех, кто будет смотреть на полотна, где эти тона закрепит кисть художника?

Теперь мы вступаем в область менее оголенную, где растут оливковые деревья. В Муреддине, около колодца, красавица-девушка обнажает в улыбке зубы, глядя на нас, когда мы проезжаем мимо. Немного дальше мы обгоняем элегантного буржуа из Суса, возвращающегося в город верхом на осле и в сопровождении слуги-негра, который несет его ружье. Вероятно, он только что побывал в своей оливковой роще или на своем винограднике. На окаймленной деревьями дороге он представляет собой прелестную картину. Он молод, одет в зеленую куртку и розовый жилет, наполовину скрытые под шелковым бурнусом, охватывающим его бедра и плечи. Сидя по-дамски на ослике, который бежит рысцою, он барабанит по его боку ногами в безукориз-

ненно белых чулках, а на ступнях его неведомо каким образом держатся лакированные туфли без задников.

Негритенок,одетый во все красное, с ружьем на плече бежит за ослом своего господина с проворством и гибкостью дикаря.

Вот и Сус.

Но я ведь уже видел этот город! Да, да, это лучезарное видение некогда являлось мне в юности, в школе, когда я заучивал крестовые походы по *Истории Франции* Бюретта. О, да! Он мне так давно знаком! Он полон сарацин, засевших за этими длинными зубчатыми стенами, такими высокими и узкими, с широко расставленными башнями, с круглыми воротами и с людьми в тюрбанах, бродящими у подножия стены. О, эта стена! Конечно, она та самая, что была изображена на книжке с картинками, такая гладкая и чистенькая, словно вырезанная из картона. Как все это красиво, светло, упоительно! Предпринять такое длинное путешествие стоило уже для того, чтобы повидать Сус. Боже! Какая прелесть эта стена, вдоль которой придется следовать до самого моря,— ведь экипажи не могут проехать по узким, причудливо извивающимся улицам этого города былых времен. А стена все тянется и тянется до взморья, всюду одинаково зубчатая, вооруженная квадратными башнями; потом она описывает дугу, идет вдоль берега, снова сворачивает, подымается и продолжает свой путь, сохраняя на всем его протяжении изящный вид сарацинского крепостного вала. Она возобновляется бесконечно, как четки, где каждая бусинка — зубец и каждая десятая бусинка — башня, и замыкает в своем блестящем кольце, точно в венке из белой бумаги, весь город, сжатый в ее объятиях, глинобитные дома которого поднимаются уступами от нижней стены, омываемой морем, к верхней, вырисовывающейся на фоне неба.

Мы обходим город, переплетение изумительных улиц, и, располагая еще часом дневного времени, отправляемся смотреть раскопки, производимые офицерами, в десяти минутах ходьбы от городских ворот, на месте некрополя древнего Хадрумета. Здесь были обнаружены обширные подземелья со следами стенной росписи, заключавшие в себе до двадцати гробниц. Этими

изысканиями мы обязаны офицерам, которые в этих странах становятся завзятыми археологами и могли бы оказать науке неоценимые услуги, если бы ведомство изящных искусств не тормозило их деятельности всевозможными придирками.

В 1860 году в этом же некрополе обнаружили чрезвычайно любопытную мозаику, на которой был изображен Критский лабиринт с Минотавром в центре, а у выхода — корабль, уносящий Тезея и Ариадну с ее нитью. Бей пожелал перенести это замечательное произведение искусства в свой музей, но при перевозке мозаика была окончательно разрушена. Мне любезно подарили фотографию с наброска, сделанного с нее г-ном Ларандом, чертежником инженерного ведомства. Таких фотографий существует всего четыре, и сняты они совсем недавно. Сомневаюсь, чтобы они были когда-либо воспроизведены.

Мы возвращаемся в Сус на закате, чтобы отправиться на обед к гражданскому контролеру Франции, широко осведомленному человеку, рассказы которого о нравах и обычаях этой страны чрезвычайно интересны.

Из его дома виден весь город, этот водопад квадратных крыш, выбеленных известью, по которым бегают черные коты и где порою встают, как призраки, существа, задрапированные в светлые или яркие ткани. Местами высокая пальма, просунув вершину между домами, простирает зеленый букет своих веток над их ровной белизной.

Позднее, когда взошла луна, все это превратилось в серебряную пену, текущую к морю, в чудесный сон поэта, ставший явью, в невероятное видение фантастического города, от которого к небу поднимается сияние.

Затем мы долго еще бродим по улицам. Нас соблазняет дверь мавританской кофейни. Мы входим. Там полно людей, сидящих на корточках или прямо на земле, или на досках, застланных циновками, вокруг араба-сказочника. Это жирный старик с хитрыми глазами, и говорит он с такой забавной мимикой, что ее одной достаточно, чтобы рассмешить. Он рассказывает шутливую историю про обманщика, выдававшего себя за марабута и разоблаченного имамом. Наивные слушатели

в восторге и следят с напряженным вниманием за рассказом, прерываемым лишь взрывами хохота. Потом мы снова начинаем бродить по улицам, не решаясь пойти спать в эту сверкающую волшебную ночь.

Но вот на одной узкой улице я останавливаюсь перед красивым восточным домом, в открытую дверь которого виднеется широкая прямая лестница, вся в фаянсовых изразцах и освещенная сверху донизу невидимым светочем, как бы светоносным пеплом, световой пылью, падающими неизвестно откуда. Под этим невыразимым сиянием каждая эмалированная ступенька так и ждет кого-то, может быть, старого пузатого мусульманина, но мне кажется, что она призывает стопы любовника. Никогда я так ясно не угадывал, не видел, не понимал, не испытывал чувств ожидания, как перед этой открытой дверью и этой пустой лестницей, озаренной невидимым светильником. Снаружи на стене, освещенной луною,— один из тех больших закрытых балконов, которые называют *бармаклы*. Посередине, за богатым узором железного переплета мушараби,— два темных отверстия. Не там ли поджидает кого-то с трепещущим сердцем, прислушивается и ненавидит нас арабская Джульетта? Да, может быть. Но ее желания, чисто чувственные, не из тех, которые в наших странах взнеслись бы в такую ночь к самым звездам. В этой стране, теплой, полной неги и такой пленительной, что здесь, на острове Джерба, зародилась легенда о Лотофагах, воздух упоительнее, солнце горячее, дневной свет ярче, чем где бы то ни было, но сердца не умеют любить. Женщинам, прекрасным и пылким, неведомы наши нежные чувства. Их первобытные души остаются чужды сентиментальным волнениям, и поцелуи, как говорят, не порождают грез.

БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

Анри Казалису.

БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

I

У подъезда особняка стояла элегантная виктория, запряженная двумя великолепными воронымн. Был конец июня, около половины шестого вечера, и между крышами домов, замыкавших передний двор, виднелось небо, ясное, знойное, веселое.

Графиня де Маскаре показалась на крыльце в ту самую минуту, когда в ворота входил ее муж, возвращавшийся домой. Он приостановился, взглянул на жену и слегка побледнел. Она была очень красива, стройна, изящна; продолговатый овал лица, кожа цвета золотистой слоновой кости, большие серые глаза, черные волосы; не взглянув на мужа, как бы даже не заметив его, она села в коляску с такой непринужденной и благородной грацией, что сердце графа вновь сжалось от позорной ревности, так давно его терзавшей. Он подошел и поклонился.

— Вы едете кататься? — спросил он.

Она презрительно бросила два слова:

— Как видите.

— В Лес?

— Возможно.

— Мне разрешается сопровождать вас?

— Коляска ваша.

Не удивляясь тону жены, он поднялся, сел рядом с нею и приказал:

— В Лес.

Лакей вскочил на козлы рядом с кучером; лошади, как всегда, начали плясать на месте, вскидывая головой, и выравняли шаг, только повернув на улицу.

Супруги сидели рядом молча. Муж искал повода для разговора, но жена упорно сохраняла жестокое выражение лица, и он не решался начать.

Наконец он тихонько пододвинул руку к затянутым в перчатку пальцам графини и, словно нечаянно, прикоснулся к ним, но жест, которым жена отдернула руку, был так резок и выражал такое отвращение, что муж встревожился, несмотря на свою привычную властность, доходящую до деспотизма.

Он прошептал:

— Габриэль!

Не поворачивая головы, жена спросила:

— Что вам угодно?

— Вы прелестны.

Она ничего не ответила, откинувшись в коляске с видом разгневанной королевы.

Теперь они поднимались по Елисейским Полям к Триумфальной арке на площади Звезды. Огромный монумент в конце длинного проспекта возносился колоссальным сводом в багряное небо, и солнце как будто садилось прямо на него, рассеивая вокруг огненную пыль.

А река экипажей, сверкавшая медью и серебром сбруи, граненными стеклами фонарей, текла по двум руслам: в сторону Леса и к городу.

Граф де Маскаре заговорил снова:

— Дорогая Габриэль!

И тогда, не выдержав, она ответила с досадой:

— Ах, оставьте меня в покое, прошу вас! Неужели я даже не имею права побыть одна в коляске?

Он притворился, будто не слышит, и продолжал:

— Вы никогда не были так хороши, как сегодня.

Она явно потеряла терпение и ответила, уже не сдерживая гнева:

— Напрасно вы это замечаете; клянусь вам, я никогда больше не буду вашей.

Он был изумлен и потрясен, однако привычка повелевать взяла верх, и его слова: «Что это значит?» — прозвучали не вопросом влюбленного, а скорее окриком грубого хозяина.

Она отвечала полушепотом, хотя за оглушительным стуком колес слуги все равно ничего не могли слышать:

— Ах, что это значит? Что это значит? Вы все тот же! Вы хотите, чтобы я сказала?

— Да.

— Сказала все?

— Да.

— Все, что лежит у меня на сердце с тех пор, как я стала жертвой вашего жестокого эгоизма?

Он побагровел от удивления и злобы. И, стиснув зубы, пробормотал:

— Да, говорите!

Это был высокий, широкоплечий человек с большой рыжей бородой, красивый мужчина, дворянин, светский человек, считавшийся безукоризненным супругом и прекрасным отцом.

В первый раз после выезда из дома она повернулась к мужу и посмотрела ему прямо в лицо:

— О, вы услышите неприятные вещи. Но знайте, что я готова на все, что я пойду на все, что я не боюсь ничего, а вас теперь — меньше чем кого бы то ни было.

Он тоже взглянул ей в глаза, уже содрогаясь от ярости. И прошептал:

— Вы с ума сошли!

— Нет, но я больше не желаю быть жертвой отвратительной пытки материнством,— вы подвергаете меня ей уже одиннадцать лет! Я хочу наконец жить как светская женщина; я на это имею право, как и все женщины.

Сразу побледнев, он пробормотал:

— Не понимаю.

— Нет, понимаете. Вот уже три месяца, как я родила последнего ребенка, а так как я все еще очень красива и, несмотря на все ваши усилия, почти не дурнею,— вы только что признали это, увидев меня на крыльце,— то вы находите, что мне снова пора забеременеть.

— Да вы не в своем уме!

— Ничуть. Мне тридцать лет, у меня семеро детей, мы живем вместе одиннадцать лет, и вы надеетесь, что так будет продолжаться еще лет десять, и тогда вы перестанете ревновать.

Он схватил и сдавил ее руку.

— Я вам не позволю больше так говорить со мной!

— А я буду говорить до конца, пока не выскажу все, что мне надо сказать, и если вы попробуете помешать мне, заговорю еще громче, и меня услышат кучер и лакей на козлах. Я только потому и позволила вам сесть сюда, что здесь есть свидетели,— это вынуждает вас слушать меня и сдерживаться. Слушайте. Вы всегда были мне неприятны, и я всегда вам это высказывала, ведь я никогда не лгала, сударь! Вы женились на мне против моей воли; мои родители были в стесненном положении, и вы добились своего; они отдали меня вам насильно, потому что вы были очень богаты. Они заставили меня, я плакала.

В сущности, вы купили меня; и когда я оказалась в вашей власти, когда я готова была стать вам верной подругой, привязаться к вам, забыть все ваши приемы запугивания, принуждения и помнить только о том, что я должна быть вам преданной женой и любить вас всем сердцем,— вы тотчас стали ревновать, как никогда не ревновал ни один человек: ревностью низкой, постыдной, унижающей вас и оскорбительной для меня, потому что вы вечно шпионили за мной. Я не прожила замужем и восьми месяцев, как вы уже стали подозревать меня во всевозможных обманах. Вы даже давали мне это понять. Какой позор! И так как вы не могли помешать мне быть красивой и нравиться, не могли помешать тому, что в салонах и даже в газетах меня называли одной из красивейших женщин Парижа, то вы старались придумать что угодно, лишь бы отстранить от меня всякие ухаживания. Тогда вам пришла в голову отвратительная мысль — заставить меня проводить жизнь в постоянной беременности, пока я не начну вызывать во всех мужчинах отвращение. О, не отрицайте! Я долго не догадывалась, но потом поняла. Вы даже хвалились этим своей сестре, и она рассказала мне, потому что она любит меня и ее возмутила ваша мужицкая грубость.

Ах, вспомните нашу борьбу, выбитые двери, взломанные замки! На какое существование вы обрекали меня целых одиннадцать лет — на существование заводской кобылы, запертой в конюшне! А беременная,

я внушала вам отвращение, и вы избегали меня месяцами. Вынашивать ребенка меня отправляли в деревню, в фамильный замок, на лоно природы. Но когда я опять возвращалась, свежая и красивая, нисколько не увядшая, по-прежнему привлекательная и по-прежнему окруженная поклонением, возвращалась с надеждой хоть немножко пожить жизнью богатой молодой светской женщины,— тогда вас снова обуревала ревность и вы опять начинали преследовать меня тем отвратительным и низким желанием, которым томитесь сейчас, сидя рядом со мной. И это не желание обладать мной — я бы вам никогда не отказала,— это желание обезобразить меня!

Кроме того, после долгих наблюдений я разгадала еще одну вашу тайну (я уже научилась разбираться в ваших поступках и мыслях): вы желали иметь детей потому, что они давали вам спокойствие, пока я вынашивала их под сердцем. Ваша любовь к ним родилась из отвращения ко мне, из тех гадких подозрений, которые покидали вас во время моей беременности, из той радости, которую вы испытывали, видя, что мой стан полнеет.

О, эта радость! Сколько раз я чувствовала ее в вас, встречала в вашем взгляде, угадывала! Дети! Вы любите их не как свою кровь, а как свою победу. Это победа надо мной, над моей молодостью, над моей красотой, над моим обаянием, над моим успехом; вы хотели заставить умолкнуть те восторженные голоса, которые раздавались вокруг меня и которые я слышала. И вы гордитесь детьми, вы выставляете их напоказ, возите их в брэке по Булонскому лесу, катаете на осликах в Монморанси. Вы водите их на театральные утренники, чтобы все видели вас с ними, чтобы все говорили: «Какой прекрасный отец!»,— чтобы повторяли это беспрерывно...

Он схватил ее руку с дикой грубостью и стиснул так яростно, что графиня замолчала, подавляя подступивший к горлу крик.

Он прошипел:

— Я люблю моих детей, слышите? То, в чем вы мне признались, позорно для матери. Но вы моя. Я хозяин... ваш хозяин... я могу требовать от вас всего, чего хочу и когда хочу... и на моей стороне... закон!

Он готов был раздавить ей пальцы в тисках своего большого, мускулистого кулака. А она, побледнев от боли, тщетно пыталась вырвать руку из этих клещей; она задыхалась, на глазах у нее выступили слезы.

— Теперь вы видите, что я хозяин, что я сильнее,— сказал он и слегка разжал руку.

Она продолжала:

— Вы считаете меня религиозной?

Он с удивлением произнес:

— Конечно.

— Как вы думаете, верю я в бога?

— Конечно.

— Могу ли я солгать, если поклянусь перед алтарем, где заключена частица тела Христова?

— Нет.

— Угодно вам отправиться со мной в церковь?

— Зачем?

— Там увидите. Угодно?

— Если хотите, пожалуйста.

Она громко позвала:

— Филипп!

Кучер слегка наклонил голову и, не отрывая глаз от лошадей, чуть повернулся к госпоже. Она приказала:

— В церковь Сен-Филипп-дю-Руль.

И виктория, подъезжавшая к воротам Булонского леса, повернула к городу.

Во время этого нового переезда муж и жена не обменялись ни словом. Затем, когда коляска остановилась у портала храма, г-жа де Маскаре соскочила на землю и вошла в храм; граф следовал в нескольких шагах от нее.

Не останавливаясь, она дошла до решетки хоров, упала на колени у стула, закрыла лицо руками и начала молиться. Она молилась долго, и муж, стоя позади, заметил наконец, что она плачет. Она плакала беззвучно, как плачет женщина в великом и страшном горе. Словно волна пробегала по ее телу, заканчиваясь коротким рыданием, которое она хотела скрыть, унять, сжимая лицо руками.

Но граф де Маскаре, которому было не по себе от этой длительной сцены, тронул ее за плечо.

Это прикосновение пробудило ее, как ожог. Выпрямившись, она посмотрела мужу прямо в глаза.

— Вот что я должна вам сказать. Я ничего не боюсь, можете делать все, что хотите. Если вам угодно, убейте меня. Один из наших детей — не от вас. Клянусь вам в этом перед богом: он слышит меня здесь. Это единственное, чем я могла отомстить вам за вашу подлую мужскую тиранию, за каторжный труд деторождения, к которому вы приговорили меня. Кто был моим любовником? Этого вы не узнаете никогда! Вы будете подозревать всех. Вам его не открыть. Я отдалась ему без любви и без радости, только для того, чтобы обмануть вас. И он тоже сделал меня матерью. Который из детей его ребенок? Этого вы тоже никогда не узнаете. У меня семеро детей — угадайте! Я хотела сказать вам об этом позже, гораздо позже: ведь измена будет местью мужчине только тогда, когда он о ней узнает. Вы вынудили меня признаться сегодня. Я кончила.

И она быстро прошла через всю церковь к открытой двери на улицу, ожидая, что услышит за собой быстрые шаги разъяренного мужа и свалится на мостовую под жестоким ударом его кулака.

Но графиня не услышала ничего; она дошла до коляски, мигом вскочила в нее и, содрогаясь от ужаса, задыхаясь от волнения, крикнула кучеру:

— Домой!

Лошади тронулись крупной рысью.

II

Запершись в своей комнате, графиня де Маскаре ждала обеда, как приговоренный к смерти ждет казни. Что он теперь сделает? Вернулся ли он домой? Властный, вспыльчивый человек, способный на любое насилие, что он придумал, что он готовит, на что решился? Но в доме не слышно было ни звука, и она поминутно поглядывала на стрелки часов. Вошла горничная, помогла ей переодеться к вечеру и удалилась.

Пробило восемь, и почти одновременно в дверь дважды постучали.

— Войдите.

Появился дворецкий:

— Кушать подано, ваше сиятельство.

— Граф вернулся?

— Да, ваше сиятельство. Господин граф в столовой.

На секунду у нее мелькнула мысль взять с собою маленький револьвер, который она купила недавно, предвидя развязку зревшей в ее душе драмы. Но, вспомнив, что там будут дети, она не взяла ничего, кроме флакона с солями.

Когда она вошла в столовую, муж ждал, стоя у своего стула. Они обменялись легким поклоном и сели. Тогда заняли свои места и дети. Направо от матери сидели три сына со своим воспитателем, аббатом Мареном, налево — три дочери с гувернанткой-англичанкой, мисс Смит. Только самый младший, трехмесячный ребенок, оставался в детской с кормилицей.

Три девочки, из которых старшей было десять лет, все белокурые, в голубых платьицах, отделанных узким белым кружевом, были похожи на прелестных куколок. Самой младшей шел третий год. Все они, уже хорошенькие, обещали вырасти красавицами, в мать.

Трое мальчиков — двое шатены, а старший, девятилетний, уже брюнет — должны были превратиться в крепких, рослых, плечистых мужчин. Вся семья как будто была одной крови, могучей и здоровой.

Аббат произнес молитву, как полагалось в те дни, когда не было гостей: при посторонних дети не являлись к столу. Начался обед.

Графиня, охваченная внезапным волнением, сидела, опустив глаза, тогда как граф всматривался то в мальчиков, то в девочек, неуверенно переводя затуманенный тревогою взгляд с одного лица на другое. И вдруг он поставил перед собою бокал таким резким движением, что ножка сломалась и подкрашенная вином вода разлилась по скатерти. От этого легкого шума графиня так сильно вздрогнула, что подскочила на стуле. Супруги посмотрели друг на друга. И с этой минуты вопреки собственной воле, вопреки волнению, от которого трепетали душа их и тело, взгляды обоих беспрестанно скрещивались, как дула пистолетов.

Аббат, чувствуя какую-то непонятную неловкость, старался завязать разговор. Он перебрал разные темы,

но его бесплодные попытки не породили ни одной мысли, не вызвали ни одного ответного слова.

Графиня, благодаря женскому такту и повинуясь светской привычке, два или три раза пробовала отвечать ему,— напрасно. Она была в таком замешательстве, что собственный голос почти пугал ее в безмолвии просторной комнаты, где раздавалось только легкое позвякивание серебра о тарелки.

Муж неожиданно наклонился вперед и сказал:

— Поклянетесь ли вы здесь, перед вашими детьми, что вы сказали мне правду?

Ненависть графини сразу вспыхнула, и, отвечая на вопрос с такой же энергией, как и на взгляды, она подняла обе руки — правую над головами сыновей, левую над головами дочерей — и с твердой решимостью, без малейшей дрожи, ответила:

— Жизнью детей моих клянусь, что я сказала вам правду.

Граф встал, с ожесточением бросил салфетку на стол, повернулся, отшвырнул стул к стене и молча вышел.

А графиня, облегченно вздохнув, словно радуясь своей первой победе, сказала спокойно:

— Не бойтесь, дорогие, у папы только что случилась большая неприятность. Он еще очень расстроен. Через несколько дней это все пройдет.

И она поговорила с аббатом, поговорила с мисс Смит, нашла для каждого из детей теплое, нежное слово, ту милую материнскую ласку, от которой переполняются радостью маленькие сердца.

Когда обед кончился, она перешла с детьми в гостиную. Она весело болтала со старшими, рассказывала сказки младшим и, когда наступило время сна, простилась с каждым из них долгим поцелуем. Потом, отослав детей спать, вернулась одна в свою комнату.

Она ждала, так как не сомневалась, что он придет. Но теперь, оставшись одна, она решила защищать свое тело, свое человеческое достоинство так же, как защищала свою жизнь светской женщины; и она спрятала в кармане платья маленький револьвер, купленный за несколько дней до того.

Время шло, били часы. Все звуки в доме стихли. Только с улицы все еще доносился смутный, далекий шум экипажей, заглушенный обивкой стен.

Она ждала напряженно, нервно, уже не боясь мужа теперь, готовая на все, почти торжествующая, потому что нашла для него ежеминутную пытку на всю жизнь.

Но утренние лучи уже стали пробиваться из-под бахромы гардин, а он все не шел. И тогда она с изумлением поняла, что он не придет. Заперев дверь на ключ и на задвижку, которую недавно велела сделать, она легла наконец в постель и долго лежала с открытыми глазами, раздумывая, не понимая, не догадываясь, что он будет делать.

Вместе с утренним чаем горничная принесла ей письмо от мужа. Он писал, что отправляется в довольно долгое путешествие, и в постскриптуме извещал, что необходимые деньги на все расходы ей будет доставлять нотариус.

III

Это было в Опере, на *Роберте-Дьяволе*, в антракте.

Стоя в проходе у рампы, мужчины в цилиндрах, в глубоко вырезанных жилетах, открывавших белоснежные сорочки, на которых сверкало золото и драгоценные камни запонок, оглядывали ложи, где декольтированные женщины в бриллиантах и жемчугах казались цветами в ярко освещенной оранжерее; их прекрасные лица и ослепительные плечи словно расцветали навстречу взглядам, раскатам музыки и голосам.

Повернувшись спиной к оркестру, двое приятелей беседовали, лорнируя всю эту галерею туалетов, всю эту выставку подлинного или поддельного изящества, драгоценностей, роскоши и претензий, раскинувшуюся полукругом над огромным партером театра.

Один из них, Роже де Сален, сказал своему другу Бернару Грандену:

— Погляди-ка на графиню де Маскаре. Как она еще хороша!

Тот также навел лорнет на высокую женщину в ложе напротив; женщина эта казалась еще совсем молодой, и ее блистательная красота привлекала взгляды

со всех концов зрительного зала. Матовый цвет лица оттенка слоновой кости придавал ей сходство со статуей; в черных, как ночь, волосах тонкая дуга диадемы, осыпанной алмазами, сверкала, словно Млечный путь.

Поглядев немного, Бернар Гранден ответил игриво, но тоном глубокого убеждения:

— Еще бы не хороша!

— Сколько ей теперь может быть лет?

— Погоди, сейчас скажу точно. Я знал ее, когда она была ребенком... Я помню, как она девушкой впервые стала выезжать в свет. Ей... ей... тридцать... тридцать... тридцать шесть лет.

— Не может быть!

— Наверное знаю.

— На вид ей двадцать пять.

— У нее семеро детей.

— Невероятно!

— И все семеро живы! Она прекрасная мать. Я иногда бываю у них, это очень приятная семья, очень спокойная, очень здоровая. В высшем свете графиня считается идеальной женой и матерью.

— Как странно! И о ней никогда ничего не говорили?

— Никогда.

— А ее муж? Странный человек, не правда ли?

— И да и нет. Кажется, между ними произошла небольшая драма, одна из тех мелких семейных драм, о которых только подозревают, в точности о них ничего неизвестно, но кой о чем можно догадаться.

— В чем же дело?

— Я лично ничего не знаю. Теперь Маскаре живет очень бурно, а прежде был безукоризненным супругом. Пока он оставался верным мужем, у него был ужасный характер, мрачный, угрюмый. А с тех пор, как закутил, он стал ко всему равнодушен, но кажется, будто он чем-то удручен, будто его гложет какое-то затаенное горе. Он заметно постарел.

И оба приятеля несколько минут философствовали на тему о тайных, непонятных страданиях, порождаемых в семействах несходством характеров, а может быть, и физической антипатией, не заметной вначале.

Продолжая лорнировать г-жу де Маскаре, Роже де Сален заговорил снова:

— Просто не верится, что у этой женщины семеро детей.

— Да, за одиннадцать лет! После чего, в тридцать лет, она отказалась от деторождения, и для нее началась блестящая эра светской жизни, которая, по-видимому, еще не скоро кончится.

— Бедные женщины!

— Почему ты их жалеешь?

— Почему? Ах, дорогой, подумай только! Одиннадцать лет беременности для такой женщины! Ведь это ад! Молодость, красота, надежда на успех, поэтический идеал блестящей жизни — все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода... и здоровая женщина становится простой машиной для деторождения.

— Ничего не поделаешь! Такова природа!

— Да, надо сказать, что природа — наш враг, с природой надо всегда бороться, потому что она постоянно низводит нас на уровень животного. Если есть на земле что-либо чистое, красивое, изящное, идеальное, то оно создано не богом, а человеком, человеческим разумом. Это мы, воспевая действительность, истолковывая ее, удивляясь ей, как поэты, идеализируя ее, как художники, объясняя ее, как ученые, которые, правда, обманываются, но все же находят в явлениях любопытный смысл,— это мы внесли в нее немного изящества, красоты, непонятного очарования, таинственности. Богом же сотворены лишь грубые, кишащие зародышами всяких болезней существа, которые после нескольких лет животного расцвета стареют в немощах, обнаруживая все безобразие, все бессилие человеческой дряхлости. Он, кажется, создал их только для того, чтобы они гнусно производили себе подобных и затем умирали, как умирают летним вечером однодневные насекомые. Я сказал: «Гнусно производили» — и на этом настаиваю. Что может быть, в самом деле, гаже и отвратительнее мерзкого и смешного акта воспроизведения живых существ, которым всегда возмущались и будут возмущаться все утонченные души? Раз уж все органы тела, изобретенные

этим скупым и недоброжелательным творцом, служат каждый двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссии, для самой благородной и самой возвышенной из человеческих функций какой-нибудь другой орган, не столь гнусный и осквернённый? Рот, через который наше тело получает вещественную пищу, в то же время выражает слово и мысль. Посредством него восстанавливается плоть, и через него же сообщаются мысли. Орган обоняния, дающий легким необходимый для жизни воздух, передает мозгу все благоухания мира, запахи цветов, лесов, деревьев, моря. Слух, благодаря которому мы общаемся с себе подобными, помог нам создать музыку; мы творим из звуков мечту, счастье, бесконечность и испытываем при этом физическое наслаждение! Но можно подумать, что насмешливый и циничный творец как будто нарочно задался целью навсегда лишить человека возможности облагородить, украсить и идеализировать встречу с женщиной. И вот человек изобрел любовь — неплохой ответ лукавому богу! — и так опоэтизировал ее, что женщина подчас забывает, какие прикосновения она вынуждена терпеть. Те из нас, кто не способен к самообману и экзальтации, изобрели порок, утонченный разврат,— и это тоже способ околпачивать бога и воздавать почести, бесстыдные почести красоте.

А нормальный человек производит детей, подобно животным, спаривающимся по закону природы.

Погляди на эту женщину! Не отвратительно ли думать, что эта драгоценность, эта жемчужина, созданная для того, чтобы олицетворять прекрасное, внушать восхищение, поклонение и обожание, потратила одиннадцать лет своей жизни на производство наследников для графа де Маскаре?

Бернар Гранден ответил со смехом:

— Во всем этом есть доля правды, но много ли таких, которые поймут тебя?

Сален волновался все больше и больше.

— Знаешь, как я представляю себе бога? — сказал он.— В виде колоссального неведомого нам производительного органа, рассеивающего в пространстве миллиарды миров, словно рыба, которая мечет икру одна

в целом море. Он творит, ибо такова его божественная функция, но он сам не знает, что делает; его плодовитость бессмысленна, он даже не подозревает, какие разнообразные сочетания дают разбросанные им семена. Человеческая мысль — какая-то счастливая случайность в этой его творческой деятельности, мелкая, преходящая, непредвиденная случайность, которая обречена исчезнуть вместе с землей и, быть может, возникнуть вновь где-либо в пространстве,— возникнуть в том же или в ином виде, в новых сочетаниях извечных начал. Этой ничтожной случайности — нашему сознанию — мы обязаны тем, что нам так плохо в этом мире, созданном не для нас и не приспособленном к тому, чтобы принимать, размещать, кормить и удовлетворять мыслящие существа. Сознанию же мы обязаны и тем, что вынуждены — если только мы действительно утончены и культурны — постоянно бороться против того, что все еще называется путями провидения.

Гранден, слушавший его внимательно и давно уже знакомый с яркими вспышками его воображения, спросил:

— Значит, по-твоему, человеческая мысль есть случайное порождение слепого божественного промысла?

— Да, черт возьми! Непредвиденную функцию нервных центров нашего мозга можно сравнить с химическими реакциями, которые получаются при неожиданном сочетании элементов, а также с электрической искрой, вспыхивающей от трения или при случайном взаимодействии некоторых тел,— словом, со всеми явлениями, какие порождаются бесконечным и плодотворным разнообразием живой материи.

И доказательства этого, дорогой мой, так и бросаются в глаза всякому, кто только оглянется вокруг себя. Если бы человеческая мысль входила в намерения сознающего свои цели творца и должна была бы быть тем, чем она стала,— такой непохожей на мысль животного и на покорность животного, такой требовательной, ищущей, любознательной, беспокойной, то неужели мир, созданный для таких существ, какими мы являемся сейчас, сводился бы к этому неудобному и тесному загону для скота, к этим грядам салата, к этому шарообразному, лесистому и каменистому огороду, где нам

по воле нашего непредусмотрительного провидения следовало бы жить голыми в пещерах или под деревьями, питаться трупами убитых животных — наших братьев — или сырыми овощами, выросшими под солнцем и дождем?

Но стоит задуматься на миг, и станет понятно, что этот мир сотворен не для таких существ, как мы. Мысль, каким-то чудом расцветшая и развившаяся в ячейках нашего мозга, мысль, бессильная, невежественная и неясная, какова она есть и какой останется навсегда, делает всех нас, мыслящих людей, вечными и несчастными изгнанниками на этой земле.

Взгляни на нее, на эту землю, которую бог дал ее обитателям. Разве не ясно, что вся она со своими растениями и лесами предназначена исключительно для животных? Что найдется на ней для нас? Ничего. А для них все: пещеры, деревья, листья, родники — жилища, еда и питье. Так что привередливые люди вроде меня никогда и не могут чувствовать себя здесь хорошо. Довольны и удовлетворены только те, кто приближается к животным. А как же прочие — поэты, утонченные или беспокойные души, мечтатели, исследователи? Ах, бедняги!

Я ем капусту и морковь, черт побери, ем лук, репу и редиску,— ем потому, что пришлось к этому привыкнуть, даже найти в них вкус, и потому что ничто другое не растет; но ведь это же еда для кроликов и коз, как трава и клевер — еда для коров и лошадей! Когда я вижу колосья зрелой пшеницы в поле, то не сомневаюсь, что все это выращено землей для воробьиных и ласточкиных клювов, а никак не для моего рта. Стало быть, когда я жую хлеб, то обкрадываю птиц, а когда ем курицу, то обкрадываю лисиц и ласок. Разве перепелка, голубь и куропатка не естественная добыча для ястреба? И ведь баран, козел или бык — скорее пища для крупных хищников, чем то жирное мясо, которое нам подают зажаренным, с трюфелями, специально для нас вырытыми из земли свиньей.

Но, дорогой мой, ведь животным не надо ничего делать, чтобы жить здесь. Они дома, у них готовый стол и квартира, им остается только пастись или охотиться и пожирать друг друга, соответственно своему ин-

стинкту: бог никогда не предвидел любви и мирных нравов; он предвидел только смерть живых существ, ожесточенно убивающих и пожирающих друг друга.

А мы!.. Ах, сколько потребовалось нам труда, сил, терпения, изобретательности, фантазии, предприимчивости, способностей, таланта, чтобы сделать эту каменистую, проросшую корнями почву сколько-нибудь обитаемой! Подумай, чего мы только ни сделали вопреки природе и против природы, чтобы устроиться хотя бы сносно, хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь удобно, хоть сколько-нибудь изящно, но все еще недостойно нас!

И чем мы цивилизованнее, чем умнее и утонченнее, тем больше нам приходится побеждать и подчинять себе животный инстинкт, который заложен в нас по воле бога.

Подумай только, что нам пришлось создать цивилизацию, всю цивилизацию, включающую столько вещей,— столько, столько всевозможнейших вещей, от носков до телефона! Подумай обо всем, что ты видишь ежедневно, обо всем, чем мы пользуемся так или иначе.

Чтобы скрасить свою скотскую участь, мы придумали и создали все, начиная с жилища, а затем — вкусную пищу, соусы, конфеты, пирожные, напитки, ликеры, ткани, одежды, украшения, кровати, матрацы, экипажи, железные дороги, бесчисленные машины. Мало того, мы изобрели науку, искусство, письменность и стихи. Да, это мы создали искусство, поэзию, музыку, живопись. Все идеалы исходят от нас, как и вся привлекательная сторона жизни — женские туалеты и мужские таланты,— и нам в конце концов удалось хоть немного приукрасить, сделать менее голым, менее монотонным и тяжелым то существование простых производителей, ради которого только и породило нас божественное провидение.

Взгляни на этот театр. Разве в нем не собралось человеческое общество, созданное нами, не предусмотренное извечным промыслом, ему неизвестное и доступное только нашему сознанию? Разве ты не видишь, что это изысканное, чувственное и интеллектуальное развлечение придумано вот таким недовольным и бес-

покойным мелким животным, как ты или я, и притом придумано им только для себя самого?

Взгляни на эту женщину, на госпожу де Маскаре. Бог сотворил ее для того, чтобы она жила в пещере, нагая или завернутая в звериные шкуры. Но разве такая, как есть, она не лучше? А кстати, не знаешь ли, почему этот болван муж, обладая такой подругой,— и особенно после того, как он позволил себе хамство семь раз сделать ее матерью,— почему он вдруг бросил ее и стал бегать за девками.

Гранден ответил:

— Э, дорогой мой, может быть, в этом-то все и дело. В конце концов он понял, что постоянно ночевать дома — обходится ему слишком дорого. И к тем самым принципам, которые ты выдвигаешь философически, он пришел из соображений домашней экономии.

Раздались три удара — сигнал к последнему акту. Приятели повернулись, сняли цилиндры и заняли свои места.

IV

Граф и графиня де Маскаре молча сидели рядом в карете, отвозившей их домой из Оперы. И вдруг муж сказал:

— Габриэль!

— Что вам надо от меня?

— Вы не находите, что это длится достаточно долго?

— Что именно?

— Ужасающая пытка, которую я терплю от вас уже шесть лет.

— Но я не знаю, как вам помочь.

— Скажите мне наконец: который?

— Никогда.

— Подумайте, ведь я не могу видеть детей, не могу быть с ними, чтобы сердце мое не сжималось сомнением. Скажите мне, который? Клянусь вам, я прощу, я буду обращаться с ним так же, как с другими.

— Я не имею права.

— Или вы не замечаете, что я не в силах больше выносить эту жизнь, эту мучительную мысль, этот веч-

ный неотступный вопрос, терзающий меня всякий раз, как я их вижу? Я с ума схожу.

Она спросила:

— Вы так сильно страдали?

— Невыносимо. Иначе согласился ли бы я на этот ужас — жить бок о бок с вами, и на еще больший ужас — чувствовать и знать, что среди моих детей есть один — какой, я не знаю,— который мешает мне любить всех остальных?

Она повторила:

— Так вы действительно очень страдали?

Сдержанным, измученным голосом он ответил:

— Да ведь я повторяю вам каждый день, что это для меня невыносимая пытка. Разве иначе я бы вернулся? Стал бы я жить в этом доме, вместе с вами и с ними, если бы я их не любил? Ах, вы поступили со мной ужасно. Дети — единственная радость моей жизни, вы это отлично знаете. Я для них такой отец, какие бывали только в давние времена, как и для вас я был мужем старинного склада: ведь я все еще человек инстинкта, человек природы, человек старого времени. Да, признаюсь, вы вызывали во мне жестокую ревность, потому что вы женщина другой породы, другой души, других потребностей. Ах, я никогда не забуду того, что вы мне сказали. Но с тех пор я перестал интересоваться вами. Я не убил вас потому, что тогда у меня не осталось бы средства когда бы то ни было узнать, который же из наших... ваших детей — не мой. Я ждал, но я страдал сильнее, чем вы можете вообразить, потому что я не смею больше любить их, кроме, может быть, двух старших. Я не смею взглянуть на них, позвать их, обнять, я никого из них не могу посадить к себе на колени, чтобы тут же не подумать: «Не этот ли?» Шесть лет я был с вами корректен, даже мягок и любезен. Скажите мне правду, и, клянусь вам, я ничего плохого не сделаю.

В темноте кареты ему показалось, что она тронута, и он почувствовал, что сейчас наконец она заговорит.

— Прошу вас,— сказал он,— умоляю вас...

Она прошептала:

— Я, может быть, виновнее, чем вы думаете. Но я не могла, не могла продолжать эту отвратительную жизнь, я не хотела быть постоянно беременной. Друго-

го средства прогнать вас от своей постели у меня не было. Я солгала перед богом, я солгала, подняв руку над головами детей,— я вам не изменяла никогда.

Он схватил в темноте ее руку и, стиснув ее так же, как в страшный день прогулки в Лес, проговорил:

— Это правда?

— Правда.

Но он простонал, содрогаясь от муки:

— Ах, теперь у меня начнутся новые сомнения, и не будет им конца! Когда вы солгали: тогда или теперь? Как могу я верить вам сейчас? Как после этого верить женщине? Никогда уже я больше не узнаю правды. Лучше бы вы мне сказали: «Жак» или «Жанна»!

Коляска въехала во двор особняка. Когда она остановилась перед подъездом, граф вышел первым и, как всегда, повел графиню по лестнице под руку.

Поднявшись на второй этаж, он сказал:

— Можно поговорить с вами еще несколько минут?

Она ответила:

— Пожалуйста.

Они вошли в маленькую гостиную. Несколько удивленный лакей зажег свечи.

Оставшись наедине с женой, граф заговорил снова:

— Как мне узнать правду? Я тысячу раз умолял вас сказать, но вы молчали; вы были непроницаемы, непреклонны, неумолимы, а вот теперь говорите, что это была ложь. Шесть лет вы заставляли меня верить в подобный обман! Нет, вы лжете именно сегодня, не знаю только, зачем. Может быть, из жалости ко мне?

Она ответила искренне и убежденно:

— Но ведь иначе я за эти шесть лет родила бы еще четверых детей.

Он воскликнул:

— И это говорит мать!

— Ах,— отвечала она,— я вовсе не чувствую себя матерью еще не родившихся детей, мне довольно быть матерью тех, которые у меня есть, и любить их всем сердцем. Я, как и все мы, женщина цивилизованного мира, сударь. Мы уже не просто самки, населяющие землю, и мы отказываемся ими быть.

Она встала, но муж схватил ее за руки.

— Одно слово, одно только слово, Габриэль! Скажите мне правду.

— Я вам только что сказала ее. Я не изменяла вам никогда.

Он посмотрел ей прямо в лицо, такое прекрасное, в глаза, серые, как холодное небо. В темной прическе, в этой глубокой ночи черных волос, сверкала, как Млечный путь, осыпанная алмазами диадема. И тогда он вдруг почувствовал, он каким-то прозрением понял, что это существо уже не просто женщина, предназначенная для продолжения его рода, но странное и таинственное порождение всех сложных желаний, накопленных в нас веками, отвращенных от своей первоначальной и божественной цели, блуждающих на путях к непостижимой, неуловимой и лишь угадываемой красоте. Да, бывают такие женщины, расцветающие только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем блеском идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация наделила женщину, эту статую из живой плоти, возбуждающую не только чувственную любовь, но и духовные стремления.

Муж стоял перед нею, изумленный этим запоздалым и загадочным открытием, смутно догадываясь о причинах своей прежней ревности и плохо все это понимая.

Наконец он сказал:

— Я вам верю. Я чувствую, что в этот момент вы не лжете; а прежде, в самом деле, мне все время казалось, что в ваших словах есть ложь.

Она протянула ему руку:

— Итак, мы друзья?

Он взял эту руку и, целуя ее, ответил:

— Друзья. Благодарю вас, Габриэль.

И он вышел, с трудом оторвав от нее взгляд, удивляясь тому, что она еще так прекрасна, и чувствуя, как в нем рождается странное волнение, быть может, более опасное, чем древняя и простая любовь.

ОЛИВКОВАЯ РОЩА

I

Когда в порту, маленьком провансальском порту Гаранду, лежащем в глубине залива Писка, между Марселем и Тулоном, завидели лодку аббата Вильбуа, возвращавшегося с рыбной ловли, люди спустились к самому морю, чтобы помочь вытащить посудину на берег.

Аббат сидел в ней один и, несмотря на свои пятьдесят восемь лет, греб с редкой энергией, как настоящий моряк. Рукава на его мускулистых руках были засучены, полы слегка расстегнутой на груди сутаны приподняты и зажаты между коленями, треугольная шляпа лежала сбоку на скамье, а на голове был пробковый шлем, обтянутый белым полотном. В таком виде аббат напоминал мускулистого колоритного священника тропических стран, больше приспособленного к приключениям, чем к служению мессы.

Время от времени он оглядывался назад, проверяя место причала, а затем снова принимался грести, ритмично, методически и сильно, лишний раз показывая этим южным морячишкам, как работают веслами на севере.

Лодка с разгона врезалась в песок и заскользила по нему, словно собираясь пересечь весь пляж, потом резко остановилась, и пять человек, наблюдавшие приезд своего кюре, подошли поближе, приветливые, довольные, с явной симпатией к священнику.

— Ну, как,— с резким провансальским акцентом сказал один из них,— хороший улов, господин кюре?

Аббат Вильбуа положил весла по бортам, снял пробковый шлем, надел треугольную шляпу, спустил рукава, застегнул сутану и, приняв обычный вид и осанку деревенского священнослужителя, с гордостью ответил:

— Да, да, очень хороший. Три зубатки, две мурены, несколько радужников.

Пятеро рыбаков подошли к лодке и, нагнувшись над бортом, с видом знатоков осмотрели добычу: жирных зубаток, плоскоголовых мурен — отвратительных морских змей — и фиолетовых радужников, покрытых зигзагами золотистых полосок цвета апельсинной корки.

Один из рыбаков сказал:

— Я снесу все это к вам домой, господин кюре.

— Спасибо, любезный.

Пожав рыбакам руки, священник отправился в путь в сопровождении одного из них, а остальные занялись его лодкой.

Он шел медленными крупными шагами, и весь вид его говорил о достоинстве и силе. Еще разгоряченный от напряженной гребли, он временами, проходя под легкой тенью оливковых деревьев, снимал шляпу, подставляя вечернему воздуху, все еще теплому, хотя с моря и тянуло свежим ветерком, свой квадратный лоб, обрамленный прямыми седыми, коротко остриженными волосами,— скорее лоб офицера, чем лоб священника. На пригорке, посреди широко и ровно спускавшейся к морю долины, показалась деревня.

Был июльский вечер. Ослепительное солнце, почти уже касавшееся зубчатого гребня отдаленных холмов, отбрасывало на белую дорогу, погребенную под саваном пыли, бесконечную косую тень священника; его гигантская треуголка скользила по соседнему полю большим темным пятном, и пятно это, словно забавляясь, быстро карабкалось по стволам всех встречных оливковых деревьев и тотчас же, снова соскочив наземь, ползло между деревьями.

Облако тонкой пыли, этой мельчайшей муки, устилающей летом провансальские дороги, поднималось

из-под ног аббата Вильбуа и, дымясь вокруг его сутаны, окутывало, покрывало ее снизу все более заметным серым слоем. Аббат, теперь уже остынув, засунул руки в карманы и шел медленной, мощной походкой горца, преодолевающего подъем. Его спокойные глаза смотрели на деревню, на ту деревню, где он священствовал уже двадцать лет, которую он сам выбрал и получил в порядке большого одолжения и где рассчитывал умереть. Церковь, его церковь, венчала широкий конус теснившихся вокруг нее домов двумя побуревшими каменными башенками; их неровные четырехугольные силуэты подымались над этой прекрасной южной долиной, напоминая скорее укрепления древнего замка, чем колокольни храма.

Аббат был доволен, что поймал трех зубаток, двух мурен и несколько радужников.

Это будет еще одна маленькая победа в глазах прихожан, уважавших его главным образом, пожалуй, за то, что, несмотря на возраст, у него была лучшая мускулатура во всей округе. Это мелкое, но невинное тщеславие доставляло ему величайшее удовольствие. Он стрелял из пистолета, срезая пулей цветочные стебли, часто фехтовал со своим соседом, табачным торговцем, бывшим полковым учителем фехтования, и плавал лучше всех на побережье.

Когда-то он был светским человеком, очень известным и очень элегантным бароном де Вильбуа. Духовный сан он принял в тридцать два года, пережив тяжелую любовную драму.

Происходя из старинного пикардийского рода, роялистского и преданного католицизму, на протяжении нескольких столетий отдававшего своих сыновей на службу в армию, суд и церковь, он сначала собирался, по совету матери, принять духовный сан, но позже послушался отца и решил просто поехать в Париж изучать право, чтобы впоследствии занять солидную должность в суде.

В то время, когда он кончал курс, отец его, охотясь в болотистых местах, схватил воспаление легких и умер, а вскоре умерла и сломленная горем мать. И вот, неожиданно унаследовав большое состояние, он отка-

зался от какой-либо карьеры и удовольствовался обычной жизнью богатого человека.

Красивый малый, достаточно умный, несмотря на то, что ум его был ограничен верованиями, традициями и принципами, унаследованными вместе с мускулатурой от пикардийских дворянчиков, он нравился людям, имел успех в светских кругах и пользовался жизнью, как полагается богатому и серьезному молодому человеку строгих правил.

Но вот, после нескольких встреч в доме своего друга, он влюбился в молодую актрису, совсем еще юную ученицу консерватории, с блеском дебютировавшую в Одеоне.

Он влюбился в нее со всей страстью, со всем самозабвением человека, рожденного для веры в абсолютные истины. Он влюбился, видя ее сквозь призму романтической роли, в которой она добилась огромного успеха при первом же своем появлении перед публикой.

Прелестная и от природы развратная, она обладала внешностью наивной девочки, восхищая его своим ангельским видом. Ей удалось покорить его до конца превратить в одного из тех одержимых сумасбродов восторженных безумцев, которые сгорают на костре смертных страстей от одного взгляда женщины, от одного вида ее юбки. И вот он взял ее в любовницы, заставил бросить театр и четыре года любил ее со все возрастающим пылом. Несмотря на свое имя и почтенные семейные традиции, он, несомненно, кончил бы женитьбой, если бы не открыл однажды, что она уже давно изменяет ему с другом, который их познакомил.

Драма оказалась тем ужаснее, что любовница была беременна и он только ждал рождения ребенка, чтобы решить вопрос о браке.

Когда в его руках очутились доказательства — найденные в ящике письма,— он стал обвинять ее в измене, в обмане, в подлости, обвинять со всею грубостью полудикаря, каким он и был.

Но она, дитя парижских тротуаров, бессовестная и бесстыдная, уверенная в другом своем любовнике так же твердо, как и в этом, и вообще смелая, подобно тем дочерям народа, которые всходят на баррикады

из одной лихости, повела себя вызывающе и оскорбила его, а когда он замахнулся на нее, показала ему на свой живот.

Он овладел собой, бледнея при одной мысли, что в этом презренном теле, в этой нечистой плоти, в этом гнусном существе зародился его отпрыск, его дитя! Но тут же бросился на любовницу, чтобы раздавить ее и ребенка, уничтожить этот двойной позор. Она испугалась, почуяла гибель и, извиваясь под его кулаком, видя, что он готов растоптать ногами вздутое чрево, где жил уже зародыш человека, закричала, вытянув вперед руки, чтобы защититься от удара:

— Не убивай меня! Ребенок не твой, это от него!

Он отскочил назад до того изумленный, до того потрясенный, что ярость его словно повисла в воздухе, как и его каблук, и крикнул:

— Что... что ты сказала?

А она, вдруг обезумев от ужаса перед смертью, которую видела в глазах этого человека, в его страшном жесте, повторила:

— Ребенок не твой, это от него!

Стиснув зубы, уничтоженный, он прошептал:

— Ребенок?

— Да.

— Лжешь!

И он снова поднял ногу, чтобы ударить любовницу, но она, стоя на коленях, пыталась отодвинуться и все еще бормотала:

— Да говорю же тебе, от него! Если бы от тебя, то разве это не случилось бы уже давно?

Такой довод поразил его, как сама истина. При той внезапной вспышке сознания, когда выводы приходят сами собой, ослепительно ясные, точные, убедительные, неопровержимые, он понял, уверился, что не был отцом злополучного ребенка этой твари; он сразу испытал облегчение, почти спокойствие, словно избавился от какой-то тяжести, и отказался от мысли уничтожить свою подлую любовницу.

И он сказал ей более спокойным голосом:

— Вставай, убирайся, и чтобы я тебя больше никогда не видел.

Побежденная, она повиновалась. Она ушла.

Больше он никогда ее не видел.

Он тоже уехал. Он отправился на юг, к солнцу, и остановился в деревушке, приютившейся в ложбине на берегу Средиземного моря. Ему понравилась гостиница, выходившая окнами на взморье; он занял в ней комнату, где и остался. Здесь он прожил полтора года — в горе, в отчаянии, в полном одиночестве. Он жил здесь среди мучительных воспоминаний о предательнице, о ее прелести, обаянии, о ее несказанных чарах, в тоске по ней самой, по ее ласкам.

Он бродил по провансальским долинам, подставляя солнцу, пробивавшемуся сквозь сероватую листву оливковых деревьев, свою бедную больную голову, где все еще было живо это наваждение.

Но в этом горьком одиночестве к нему понемногу вернулись прежние благочестивые мысли, несколько охладевшее пламя былой веры. Религия, которая казалась ему когда-то убежищем от неведомой жизни, представилась ему теперь убежищем от лживой и мучительной жизни. Он сохранил привычку к молитве. Он прибегал к ней в своем горе и часто с наступлением сумерек становился на колени среди темной церкви, где в глубине хоров блестел лишь огонек лампады — священный часовой храма, символ присутствия божества.

Этому богу, своему богу, он поверил все свои терзания. У него он просил совета, сострадания, помощи, защиты, утешения, и в молитву, повторяемую день ото дня все с большим жаром, он каждый раз вкладывал все более сильное чувство.

Сердце его, истерзанное и сжигаемое страстью к женщине, еще было открыто, еще трепетало и жаждало любви; и понемногу силою молитвы, силою отшельнической жизни и все возрастающей привычки к благочестию, силою постоянного тайного общения набожной души со спасителем, который призывает к себе и утешает несчастных, в нем поселилась мистическая любовь к богу и победила ту, другую любовь.

Тогда он вернулся к своим первоначальным намерениям и решил отдать церкви свою разбитую жизнь, которую готовился посвятить богу, когда она еще была чиста.

Итак, он стал священником. При содействии семьи и своих связей он добился назначения викарием в ту самую провансальскую деревушку, куда его забросила судьба, пожертвовал на благотворительные цели большую часть своего состояния, оставив себе лишь столько, чтобы до самой смерти иметь возможность помогать бедным, и замкнулся в однообразном существовании, заполненном делами благочестия и служением ближним.

Из него получился пастырь узкого кругозора, но хороший, нечто вроде религиозного вожака с боевым темпераментом, вожака из того церковного воинства, которое насильно ведет по верной дороге блуждающее, слепое человечество, затерянное в дебрях жизни, где все наши инстинкты, вкусы, желания — это тропинки, сбивающие нас с пути. Но многое от прежнего человека еще жило в аббате. Он не переставал любить физические упражнения, благородный спорт, фехтование и с ужасом, какой испытывает ребенок перед таинственной опасностью, чуждался женщин, всех женщин.

II

У матроса, шедшего за священником, как у истого южанина, язык чесался, так ему хотелось поболтать. Но он не смел заговорить, потому что аббат пользовался у своей паствы величайшим уважением. Наконец он расхрабрился.

— Хорошо ли вам на даче, господин кюре? — спросил он.

Дача эта была одним из тех крохотных домиков, куда провансальцы перебираются летом из городов и деревень, чтобы пожить на свежем воздухе. Аббат нанял избушку в поле, в пяти минутах ходьбы от своего дома, слишком маленького, втиснутого между другими домами, посредине деревни, у самого храма.

На дачу он не переселялся на все лето, а приходил только временами на несколько дней, чтобы пожить среди зелени и пострелять из пистолета.

— Да, мой друг,— сказал священник,— мне здесь очень хорошо.

Между деревьев уже виднелась низенькая дачка, выкрашенная в розовую краску и как бы исчерченная, исполосованная, изрезанная на кусочки ветвями и листьями оливковых деревьев, которыми был засажен неогороженный участок, где избушка эта выросла, как провансальский гриб.

Уже видна была и высокая женщина, которая то входила в дом, то выходила из него, накрывая к обеду маленький стол в саду. Каждый раз она приносила с методической медлительностью тарелку или стакан, салфетку или кусок хлеба — словом, то, что требуется для одного прибора. На голове у нее был маленький арлезианский чепец — черный шелковый или бархатный конус, на котором торчало нечто вроде гриба белого цвета.

Подойдя на расстояние голоса, аббат закричал:

— Эй! Маргарита!

Женщина остановилась, поглядела и узнала хозяина.

— А, это вы, господин кюре?

— Я. У меня прекрасный улов; вы зажарите мне сейчас зубатку на сливочном масле, на одном сливочном масле, понимаете?

Служанка, подойдя к мужчинам, оценивала взглядом знатока принесенную матросом рыбу.

— Да ведь у нас есть уже курица с рисом,— сказала она.

— Ничего не поделаешь, вчерашняя рыба — это совсем не то, что прямо из воды. Сегодня я хочу устроить себе праздник и полакомиться. Это не часто бывает, да и грех невелик.

Женщина выбрала зубатку и, унося ее, сказала:

— Ах да! Тут к вам один человек три раза приходил, господин кюре.

Он равнодушно спросил:

— Человек? Из каких?

— Да из таких, которым особо верить нельзя.

— Вот как? Нищий?

— Может, и нищий, не скажу. По-моему, мауфатан.

Аббат Вильбуа посмеялся над этим провансальским словом, обозначающим преступника, бродягу: он знал трусливость Маргариты, которая не могла жить на

даче, не думая весь день, а особенно всю ночь, что сейчас ее с хозяином убьют.

Получив несколько су, рыбак ушел. Но не успел аббат, сохранявший опрятность и привычки светского человека, сказать: «Пойду сполосну немножко лицо и руки»,— как Маргарита, которая ушла в кухню и уже торопливо скребла ножом спину зубатки так, что чешуйки, слегка запачканные кровью, отскакивали, будто крохотные серебряные монетки,— крикнула:

— Вот он опять!

Аббат посмотрел на дорогу и увидел какого-то человека, который еще издали показался ему очень плохо одетым; тот неторопливо подходил к дому. Хозяин подождал, все еще улыбаясь ужасу служанки и думая: «А она, кажется, не ошиблась; право, он сильно смахивает на мауфатана».

Незнакомец приближался не спеша, засунув руки в карманы и глядя на священника. Он был молод, его кудрявая белокурая борода была не подстрижена, а вьющиеся волосы выбивались из-под мятой фетровой шляпы, до такой степени грязной и затасканной, что никто не смог бы определить ее первоначальный цвет и форму. На нем было длинное коричневое пальто, брюки, обтрепанные у щиколоток, и холщовые башмаки на плетеной подошве, отчего походка у него была беззвучная, мягкая, подозрительная — неслышная поступь бродяги.

Подойдя к священнику на несколько шагов, он немного театральным жестом снял рвань, прикрывавшую его голову, и открыл изможденное, чувственное, красивое лицо и плешь на темени — признак утомления или раннего разврата, потому что этому человеку было явно не больше двадцати пяти лет.

Аббат тоже немедленно снял шляпу, чувствуя и догадываясь, что перед ним не обычный бродяга, не какой-нибудь безработный или арестант, шатающийся по дорогам между двумя отсидками и уже разучившийся говорить иначе, как на таинственном тюремном языке.

— Здравствуйте, господин кюре,— сказал этот человек.

Аббат коротко ответил: «Приветствую вас»,— не

желая называть этого подозрительного и обтрепанного прохожего господином. Оба пристально поглядели друг на друга, и под взглядом этого бродяги аббат Вильбуа почувствовал вдруг себя смущенным, взволнованным, словно перед лицом неведомого врага; им овладело то странное беспокойство, от которого человека невольно охватывает внутренняя дрожь.

Наконец бродяга заговорил:

— Ну как, узнаете?

Священник с большим удивлением ответил:

— Я? Нет, я вас вовсе не знаю.

— Не знаете! Поглядите еще.

— Сколько бы ни глядел, я вас никогда не видел.

— Это-то верно,— ответил тот иронически,— но вот я вам покажу одного человека: его вы знаете лучше.

Бродяга надел шляпу и расстегнул пальто. Под ним оказалась голая грудь. Красный пояс, стягивая худой живот, поддерживал брюки.

Он вынул из кармана конверт, один из тех невероятных, разделанных под мрамор грязными пятнами конвертов, которые, лежа за подкладкой у нищих бродяг, хранят в себе какие-нибудь подлинные или поддельные, краденые или законные бумаги — драгоценную защиту свободы от встречных жандармов. Из конверта он вытащил фотографию — большую, величиной с письмо карточку, какие делались раньше; пожелтевшая, потрепанная, много пространствовавшая, она согревалась на теле этого человека и выцветала от его теплоты.

И, подняв ее вровень со своим лицом, он спросил:

— А этого вы знаете?

Аббат подошел на два шага, чтобы разглядеть,— и побледнел, потрясенный: это была его собственная карточка, снятая для *нее* в далекие времена любви.

Он молчал, ничего не понимая.

Бродяга повторил:

— Этого вы знаете?

И священник произнес:

— Да.

— Кто это?

— Я.

— Наверное вы?

— Да.

— Ну, так поглядите теперь на нас обоих — на ваш портрет и на меня.

Аббат уже видел, несчастный, уже видел, что эти два человека — тот, что на карточке, и тот, что смеялся рядом с нею,— были похожи друг на друга, как два брата; но, все еще не понимая, проговорил заикаясь.

— Чего же вы все-таки от меня хотите?

В голосе оборванца зазвучала злоба.

— Чего хочу? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня признали.

— Кто же вы такой?

— Кто я такой? Спросите первого встречного, спросите вашу служанку. Хотите, пойдем спросим здешнего мэра; только покажем ему вот эту карточку,— и можете мне поверить, он посмеется всласть. Так вы не хотите признать, что я ваш сын, папаша кюре?

Библейским жестом отчаяния старик поднял руки и простонал:

— Это неправда!

Молодой человек приблизился к нему вплотную.

— Ах, неправда? Эй, аббат, довольно вранья. Понятно вам?

Лицо у него было угрожающее, кулаки стиснуты, и говорил он с такой неистовой убежденностью, что священник, пятясь от него, недоумевал, кто же из них ошибается в этот момент.

И все же он заявил еще раз:

— У меня никогда не было детей.

Бродяга ответил без запинки:

— И любовницы, может быть, тоже?

Старик решительно произнес только одно слово — гордое признание:

— Была.

— И эта любовница не была беременна, когда вы ее прогнали?

И вдруг старый гнев, подавленный двадцать пять лет тому назад, но не потухший окончательно, а лишь тлевший в сердце любовника, взорвал возведенные над ним своды смиренного благочестия, веры, самоотречения, и вне себя старик закричал:

— Я прогнал ее, потому что она обманывала меня и была беременна от другого; будь ребенок от меня, я убил бы ее и вас, сударь, вместе с ней!

Молодой человек смутился, пораженный искренним порывом священника, и заговорил мягче:

— Кто вам сказал, что ребенок был от другого?

— Она, она сама, и еще издевалась надо мной.

Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном уличного мальчишки, выносящего приговор:

— Ну что ж! Значит, мамаша, издеваясь над вами, тоже ошиблась, вот и все.

Аббат, овладев собою после приступа ярости, спросил:

— А вам кто сказал, что вы мой сын?

— Она сама, когда она умирала, господин кюре... А затем — вот это!

И он снова поднес к глазам священника фотографию.

Старик взял ее и долго, медленно, с сердцем, надрывавшимся от муки, сравнивал этого незнакомого прохожего со своим давнишним изображением. Сомнений не оставалось — это был действительно его сын.

Скорбь овладела его душой, невыразимое, мучительное, тягостное чувство, подобное вновь вспыхнувшему угрызению совести. Кое-что он начинал понимать, об остальном догадывался и вновь видел перед собой грубую сцену расставания. Только для спасения жизни, под угрозой оскорбленного мужчины бросила ему женщина, лживая и коварная самка, эту ложь. И ложь удалась. А от него родился сын, и вырос, и стал этим грязным проходимцем с большой дороги, от которого несет пороком, как несет животным запахом от козла.

Он прошептал:

— Не угодно ли вам пройтись со мной, чтобы как следует объясниться?

Тот рассмеялся:

— Ах, черт! Да ведь я для этого и явился.

И вместе, бок о бок, они пошли по оливковой роще. Солнце уже закатилось. Резкая прохлада южных сумерек накинула на все невидимый холодный плащ.

Аббат вздрогнул и вдруг, по привычке священнослужителя подняв глаза, увидел над собою дрожащую на небе мелкую сероватую листву священного дерева, прикрывшего хрупкой своей сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа.

И в нем родилась молитва, короткая, полная отчаяния, произнесенная тем внутренним голосом, который не доходит до губ и которым верующие умоляют спасителя: «Помоги мне, господи!».

Потом он повернулся к сыну:

— Итак, ваша мать умерла?

Новое горе пробудилось в нем при словах «Ваша мать умерла» и тисками сжало сердце; в этом чувстве была и тоска мужского тела, которое так и не забыло женщину до конца, и жестокое воспоминание о пережитой пытке, а еще больше, быть может (ведь она умерла), отзвук безумного, короткого счастья юности, от которого ничего уже не оставалось теперь, кроме вечной раны в памяти.

Молодой человек ответил:

— Да, господин кюре, моя мать умерла.

— Давно?

— Да уже три года.

Новое сомнение охватило священника.

— Как же вы не пришли ко мне раньше?

Тот ответил не сразу:

— Не мог. Были препятствия... Но простите, я прерву свои признания и позже продолжу их во всех подробностях, какие вам будут угодны, а пока доложу вам, что я со вчерашнего утра ничего не ел.

Волна жалости потрясла старика, и он сказал порывисто, протягивая обе руки:

— Ах, бедный мой мальчик!

Молодой человек принял эти большие протянутые руки, и они поглотили его тонкие, теплые и лихорадочные пальцы.

Потом он ответил с тем насмешливым выражением, которое почти не сходило с его губ:

— Ну что ж, я, право, начинаю думать, что мы все-таки столкуемся.

Кюре зашагал вперед.

— Идем обедать,— сказал он.

И вдруг с какой-то инстинктивной, смутной и неожиданной радостью он подумал о прекрасной рыбе, которую поймал; вместе с курицей и рисом она будет сегодня отличным обедом для этого бедного мальчика.

Обеспокоенная арлезианка ворчливо ждала их у порога.

— Маргарита! — крикнул аббат.— Живо, живо, возьмите столик, перенесите в комнату и накройте на два прибора. Да скорее же!

Служанка стояла в оцепенении от мысли, что хозяин будет обедать с этим злодеем.

Тогда аббат Вильбуа принялся сам снимать со стола и переносить в единственную комнату первого этажа приготовленный для него прибор.

Пять минут спустя он уже сидел против бродяги, перед миской супа из свежей капусты, от которого поднималось облачко горячего пара.

III

Когда тарелки были наполнены, бродяга с жадностью набросился на суп, быстро глотая ложку за ложкой. Аббату уже не хотелось есть, и, оставив хлеб на тарелке, он только медленно глотал душистый капустный навар.

Вдруг он спросил:

— Как вас зовут?

Тот засмеялся, радуясь, что утоляет голод.

— Отец неизвестен,— отвечал он,— фамилия та же, что и у матери; вы, вероятно, ее еще не забыли. А вот имен целых два — между прочим, они мне вовсе не пристали: Филипп-Огюст.

Аббат побледнел, горло его сжалось. Он спросил:

— Почему вам дали эти имена?

Бродяга пожал плечами.

— Вы могли бы догадаться. Покинув вас, мамаша хотела уверить вашего соперника, что я его сын, и он ей более или менее верил, пока мне еще не было пятнадцати лет. Но тут я стал слишком уж похож на вас. И он, мерзавец, от меня отказался. Так вот, мне дали его имена: Филипп-Огюст; и если бы я имел счастье не

быть ни на кого похожим или просто быть сыном какого-нибудь третьего, неизвестного прохвоста, то сегодня я звался бы виконт Филипп-Огюст де Правалон, с некоторым запозданием признанный сын сенатора и графа той же фамилии. Сам же я окрестил себя Невезучим.

— Откуда вы все это знаете?

— Да ведь при мне бывали объяснения, и крепкие, черт возьми, объяснения! Ого, было где поучиться жизни!

Нечто более тягостное, более мучительное, чем все, что аббат уже перечувствовал и перестрадал за последние полчаса, теперь удручало его. Он испытывал что-то вроде удушья; оно подступало к горлу, усиливалось и в конце концов могло его убить; и происходило это не только оттого, что он слышал, а скорее от тона каким все было сказано, и от вида отвратительной, жульнической физиономии, подчеркивавшей смысл произнесенных слов. Между этим человеком и собою он уже ощущал грязь той моральной клоаки, которая для некоторых душ равносильна смертельному яду. И это его сын?! Он еще не мог поверить. Он желал доказательств, всяческих доказательств; он желал все узнать, все услышать, все принять, все претерпеть. Он снова вспомнил об оливковых деревьях, окружавших его дачку, и вторично прошептал: «Помоги мне, господи!»

Филипп-Огюст доел суп и спросил:

— Больше ничего не будет, аббат?

Так как кухня помещалась вне дома, в отдельной постройке, и Маргарита не могла слышать оттуда голоса кюре, то в случае надобности он вызывал ее несколькими ударами в китайский гонг, висевший на стене за его спиной.

Итак, он взял обтянутый кожей молоток и несколько раз ударил по металлическому диску. Послышался звук, сначала слабый, потом он усилился, прояснился и стал дрожащим, резким, страшно резким, раздражающим, ужасающим воплем потревоженной меди.

Появилась служанка. Лицо ее было мрачно, она гневно поглядывала на мауфатана, словно чуя инстинктом верной собаки свалившееся на хозяина не-

счастье. В руках она держала жареную зубатку, от которой шел вкусный запах топленого масла. Аббат ложкой разрезал рыбу вдоль и предложил сыну спинную часть.

— Это я только что поймал,— сказал он, и над его отчаянием всплыл остаток гордости.

Маргарита все не уходила.

Священник сказал ей:

— Принесите вина. Хорошего вина, белого корсиканского.

У нее чуть не вырвался жест возмущения, и ему пришлось строго повторить:

— Ну! Две бутылки.

В тех редких случаях, когда аббат угощал кого-нибудь вином, он разрешал бутылочку и себе.

Филипп-Огюст проговорил, сияя:

— Здорово! Чудная идея. Давно я уже так не ел.

Служанка вернулась через две минуты. Аббату они показались долгими, как вечность: ведь теперь его томило желание все узнать, пожирающее, как адский огонь.

Бутылки были откупорены, но служанка все еще стояла, уставившись на чужого.

— Оставьте нас,— сказал кюре.

Она притворилась, будто не слышит.

Он повторил почти грубо:

— Я вам велел оставить нас одних.

Тогда она ушла.

Филипп-Огюст ел рыбу с торопливой жадностью, а отец разглядывал его с ужасом, все более и более изумляясь низости, постепенно открывавшейся ему в этом, столь похожем на него лице. Аббат Вильбуа подносил к губам маленькие кусочки, но они застревали у него во рту, не могли пройти в горло, сдавленное спазмой, и он подолгу жевал пищу, выбирая среди всех вопросов, приходивших ему на ум, тот, на который ему хотелось скорее получить ответ.

Наконец он прошептал:

— От чего она умерла?

— От грудной болезни.

— Долго она хворала?

— Года полтора.

— Отчего это с ней случилось?

— Неизвестно.

Они замолчали. Аббат задумался. Его мучило множество вопросов, на которые хотелось получить ответ: ведь он ничего не слышал о ней с самого дня, когда чуть не убил ее. Конечно, он и не хотел слышать, потому что сознательно бросил ее в могилу забвения вместе со своими днями счастья; но теперь, когда она умерла, в нем родилось вдруг жгучее желание, ревнивое, почти любовное желание узнать все.

И он продолжал:

— Она ведь была не одна?

— Нет, она все время жила с ним.

Старик содрогнулся.

— С ним! С Правалоном?

— Ну да.

И обманутый любовник подсчитал, что та самая женщина, которая изменила ему, прожила с его соперником больше тридцати лет.

Почти против воли он проговорил:

— Они были счастливы?

Молодой человек ответил, посмеиваясь:

— Пожалуй. Всякое бывало. Не будь меня, все бы шло отлично. Я вечно портил дело.

— Как это? Почему? — спросил священник.

— Я уже рассказывал. Потому что, пока мне не было пятнадцати лет, он считал меня своим сыном. Но старик был не промах, он прекрасно разглядел, на кого я похож, и тогда начались сцены. А я подслушивал у дверей. Он обвинял мамашу, что она его одурачила. Мамаша отвечала: «Я-то чем виновата? Ты ведь, когда брал меня, отлично знал, что я была любовницей другого». Другого — это значит вашей.

— Ах, так они иногда говорили обо мне?

— Да, но никогда при мне не называли вас; только под конец, под самый конец, в последние дни, когда мамаша почувствовала, что умирает. Они ведь оба остерегались.

— А вы... вы рано поняли, что ваша мать находится в ложном положении?

— Еще бы! Я ведь, знаете, не дурачок и никогда

им не был. Эти вещи отгадываешь сразу, как только начинаешь разбираться в жизни.

Филипп-Огюст наливал стакан за стаканом. Глаза его загорались; после долгой голодовки он быстро хмелел.

Священник заметил это и чуть было не остановил сына, но тут ему пришла мысль, что, опьянев, тот станет неосторожен и болтлив, и, взяв бутылку, он сам снова наполнил молодому человеку стакан.

Маргарита принесла курицу с рисом. Поставив ее на стол, она снова уставилась на бродягу и с негодованием сказала хозяину:

— Да поглядите же, господин кюре, ведь он совсем пьян!

— Оставь нас в покое,— отвечал священник,— и ступай.

Она ушла, хлопнув дверью.

Аббат спросил:

— Что же говорила обо мне ваша мать?

— Да то самое, что обычно говорят о брошенном мужчине: что вы тяжелый человек, невыносимый для женщины, что вы со своими понятиями только мешали бы ей жить.

— Часто она это говорила?

— Да, иной раз обиняками, чтобы я не понял, но мне все было ясно.

— А вы? Как с вами обращались в доме?

— Со мной? Сперва очень хорошо, потом очень плохо. Когда мамаша увидела, что я порчу ей дело, она меня выперла.

— Как это?

— Как это! Очень просто. Лет в шестнадцать я немного нашалил, и тогда эти прохвосты, чтобы отделаться, посадили меня в исправительный дом.

Он поставил локти на стол, подпер голову обеими руками и, совершенно пьяный, с затуманившимся от вина рассудком, вдруг впал в то неодолимое желание говорить о себе самом, которое заставляет пьяниц предаваться фантастическому хвастовству.

Он мило улыбался, и на устах его была женственная прелесть, та порочная прелесть, которую священник узнал. Он не только узнал, он вновь почувствовал

ее, эту ненавистную и ласкающую прелесть, некогда покорившую и погубившую его. Теперь сын был больше похож на мать — не чертами лица, но обаятельным и лживым взглядом и особенно соблазнительно обманчивой улыбкой, которая словно для того и появлялась, чтобы из полуоткрытого рта вылилась вся внутренняя мерзость его существа.

Филипп-Огюст рассказывал:

— Ха-ха-ха! И пожил же я после исправительного дома! Забавная была жизнь, за нее хороший романист дорого бы заплатил. Право, даже папаша Дюма не выдумал в своем *Монте-Кристо* таких занятных штучек, какие бывали со мной.

Он помолчал с философической важностью пьяного человека, предающегося раздумью, и медленно продолжал:

— Кто хочет, чтобы парень вел себя хорошо, тот никогда, ни за какие проступки не должен отправлять его в исправительный дом, потому что там он заводит компанию. У меня компания подобралась славная, но дело кончилось плохо. Один раз, вечерком, часов в девять, мы болтались с тремя приятелями — все немножко под мухой — на большой дороге около Фолакского брода. И вот вижу я коляску, а в ней все спят — и хозяин и вся семья. Это были мартинонские жители; возвращались домой после обеда. Беру я лошадь под уздцы, веду ее на парóм и отпихиваю парóм на середину реки. Что-то стукнуло, хозяин проснулся,— ничего не видит, а нахлестывает. Лошадь вскачь и свалилась вместе с повозкой в воду. Все потонули! Приятели меня выдали. Сначала, когда я затеял эту шутку, они только смеялись. Мы, правда, не думали, что это так плохо кончится. Хотели только устроить им ванну, посмеяться.

С тех пор я стал шутить круче — хотел отомстить за первое дело: такого наказания я все-таки не заслужил, честное слово. Но не стоит говорить. Я вам расскажу только про последнее, оно вам наверняка понравится. Я за вас отомстил, папаша.

Аббат уже ничего не ел и только глядел на сына полными ужаса глазами.

Филипп-Огюст хотел заговорить снова.

— Нет,— прервал его священник,— погодите, сейчас...

Он повернулся и ударил в гулкий китайский кимвал.

Тотчас вошла Маргарита.

И хозяин приказал таким суровым голосом, что она испуганно и покорно наклонила голову:

— Принеси лампу и все, что еще можешь подать на стол, а потом уходи и не возвращайся, пока я не ударю в гонг.

Она вышла и, вернувшись, поставила на стол белую фарфоровую лампу под зеленым абажуром, большой кусок сыра и фрукты. Затем ушла.

Аббат решительно сказал:

— Теперь я вас слушаю.

Филипп-Огюст спокойно положил себе десерт и налил вина. Вторая бутылка была почти пуста, хотя аббат к ней не прикасался.

Молодой человек говорил запинаясь: он был пьян, и рот у него был полон.

— Вот оно, последнее дело. Ловко было проведено! Я вернулся домой... и остался, хотя они не хотели, потому что они меня боялись... боялись... Э-э, меня не стоит раздражать, я... я способен на все, когда меня раздражают... Знаете... они и жили вместе и не жили. У него было два дома: дом сенатора и дом любовника. Но у мамаши он жил чаще, чем дома, потому что без нее не мог обходиться. О-ох... и тонкая же была штучка мамаша... такая штучка... Вот уж кто умел держать мужчину! Он ей предался телом и душой, и она его не выпускала до самого конца. Глупый это народ — мужчины! Так вот, я вернулся и нагнал на них страху. Я ведь, когда надо, ловкий, знаю всякие номера и приемы... Хватка у меня тоже крепкая, никого не боюсь. Но вот мамаша заболевает, он ее устраивает в прекрасном поместье поблизости от Мёлана... парк там огромный, как лес. Тянулось это года полтора... как я вам говорил. Потом чувствуем мы: скоро конец. Он приезжал из Парижа каждый день и очень огорчался, по-настоящему.

Так вот, однажды утром рассуждали они битый час,

и я все думал, о чем это они могут так долго болтать. Как вдруг меня зовут, и мамаша говорит мне:

«Я скоро умру и хочу тебе кое-что сказать, хотя граф думает, что это не нужно.— Она всегда его называла «граф».— Я хочу открыть тебе имя твоего отца; он еще жив».

Сто раз я спрашивал у нее... сто раз... имя моего отца... сто раз... И она никогда не хотела сказать... Кажется, один раз я даже по щекам ей надавал, чтобы она назвала, но ничего не вышло. А потом она, чтобы отделаться, объявила мне, что вы умерли без гроша в кармане, что вы ничем особенным и не были — так, ошибка юности, девичья прихоть. Она все это подвела очень ловко, и я попался: ну, совсем поверил в вашу смерть.

Но тут она мне сказала:

«Имя твоего отца...»

А тот, сидя в кресле, три раза повторил вот так:

«Напрасно, напрасно, напрасно, Розетта».

Тогда мамаша садится в постели. Словно сейчас вижу ее: на щеках красные пятна, глаза горят. Она ведь все-таки очень любила меня. И она говорит ему:

«Тогда сделайте что-нибудь для него, Филипп!»

Его она всегда называла Филиппом, а меня — Огюстом.

Он раскричался, как бешеный:

«Для этого мерзавца? Никогда! Для этого бездельника, для этого арестанта, этого... этого... этого...»

И он нашел для меня такие названия, как будто всю жизнь только их и искал.

Я было рассердился, но мамаша останавливает меня и говорит ему:

«Так вы хотите, чтобы он умер с голоду? Ведь у меня ничего нет!»

А он, не смущаясь, отвечает:

«Розетта, я тридцать лет подряд давал вам по тридцать пять тысяч франков в год: это больше миллиона. Благодаря мне вы жили, как богатая, любимая и, смею сказать, счастливая женщина. Этот негодяй испортил последние годы нашей жизни, я ему ничего не должен, и он от меня ничего не получит. Настаивать бесполезно.

Если угодно, назовите того человека. Мне очень жаль, но я умываю руки».

И вот мамаша поворачивается ко мне. А я думаю: «Отлично... вот я и получаю настоящего отца. Если у него водятся денежки, мое дело в шляпе!»

Она продолжает:

«Твой отец — барон де Вильбуа, теперь аббат Вильбуа; он служит священником в Гаранду, близ Тулона. Я была его любовницей и бросила его для графа».

И вот она мне выкладывает все, кроме того, что она провела вас насчет своей беременности. Ну, женщина, знаете! Она всей правды никогда не скажет...

Он посмеивался, бессознательно выставляя напоказ всю свою низость. Затем выпил еще и все с тем же игривым выражением продолжал:

— Два дня... два дня спустя мамаша умерла. Мы проводили ее гроб до кладбища — он да я... Правда, забавно?.. Он да я... и еще трое слуг... вот и все... Он ревел, как корова... Мы шли рядышком... со стороны подумаешь: папенька и папенькин сынок.

Вернулись мы домой. Двое, с глазу на глаз. Я про себя думаю: «Придется уйти без гроша в кармане». Было у меня ровно пятьдесят франков. Что бы такое придумать, чтобы отомстить?

Он берет меня за руку и говорит:

«Мне надо поговорить с вами».

Я прошел за ним в кабинет. Он садится за стол, ревет и заплетающимся языком начинает рассказывать, что не хочет быть со мною таким злым, как говорил мамаше, и просит меня не приставать к вам... «Это... это уже дело наше с вами...» Предлагает мне бумажку в тысячу... тысячу... а что мне делать с тысячей франков?.. Мне... мне... такому человеку, как я? Я вижу, что в ящике этих бумажек еще целая куча. Вижу эти бумажки, и хочется мне все крушить. Я протягиваю руку, будто взять то, что он дает, но, вместо того, чтобы принять милостыню, вскакиваю, швыряю ее на пол, а его хватаю за горло, да так, что у него глаза полезли на лоб; потом вижу, что он подыхает, я затыкаю ему рот, связываю его, раздеваю, переворачиваю, а потом... Ха-ха-ха! Я неплохо за вас отомстил!..

Филипп-Огюст кашлял, задыхаясь от радости, и в его веселом и хищном оскале аббат Вильбуа узнавал давнюю улыбку той женщины, от которой он потерял голову.

— А потом? — спросил он.

— Потом... ха-ха-ха!.. В камине был яркий огонь... Она умерла в декабре, мамаша... в холода... углей горело много... Беру я кочергу... накалил ее докрасна... и вот начинаю ставить ему кресты на спину. Восемь крестов, десять, сам не знаю, сколько, потом переворачиваю и делаю то же самое на животе. Шутки? А, папаша? Так когда-то метили каторжников. Он извивался, как угорь... Но я его крепко связал, и кричать он тоже не мог. Потом беру бумажки. Двенадцать, а вместе с моей тринадцать... Не принесло мне счастья это число. И ушел. А слугам велел не тревожить господина графа до обеда, потому что он спит.

Я думал, он смолчит, чтобы не было скандала: ведь он сенатор. Но ошибся. Через четыре дня меня сцапали в одном парижском ресторане. Дали три года тюрьмы. Потому-то я к вам и не пришел раньше.

Он выпил еще и продолжал, запинаясь, еле выговаривая слова:

— А теперь... папаша... папаша кюре!.. Как это забавно, когда папаша у тебя — кюре!.. Ха-ха, вы уж будьте милы с малюткой, очень милы... а то ведь малютка особенный... Он тому... старику... здоровую... право, здоровую... устроил...

Тот самый гнев, который когда-то отнял разум у аббата Вильбуа, узнавшего об измене любовницы, бушевал в нем сейчас при виде этого ужасного человека.

Он, столько раз прощавший именем бога грязные прегрешения, передаваемые шепотом в полумраке исповедален,— он чувствовал себя теперь безжалостным и беспощадным во имя самого себя и уже не взывал к помощи доброго и милосердного бога, ибо понимал, что никакой небесный или земной покров не может спасти на этом свете того, над кем стряслось такое несчастье.

Весь жар его страстного сердца, его могучей крови, притушенный служением церкви, вспыхнул теперь в

необоримом негодовании против этого жалкого выродка, который был ему сыном, против этого сходства с ним самим и с матерью — с недостойной матерью, зачавшей его подобным себе, против рока, приковавшего этого негодяя к отцу, как ядро к ноге каторжника.

Он все видел, он все предвидел с внезапной ясностью; этот удар пробудил его от двадцатипятилетнего благочестивого сна и покоя.

Аббат вдруг понял, что надо говорить с гневной силой, иначе не запугаешь, не внушишь ужаса этому злодею, и, стиснув зубы от ярости, он сказал, уже не сознавая, что имеет дело с пьяным:

— Теперь вы рассказали мне все. Слушайте меня. Вы отправитесь отсюда завтра утром. Вы будете жить там, где я вам укажу, и без моего приказа никогда не покинете этого места. Я буду выплачивать вам пенсию, которой хватит вам на жизнь, но небольшую, потому что денег у меня нет. Если вы ослушаетесь хоть один раз, то всему конец, и вы будете иметь дело со мной...

Как ни отупел Филипп-Огюст от вина, но он понял угрозу, и в нем сразу проснулся преступник. Икая, он злобно пробормотал:

— Ах, папаша, так со мной обходиться не стоит!.. Ты кюре... я тебя держу в руках... Поддашься и ты, как прочие!

Аббат вскочил; старого атлета охватило непобедимое желание сгрести это чудовище, согнуть его, как прут, показать ему, что он должен будет уступить.

Приподняв стол, он двинул им в грудь сыну, крича:

— Эй! Берегись! Берегись... Я никого не боюсь...

Пьяный, теряя равновесие, качался на стуле. Чувствуя, что сейчас упадет, что он во власти священника, он с загоревшимся взглядом протянул руку к одному из двух ножей, валявшихся на скатерти. Аббат Вильбуа увидел это движение и с такой силой толкнул стол, что сын опрокинулся назад и растянулся на полу. Лампа покатилась и погасла.

Несколько мгновений пел во мраке тонкий звон столкнувшихся бокалов; потом послышалось, будто ползет по полу какое-то мягкое тело. Потом — ничего.

Как только лампа разбилась, на обоих так быстро

надвинулась глубокая тьма, что они растерялись, словно случилось что-то ужасное. Пьяница, притиснутый к стене, не шевелился, а священник сидел на стуле, погруженный во мрак, в котором тонул его гнев. Опустившаяся темная завеса приглушила его возбуждение, парализовала яростный порыв души, и на него нахлынули новые мысли, черные и печальные, как эта тьма.

Наступила тишина, тягостная тишина засыпанной могилы, где ничто уже не живет и не дышит. Ни звука не доносилось извне — ни стука дальней телеги, ни собачьего лая, ни хотя бы легкого шороха ветра в ветвях.

Это длилось долго-долго, быть может, целый час. И вдруг зазвенел гонг! Он зазвенел от одного-единственного резкого, сухого и сильного удара, и за этим последовал тяжелый и характерный звук падения тела и перевернутого стула.

Маргарита была начеку и прибежала, но, открыв дверь, попятилась в ужасе перед непроницаемой тьмой. Вся дрожа, с сильно бьющимся сердцем, она тихим и задыхающимся голосом позвала:

— Господин кюре! Господин кюре!

Никто не отвечал, ничто не шевелилось.

«Боже мой, боже мой,— подумала она,— что они сделали? Что случилось?»

Она не решалась ступить вперед, не решалась пойти за лампой; ее охватило безумное желание спастись, бежать, кричать, но у нее ноги так ослабели, что она чуть не свалилась. Она повторяла:

— Господин кюре, господин кюре, это я, Маргарита!

И вдруг, несмотря на страх, ее охватило инстинктивное желание помочь хозяину, та женская храбрость, которая временами доходит до героизма; душа ее исполнилась смелостью отчаяния, и она побежала на кухню за лампой.

На пороге комнаты она остановилась. Сначала она увидела бродягу, простертого у стены и спящего или казавшегося спящим; потом разбитую лампу; потом, под столом, ноги аббата Вильбуа в черных чулках; должно быть, падая, он и ударился головой о гонг.

Маргарита вся тряслась от ужаса, руки ее дрожали, она повторяла:

— Боже мой, боже мой! Что же это такое?

И подвигаясь вперед маленькими, медленными шажками, она поскользнулась на чем-то жирном и чуть не упала.

Тогда, нагнувшись, она увидела, что по красному полу растекалась вокруг ее ног, быстро убегая к двери, тоже красная жидкость. Она поняла, что это кровь.

Обезумев, она побежала прочь, бросив лампу, чтобы ничего больше не видеть, и кинулась в сторону деревни. Она спешила, натыкаясь на деревья, неотрывно глядя на далекие огни и громко крича.

Пронзительный звук ее голоса улетал в ночь, словно зловещий крик совы, и беспрерывно повторял:

— Мауфатан... мауфатан... мауфатан!..

Когда Маргарита добралась до первых домов, перепуганные люди окружили ее, но она отбивалась, не отвечая: она совсем потеряла голову.

Наконец поняли, что в усадьбе у кюре случилось несчастье, и кучка народа вооружилась, чтобы бежать ему на помощь.

Розовая дачка в оливковой роще стала невидимой, слившись с глубокой и немой ночью. С тех пор, как единственное освещенное окно погасло — словно закрылся глаз,— дачка утонула во мраке, затерялась во тьме; найти ее мог только тот, кто родился и вырос в этих местах.

Скоро по земле, между деревьями, к даче побежали огоньки. От них тянулись по выжженной траве длинные желтые блики, под блуждающим светом которых искривленные стволы оливковых деревьев казались порой чудовищами, адскими змеями, сплетенными, извивающимися. Лучи, отбрасываемые вдаль, вдруг вырвали из тьмы что-то смутное и белесое; вскоре низкая квадратная стена домика снова порозовела при свете фонарей. Их несли крестьяне; впереди шли два жандарма с револьверами в руках, полевой сторож, мэр и Маргарита, которую вели под руки, потому что она была почти без сознания.

Перед ужасной, все еще открытой дверью они оста-

новились в нерешительности. Наконец старший жандарм схватил фонарь и вошел первым.

Служанка не солгала. Кровь, теперь уже запекшаяся, покрывала пол, как ковер. Она дотекла до бродяги, замочив ему ноги и руку.

Отец и сын спали: один, с перерезанным горлом, спал вечным сном, другой спал сном пьяницы. Двое жандармов бросились на него, и не успел он еще проснуться, как на нем оказались наручники. Удивленный, отупевший от вина, он протер глаза, когда же увидел труп священника, лицо его выразило ужас и недоумение.

— Как это он не убежал? — спросил мэр.

— Пьян был здорово,— отвечал старший жандарм.

И все с ним согласились, так как никому не пришло в голову, что аббат Вильбуа, быть может, убил себя сам.

МУШКА

Из воспоминаний любителя гребли

Он сказал нам:

— Много я видел забавных вещей и забавных девчонок в те далекие дни, когда мы занимались греблей! Сколько раз мне хотелось написать книжечку под заглавием *На Сене,* рассказать об этой жизни, исполненной силы и беззаботности, веселья и бедности, неистощимой и шумной праздничности,— о жизни, которой я жил с двадцати до тридцати лет.

Я служил, у меня не было ни гроша; теперь я человек с положением и могу выбросить на любой свой минутный каприз крупную сумму. В сердце моем было много скромных и неисполнимых желаний, и они скрашивали мое существование всевозможными фантастическими надеждами. Теперь я, право, не знаю, какая выдумка могла бы поднять меня с кресла, где я дремлю. Как просто, хорошо и трудно было жить так, между конторой в Париже и рекой в Аржантейе! Целых десять лет моей великой, единственной, всепоглощающей страстью была Сена. О, прекрасная, спокойная, изменчивая и зловонная река, богатая миражами и нечистотами! Мне кажется, я любил ее так сильно потому, что она как бы давала смысл моей жизни. О, прогулки вдоль цветущих берегов, о, мои друзья-лягушки, мечтавшие в прохладе, лежа брюхом на листке кувшинки, о, кокетливые и хрупкие водяные лилии среди высоких тонких трав, внезапно открывавших

мне за ивой как бы страничку японского альбома, когда зимородок бежал передо мною, словно голубой огонек! Как я любил все это, любил стихийно, я впитывал в себя окружающее, и чувство глубокой безотчетной радости волной разливалось по моему телу!

Как другие хранят воспоминания о ночах любви, так я храню воспоминания о восходах солнца среди утренних туманов, этих легких блуждающих дымках, мертвенно бледных перед зарею, а при первом луче, скользнувшем на луг, начинающих восхитительно розоветь; я храню воспоминания и о луне, серебрящей трепетную текучую воду таким блеском, от которого расцветали все мечты.

И все это — символ вечной иллюзии — рождалось для меня на поверхности гниющей воды, которая несла к морю все отбросы Парижа.

А как весело жилось с приятелями! Нас было пятеро — целая банда теперь солидных людей. Так как все мы были бедны, то обосновались в одной убогой аржантейской харчевне и образовали там своеобразную колонию, занимавшую всего одну комнату, в которой я и провел, бесспорно, самые безумные вечера моей жизни. Мы не заботились ни о чем, кроме развлечений и гре́бли, так как для всех нас, кроме одного, весло было предметом культа. Помню все те удивительные похождения, невероятные проделки, на какие пускалась наша пятерка шалопаев и каким никто бы теперь не поверил. Нынче уж так не живут, даже на Сене: в современных душах умерла буйная фантазия, от которой у нас захватывало дух.

Все пятеро мы владели одной-единственной лодкой, приобретенной с большим трудом, и мы смеялись в ней так, как больше уж нам не смеяться. Это был большой ялик, тяжеловатый, но прочный, вместительный и удобный. Я не стану описывать вам моих товарищей. Среди них был один маленький, с хитрецой, по прозвищу «Синячок»; был длинный, дикого вида, сероглазый и черноволосый, по прозвищу «Томагавк»; был умный лентяй «Ток», единственный, кто никогда не прикасался к веслам под предлогом, что он непременно перевернет лодку; был худой, элегантный, выхолощенный

молодой человек, прозванный «Одноглазым» в честь популярного тогда романа Кладеля, а также и потому, что он носил монокль; был наконец я — меня окрестили *Жозефом Прюнье*. Мы жили в полном согласии и жалели только об одном: что нет у нас девушки-рулевого. Женщина в лодке необходима. Необходима потому, что она заставляет бодрствовать ум и сердце, она оживляет, веселит, развлекает, придает поездке пикантность и наконец украшает лодку своим зонтиком, красным пятном, скользящим по зеленым берегам. Но для нашей единственной в своем роде пятерки не годилась в рулевые девушка обыкновенная. Нам требовалось нечто неожиданное, забавное, готовое на все,— словом, такое, чего почти нельзя было найти. Многих мы перепробовали без успеха: это были не рулевые, а девушки за рулем, глупые любительницы, всегда предпочитавшие пьянящее винцо воде, которая, струясь, несет лодки. С такой мы проводили только один воскресный день и с отвращением давали ей отставку.

Но вот однажды, в субботу вечером, Одноглазый привел к нам маленькое существо, тоненькое, живое, подвижное, шутливое и страшно хитрое той хитростью, которая заменяет ум сорванцам мужского и женского пола, выросшим на парижских улицах. Она была некрасива, но мила — какой-то намек на женщину, в котором было всего понемногу, один из тех силуэтов, что набрасывают рисовальщики тремя штрихами карандаша на скатерти в кафе, после обеда, между рюмкой коньяка и папиросой. Иногда такие существа производит и природа.

В первый же вечер она удивила нас и позабавила, но мы так и не могли составить о ней никакого мнения — уж очень много в ней было неожиданного. Попав в эту компанию мужчин, готовых на любые глупости, она очень быстро овладела положением и покорила нас на следующий же день.

Это была отчаянная девушка, родившаяся с рюмкой абсента в желудке,— ее мать, должно быть, выпила во время родов — и в дальнейшем ей так и не удалось протрезвиться, потому что кормилица ее, как она говорила, постоянно подкреплялась тафьей. Бутылки,

выстроенные шеренгой на стойке кабачка, она иначе не называла, как «своим святым семейством».

Не знаю, кто из нас окрестил ее «Мушкой», не знаю, почему ей было дано это имя, но оно отлично подошло и осталось за ней. И каждую неделю наш ялик, названный *Листок наизнанку,* катал по Сене от Аньера до Мэзон-Лаффита пятерых веселых и крепких ребят под управлением живой и взбалмошной особы с цветным бумажным зонтиком; она обращалась с нами, как с рабами, обязанными катать ее по воде, а мы очень ее любили.

Мы очень ее любили — во-первых, по множеству разных причин, а во-вторых, по одной-единственной: она была на корме нашей лодки чем-то вроде маленькой говорливой мельницы и без умолку трещала на ветру, пробегавшем по воде. Она, не переставая, стрекотала, производя легкий неумолчный шум, характерный для этих крылатых механизмов, которые вертятся под дуновением ветерка; ни о чем не помышляя, она изрекала самые неожиданные, самые причудливые, самые удивительные вещи. Ум ее, казалось, состоял из каких-то разрозненных частей и напоминал пестрый платок из множества всякого рода разноцветных лоскутков, не сшитых, а лишь кое-как сметанных; в нем сочетались и фантазия волшебной сказки, и галльская живость, и бесстыдство, и бессовестность, и неожиданность, и комизм, а ветра в голове у нее было больше и впечатления сменялись быстрее, чем при полете на воздушном шаре.

Ей задавали разные вопросы, чтобы вызывать неведомо откуда бравшиеся у нее ответы. Чаще всего ее донимали вопросом:

— Почему тебя зовут Мушкой?

Она находила такие невероятные объяснения, что мы бросали весла от хохота.

Она нравилась нам и как женщина; однажды Ток, который никогда не греб и целый день сидел рядом с нею на скамье у руля, ответил на обычный вопрос «Почему тебя зовут Мушкой?»:

— Потому что она шпанская мушка.

Да, жужжащая, жгущая шпанская мушка; не классическая ядовитая шпанская муха, блестящая, с окра-

шенной спинкой, а маленькая мушка с рыжими крылышками, начинавшая странно волновать весь экипаж *Листка наизнанку.*

А сколько было нелепых шуток по поводу этого листка, на котором уселась Мушка!

Со времени появления ее в нашей лодке Одноглазый занял среди нас высшее, первенствующее положение, роль солидного женатого человека, среди четырех холостяков. Иногда он выводил нас из себя, злоупотребляя этой привилегией: он целовал Мушку при нас, сажал ее после обеда к себе на колени и позволял себе много других обидных и раздражающих вольностей.

В спальне они были отделены от нас занавеской.

Но вскоре я заметил, что, по-видимому, и я и мои товарищи-холостяки стали размышлять на одну и ту же тему: «Почему, на основании какого исключительного закона и по какому неприемлемому принципу Мушка, как будто не ведавшая никаких предрассудков, будет верна своему любовнику, когда даже женщины из лучшего общества не бывают верны своим мужьям?»

Размышления наши были правильны. Скоро мы в этом убедились. Следовало только сделать это пораньше, чтобы не жалеть потом о потерянном времени. Мушка стала изменять Одноглазому со всем экипажем *Листка наизнанку.*

Изменяла она легко, без сопротивления, по первой же просьбе каждого из нас.

Боже мой, в какое негодование придут целомудренные господа! А почему? У какой модной куртизанки нет дюжины любовников? И кто из этих любовников так глуп, чтобы этого не знать? Разве не принято проводить вечер у знаменитой и дорогостоящей женщины, как проводят вечер в Опере, в Комеди Франсэз или в Одеоне, с тех пор, как там дают полуклассиков? Люди объединяются по десять человек, чтобы содержать одну кокотку, еле успевающую распределять свое время, как объединяются по десять человек, чтобы купить скаковую лошадь, на которой ездит только жокей — подлинный образ избранника сердца.

С субботнего вечера до понедельника утром Мушку из деликатности предоставляли Одноглазому. Дни

гре́бли оставались за ним. Мы обманывали его только на неделе, в Париже, вдали от Сены, что̀ для таких любителей гребного спорта, как мы, почти что и не было обманом.

Положение было тем забавнее, что все четыре похитителя милостей Мушки прекрасно знали о таком разделе, говорили о нем между собой и даже с ней замаскированными намеками, которые очень ее смешили. Только Одноглазый, казалось, ничего не подозревал, и это особое положение порождало между ним и нами какую-то неловкость, словно отдаляло, изолировало его, воздвигало какую-то преграду, нарушавшую наше былое доверие, былую близость. В результате он попал в трудную и несколько смешную роль обманутого любовника, почти мужа.

Он был неглуп и обладал особым даром высмеивать людей исподтишка, так что мы иной раз с некоторым беспокойством спрашивали друг друга, не догадывается ли он.

Он позаботился вывести нас из неизвестности, и притом не слишком приятным для нас способом. Мы ехали завтракать в Буживаль и гребли изо всей мочи, когда Ток — у него был в этот день победоносный вид удовлетворенного мужчины, и он, сидя рядом с девушкой, прижимался к ней, на наш взгляд, слишком уж развязно — остановил гребцов выкриком «Стоп!»

Восемь весел повисли в воздухе.

Тогда он повернулся к соседке и спросил:

— Почему тебя зовут Мушкой?

Она не успела ответить, как Одноглазый, сидевший впереди, сухо произнес:

— Потому, что она садится на всякую дрянь.

Сначала наступило долгое, смущенное молчание, а потом нас начал разбирать смех. Даже Мушка оторопела.

Тогда Ток скомандовал:

— Вперед!

И лодка двинулась в путь.

Инцидент был исчерпан, отношения выяснены.

Это маленькое приключение ничего не изменило в наших привычках. Оно только восстановило сердечность между нами и Одноглазым. Он вновь стал почет-

ным обладателем Мушки с субботнего вечера до понедельника утром, так как его превосходство над нами было твердо установлено удачным ответом, кстати сказать, заключившим эру вопросов насчет слова «Мушка». Мы же довольствовались второстепенной ролью благодарных и внимательных друзей, скромно пользуясь будничными днями и не заводя между собой никаких раздоров.

Месяца три все шло отлично. Но вдруг Мушка стала вести себя с нами как-то странно. Она перестала веселиться, как бывало раньше, стала нервничать, волноваться и даже раздражалась. Мы то и дело спрашивали ее:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего. Оставьте меня в покое.

В один из субботних вечеров Одноглазый открыл нам, в чем дело. Мы только что уселись за стол в маленькой столовой, которая была раз навсегда отведена нам трактирщиком Барбишоном в его харчевне, и, покончив с супом, ждали жаркого, когда наш друг, казавшийся озабоченным, сначала взял Мушку за руку, а затем обратился к нам.

— Дорогие мои друзья,— сказал он,— я должен сделать вам серьезнейшее сообщение, которое, быть может, вызовет долгие споры. Впрочем, между блюдами у нас будет время поговорить. Наша бедная Мушка объявила мне катастрофическую новость и одновременно поручила поделиться ею с вами. Она беременна. Прибавлю лишь несколько слов: сейчас не время покидать ее, а разыскивать отца воспрещается...

Сначала все оцепенели, почувствовав, что случилось непоправимое несчастье. Мы только поглядывали друг на друга с желанием свалить вину на кого-нибудь одного. Но на кого? Да, на кого же? Никогда не чувствовал я с такой очевидностью, как в тот миг, коварства жестокой комедии, которую разыгрывает природа, никогда не дающая мужчине возможности знать наверняка, он ли отец своего ребенка.

Затем мало-помалу к нам снизошло, нас укрепило нечто вроде утешения, родившегося из смутного чувства солидарности.

Неразговорчивый Томагавк сформулировал это начавшееся прояснение следующими словами:

— Ну что ж, делать нечего, в единении сила!

Поваренок принес пескарей. На них не набросились, как всегда, потому что мы все-таки были смущены.

Одноглазый снова заговорил:

— Мушка имела деликатность признаться мне во всем. Друзья мои, все мы виноваты одинаково. Подадим друг другу руки и усыновим ребенка.

Решение было принято единодушно. Мы протянули руки к блюду с жареной рыбой и поклялись:

— Усыновляем!

И Мушка, сразу воспрянувшая духом, избавленная от страшной тревоги, целый месяц мучившей эту милую, взбалмошную и жалкую служительницу любви, воскликнула:

— О друзья мои! Друзья мои! Какие вы хорошие... хорошие... хорошие ребята!.. Спасибо вам всем!

И она впервые расплакалась при нас.

С тех пор в нашем ялике говорили о ребенке так, словно он уже родился, и каждый из нас, преувеличенно подчеркивая свое участие, настойчиво интересовался медленным, но неуклонным округлением стана нашего рулевого.

Мы поднимали весла и спрашивали:

— Мушка?

Она отвечала:

— Здесь.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

— Кем он у тебя будет?

И тут она давала своему воображению самый фантастический простор. Велись нескончаемые рассказы, изобретались поразительные выдумки, начиная с рождения ребенка и до окончательного его триумфа. В наивных, страстных и нежных мечтах этой необыкновенной маленькой женщины, целомудренно жившей теперь среди нас пятерых и называвшей нас своими «пятью папашами», этот ребенок был всем. Она мечтала и видела его то моряком, открывающим новый континент, больше Америки; то генералом, возвращающим Франции Эльзас и Лотарингию; то императором, осно-

вателем династии мудрых и великодушных повелителей, которые принесут нашей родине вечное счастье; то ученым, открывающим сначала секрет производства золота, а затем секрет вечной жизни; то воздухоплавателем, изобретающим способ подниматься к звездам и превращающим бесконечное небо в безграничные просторы для прогулок,— словом, он был воплощением всех самых неожиданных и самых великолепных грез.

Боже мой, как мила и забавна была эта бедная крошка до конца лета!

Мечты ее разбились двадцатого сентября. Мы возвращались после завтрака из Мэзон-Лафита и плыли мимо Сен-Жермена, когда Мушка захотела пить и попросила нас причалить в Пэке.

С некоторого времени она отяжелела и очень на это досадовала. Она уже не могла ни прыгать, как раньше, ни выскакивать, по своему обыкновению, из лодки на берег. Она все же пробовала это делать, несмотря на наши крики и попытки удержать ее, и, не успевай мы ее подхватывать, она бы уже двадцать раз упала.

В тот день она имела неосторожность выскочить из лодки еще до остановки — это была одна из тех смелых выходок, от которых часто гибнут заболевшие или усталые спортсмены.

В тот самый момент, когда мы подходили к берегу и когда никто не мог ни предвидеть, ни предупредить ее движение, она вдруг вскочила и ринулась вперед, чтобы выпрыгнуть на пристань.

Слишком слабая, она достала до набережной лишь кончиком носка, поскользнулась, ударилась животом об ее острый каменный угол, громко вскрикнула и исчезла под водой.

В ту же секунду мы впятером бросились в реку и вытащили несчастную, обессилевшую крошку, бледную как смерть и уже страдающую от жестоких болей.

Пришлось как можно скорее отнести ее в ближайший трактир и вызвать туда врача.

Боли длились десять часов, и она переносила ужасные муки с героической твердостью. Мы были в отчаянии, мы дрожали от тревоги и страха.

Она разрешилась мертвым ребенком, и еще несколько дней серьезно опасались за ее жизнь.

Наконец, однажды утром, доктор сказал нам:

— Думаю, что она спасена. Железный организм у этой девчонки.

И все мы, сияя, вошли к ней в комнату.

Одноглазый заявил от лица всех:

— Опасности больше нет, Мушенька, мы ужасно рады.

Тогда она второй раз в жизни расплакалась при нас; глаза ее покрылись стеклянной пленкой слез, и она проговорила:

— О, если бы вы знали, если бы вы знали... Какое горе... какое горе! Никогда я не утешусь!

— Да в чем же, Мушенька?

— Я его убила. Ведь я убила его! О, я не хотела! Какое горе...

Она рыдала. Мы стояли кругом, растроганные, не зная, что сказать ей.

Она заговорила снова:

— А вы его видели?

Мы отвечали в один голос:

— Видели.

— Это был мальчик, правда?

— Мальчик.

— Красивый, правда?

Мы долго колебались. Наконец Синячок, самый бессовестный из нас, решился подтвердить:

— Очень красивый!

Он дал маху, потому что она расплакалась, почти завыла от отчаяния.

Одноглазый, быть может, любивший ее больше, чем кто-либо из нас, придумал гениальное утешение. Целуя ее потускневшие от слез глаза, он сказал:

— Не плачь, Мушенька, не плачь, мы тебе сделаем другого.

В ней пробудилось внезапно чувство юмора, которым она была пропитана до мозга костей, и, еще заплаканная, с болью в сердце, она оглядела нас всех и полуубежденно, полунасмешливо спросила:

— Верно?

И мы хором ответили:

— Верно!

УТОПЛЕННИК

I

Историю тетушки Патен знали в Фекане все и каждый. Не была она счастлива со своим мужем, тетушка Патен, что и говорить! Ведь муж при жизни колотил ее, как сноп на току.

Он был хозяином рыболовного судна и в свое время женился на ней только из-за ее красоты, хотя была она бедная.

Хороший моряк, но малый грубый, Патен частенько посещал кабачок папаши Обана, где в обычные дни выпивал четыре—пять стаканчиков крепкой водки, когда же выпадала удачная ловля, то и восемь, десять и даже больше, «смотря по сердечному расположению», как он выражался.

Водку посетителям подавала дочка папаши Обана, хорошенькая брюнетка, привлекавшая посетителей только своим приятным личиком; никаких сплетен о ней не знали.

Входя в кабачок, Патен бывал доволен, что может глядеть на нее, и заводил с нею вежливый, спокойный разговор, как порядочный парень. После первого стаканчика она начинала казаться ему еще красивее; после второго он подмигивал ей; после третьего говорил: «Ежели бы вы только захотели, мамзель Дезире...»,— но никогда не кончал этой фразы; после четвертого пытался удержать ее за юбку и обнять; а когда он до-

ходил до десяти, то все следующие стаканчики подавал уже сам папаша Обан.

Старый кабатчик знал, где раки зимуют, и для оживления торговли нарочно заставлял Дезире ходить между столиками, а Дезире, которая недаром была дочерью папаши Обана, вертела юбкой, угощая пьяниц и перекидывалась с ними шутками, лукаво улыбаясь.

Патен до тех пор пропускал стаканчики, пока личико Дезире не приглянулось ему, да так, что он стал думать о девушке даже во время рыбной ловли, закидывая сети в открытом море, в бурные и в спокойные, в лунные и в темные ночи. Он думал о ней, стоя за рулем на корме своего судна, а четыре его товарища дремали меж тем, положив голову на руки. Он все время видел, как она улыбается ему, как наливает желтую водку, как поводит при этом плечиком и потом отходит со словами:

— Получайте! Теперь вы довольны?

Она жила перед его глазами, в его сердце, и в конце концов ему так захотелось на ней жениться, что он не мог удержаться и сделал предложение.

Он был богат, имел собственное судно, сети и дом у подножия холма, на Ретеню, а у папаши Обана не было ничего. Поэтому предложение было принято с восторгом, и свадьбу справили как можно скорее, причем обе стороны торопились кончить дело, хотя и из совершенно различных побуждений.

Но через три дня после женитьбы Патен уже не понимал, как мог он думать, что Дезире чем-то отличается от прочих женщин. В самом деле, с ума надо было сойти, чтобы связаться с этой нищенкой! Не иначе как она приворожила его своей водкой — конечно, водкой! — подсыпала ему туда какого-нибудь зелья!

И он ругался на все побережье, перегрызал чубук своей трубки, раздавал пинки матросам; облаяв все на свете, перебрав все известные ему ругательства, он изрыгал остатки неизрасходованной злости на рыб и омаров; он вытаскивал их из сетей и укладывал в корзины, не иначе как со всяческими оскорбительными и грязными словами.

А когда он возвращался домой и видел перед собою жену, дочь папаши Обана, он немедленно начинал орать на нее, как на последнюю из последних. И так как она покорно выслушивала его, привыкнув дома к вспышкам родительского гнева, то он выходил из себя от ее спокойствия. Однажды вечером он дал ей затрещину. С этого момента семейная жизнь стала для нее невыносима.

Целых десять лет на Ретеню только и разговоров было, что о том, как Патен колотит жену и как ругается с нею по всякому поводу. И в самом деле, ругался он мастерски: по богатству словаря и зычности голоса с ним не мог сравниться ни один человек в Фекане. Когда его лодка, возвращаясь с рыбной ловли, появлялась у входа в гавань, все ждали первого залпа ругани, который полетит с палубы на мол, как только Патен увидит белый чепчик своей подруги.

Стоя на корме и управляя судном, он глядел на нос и на парус, но даже при бурном море, несмотря на трудный узкий фарватер, несмотря на огромные валы, которые, вздымаясь с самого дна морского, врывались в тесный проход, он все же высматривал в толпе женщин, обрызгиваемых пеной и поджидающих моряков, ее, свою жену, дочь папаши Обана, нищую шваль!

Едва завидев ее, он посылал ей сквозь шум прибоя и ветра первое ругательство, да с такой силой, что на берегу все начинали хохотать, хотя и жалели женщину. Затем, когда судно подходило к пристани, Патен, выгружая рыбу, в то же время «выбрасывал за борт балласт вежливости», по его выражению, и вокруг его якорей собирались все озорники и бездельники гавани.

Брань слетала с его губ то картечью, короткой и устрашающей, то долго гремевшими раскатами грома, то таким ураганом крепких словечек, что казалось, в легких Патена были собраны все грозы предвечного отца.

Потом, сойдя на берег и очутившись лицом к лицу с женою посреди толпы селедочниц и просто любопытных, он выуживал из своего запаса новый груз брани и грубостей и так провожал жену до самого

дома; она шла впереди, он за нею; она плакала, он орал.

Оставшись с ней вдвоем за закрытой дверью, он по малейшему поводу начинал драться. Для первого удара достаточно было пустяка, а стоило начать, уже и удержу не было, и вдобавок он выкладывал ей истинные причины своей ненависти. При каждой пощечине, при каждом тумаке он вопил:

— Ах ты, рвань! Ах ты, босячка! Ах ты, побирушка! Ловко же я попался в тот день, когда попробовал поганое зелье этого мошенника, твоего отца!

Бедняжка жила теперь в состоянии непрерывного ужаса, сердце у нее сжималось, и она постоянно дрожала, со страхом ожидая оскорблений и побоев...

Так тянулось десять лет. Она была до того запугана, что бледнела, когда кто-нибудь заговаривал с нею, не думала ни о чем, кроме грозящих ей побоев, и стала худее, желтее и суше копченой рыбы.

II

Однажды ночью, когда муж был в море, она внезапно проснулась от звериного рева бури, налетающей иногда мгновенно, как спущенная с цепи собака. Женщина в страхе села на кровати; затем, не слыша больше ничего, легла снова; но почти тотчас же в очаге так завыло, что задрожал весь дом, и звук этот разнесся по всему небу, словно по нему с пыхтением и ревом мчалось взбесившееся стадо.

Она вскочила и побежала к гавани. Со всех сторон туда спешили женщины с фонарями. Собирались и мужчины; все вглядывались в темноту, в море, где на гребнях волн вспыхивала пена. Буря продолжалась пятнадцать часов. Одиннадцать матросов не вернулись домой, и в числе их Патен.

Обломки его судна *Юная Амелия* были найдены недалеко от Дьеппа. Трупы матросов подобрали близ Сен-Валери, но его тело не нашли. Судно оказалось перебитым пополам, и потому жена Патена долго

ждала и боялась возвращения мужа: ведь если произошло столкновение судов, то могло статься, что Патена подобрали одного и завезли куда-нибудь далеко.

Затем мало-помалу она привыкла считать себя вдовой, хотя и вздрагивала каждый раз, когда кто-нибудь — соседка, нищий или разносчик — неожиданно входил к ней.

Однажды, перед вечером, года четыре после того, как пропал ее муж, она шла по Европейской улице и остановилась около дома, принадлежавшего одному старому, недавно умершему капитану: распродавалось имущество покойного.

Как раз в этот момент оценивали попугая, зеленого попугая с голубой головкой, который недовольно и беспокойно глядел на собравшихся.

— Три франка! — выкрикивал оценщик.— Птица говорит, как адвокат! Три франка!

Приятельница тетки Патен подтолкнула ее локтем.

— Надо бы вам купить его, вы ведь богатая,— сказала она.— С ним будет веселее. Такая птица стоит франков тридцать, а то и больше. Вы всегда сможете продать ее за двадцать или двадцать пять!

— Четыре франка! Четыре франка, сударыня! — повторял оценщик.— Служит обедню, читает проповеди не хуже господина кюре! Феномен!.. Чудо!..

Тетка Патен набавила пятьдесят сантимов, получила в маленькой клетке птицу с крючковатым клювом и унесла ее с собой.

Дома попугай успокоился, но когда она открыла проволочную дверцу, чтобы дать ему попить, он так клюнул ее в палец, что выступила кровь.

— Вот дрянь! — сказала тетушка Патен.

Тем не менее она насыпала попугаю конопляного семени, маиса и оставила его в покое; приглаживая перышки, он исподтишка разглядывал новое жилище и новую хозяйку.

На другой день, едва начало светать, тетушка Патен совершенно ясно услышала громкий, зычный, раскатистый голос, голос Патена, кричавший:

— Да встанешь ты, дрянь этакая, или нет?!

Ужас ее был так велик, что она спрятала голову

под одеяло: ведь каждое утро, еще не успев открыть глаза, слышала она, бывало, от своего покойника эти, так хорошо знакомые, слова.

Вся дрожа, она свернулась в клубок, подставляя спину под удары, ожидая их, и, уткнувшись лицом в подушку, зашептала:

— Господи боже, это он! Господи боже, это он! Он вернулся, господи боже мой!

Минуты проходили, но ничто больше не нарушало тишины комнаты. Тетка Патен с трепетом высунула голову в полной уверенности, что муж подстерегает ее, что сейчас посыплются удары.

Но она не увидела ничего, кроме солнечного луча, падающего в окно, и решила:

«Наверное, он спрятался».

Она долго ждала, потом, немного придя в себя, подумала:

«Может быть, мне почудилось? Он ведь не показывается».

Несколько успокоенная, она вновь закрыла глаза; и сейчас же совсем рядом раздался бешеный голос, громовой голос утопленника, оравший:

— Сто тысяч чертей тебе в глотку! Да встанешь ли ты, стерва!

Она вскочила с кровати, вскочила, тупо повинуясь, как много раз битая женщина, которая помнит все даже теперь, спустя четыре года, и будет помнить всегда, и всегда будет повиноваться этому голосу!

— Я встала, Патен. Что тебе надо?

Но Патен не отвечал.

Она растерянно огляделась кругом, потом стала искать его всюду: в шкафах, в очаге, под кроватью,— но никого не нашла и в конце концов упала на стул, обезумев от мучительной тревоги, в полной уверенности, что здесь, рядом, находится душа Патена, вернувшаяся мучить ее.

Вдруг она вспомнила про чердак, куда можно было подняться снаружи. Он, наверно, спрятался там, чтобы застигнуть ее врасплох. Должно быть, на каком-нибудь берегу он попал в плен к дикарям, долго не мог убежать и теперь вернулся еще злее прежнего.

Сомневаться в этом она не могла: чего стоил один звук его голоса!

Задрав голову к потолку, она спросила:

— Ты наверху, Патен?

Патен не отвечал.

Тогда она вышла наружу и в безумном страхе, сжимавшем сердце, поднялась по лестнице; она открыла слуховое окно, огляделась, но ничего не увидела, вошла внутрь, обыскала все кругом, но никого не нашла.

Она опустилась на связку соломы и заплакала; но в то время, как она рыдала, вся содрогаясь от жгучего, таинственного страха, снизу, из комнаты, до нее донесся голос Патена. Он казался спокойнее, не таким сердитым, и говорил:

— Вот мерзкая погода! Вот ветер! Вот мерзкая погода! Я еще не завтракал, черт подери!

Она крикнула с чердака:

— Я здесь, Патен! Сейчас приготовлю тебе похлебку. Не сердись, я иду!

И бегом спустилась по лестнице.

Внизу никого не было.

Она почувствовала, что изнемогает, словно сама смерть прикоснулась к ней; она хотела бежать к соседям, звать на помощь, но тут голос заорал над самым ее ухом:

— Я еще не завтракал, черт подери!

Попугай исподтишка глядел на нее из клетки круглым и злым глазом.

Она тоже смотрела на него, пораженная.

— Ах, так это ты! — прошептала она.

Он качнул головой и ответил:

— Погоди, погоди, погоди, я тебе покажу, как бездельничать!

Что произошло с ней? Она почувствовала, она решила, что покойник в самом деле вернулся, и скрывается в этой птице, и теперь снова начнет мучить ее, снова, как прежде, будет ругаться целыми днями, будет есть ее поедом и издеваться над ней, вызывая смех и возмущение соседей. И она вскочила, открыла клетку и схватила попугая, который, защищаясь, раздирал ей кожу клювом и когтями. Но она изо всей

силы вцепилась в птицу обеими руками, бросилась на пол, подмяв попугая под себя, и с яростью одержимой раздавила его, превратила в кусок мяса, в маленький дряблый зеленый комочек, который безжизненно повис у нее в руке и уже не шевелился, не говорил больше; тогда, завернув его в тряпку, точно в саван, она вышла из дому, босая, в одной рубашке, пересекла набережную, о которую билось короткими волнами море, и, размахнувшись, швырнула маленький мертвый комок, похожий на пучок травы, в воду; потом она вернулась домой, бросилась на колени перед пустой клеткой и, потрясенная тем, что сделала, стала, рыдая, молить бога простить ее, словно совершила страшное преступление.

ИСПЫТАНИЕ

I

Примерная это была чета — чета Бонделей, хотя и немного воинственная. Муж и жена часто ссорились по пустякам, но потом снова мирились.

В прошлом Бондель был коммерсантом; скопив достаточно, чтобы жить согласно своим скромным вкусам, он покончил с делами, снял в Сен-Жермене маленький домик и поселился там вместе с женой.

Это был человек спокойный, с определенными, твердо установившимися понятиями. Он получил некоторое образование, читал серьезные журналы и вместе с тем ценил галльское остроумие. Будучи наделен логическим умом и практическим здравым смыслом — главнейшим качеством изворотливого французского буржуа,— он думал мало, но был уверен в правоте своих суждений и никогда ничего не решал, пока не находил доводов, непогрешимость которых подтверждалась бы его природным чутьем.

Он был среднего роста, с легкой проседью, почтенной внешности.

Жена его, обладая прекрасными качествами, не была лишена и некоторых недостатков. При вспыльчивом характере, прямоте в обращении, граничившей с деспотизмом, и непреодолимом упрямстве она была непримирима и злопамятна. Когда-то очень хорошенькая, она потом располнела и стала слишком румяна, но в своем квартале Сен-Жермен все еще счи-

талась очень красивой женщиной, пышущей здоровьем, и надменной.

Пререкания почти всегда начинались за завтраком, по какому-нибудь пустячному поводу, и супруги оставались в ссоре до вечера, а иногда и до следующего дня. В их жизни, такой простой, такой однообразной, всякая мелочь становилась серьезным событием и любой предмет разговора служил поводом для препирательств. Этого не случалось прежде, когда у них было дело, которое занимало обоих, объединяло их мысли, сближало и как бы опутывало супругов сетью сотрудничества и общих интересов.

В Сен-Жермене они мало с кем встречались. Надо было заводить новые знакомства, надо было среди чужих людей создавать для себя новую и притом праздную жизнь. Из-за этой монотонности существования супруги стали раздражать друг друга, и спокойное счастье, на которое они надеялись и которого ждали с такой уверенностью, не приходило.

Однажды утром, в июне месяце, садясь завтракать, Бондель спросил:

— Ты знаешь ту семью, что живет в маленьком красном домике, в конце улицы Берсо?

Г-жа Бондель, очевидно, встала с левой ноги. Она отвечала:

— И да и нет; знаю, да знать не хочу.

— Почему же? Они производят очень приятное впечатление.

— А уж потому...

— Сегодня на террасе я встретил мужа, и мы прошли вместе с ним два круга.

И, почуяв в воздухе опасность, Бондель добавил:

— Он первый подошел ко мне и заговорил.

Жена недовольно взглянула на него и сказала:

— Ты хорошо сделаешь, если впредь будешь избегать таких встреч.

— Это почему?

— Потому что об этих людях ходят сплетни.

— Какие сплетни?

— Какие сплетни! Бог мой! Ну, самые обыкновенные.

Г-н Бондель сделал ошибку — он ответил с некоторой горячностью:

— Ты прекрасно знаешь, мой друг, что я не выношу сплетен. И стоит мне их услышать про человека, как он тем самым становится мне симпатичен. А что касается этой семьи, то она мне очень нравится.

Она вспылила:

— Может быть, и жена тоже?

— Ну да, и жена, хотя я даже не успел ее разглядеть.

Ссора, становясь все ядовитее, разгоралась вокруг той же темы, так как другой не было.

Г-жа Бондель упорно не желала сказать, какие именно сплетни ходили о соседях; она намекала, что это нечто очень скверное, но пояснить не хотела. Бондель пожимал плечами и подсмеивался, чем еще больше раздражал жену. Кончилось тем, что она закричала:

— Ну, хорошо! Этому самому господину наставили рога! Вот что!

Муж спокойно возразил:

— Не вижу, почему это может уронить достоинство человека.

Она была поражена.

— Как, ты не видишь? Не видишь?.. Ну, это уж слишком!.. Ты не видишь? Да ведь это публичный скандал. Раз он рогат, значит, он обесчещен!

Он отвечал:

— Ничего подобного! Неужели человек теряет честь, если его обманывают, если его предают, если его обкрадывают?.. Ну, уж нет! Я, пожалуй, соглашусь с тобой, что, изменяя мужу, жена позорит себя, но отнюдь не его...

Она пришла в ярость.

— Измена позорит и мужа и жену! Это — бесчестье для того и другого! Это публичный скандал!

Бондель спросил с полным спокойствием:

— Прежде всего, правда ли это? Кто может это утверждать, если любовники не пойманы на месте преступления?

Г-жа Бондель заерзала на стуле.

— Что? Кто может утверждать? Да решительно

все! Все кругом! Такие вещи видны как на ладони. Все это знают, все об этом говорят. Никаких сомнений тут нет. Это ясно, как божий день.

Бондель усмехнулся.

— Люди очень долго думали, что солнце вращается вокруг земли, и верили множеству подобных басен, которые были не менее известны, но ошибочны. Этот человек просто обожает жену; он говорит о ней с такой нежностью, с таким уважением. Все это вздор!

Г-жа Бондель затопала ногами и прошипела:

— Да ведь он ни о чем не догадывается, этот олух, этот одураченный кретин!

Бондель не злился, он рассуждал:

— Извини, пожалуйста. Этот господин вовсе не глуп. Напротив, он показался мне человеком очень тонким и умным. И ты не убедишь меня, что умный человек может не заметить подобной вещи в своем собственном доме, когда соседи, которые живут в других домах, не упускают ни одной подробности романа. Не правда ли, ведь они, конечно, не упустили ни одной мелочи?

Г-жой Бондель внезапно овладел приступ лихорадочной веселости, раздражающе действовавшей на нервы мужа.

— Ха-ха-ха! Все мужья одинаковы, все, все! Хоть бы один на свете заметил подобную штуку, пока его не ткнешь носом.

Спор отклонился от темы. Теперь перешли к вопросу о слепоте обманутых мужей. Бондель сомневался в ней, а г-жа Бондель настаивала, и ее презрение носило настолько личный характер, что под конец супруг рассердился.

Тогда закипел отчаянный спор: жена стояла на стороне женщин, муж брал под защиту мужчин.

Он имел дерзость заявить:

— Ну, уж если бы ты вздумала меня обмануть, то, клянусь, я бы сразу заметил. И я бы у тебя отбил охоту, да так, что ни один врач не поднял бы тебя на ноги.

Она вспыхнула от ярости и закричала ему прямо в лицо:

— Ты? Ты? Да ты так же глуп, как и прочие! Понял?

Он снова подтвердил:

— Клянусь тебе, что нет.

Она расхохоталась с такой наглостью, что у него забилось сердце и по коже побежали мурашки.

Он сказал в третий раз:

— Уж я бы заметил.

Она встала, продолжая все так же смеяться.

— Нет, это уж слишком! — сказала она.

И вышла из комнаты, хлопнув дверью.

II

Бондель остался один и в очень дурном настроении. Этот дерзкий, вызывающий смех подействовал на него, как укус ядовитой мухи, в первый момент незаметный, а затем вызывающий жгучую боль, которая вскоре становится невыносимой.

Он вышел из дому и зашагал в задумчивости. Уединенность его теперешней жизни поддерживала в нем печальные мысли и наклонность видеть все в мрачном свете. Вдруг показался сосед, которого он встретил утром. Они обменялись рукопожатием и завели беседу. Перебрав несколько тем, они заговорили о своих женах. Казалось, у обоих накопилось в душе нечто, чем хотелось бы поделиться, какие-то смутные, неопределенные, тягостные мысли по поводу тех существ, которые были соединены с ними на всю жизнь: по поводу жен.

Сосед говорил:

— Право, можно иной раз подумать, что они особенно враждебны к мужьям только потому, что это мужья. Я люблю свою жену. Я очень люблю ее, ценю и уважаю. И что же? Иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринужденнее и относится к ним доверчивее, чем ко мне.

Бондель тотчас подумал: «Так оно и есть. Жена была права».

Расставшись с этим человеком, он погрузился в размышления. Он ощущал в душе какой-то клубок

противоречий, какое-то болезненное раздражение, а в ушах его еще слышался этот дерзкий, злорадный смех, в котором звучало: «Да, и с тобой случалось то же, что и с другими, дурак ты этакий!» Конечно, это была только бравада, наглая бравада женщины, готовой на все и рискующей всем, лишь бы оскорбить, лишь бы унизить рассердившего ее мужчину.

Стало быть, этот бедняга — тоже обманутый муж, как многие другие! Он с грустью сказал: «Иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринужденнее и относится к ним доверчивее, чем ко мне». Вот так-то муж — тот сентиментальный слепец, которого закон именует мужем,— формулирует замеченное им предпочтение своей жены к другому мужчине. И это все. Больше он ничего не видит. Он такой же, как и прочие... Как и все!..

И Бондель рассмеялся так же странно, как его жена: «Ты тоже... ты тоже!..» Как они сумасбродны и неосторожны, эти женщины, если только из желания подразнить готовы возбудить в вас подобные подозрения!

Он стал перебирать события своей жизни с женой, всех старых знакомых, стараясь припомнить, не вела ли она себя когда-нибудь и с кем-нибудь непринужденнее и доверчивее, чем с ним. Он был всегда так спокоен, так уверен в ней, что никогда никого не подозревал.

Но нет, у нее был один друг, задушевный друг, почти целый год приходивший к ним обедать три раза в неделю,— Танкре, этот милый Танкре, славный Танкре, которого Бондель любил, как брата, и с которым продолжал встречаться украдкой с тех пор, как жена рассорилась с этим прекрасным человеком неизвестно из-за чего.

Бондель остановился и задумался, беспокойно вглядываясь в прошлое. Потом в нем поднялось отвращение к самому себе, к этим постыдным мыслям, нашептываемым злым, ревнивым и подозрительным «я», которое живет во всех нас. Он стал ругать, обвинять и стыдить себя, но в то же время вспоминал визиты и поведение этого друга, которого жена сначала так высоко ценила, а потом выгнала без всяких

оснований. Но тут внезапно всплыли и другие воспоминания — о таких же разрывах, вызванных мстительным характером г-жи Бондель, которая никогда не прощала обид. И он облегченно рассмеялся над самим собой, над тоской, начинавшей мучить его; а вспомнив злобное выражение лица, с каким супруга выслушивала его, когда он говорил ей, вернувшись вечером домой: «Я встретил сегодня этого милого Танкре, он спрашивал о тебе»,— Бондель окончательно успокоился.

Она обычно отвечала: «Если ты еще раз увидишь этого господина, можешь сказать ему, чтобы он обо мне не заботился». О! Как раздраженно, как сердито произносила она эти слова! Чувствовалось, что она не простила, что она никогда не простит... И он мог подозревать хоть одну минуту?.. Боже, как глупо!

А все-таки за что же она так разобиделась? Она никогда не говорила ни о настоящих причинах, вызвавших этот разрыв, ни о том, почему она так долго сердится. А она очень сердится! Страшно сердится! Неужели?.. Но нет... нет!.. И Бондель решил, что, допуская подобные мысли, он себя унижает.

Да, он, несомненно, унижает себя, но он не мог не думать об этом и с ужасом задавал себе вопрос: неужели им навеки завладели эти внезапно возникшие мысли, не завелся ли у него в сердце зародыш постоянного мучения? Он знал себя; он всегда был таким, он пережевывал теперь свои сомнения, как прежде обдумывал свои коммерческие операции,— бесконечно, днем и ночью, взвешивая все за и против.

Он был раздражен и шел все быстрее, теряя свое обычное спокойствие. Перед мыслями человек бессилен. Они неуловимы, их нельзя прогнать, нельзя убить.

Внезапно ему пришла в голову одна идея, дерзкая, такая дерзкая, что он сначала усомнился, сможет ли осуществить ее.

Всякий раз, как он встречал Танкре, тот спрашивал его о г-же Бондель, на что Бондель отвечал: «Она все еще сердится». И больше ничего. Боже!.. Неужели он сам — тоже ослепленный муж?.. Быть может!..

Итак, он сядет в парижский поезд, отправится к Танкре, уверит его, что непонятный гнев жены утих,

и сегодня же вечером привезет его с собой. Да, но какое лицо сделает г-жа Бондель! Какую сцену!.. В какой она будет ярости!.. Какой устроит скандал!.. Ну что ж, так ей и надо... Он отомстит этим за ее смех, а увидев их встречу, для нее совершенно неожиданную, прочтет на лицах обоих отражение истинных чувств.

III

Он сейчас же пошел на станцию, взял билет и сел в вагон, но когда поезд тронулся и стал спускаться по склону Пэка, у него даже голова закружилась от страха перед своей затеей. Чтобы не сдаться, не отступить, не вернуться одному, он силился не думать о том, что затеял, заняться другими мыслями и выполнить свое намерение со слепой решимостью. До самого Парижа он напевал шансонетки и опереточные арии, чтобы отвлечься.

Как только он увидел знакомую дорогу, которая должна была привести его на улицу, где жил Танкре, ему вдруг захотелось отдалить встречу. Он медленно проходил мимо магазинов, интересовался новыми товарами, замечал цены; он решил выпить пива, что совсем не входило в его привычки, а приближаясь к дому приятеля, ощутил желание не застать его.

Но Танкре был дома один и читал. Он удивился, вскочил и закричал:

— А, Бондель! Как приятно!

Смущенный Бондель отвечал:

— Да, мой друг, у меня были в Париже кой-какие дела, и я забежал повидать вас.

— Это очень, очень мило! Тем более, что вы как будто утратили привычку заходить ко мне.

— Что поделаешь! Человек, знаете ли, невольно поддается влиянию, а так как жена моя, кажется, немного сердилась на вас...

— Черт возьми, «кажется»!.. Она больше чем сердилась, она выставила меня за дверь.

— Но из-за чего? Я так до сих пор и не знаю.

— А, пустяки... глупости... Мы поспорили, я с ней не согласился.

— О чем же вы спорили?

— Об одной даме, вы, может быть, слышали о ней,— госпожа Бутен, одна из моих приятельниц.

— Ах, вот что!.. Ну, отлично... Мне кажется, что жена уже перестала на вас сердиться, нынче утром она говорила о вас в очень дружеских выражениях.

Танкре вздрогнул и, казалось, был так поражен, что несколько секунд не знал, что сказать. Наконец он спросил:

— Говорила обо мне... в дружеских выражениях?

— Да...

— Вы уверены?

— Еще бы!.. Не во сне же я видел.

— А потом?

— А потом... потом, приехав в город, я подумал, что вам, пожалуй, будет приятно узнать об этом.

— Еще бы... еще бы...

Бондель, казалось, колебался, но, помолчав, сказал:

— У меня даже явилась мысль... довольно оригинальная мысль.

— А именно?

— Привезти вас к нам обедать.

При таком предложении осторожный от природы Танкре как будто обеспокоился.

— О!.. Вы думаете? Но возможно ли?.. Не будет ли... не будет ли... неприятностей?

— Да нет же, нет!

— Дело в том, что... вы ведь знаете... госпожа Бондель довольно злопамятна.

— Да, но уверяю вас, она больше не сердится. Я убежден, что ей будет очень приятно увидеть вас так, неожиданно.

— В самом деле?

— О, конечно!

— Ну, что ж! Едем, дорогой! Я прямо в восторге. Видите ли, меня эта ссора очень огорчала.

И они пошли под руку на вокзал Сен-Лазар.

Ехали они молча. Оба, казалось, были поглощены своими мыслями. Они сидели в вагоне один против другого, не говоря ни слова, но каждый видел, что его спутник бледен.

Выйдя на станции, они снова взялись под руку, как бы объединяясь против общей опасности, и после нескольких минут ходьбы, немного запыхавшись, остановились перед домом Бонделей.

Бондель пропустил приятеля вперед, прошел за ним в гостиную, позвал служанку и спросил:

— Барыня дома?

— Дома, сударь.

— Попросите ее, пожалуйста, немедля спуститься вниз.

— Сейчас, сударь.

Усевшись в кресла, они стали ждать, хотя обоим им только и хотелось убежать отсюда, пока на пороге не появилась грозная особа.

Знакомые шаги, тяжелые шаги застучали по ступенькам лестницы, и мужчины увидели, как поворачивается медная ручка. Дверь распахнулась, и г-жа Бондель остановилась, чтобы осмотреться, прежде чем войти.

Она взглянула, вздрогнула, покраснела, отступила на полшага, потом замерла на месте, держась руками за дверные косяки; щеки ее пылали.

Танкре, который был теперь бледен, словно собираясь упасть в обморок, вскочил, уронив шляпу. Она покатилась по полу.

— Боже мой... сударыня... это я... Я полагал... я осмелился... Мне было так тяжело...— бормотал он.

Она не отвечала, и он продолжал:

— Вы прощаете меня... теперь?

И вдруг она, словно ее что-то толкнуло, подошла к нему, протянув обе руки; и когда Танкре схватил эти руки, сжал их и задержал в своих, она проговорила тихим голосом, взволнованным, срывающимся, замирающим, какого муж у нее не знал:

— Ах, дорогой мой друг!.. Я так рада!

И Бондель, наблюдавший за ними, весь похолодел, словно его окунули в ледяную воду.

МАСКА

В этот вечер в Элизе-Монмартр был костюмированный бал по случаю ми-карем. Подобно воде, хлынувшей в ворота шлюза, вливалась толпа в ярко освещенный вестибюль, ведущий к танцевальному залу. Потрясающий рев оркестра, гремевшего музыкальной бурей, прорывался сквозь стены и крышу, разносился по кварталу, пробуждая у людей на улицах и даже в соседних домах непреодолимое желание попрыгать, разогреться, позабавиться — то животное желание которое дремлет в глубине всякого человеческого существа.

Со всех четырех концов Парижа стекались завсегдатаи таких мест — люди всех классов, любители грубоватого, шумного, чувственного веселья, переходящего в разгул. Тут были служащие, сутенеры, продажные женщины — женщины, проводившие ночи на всевозможных простынях, от грубых бумажных до тончайших батистовых, женщины богатые, старые, в бриллиантах, и бедные шестнадцатилетние девчонки, которым хотелось веселиться, отдаваться мужчинам, сорить деньгами. В этой возбужденной толпе бродили в погоне за свежим телом элегантные черные фраки, являвшиеся сюда вынюхивать молоденьких девчонок, уже утративших невинность, но еще соблазнительных, тогда как маски, казалось, прежде всего жаждали веселья. Знаменитые плясуны своими антраша уже собрали вокруг себя плотное кольцо зрителей. Волнообразная стена, движущаяся масса мужчин и женщин,

окружала четырех танцоров, оплетая их подобно змее, и то сжималась, то раздвигалась вслед за движениями этих искусников. Две женщины, бедра которых как будто соединялись с туловищем резиновыми шарнирами, выделывали ногами умопомрачительные па. Их ноги взлетали кверху с такой силой, что казалось, уносились за облака, потом вдруг раздвигались во всю ширину, до самого живота. Скользя одной ногой вперед, другой назад, женщины чуть не садились на пол в быстром и сильном размахе, отвратительном и забавном.

Кавалеры их подпрыгивали, «стригли» ногами и раскачивались, взмахивая приподнятыми локтями, точно обрубками ощипанных крыльев, и чувствовалось, что они задыхаются под своими масками.

Один из них, заменявший в самой блестящей кадрили отсутствующую знаменитость — красивого парня по прозвищу «Мечта девчонки»,— всячески старался не отставать от неутомимого «Телячьего ребра», и его уморительные соло вызывали в публике презрительный смех.

Это был щуплый, фатовато одетый человек, в красивой лакированной маске с закрученными белокурыми усами и в завитом парике.

Он напоминал восковую фигуру из музея Гревен — странную, фантастическую карикатуру на красивого щеголя с модной картинки, и танцевал старательно, неловко и со смешным увлечением. Рядом со своими партнерами, силясь подражать их коленцам, он казался каким-то заржавленным, неповоротливым, неуклюжим, как моська, играющая с борзыми. Насмешливые «браво» подбодряли его. И, опьянев от усердия, он выплясывал с таким неистовством, что вдруг, не удержавшись при отчаянном прыжке, ударился головой в живую стену публики. Толпа отпрянула, а затем сомкнулась вокруг неподвижно распростертого тела бесчувственного танцора.

Мужчины подняли его и унесли. Закричали: «Доктора!» Подошел молодой элегантный господин в черном фраке, с большими жемчужными запонками на бальной сорочке. «Я профессор медицины»,— скромно сказал он. Его пропустили, и он очутился в маленькой

комнатке, завалепной папками, словно контора; здесь лежал на стульях злополучный танцор, все еще без сознания. Доктор хотел прежде всего снять с него маску, но увидел, что она была искусно прикреплена множеством тонких проволочек, ловко соединявших ее с краями парика, и закрывала всю голову как бы плотной повязкой, которую нельзя было снять, не зная секрета. Шея от самого подбородка была прикрыта фальшивой кожей — телесного цвета лайкой, уходившей под ворот сорочки.

Пришлось разрезать все это ножницами. Когда же доктор распорол удивительное сооружение от плеча до виска и приоткрыл эту скорлупу, под ней оказалось изможденное, морщинистое, худое и бледное лицо старика. Это произвело такое впечатление, что никто из тех, кто принес сюда молодую, кудрявую маску, не засмеялся и не промолвил ни слова.

Люди глядели на грустное лицо с закрытыми глазами, на седые волосы, падающие со лба, на грязновато-белую щетину, вылезавшую на щеках и подбородке; а рядом с этой жалкой головой лежала хорошенькая лакированная маска, свеженькая маска, с улыбкой на губах.

После довольно длительного обморока старик очнулся, но казался таким больным, таким слабым, что врач ожидал серьезных осложнений.

— Где вы живете? — спросил он.

Старый танцор долго молчал, напрягая память, потом вспомнил и назвал улицу, которой никто не знал. Пришлось спросить у него, в какой это части города. Он давал объяснения с бесконечным трудом, медленно и нерешительно, и было ясно, что сознание его еще затуманено.

Врач сказал:

— Я сам провожу вас.

Ему было любопытно узнать, кто этот странный плясун, увидеть, где ютится этот необычайный любитель прыжков.

Вскоре фиакр увез их обоих за Монмартрский холм. Он остановился перед высоким домом убогого вида, со скользкой лестницей, одним из тех вечно недоделанных, усеянных окошками домов, которые торчат

между двумя пустырями, перед одною из тех грязных трущоб, где ютится скопище жалких, отверженных существ.

Цепляясь за перила — вертящийся деревянный брус, к которому прилипали руки,— врач втащил на пятый этаж легкомысленного старика, понемногу приходившего в себя.

Дверь, в которую они постучали, открылась, и на пороге появилась женщина, тоже старая, очень опрятная, в белом ночном чепце, обрамлявшем костлявое лицо с резкими чертами,— доброе, грубоватое лицо трудолюбивой, преданной жены рабочего.

Она вскрикнула:

— Боже мой! Что это с ним?

Когда врач в нескольких словах рассказал ей, что произошло, она успокоилась и даже успокоила его самого, сказав, что такие случаи бывали уже не раз.

— Его нужно уложить, сударь, только и всего. Он выспится, и завтра все пройдет.

Доктор возразил:

— Но ведь он еле говорит.

— О! Это пустяки, это от вина. Он сегодня не обедал, чтобы быть подвижней, а потом выпил для бодрости два стаканчика абсента. Абсент, знаете ли, развязывает ему ноги, но туманит голову и отнимает язык. Такие пляски ему не по годам. Я совсем уже потеряла надежду, что он когда-нибудь образумится.

Врач удивился еще больше.

— Но зачем же он, старик, этак выплясывает?

Старуха пожала плечами и покраснела от закипавшего гнева.

— Вот именно! Да затем, видите ли, чтобы его принимали под этой маской за молоденького, чтобы женщины считали его еще мальчишкой и нашептывали ему всякие пакости; для того, чтобы можно было вертеться среди них, тереться об их грязную кожу со всеми их духами, пудрами и помадами... Тьфу ты, пакость какая! Нечего сказать, веселенькую жизнь прожила я с ним, сударь, за сорок лет... Но все-таки надо его уложить, а то, пожалуй, свалится. Вам не трудно помочь мне? Когда он в таком виде, я одна с ним не справляюсь.

Старик сидел на кровати, словно пьяный, и длинные седые волосы свисали ему на глаза.

Посмотрев на него нежно и сердито, жена продолжала:

— Взгляните, ведь он еще красив для своих лет. А вот поди, рядится шутом гороховым, чтобы казаться молоденьким! Жалость одна! А ведь правда, сударь, он красив? Подождите-ка, я сначала покажу его вам, а уж потом уложим.

Старуха пошла к столику, где около таза и кувшина с водой лежали мыло, гребенка и щетка. Она взяла щетку, вернулась к кровати и, приподняв спутанные космы гуляки, в несколько секунд убрала его, как картинку; волосы его спустились на шею крупными волнами. Затем она слегка отступила, любуясь:

— А ведь правда, он еще хорош для своего возраста?

— Очень хорош,— подтвердил доктор, которого все это начинало забавлять.

И продолжала:

— Если бы вы его видели, когда ему было двадцать пять лет! Но я прежде его уложу, а то абсент вывернет ему все нутро. Помогите-ка, сударь, стащить рукав... повыше... вот так. Хорошо... Теперь брюки... Погодите, я вперед сниму ботинки. Отлично! Теперь поддержите его, пока я открою постель... так... давайте укладывать... Если вы думаете, что он теперь подвинется, чтобы освободить мне местечко, то ошибаетесь. Мне придется прикорнуть где попало. Ему это все равно. Эх ты, повеса!

Почувствовав, что он у себя в постели, старичок закрыл глаза, приоткрыл их, снова закрыл, и на лице его появилось выражение довольства и твердой решимости заснуть.

Доктор наблюдал за ним со все возрастающим интересом. Он спросил:

— Значит, он изображает молодого человека на маскарадах?

— Ни одного не пропустит, сударь. А утром возвращается в таком виде, что и вообразить невозможно. И знаете, ведь это тоска гонит его и заставляет надевать картонное лицо на свое собственное. Да, тоска о

том, что он уже не такой, как был, что он больше не имеет успеха!

Старик заснул и начал храпеть. Старушка жалостливо посмотрела на него и продолжала:

— А каким успехом он пользовался когда-то! Трудно поверить, сударь! Ни с какими светскими щеголями не сравнить, ни с какими тенорами и генералами.

— В самом деле? Чем же он занимался?

— Вас это удивляет, потому что вы не видали его в лучшие времена. Я встретилась с ним впервые тоже на балу — он всегда бывал там. Как увидела, так и пропала. Поймалась, как рыба на крючок. Так он был красив, сударь, так красив, что можно было заплакать, глядя на него! Волосы, как вороново крыло, кудрявые; глаза черные, большие, как окошки. О да, настоящий был красавец! Он увез меня с собой в тот же вечер, и больше я с ним не расставалась ни на один день, несмотря ни на что. А сколько горя я с ним натерпелась!

Доктор спросил:

— Вы женаты?

— Да, сударь,— просто отвечала она,— если бы не это, он бы меня бросил, как всех других... Я была ему и женой, и нянькой, и всем, чем ему только было угодно... И сколько я от него плакала... да слез не показывала!.. Ведь он мне выкладывал все свои похождения— мне, мне, сударь!.. Он не понимал, как мне больно его слушать...

— Но чем же он все-таки занимался?

— Правда, правда... я и позабыла. Он был первым мастером у Мартеля, да не просто первым мастером, а таким, каких больше никогда и не бывало... Художник своего дела... В среднем по десяти франков за час...

— Мартель?.. Кто это — Мартель?

— Парикмахер, сударь, знаменитый парикмахер Оперы. Все актрисы у него причесывались. Да, мой Амбруаз причесывал всех самых шикарных актрис и получал такие чаевые, что сколотил состояние. Ах, сударь, все женщины одинаковы, все без исключения. Когда мужчина им нравится, они сами себя предлагают. Это им ничего не стоит... а как тяжело узнавать об этом... Ведь он рассказывал мне все, он не мог удер-

жаться... нет, не мог. Такие вещи приятны мужчине. И рассказывать о них, может быть, еще приятнее, чем переживать.

Когда он возвращался вечером, чуть бледный, довольный собой, с блестящими глазами, я думала: «Еще одна! Уверена, что он подцепил еще одну». Тогда мной овладевало, прямо-таки жгло мне сердце желание расспросить его. Правда, и другое было желание — ничего не знать, не дать ему говорить, если он начнет. И вот мы глядели друг на друга.

Я прекрасно знала, что он не будет молчать, что он все выложит. Я чувствовала это по его лицу, по смеху, которым он будто говорил: «Мадлена, у меня сегодня была недурненькая». Я притворялась, будто ничего не вижу, ни о чем не догадываюсь, накрывала на стол, приносила суп, садилась напротив него.

В такие вечера, сударь, как будто кто-то топтал мою любовь к нему. Больно это, знаете, тяжело! Но он не догадывался, он не знал. Ему нужно было излиться кому-нибудь, похвастаться, показать, как его любят... и не с кем было поговорить, кроме меня, понимаете, меня... И вот... приходилось слушать его, как отраву пить.

Он принимался за суп и говорил:

«Мадлена, еще одна».

А я думала: «Так и есть! Боже, что это за человек! И надо же было мне встретиться с ним!»

Он продолжал: «Еще одна, да еще какая штучка!» Это оказывалась крошка из Водевиля или крошка из Варьете, а иногда и крупная актриса, из самых известных театральных дам. Он говорил мне, как их зовут, описывал обстановку, рассказывал все, все... да, все, сударь!.. Так подробно, что у меня сердце разрывалось. И он повторял, снова рассказывал все от начала до конца и так был доволен, что я притворялась веселой, чтобы он не рассердился.

Может быть, тут и не все было правдой. Он так любил хвалиться, что, пожалуй, и выдумывал... А может быть, и правда! В такие вечера он делал вид, что устал, что ему хочется прилечь после ужина. Ужинали мы в одиннадцать, сударь: раньше он никогда домой не приходил, потому что надо было делать вечерние прически.

Рассказав о своем приключении, он закуривал папиросу и принимался ходить по комнате. И до того он был красив со своими усами и кудрями, что я думала: «Все это правда, все так и было, как он говорит. Ведь если я с ума схожу по нем, почему же и другим в него не влюбляться?» Ах, мне хотелось плакать, кричать, бежать, выброситься в окошко. Но я убирала со стола, а он все курил. И зевал во весь рот, чтобы показать мне, как он утомлен, а собираясь лечь, раза два или три говорил: «И посплю же я эту ночку!»

Я не сержусь на него: он ведь не знал, как меня мучил. Да и не мог знать! Он любил хвастаться женщинами, распускать хвост, как павлин. И в конце концов он уверился, что все женщины смотрят на него и хотят его.

Тяжело стало, когда он начал стареть.

Ах, сударь, когда я заметила у него первый седой волос, то чуть не задохнулась от волнения, а потом — от радости; злая была радость, но я радовалась, радовалась! Я думала: «Конец... конец!» Мне казалось, будто меня из тюрьмы выпустили. Значит, теперь он будет принадлежать только мне одной, другие больше не захотят его!

Это было утром, в постели. Он еще спал. Я наклонилась к нему, чтобы разбудить поцелуем, и вдруг заметила у него в локоне на виске тонкую нить, блестящую, как серебро. Вот неожиданность! Я и не думала, что это возможно! Сначала я решила вырвать волос, чтобы он сам не заметил... он! Потом, присмотревшись, вижу: повыше другой. Седые волосы! Он седеет! Сердце у меня забилось, пот выступил. И все-таки в глубине души я была довольна.

Гадко было, что я так думала, но все же в то утро я хозяйничала с легким сердцем, не стала его будить, а когда он открыл глаза, лежа один в постели, я сказала:

«Знаешь, что я узнала, пока ты спал?»

«Нет».

«Я узнала, что у тебя седые волосы».

С досады его так передернуло, что он сразу вскочил, как от щекотки, и злобно сказал мне:

«Неправда!»

«Нет, правда. На левом виске. Четыре седых волоса».

Он спрыгнул с постели и побежал к зеркалу.

Он не увидел их. Я ему показала первый, самый нижний, коротенький, вьющийся, и сказала:

«Ничего нет удивительного при такой жизни. Через два года с тобой будет кончено».

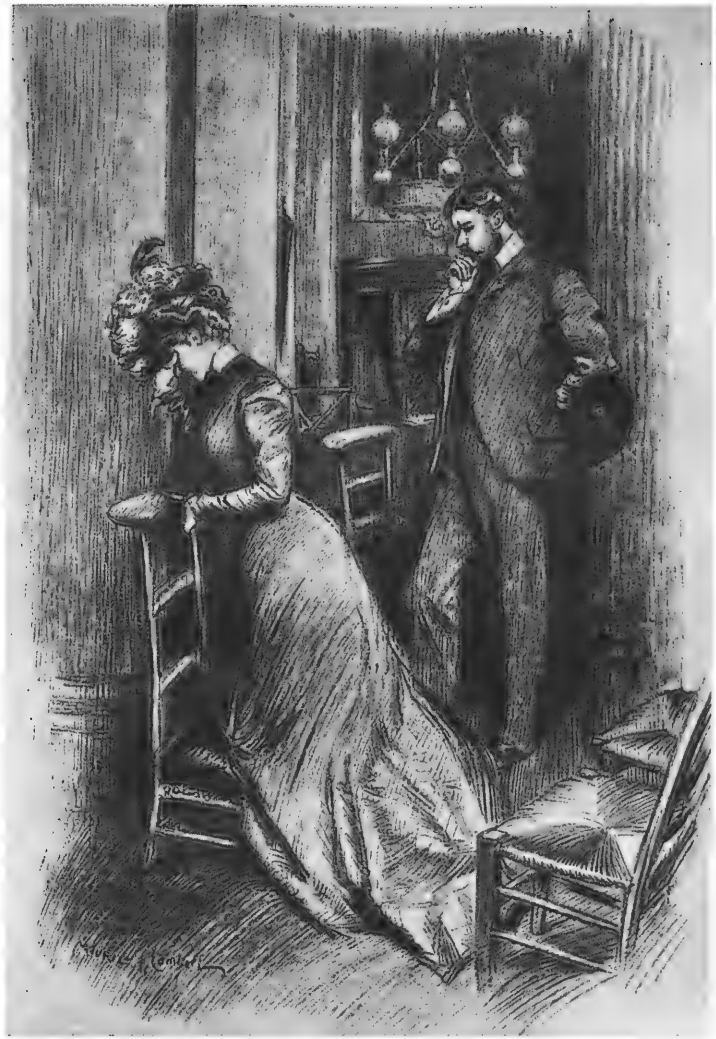
И что же, сударь! Так оно и вышло: через два года его нельзя было узнать. Как быстро это меняет человека! Он был еще красив, но терял свежесть, и женщины перестали гоняться за ним. Ах, невесело жилось в то время! Показал он мне виды! Все было не по нем, все как есть. Ремесло свое он бросил, открыл шляпный магазин, просадил на нем деньги. Потом попробовал пойти в актеры, удачи не было и тут, стал бегать по публичным балам. Но все-таки хватило ума приберечь остатки состояния. На них мы теперь и живем. Концы с концами сводим, но не жирно. И подумать только, что одно время он был почти богат.

А что он делает теперь, вы сами видели. Словно повредился! Ему хочется быть молодым, хочется танцевать с женщинами, от которых пахнет духами и помадой. Ах, бедный ты мой, старенький!..

Взволнованная, чуть не плача, смотрела она на своего старого мужа. Тот храпел. Затем она тихонько подошла к нему и поцеловала в голову. Доктор встал, собираясь уйти. Он глядел на странную чету и не знал, что сказать.

Когда он прощался, женщина спросила:

— Может быть, вы все-таки оставите мне адрес? Если ему станет хуже, я сбегаю за вами.



Худ. Морис Ламбер. 1908. «БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА».

Худ. Морис Ламбер. 1908. «ОЛИВКОВАЯ РОЩА».

ПОРТРЕТ

— А, Мильяль! — произнес кто-то возле меня.

Я взглянул на человека, которого окликнули: мне давно хотелось познакомиться с этим донжуаном.

Он был уже не молод. Седые без блеска волосы слегка напоминали меховую шапку, какие носят некоторые народы севера, а мягкая, довольно длинная борода, падавшая на грудь, тоже была похожа на мех. Он вполголоса разговаривал с какой-то женщиной, склонившись к ней и глядя на нее нежным взглядом, почтительным и ласковым.

Я знал его жизнь, или, по крайней мере, то, что о ней было известно. Он не раз был любим до безумия; с его именем была связана не одна драма. О нем говорили, как о человеке необычайно пленительном, почти неотразимом. Когда я, желая узнать, откуда у него эта сила, расспрашивал тех женщин, которые особенно превозносили его, они после небольшой заминки неизменно отвечали:

— Не знаю, право... какое-то обаяние.

Красив он, конечно, не был. Он совершенно не обладал той элегантностью, которая считается обязательной для покорителей женских сердец. Я с любопытством задавал себе вопрос: в чем же его очарование? В остроумии?.. Мне никогда не передавали его словечек, никто не восхвалял его ума... Во взгляде?.. Возможно... Или в голосе? Голос некоторых людей обладает неотразимой чувственной прелестью, как бы вкусом изысканного блюда. Ты жаждешь слушать его

звук; произносимые им слова доставляют такое же наслаждение, как лакомство.

Мимо проходил один из моих приятелей. Я спросил его:

— Ты знаешь господина Мильяля?

— Знаю.

— Познакомь меня, пожалуйста.

Минуту спустя мы обменялись рукопожатием и разговорились. То, что он говорил, звучало справедливо, приятно, но по содержанию не представляло ничего замечательного. Голос у него и в самом деле был красивый, мягкий, ласкающий, музыкальный; но мне приходилось слышать голоса гораздо более пленительные, более волнующие. Слушать его доставляло такое же удовольствие, как смотреть на красивый журчащий ручей. Чтобы следить за ходом его мысли, не требовалось ни малейшего усилия: он не разжигал любопытства сознательным умолчанием, ни одна пауза не вызывала настороженного интереса. Беседа эта была скорее отдыхом; она не возбуждала ни острого желания возражать или противоречить, ни восторженного согласия.

В беседе с ним отвечать было так же легко, как и слушать. Ответ приходил сам собою, едва только Мильяль умолкал, и фразы слагались с такой легкостью, словно его речь сама естественно вызывала их.

Вскоре меня поразило одно наблюдение. Я был знаком с ним не более четверти часа, а мне казалось, что это мой старый друг, что все в нем — и лицо его, и голос, и жесты, и мысли — давно мне знакомо.

После нескольких минут разговора я вдруг почувствовал, что между нами установилась какая-то близость. Все двери были открыты, и, если бы он захотел, я, быть может, рассказал бы ему о себе такие вещи, в каких признаются обычно только самым старым друзьям.

Право, в этом была какая-то тайна. Преград, которые существуют между людьми и разрушаются одна за другой лишь с течением времени, когда мало-помалу их подтачивают симпатия, общность вкусов, одинаковый уровень духовного развития и постоянное общение,— всех этих преград между нами как бы не существовало, и, должно быть, их вообще не было между

ним и всеми остальными людьми, которых сталкивал с ним случай.

Через полчаса мы расстались, пообещав друг другу часто встречаться; он пригласил меня на другой день к завтраку и дал мне свой адрес.

Я позабыл условленный час и пришел слишком рано; он еще не возвращался. Корректный и молчаливый слуга ввел меня в красивую темноватую гостиную, уютную и спокойную. Я почувствовал себя в ней, как дома. Сколько раз я замечал влияние жилища на характер и настроение! Бывают комнаты, в которых всегда чувствуешь себя дураком; в других, напротив, всегда бываешь в ударе. Одни нагоняют тоску, хотя бы они были светлые, белые с позолотой; другие почему-то веселят, несмотря на спокойные тона обивки. У нашего глаза, как и у сердца, есть свои пристрастия и глубокие антипатии, в которые мы часто не бываем посвящены, но все же они воздействуют на наше настроение тайно, украдкой. Общий стиль обстановки, гармония мебели и стен непосредственно влияют на нашу духовную природу, как лесной, горный или морской воздух действует на природу физическую.

Я сел на диван, где было разбросано множество подушек, и внезапно почувствовал, что эти шелковые мешочки, набитые пухом, поддерживают меня, покоят, обнимают, как будто это сиденье было заранее рассчитано на форму и размеры моего тела.

Я огляделся. В комнате не было ничего бьющего в глаза. Красивые, скромные вещи, изысканная и простая мебель, восточные ткани, которые, казалось, попали сюда не из магазина, а из гарема; и прямо напротив меня — женский портрет. Это был поясной портрет: голова, бюст и руки, державшие книгу. Женщина была без шляпы, причесана на прямой пробор и улыбалась немного грустно. Потому ли, что на ней не было шляпы, потому ли, что ее поза производила впечатление полной естественности, но только никогда портрет женщины не казался мне так на месте, так у себя дома, как этот портрет в этой комнате. Почти во всех женских портретах, какие я знаю, чувствуется нарочитость: либо дама является в парадном туалете, причесанная к лицу и явно помнит, что она позирует,

во-первых, перед художником, а во-вторых, перед всеми, кто будет смотреть на портрет; либо она принимает непринужденную позу в тщательно выбранном домашнем туалете.

Иные изображены стоя, в величественной позе, во всей своей красоте, с надменным выражением лица, какое вряд ли они долго сохраняют в обыденной жизни. Другие жеманятся на неподвижном холсте; и на каждом портрете какая-нибудь мелочь — цветок или драгоценность, складка платья или складка губ,— несомненно, прибавлена художником для эффекта. Надета ли на голову шляпка, наброшено ли кружево, оставлены ли волосы непокрытыми, но вы всегда угадываете в портрете что-то искусственное. Что именно, не отдаешь себе отчета, потому что никогда не знал оригинала, но это чувствуется. Кажется, будто женщина пришла с визитом к каким-то людям, которым она хочет показать себя в самом выгодном свете, и любая ее поза, скромная ли, величавая ли, всегда заучена.

Что же сказать об этой женщине? Она была дома и одна. Да, она была одна, потому что улыбалась так, как можно улыбаться, только думая в одиночестве о чем-нибудь грустном и приятном; на кого смотрят, тот не может так улыбаться. Она была настолько одна и настолько дома, что во всей этой большой гостиной я не замечал ничего, решительно ничего, кроме нее. Она была здесь одна, все заполняла собой, всему придавала уют; сюда могло бы войти сколько угодно людей, и эти люди могли бы разговаривать, смеяться, даже петь, но она всегда оставалась бы одна со своей одинокой улыбкой и одна оживляла бы комнату своим неизменным взглядом.

Он был тоже совершенно необычен, этот взгляд. Ласкающий и неподвижный, он останавливался на мне, не видя меня. Все портреты знают, что на них смотрят, и все они отвечают глазами, и глаза их видят, думают, неотрывно следят за нами, пока мы не выйдем из комнаты, где они живут.

Эта женщина не видела меня, не видела ничего, хотя взгляд ее покоился прямо на мне. Я вспомнил поразительный стих Бодлера:

Влекущий твой, как у портрета, взор...

Эти изображенные художником глаза, которые когда-то жили, а может быть, живут и сейчас, в самом деле неотразимо влекли к себе, наполняли меня неизведанной доселе страшной и властной тревогой. О, какое бесконечное обаяние, нежное и ласковое, как мимолетный ветерок, пленительное, как небеса, утопающие в лиловых, розовых и синих сумерках и немного печальные, как идущая за ними ночь, исходило от этого темного портрета и от этих непроницаемых глаз! Созданные несколькими мазками кисти, эти глаза скрывали тайну того, что кажется существующим и не существует, того, что может промелькнуть во взгляде женщины, того, что зарождает в нас любовь.

Дверь открылась. Вошел г-н Мильяль. Он извинился, что опоздал. Я извинился, что пришел слишком рано. Потом я сказал:

— Не будет ли нескромностью спросить вас, кто эта женщина?

Он ответил:

— Это моя мать. Она умерла очень молодою.

Тогда я понял, откуда оно, такое необъяснимое обаяние этого человека.

КАЛЕКА

Это случилось со мною примерно в 1882 году.

Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, и я услышал чей-то голос:

— Осторожнее, сударь, тут как раз скрещиваются пути, а ступенька очень высокая.

Другой голос ответил:

— Не бойся, Лоран, я возьмусь за поручни.

Показалась голова в котелке и две руки; уцепившись за кожаные с сукном поручни, они медленно подтянули толстое туловище, а ноги, попав на ступеньки, стукнули, словно трость, ударившаяся о камень.

Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел обвисшую штанину, из которой торчал черный кончик деревянной ноги; вскоре последовала и вторая деревяшка.

За пассажиром показалась чья-то голова.

— Удобно вам здесь, сударь?

— Да, мой друг.

— Ну, так вот ваши свертки и костыли.

В вагон поднялся слуга, похожий на отставного солдата; в руках у него была целая охапка свертков в черной и желтой бумаге, тщательно завязанных. Один за другим он положил свертки в сетку над головой хозяина и сказал:

— Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки.

— Отлично, дружок.

— Счастливого пути, сударь!

— Спасибо, Лоран. Будь здоров.

Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взглянул на своего соседа.

Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с орденом, усатый и очень толстый; он отличался той особой болезненной тучностью, которой всегда страдают сильные и энергичные люди, если какое-нибудь несчастье обрекло их на неподвижность.

Он отер лоб, перевел дух и спросил, глядя мне прямо в лицо:

— Куренье вам не помешает, сударь?

— Нет, сударь.

Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы. Но где, когда? Да, конечно, я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давно, очень давно и терялось в том тумане, где память, словно ощупью, ищет воспоминания и гонится за ними, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их.

Он тоже рассматривал меня пристальным, неподвижным взглядом, как человек, который что-то припоминает, но не может вспомнить до конца.

Эти настойчивые перекрестные взгляды смутили нас обоих, и мы отвели друг от друга глаза; однако через несколько секунд, повинуясь смутному, но властному велению ищущей памяти, взгляды наши встретились снова, и я сказал:

— Боже мой, сударь! Чем битый час разглядывать друг друга украдкой, давайте лучше припомним вместе, где мы встречались.

Сосед с готовностью отвечал:

— Вы совершенно правы, сударь.

Я назвал себя:

— Меня зовут Анри Бонклер, я чиновник судебного ведомства.

Он колебался несколько секунд и затем проговорил с той неуверенностью во взгляде и голосе, которая бывает вызвана большим напряжением памяти:

— Ах, совершенно верно! Я встречал вас у Пуанселей... тогда еще, до войны, двенадцать лет назад!

— Да, сударь! А... а вы лейтенант Ревальер?

— Да... Я даже стал капитаном Ревальер к тому времени, как лишился ног... Обе оторвало одним ядром.

И тут, возобновив знакомство, мы опять взглянули друг на друга.

Я прекрасно помнил этого красивого худощавого молодого человека, дирижировавшего котильонами с таким изяществом и воодушевлением, что его, помнится, прозвали «Смерчем». Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, витало еще что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл, одна из тех историй, какие выслушиваются с мимолетным и благожелательным вниманием и оставляют в нас почти неощутимый след.

История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожее на запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь.

Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Это была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым.

Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк.

Он сказал:

«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».

Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених или невеста вступает в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж.

Мне казалось, что это прекрасно, но банально;

так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа.

Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки бессильной злобы и неизбежную тучность.

Счастлив он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом все растущее и наконец непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам.

Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами; я взглянул на сетку для вещей и стал соображать: «У него, очевидно, трое детей: конфеты он везет жене, куклу — дочурке, барабан и ружье — сыновьям, а паштет из гусиной печенки — себе».

Я спросил его:

— У вас есть дети, сударь?

Он ответил:

— Нет, сударь.

Я вдруг почувствовал себя смущенным, как будто совершил большую бестактность.

— Простите меня,— сказал я.— Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.

Он улыбнулся, потом проговорил:

— Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.

Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:

— Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадмуазель де Мандаль.

— Да, сударь, у вас превосходная память.

Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:

— Да, помнится, я слышал также, что мадмуазель де Мандаль вышла замуж за господина... господина...

Он спокойно произнес фамилию:

— За господина де Флерель.

— Вот-вот! Да... теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.

Я взглянул ему в глаза, и он покраснел.

Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.

Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении.

— Совершенно напрасно, сударь, имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны — увы, без ног,— я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж — значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?

Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же... Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.

Я неожиданно спросил его:

— У госпожи де Флерель есть дети?

— Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне.

Поезд поднимался по сен-жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился.

Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки:

— Здравствуйте, милый Ревальер!

— А-а! Здравствуйте, Флерель.

Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками, затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которые отец их вынимал из вагонной сетки.

Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ФРАНКОВ СТАРШЕЙ СЕСТРЫ

Да, он был в самом деле смешон, папаша Павильи: длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке огненно-рыжий хохол.

Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки — шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, господь бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил; и он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху.

Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противиться, до того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев и там принимался щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься; она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз, а он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним.

Однажды, в конце июня, он нанялся жнецом к фермеру Ле-Ариво, около Рувиля. Три недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шут-

ками. Днем, в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь; потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромное пресмыкающееся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам, кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна.

В последний день уборки урожая, когда шесть лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе, с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павильи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению.

Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Ариво, Павильи подпрыгнул, подняв руки, но прежде, чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувырнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу.

Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт, огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха.

Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.

— Похоже, лапу сломал,— сказал один из крестьян.

И в самом деле, нога была сломана.

Хозяин, Ле-Ариво, велел уложить его на стол и послал верхового за доктором в Рувиль. Доктор приехал через час.

Фермер выказал большую щедрость и объявил, что оплатит содержание жнеца в больнице.

Доктор отвез Павильи в своем экипаже и поместил его в выбеленной известью палате, где ему наложили повязку.

Как только Павильи понял, что не умрет, а, напротив, будет, ничего не делая, полеживать на спине да о нем же еще будут заботиться, лечить его, холить и кормить, его охватила беспредельная радость, и он засмеялся тихим, сдержанным смехом, показывая свои гнилые зубы.

Когда к его постели подходила сестра, он корчил довольную рожу, подмигивал, кривил рот на сторону или шевелил длинным, чрезвычайно подвижным носом. Соседи по палате не могли при всех своих болезнях удержаться от хохота, а старшая сестра частенько подходила к его кровати немножко позабавиться. Для нее у Павильи находились пресмешные выходки и свежие остроты, а так как в нем жил актер на все роли, то он в угоду ей корчил из себя верующего и разговаривал на божественные темы с серьезным видом человека, который знает, что есть минуты, когда шутить нельзя.

Однажды он вздумал спеть сестре несколько песенок. Она пришла в восторг и стала подходить к нему еще чаще; потом, решив использовать его голос, принесла книгу церковных песнопений. К этому времени Павильи начал немного двигаться, и теперь можно было наблюдать, как он, сидя на кровати, воспевал фистулой хвалы предвечному, деве Марии и святому духу, а толстая сестра, стоя рядом, задавала ему тон и отбивала пальцем такт. Когда он мог уже ходить, старшая сестра предложила оставить его в больнице на некоторое время, с тем чтобы он пел в часовне, прислуживал во время мессы и вообще исполнял обязанности пономаря. Павильи согласился. И целый месяц, еще хромая, облачившись в белый стихарь, он пел псалмы и возглашал ответы, так уморительно задирая при этом голову, что число прихожан сильно увеличилось: вместо церкви стали ходить к обедне в больничную часовню.

Но всему бывает конец, и когда Павильи совершенно поправился, пришлось его выписать. В благодарность старшая сестра подарила ему двадцать пять франков.

Очутившись на улице с деньгами в кармане, Павильи стал думать, что бы ему теперь предпринять. Вернуться в деревню? Конечно, но не прежде, чем он как следует выпьет,— ему так давно не приходилось этого делать! И он зашел в кафе. В городе он бывал не чаще одного или двух раз в год, и у него осталось, в особенности от одного из таких посещений, смутное и пьянящее воспоминание кутежа.

И вот он спросил стаканчик водки и выпил его залпом, чтобы промочить горло, а затем велел налить другой, чтобы распробовать вкус.

Как только крепкая, жгучая водка коснулась языка и нёба Павильи, как только он после долгого воздержания с особой остротой почувствовал любимое и желанное действие спирта, который ласкает, и щиплет, и обжигает, и наполняет своим запахом весь рот, он понял, что выпьет целую бутылку, и тотчас спросил, сколько это будет стоить: рюмками было бы дороже. Ему насчитали три франка. Он заплатил и стал спокойно напиваться.

Он делал это не без системы, так как хотел сохранить достаточную ясность сознания и для других удовольствий. Поэтому, дойдя до того градуса, когда кажется, что тебе кланяются трубы на домах, он немедленно встал и заплетающимся шагом, с бутылкой под мышкой, отправился на поиски публичного дома.

Он нашел его не без труда: сначала спросил дорогу у возчика, который ее не знал, потом у почтальона, который дал неверные сведения, потом у булочника, который стал в ответ ругаться и обозвал его старой свиньей, и наконец у военного, который любезно проводил его и посоветовал выбрать Королеву.

Хотя не было еще полудня, Павильи вошел в обитель наслаждения; его встретила служанка и хотела выставить его за дверь. Но он рассмешил ее гримасой, показал три франка — обычную плату за особый товар, продававшийся в этом месте,— и не без труда поднялся за ней по темной лестнице во второй этаж.

Войдя в комнату, он потребовал, чтобы вызвали Королеву, и стал поджидать ее, потягивая водку из горлышка бутылки.

Дверь открылась, и показалась девица. Она была

огромного роста, жирная, красная, необъятная. Уверенным взглядом, взглядом знатока она смерила свалившегося в кресло пьяницу и спросила:

— И не стыдно тебе в такое время?

Он пробормотал:

— Чего стыдно, принцесса?

— Да беспокоить даму, когда она даже не успела пообедать!

Он хотел пошутить:

— Храбрец часов не выбирает.

— Не выбирает, чтобы нахлестаться, старый горшок!

Павильи рассердился:

— Во-первых, я не горшок, а во-вторых, я не пьян.

— Не пьян?

— Нет, не пьян.

— Не пьян! Да ты на ногах не стоишь!

Она глядела на него с яростью женщины, которую оторвали от обеда.

Он поднялся.

— Ну... ну... так хочешь, станцую тебе польку?

И, чтобы показать, как он тверд на ногах, Павильи влез на стул, сделал пируэт и вспрыгнул на кровать, где его огромные грязные сапоги оставили два ужасающих пятна.

— Ах, скотина! — закричала девица.

Бросившись к нему, она хватила его кулаком в живот, да так, что Павильи потерял равновесие, свалился на спинку кровати, перекувырнулся, ударился о комод, опрокинув таз и кувшин с водой, и наконец с громким воплем рухнул на пол.

Раздался страшный грохот, а крики Павильи были так пронзительны, что сбежался весь дом: хозяин, хозяйка, служанка и персонал.

Хозяин прежде всего попытался поднять парня, но тот, как только его поставили на ноги, вновь потерял равновесие и стал вопить, что у него сломалась нога — другая, целая, целая!

Так оно и было. Побежали за врачом. Пришел тот же доктор, что лечил Павильи у Ле-Ариво.

— Как, опять вы? — сказал он.

— Да, сударь.

— Что же с вами?

— Мне сломали другую ногу, господин доктор.

— Кто же это сделал, приятель?

— Да девка!

Все слушали: девицы в капотах, с еще жирными от прерванного обеда ртами, взбешенная хозяйка, встревоженный хозяин.

— Скверная история! — сказал доктор.— Как вам известно, муниципалитет не очень доброжелательно к вам относится. Постарайтесь замять это дело.

— Как это устроить? — спросил хозяин.

— Да самое лучшее будет поместить этого человека в больницу, откуда он только что выписался, и оплатить его содержание.

Хозяин отвечал:

— Лучше уж это, чем неприятности.

И вот через полчаса пьяный и охающий Павильи снова появился в той палате, откуда вышел час тому назад.

Старшая сестра всплеснула руками. Она была и огорчена, потому что Павильи ей нравился, и улыбалась, потому что ей приятно было снова увидеть его.

— Ну, мой друг, что такое с вами случилось?

— Да другая нога теперь сломалась, госпожа сестрица!

— Ах, так вы снова влезли на телегу с соломой, старый озорник?

И Павильи смущенно и уклончиво пробормотал:

— Нет... нет... На этот раз, на этот раз... нет... нет... Это совсем не я виноват, совсем не я... Во всем виновата подстилка... [1]

Сестра не могла добиться другого объяснения и так и не узнала, что истинной причиной рецидива были ее двадцать пять франков.

---

[1] В оригинале слово paillasse, имеющее два значения: «подстилка» и «проститутка».

ДЕЛО О РАЗВОДЕ

Слово получил адвокат г-жи Массель:

— Господин председатель, господа судьи!

Дело, которое я должен защищать перед вами, относится скорее к медицине, нежели к юриспруденции, и представляет собою скорее патологический случай, чем правовой вопрос. С первого взгляда факты весьма просты.

Очень богатый молодой человек, благородной и восторженной души, великодушного сердца, влюбляется в необычайно красивую, более чем красивую, восхитительную девушку, столь же изящную, обаятельную, добрую и нежную, как и красивую, и женится на ней.

Некоторое время он ведет себя как самый заботливый и нежный супруг; потом начинает пренебрегать женой, грубо обращаться с ней и как будто испытывает к молодой женщине непреодолимое отвращение, непобедимую гадливость. Однажды он даже наносит ей побои, и не только без всякой причины, но даже без всякого повода.

Я не стану, господа, развертывать перед вами картину его странных, ни для кого не объяснимых поступков. Не стану описывать вам ужасную совместную жизнь этих двух людей и тяжелое горе молодой женщины.

Чтобы убедить вас, достаточно будет огласить несколько отрывков из дневника этого несчастного челове-

ка, этого несчастного безумца. Ибо, милостивые государи, перед нами безумец, и дело тем более любопытно, тем более интересно, что тут имеется много общего с сумасшествием недавно скончавшегося злосчастного и диковинного короля, который платонически управлял Баварией. Этот медицинский случай я назвал бы поэтической манией.

Вы помните все, что рассказывалось об этом странном государе. В великолепнейшей местности своего королевства он построил настоящие феерические замки. Но реальная красота пейзажей и предметов не удовлетворяла его, и он при помощи театральной бутафории создал в своих невероятных поместьях искусственные горизонты, обманы зрения, нарисованные леса, сказочные царства, где на деревьях висели листья из драгоценных камней. Там были Альпы с ледниками, степи, песчаные пустыни, сожженные солнцем; а ночью, при настоящей луне, озера освещались со дна волшебным электрическим светом. По этим озерам плавали лебеди и скользили челноки, а в это время душу царственного безумца опьянял оркестр, составленный из лучших артистов мира.

Этот человек был чист, этот человек был девственником. Он никогда никого не любил, кроме мечты, своей мечты, своей божественной мечты.

Однажды вечером он пригласил покататься на лодке молодую красивую женщину, знаменитую певицу; он попросил ее спеть. Она запела, опьяненная изумительным пейзажем, нежной теплотой вечернего воздуха, благоуханием цветов, восторгом юного и прекрасного государя.

Она пела, как поет женщина, которой коснулась любовь, а потом, теряя голову, трепеща, бросилась на грудь к королю, ища губами его губы.

Но он сбросил ее в озеро, взялся за весла и поплыл к берегу, не беспокоясь о том, спасут ее или нет.

Перед нами, господа судьи, вполне сходный случай. Теперь я только оглашу здесь выдержки из дневника, обнаруженного нами в ящике письменного стола.

. . . . . .

«Как все печально и некрасиво, всегда одинаково, всегда безобразно! Как я мечтаю о более прекрасной, о более благородной, более разнообразной земле! Каким убогим воображением должен обладать их бог, если только он существует и если им не создано в другом месте что-либо иное.

Вечно леса, лесочки, реки, похожие на всякие другие реки, равнины, похожие на всякие другие равнины,— все одинаково и монотонно. А человек!.. Человек!.. Какое ужасное животное, злое, самолюбивое, отвратительное...

. . . . . .

Надо полюбить, полюбить безумно, так, чтобы не видеть, кого любишь. Потому что видеть — значит понимать, а понимать — значит презирать. Надо полюбить и опьяниться ею, как пьянеешь от вина, так, чтобы уже не чувствовать, что ты пьешь. И пить, пить, пить день и ночь, не переводя дыхания!

. . . . . .

Я, кажется, нашел. Во всем ее облике есть нечто идеальное, будто не от мира сего, нечто, придающее крылья моей мечте. Ах, моя мечта, какими непохожими на самих себя рисует она мне людей! Она блондинка, светлая блондинка, с непередаваемым оттенком волос. Глаза у нее голубые! Только голубые глаза могут увлечь мою душу. Всю женщину — женщину, живущую в глубине моего сердца,— я познаю по глазам, только по глазам.

О, тайна! Какая это тайна — глаз!.. В нем вся вселенная, ибо он видит, ибо он отражает ее. Он обнимает всю вселенную — вещи и живые существа, леса и океаны, людей и животных, солнечные закаты, звезды, произведения искусства, все, все; он все видит, все собирает и похищает; и больше того: в нем живет душа человека, который мыслит, смеется, любит, страдает. О! Поглядите в голубые глаза женщины, в эти глаза, глубокие, как море, изменчивые, как небо, такие нежные, нежные, как ветерок, как музыка, как поцелуй, и такие прозрачные, ясные, что сквозь них видна душа. голу-

бая душа, дающая им цвет, оживляющая и обожествляющая их.

Да, у души цвет взгляда. Только голубая душа таит в себе мечту: она берет лазурь у волн и у простора.

Глаз! Подумайте только! Глаз! Он вбирает видимую жизнь и питает ею мысль. Он вбирает весь мир — цвета, движения, книги, картины, все прекрасное и все безобразное,— из всего этого создает мысль. А когда он обращен на нас, он дает нам ощущение неземного счастья. Он позволяет нам предчувствовать то, чего мы никогда не будем знать; он заставляет нас понимать, что действительность наших снов — это презренная грязь.

. . . . . .

Я люблю ее и за походку.

У птиц и на ходу мы ощущаем крылья, сказал поэт.

Когда она идет, чувствуется, что она не из той породы, что остальные женщины, а из другой, более легкокрылой и божественной...

. . . . . .

Завтра я женюсь на ней... Я боюсь... боюсь многого...

. . . . . .

. . . . . .

Два зверя, две собаки, два волка, две лисицы бродят по лесам и встречаются. Один — самец, другая — самка. Они спариваются. Спариваются по животному инстинкту, заставляющему их продолжать род, свой род, тот, от которого они получили формы тела, шерсть, рост, движения и повадки.

Так делают все животные, сами не зная, почему!

И мы тоже.

. . . . . .

Это самое сделал и я, когда женился на ней: я подчинился тому нелепому порыву, который бросает нас к самке.

Она моя жена. Пока я желал ее идеально, она была для меня мечтою, неосуществимой и готовой осуществиться. С того самого мгновения, когда я обнял ее, она стала лишь тем существом, которым воспользовалась природа, чтобы обмануть все мои надежды.

Обманула ли она их? Нет. И все же я устал от нее, так устал, что не могу прикоснуться к ней, дотронуться до нее рукой или губами, чтобы сердце мое не сжалось невыразимым отвращением,— быть может, не отвращением к ней, но отвращением более возвышенным, более серьезным, более презрительным — отвращением к любовным объятиям, таким гнусным, что для всех утонченных существ они превратились в постыдный акт, который надо скрывать, о котором говорят лишь шепотом, краснея.

. . . . . .

Я видеть не могу, как жена приближается ко мне, зовет меня улыбкой, взглядом, жестом. Не могу. Когда-то я думал, что ее поцелуй унесет меня в небеса. Однажды она захворала — небольшая простуда,— и в ее дыхании я почувствовал легкий, тонкий, почти неуловимый запах гниения. Я был потрясен!

О, плоть, живой и пленительный тлен, ходячая падаль, которая думает, говорит, глядит и смеется,— в ней переваривается пища, и эта розовая плоть прекрасна, соблазнительна и обманчива, как душа.

. . . . . .

Почему цветы, только цветы пахнут так хорошо, огромные, яркие или бледные цветы; их тона и оттенки приводят в трепет мое сердце и привораживают взгляд... Они так прекрасны, строение их так тонко, так разнообразно и так чувственно; они приоткрыты, как диковинные органы, они соблазнительнее губ, они полые, с вывернутыми губами, зубчатыми, мясистыми, осыпанными жизненной пыльцой, которая в каждом цветке порождает особый аромат.

Только они, только они одни в мире не грязнят, оплодотворяясь, своей чистой породы, но распространяют кругом божественное благоухание любви, ароматный пот своих ласк, эманацию несравненных тел, своих тел, украшенных всею грацией, всем изяществом форм, привлекающих всеми окрасками, соблазняющих всеми запахами».

. . . . . .

ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСЕЙ,
СДЕЛАННЫХ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

«...Я люблю цветы не как цветы, но как очаровательные телесные существа; все дни и ночи я провожу в оранжереях, где цветы спрятаны у меня, как жены в гареме.

Кто, кроме меня, знает сладость, безумие, трепетный, плотский, идеальный, сверхчеловеческий экстаз этой нежности? А эти поцелуи на розовом теле, на красном теле, на белом теле, на чудесно разнообразном, хрупком, редкостном, тонком, нежном теле изумительных цветов!

У меня есть оранжереи, куда не входит никто, кроме меня и садовника.

Я прокрадываюсь туда, как в место тайных наслаждений. Сначала иду по высокой застекленной галерее, между двумя рядами сомкнутых, приоткрытых или распустившихся венчиков, спускающихся пологом от крыши до потолка. Они посылают мне первый поцелуй.

Но эти цветы, украшающие собою преддверие моих тайных страстей, не фаворитки мои, а только служанки.

Они приветствуют меня, когда я прохожу, своими изменчивыми красками, своим свежим дыханием. Они грациозны, кокетливы, они поднимаются в восемь ярусов справа и в восемь ярусов слева и растут так тесно, что кажется, будто к моим ногам спускаются два сада.

При виде их сердце мое бьется, глаза загораются, кровь кипит в жилах, душа опьяняется, и руки уже трепещут от желания прикоснуться. Я прохожу. В конце этой высокой галереи три запертых двери. Я могу выбирать. У меня три гарема.

Чаще всего я вхожу к орхидеям, к любимым моим усыпительницам. Комната у них низкая, душная. От го-

рячего и сырого воздуха тело становится влажным, дыхание прерывистым, пальцы дрожат. Эти загадочные девы приходят к нам из болотистых стран, знойных и нездоровых. Они привлекательны, как сирены, смертельны, как яд, они изумительно причудливы, они волнуют, ужасают. Вот они, похожие на бабочек, с огромными крыльями, с тонкими лапками, с глазами! Да, у них есть глаза! Они глядят на меня, они видят меня, эти чудесные, неправдоподобные создания, эти феи, дочери священных стран, неосязаемого воздуха и жаркого света — отца мира. Да, у них есть крылья, есть глаза, есть оттенки, которых не воспроизведет ни один художник, они наделены всем очарованием, всей красотой, всеми формами, какие только могут пригрезиться. Их чресла расширяются, благоуханные и прозрачные, открытые для любви и более соблазнительные, чем любое женское тело. Невообразимые очертания их маленьких тел бросают опьяненную душу в рай идеальных образов, идеального сладострастия. Они трепещут на стеблях, словно собираясь улететь. Хотят ли они лететь, прилететь ко мне? Нет, это сердце мое летает над ними, как мистический муж, измученный любовью.

Ничье крыло не может коснуться их. Они одни со мною в той светлой темнице, которую я построил для них. Я гляжу на них, созерцаю, любуясь ими, я обожаю их одну за другою.

Какие они сочные, глубокие, розовые — того розового цвета, который увлажняет губы желанием! Как я их люблю! Чашечка у них по краям завивается, там она бледнее шейки, и в ней прячется венчик — таинственный, заманчивый рот, сладостный на вкус, показывающий и снова скрывающий нежные, обаятельные и священные органы этих божественных маленьких созданий, которые приятно пахнут и не говорят.

Иногда меня охватывает страсть к одной из них, и страсть эта длится столько же, сколько длится существование ее предмета,— несколько дней, несколько вечеров. Тогда ее уносят из общей теплицы и заключают в крохотной стеклянной комнатке, где по ложу тропического газона, привезенного с Тихоокеанских островов, журчит ручеек. И я остаюсь с нею, пылкий, трепещущий, измученный, зная, как близка ее смерть, видя, как

она увядает, пока я обладаю ею, пока в несказанной ласке я вдыхаю, впиваю, срываю ее короткую жизнь».

. . . . . .

Закончив чтение отрывков, адвокат продолжал:

— Приличие, господа судьи, не позволяет мне сообщить вам дальнейшие удивительные признания этого извращенного мечтателя и безумца. Думаю, что тех выдержек, которые я предложил вашему вниманию, будет достаточно, чтобы оценить по достоинству этот случай душевной болезни,— болезни, которая в нашу эпоху истерических помешательств, вырождения и испорченности далеко не такая редкость, как это кажется.

Итак, я полагаю, что в том исключительном положении, в какое поставило мою доверительницу странное расстройство ее мужа, она имеет больше прав на развод, чем всякая другая женщина.

КТО ЗНАЕТ?

I

Боже мой! Боже мой! Итак, я наконец запишу все, что со мной случилось! Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так невероятно, так непонятно, так безумно!

Если бы я не был уверен в том, что действительно видел все это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях — никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений — никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинации, игралищем странных видений. Но в конце концов кто знает?

Сейчас я нахожусь в лечебнице, но я пришел сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле. Здешний врач. Я ее запишу. Сам не знаю зачем. Затем, чтобы отделаться от нее, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар.

Вот она.

Я всегда был человеком одиноким, мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника; я был доброжелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадовал на бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это? Не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями, но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то

даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать все растущее, мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве.

Это желание — больше, чем потребность; это настоятельная необходимость. И если бы присутствие людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной, несомненно, случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает! Может быть, простой обморок? Да, возможно.

Я так люблю одиночество, что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною; я не могу жить в Париже, для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно, но и мое тело и мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живет вокруг меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня еще тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания.

Почему я такой? Кто знает! Причина, быть может, очень проста: я слишком быстро утомляюсь от всего того, что происходит вне меня. И таких людей вовсе не мало.

На земле существует две породы людей. Те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъем на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие — те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют, тогда как одиночество успокаивает их и дает им отдых благодаря независимому и прихотливому полету мысли.

Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие — жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается, и как только наступает его предел, во всем моем теле и в моем сознании появляется ощущение тяжелого недомогания.

В силу этого я привязываюсь и всегда очень был

привязан к вещам неодушевленным; для меня они получали значение живых существ, и дом мой превращался в мир, где я жил уединенной и деятельной жизнью среди вещей, мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица. Я постепенно наполнял, украшал ими дом и среди них чувствовал себя довольным, удовлетворенным, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычные ласки которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью.

Я выстроил этот дом в прекрасном саду, отделявшем его от дороги; стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике, в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим.

В тот день в городском театре давали *Сигурда*. Я впервые слышал эту прекрасную феерическую музыкальную драму и получил большое удовольствие.

Домой я возвращался пешком, быстрыми шагами. В ушах еще звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла черная-черная, такая черная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От заставы до моего дома было около километра, а может быть, немного больше, минут двадцать спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго; небо постепенно светлело, и наконец появился месяц, грустный месяц последней четверти. Месяц первой четверти, тот, что встает в четыре — пять часов вечера,— веселый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи,— красноватый, мрачный и тревожный: настоящий месяц шабаша. Это, должно быть, знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы тонкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но веселый, радующий сердце и рисующий на земле отчетливые тени; на ущербе же он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается.

Я завидел вдали темную массу своего сада, и, не знаю почему, мне стало как-то не по себе при мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Было очень тепло. Большая купа деревьев казалась усыпальницей, где погребен мой дом.

Я открыл калитку и вошел в длинную аллею сикомор; она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель; он прорезал темные массивы зелени и огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумраке овальными пятнами неразличимых оттенков.

Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно. Даже ветерок не шумел в листве. «Что это со мной?» — подумал я. Целых десять лет возвращался я домой таким образом и ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привел бы меня в бешенство, и я, не колеблясь, бросился бы на него. К тому же я был вооружен. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зарождавшееся ощущение страха.

Что это было? Предчувствие? Таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое? Возможно. Кто знает?

По мере того как я подвигался вперед, меня начинала охватывать дрожь, и когда я подошел к стене, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что, прежде чем открыть дверь и войти, мне придется подождать несколько минут. Тогда я сел на скамью под окнами гостиной. Я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает часто: иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, топот толпы.

Но вскоре этот звук стал отчетливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах, это были какие-то особые, хотя и смутные шорохи, несомненно, исходившие из моего дома.

Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание,— и то был скорее шелест, чем шум, непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель.

О, я еще довольно долго сомневался в верности своего слуха. Но, приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странное движение, происходившее в доме, я уверился, убедился, что там делается что-то особенное и непонятное. Я не боялся, но был... как бы это определить?.. был изумлен. Заряжать револьвер я не стал, догадавшись — и правильно,— что в этом нет никакой надобности. Я ждал.

Я ждал долго и не мог ни на что решиться. Ум мой был ясен, но отчаянно возбужден. Я ждал стоя и все прислушивался к нараставшему шуму; временами он доходил до какого-то яростного напряжения, так что казалось, будто слышишь рев нетерпения, гнева, непонятного возмущения.

И вдруг мне стало стыдно своей трусости: я выхватил связку ключей, выбрал нужный ключ, вложил в скважину, дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь, так что она ударилась в стену.

Удар прогремел, как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и выпул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность.

Я подождал еще — о, очень недолго! Теперь я уже различал какой-то необычайный топот по ступенькам лестницы, по паркету, по коврам, топот не подошв, не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей: железные костыли гремели, как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло — мое большое кресло для чтения, вразвалку выходившее из дому. И оно проследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной, потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низенькие канапе, потом проскакали, словно козы, все мои стулья, а за ними трусили кроликами табуретки.

О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревь-

ев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели: ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гудела в его чреве; словно муравьи, спешили по песку мелкие предметы: щетки, хрусталь, бокалы,— и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами, наподобие каракатиц. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века; в нем лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая история, так выстраданная мной! И фотографии тоже были в нем.

И вдруг я перестал бояться, я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину; но он двигался с непреодолимой силой, и, несмотря на все старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю. И он потащил, повлек меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги; а когда я разжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату.

Наконец, обезумев от страха, я все-таки уполз с с большой аллеи... и снова притаился под деревьями; оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные,— те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне.

И затем вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому сверху донизу, пока наконец не закрылась последней входная — та, которую я сам, безумец, открыл для этого бегства вещей.

И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в город, и только на его улицах я успокоился, встречая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали, кое-как руками почистил одежду, стряхнув с нее пыль, и рассказал, будто потерял связку ключей, в том числе и ключ от огорода, где спали в

домике мои люди,— спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров.

Я зарылся с головой в постель. Но заснуть не мог и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предуведомили еще до восхода солнца, и в семь часов утра ко мне постучался камердинер.

На нем лица не было.

— Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье,— сказал он.

— Что такое?

— Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи.

Это сообщение обрадовало меня. Почему? Кто знает! Я отлично владел собою, был уверен, что скрою все, никому ничего не скажу о том, что я видел, утаю все это, похороню в своей памяти, как страшную тайну. Я ответил:

— Так это те самые воры, которые украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я сейчас же встану, и мы пойдем вместе.

Следствие длилось пять месяцев. Ничего не было открыто, не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, черт! Если бы я сказал, то, что было мне известно... если бы я это сказал... да они бы меня посадили под замок! Меня! Не воров, а того человека, который мог видеть подобное!

О, я умел молчать! Но обставлять дом заново я не стал. Совершенно лишнее. Все началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом. И не вернулся. Больше я его не видел.

Я уехал в Париж, остановился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния своих нервов; после той страшной ночи оно начало беспокоить меня.

Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету.

II

Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флорен-

Худ. Морис Ламбер. 1908. «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ФРАНКОВ СТАРШЕЙ СЕСТРЫ».

Худ. Рене Лелон. 1902. «НАШЕ СЕРДЦЕ».

Худ. Рене Лелон. 1902. «НАШЕ СЕРДЦЕ».

цию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своею природой и памятниками — реликвиями, оставшимися от греков и норманнов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную желтую безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники-арабы, где в легком и прозрачном воздухе ни днем, ни ночью вас не преследует никакое наваждение.

Затем я вернулся во Францию через Марсель, и, несмотря на всю провансальскую веселость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразное ощущение, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен.

Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии, где я никогда не бывал.

Начал я, разумеется, с Руана и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому средневековому городу, по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики.

И вот однажды, около четырех часов дня, я забрел на какую-то невероятную улицу, где протекает черная, как чернила, река под названием О-де-Робек, заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой.

О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке, над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых еще скрипели старинные флюгера.

В глубине темных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, неверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба — Иисусы, мадонны, святые; церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды и старая позолоченная деревянная дарохранительница, которую господь бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны

были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды, чтобы новые поколения скупали их как редкость!

В этом антикварном квартале ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в два прыжка перебираясь по мостам в четыре гнилые доски, переброшенным над вонючим течением О-де-Робек.

Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу, в усыпальницу старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошел, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался. Но это, несомненно, был мой шкаф стиля Людовика XIII, уникальная вещь, которой не мог не узнать тот, кто видел ее хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперед, в еще более мрачные глубины этой галереи, я различил три своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы, а затем подальше — два моих стола времен Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них.

Подумайте! Подумайте, каково было мое состояние!

И я пошел вперед; ноги не слушались меня, я умирал от волнения, но все шел, потому что я храбр; я шел, как рыцарь давних, темных времен, проникающий в заколдованное жилище. И с каждым шагом я открывал все свои вещи: мои люстры, мои книги, мои картины, мои ткани, мое оружие — все, кроме стола с письмами,— его я не видел.

Я шел, спускаясь в темные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один. Я звал, мне не отвечали. Я был один: в этом доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого.

Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал:

— Эй! Эй, кто-нибудь!

Я, наверно, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги, легкие медленные шаги. Я чуть не сбежал,

но потом, успокоившись, позвал еще раз и увидел в соседней комнате свет.

— Кто там? — спросил голос.

Я отвечал:

— Покупатель.

Мне ответили:

— Сейчас уже поздно ходить по лавкам.

Но я сказал:

— Я жду вас больше часа.

— Можете прийти завтра.

— Завтра я уезжаю из Руана.

Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой. Я сказал:

— Ну, что же, вы идете?

Он отвечал:

— Я жду вас.

Я встал и направился к нему.

Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек, совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый,— отвратительный феномен.

У него была реденькая неровная бороденка из скудных желтоватых волосков, и ни одного волоса на голове. Ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне маленькой луною в этой огромной комнате, заставленной старинной мебелью. Лицо было сморщенное и одутловатое, глаза — еле заметные щелки.

Я купил три своих собственных стула, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Стулья надлежало доставить на следующий день к девяти часам утра.

Затем я ушел. Он очень вежливо проводил меня до дверей.

Я немедленно явился к главному комиссару полиции и рассказал ему о случившейся у меня покраже движимости и о только что сделанном открытии.

Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой покраже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ был получен, и притом вполне для меня удовлетворительный.

— Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека,— сказал мне комиссар.— Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через два часа. Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас.

— С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас.

Я пошел обедать к себе в гостиницу и ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался!

Через два часа я вернулся к полицейскому чиновнику; он ждал меня.

— Что делать, сударь! — сказал он, увидев меня.— Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его.

Ах! Я почувствовал, что мне дурно.

— Но... дом его вы нашли? — спросил я.

— Разумеется. Этот дом даже взят под наблюдение, пока не вернется хозяин. Но хозяин исчез.

— Исчез?

— Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьевщицы, вдовы Бидуэн, довольно занятной ведьмы. Но сегодня вечером она его не видела и ничего не может о нем сообщить. Придется подождать до завтра.

Я ушел. О, какими мрачными, пугающими, полными наваждения казались мне руанские улицы!

Спал я плохо, все время просыпался от кошмаров.

Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался десяти часов и только тогда явился в полицию.

Торговец не возвращался. Магазин его был все еще закрыт.

Комиссар сказал мне:

— Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела: мы вместе пойдем в эту лавку и вскроем ее. Вы мне покажете все ваши вещи.

Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта.

Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов — ничего, ничего из той мебели, которой был обставлен мой дом! Ничего! А накануне вече-

ром я шага не мог сделать, чтобы не наткнуться на какую-нибудь свою вещь.

Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво.

— Боже мой, сударь,— сказал я ему,— исчезновение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца.

Он улыбнулся:

— Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули.

Я сказал:

— Непонятно мне одно — на всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая.

— О,— отвечал комиссар,— у него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединен с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом. Разбойник ускользнул от нас ненадолго; мы ведь стережем его берлогу.

. . . . . .

О, сердце, сердце мое, бедное мое сердце, как оно билось!

. . . . . .

В Руане я пробыл пятнадцать дней. Этот человек не вернулся. О, черт! О, черт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать врасплох?

И вот на шестнадцатый день утром я получил от своего садовника, сторожа моего ограбленного и опустевшего дома, следующее странное письмо:

«Сударь,

Честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиция не больше нашего. Вся мебель вернулась — вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь такой же, как накануне покражи. Есть от чего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день пропажи.

Мы ждем вас, сударь. Ваш покорный слуга

Филипп Роден».

Ну, уж нет! Ну, уж нет! Ну, уж нет! Не вернусь.

Письмо я отнес руанскому комиссару.

— Возврат сделан ловко,— сказал он мне.— Запасемся терпением. На днях мы этого молодца сцапаем.

. . . . . .

Не сцапали они его. Нет. Не сцапали, а вот я теперь боюсь его так, словно это дикий зверь, натравленный на меня.

Неуловим! Он неуловим, этот изверг с черепом, похожим на луну! Никогда его не поймают. Он не вернется домой. Очень-то ему нужно! Встретить его не может никто, кроме меня, а я этого не хочу.

Не хочу! Не хочу! Не хочу!

А если он вернется, придет в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания, а я отлично чувствую, что оно становится подозрительным.

Ах, нет! Такое состояние было невыносимо! И я уже не мог держать в тайне все, что видел. Не мог я жить, как живут все, и вечно бояться, что снова начнется что-нибудь такое.

Я пришел к главному врачу этой лечебницы и открыл ему все.

Он долго расспрашивал меня, а затем сказал:

— Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь?

— С большим удовольствием, сударь.

— Вы человек состоятельный?

— Да, сударь.

— Хотите отдельный флигель?

— Да.

— Вам угодно принимать друзей?

— Нет, нет, никого. Этот руанский человек, может быть, попытается отомстить мне, он способен преследовать меня и здесь.

. . . . . .

И вот уже три месяца я один, один, совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного... что, если антикварий сойдет с ума... И если его поместят здесь... Ведь даже тюрьма не вполне надежна.

НАШЕ СЕРДЦЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Однажды Масиваль, музыкант, прославленный автор *Ревекки,* тот, кого уже лет пятнадцать называли «знаменитым молодым маэстро», сказал своему другу Андре Мариолю:

— Почему ты не попросишь, чтобы тебя представили госпоже де Бюрн? Уверяю тебя, это одна из интереснейших женщин современного Парижа.

— Потому, что я вовсе не создан для этого общества.

— Дорогой мой, ты неправ. Это очень своеобразный, очень современный, живой и артистический салон. Там много занимаются музыкой, там ведут беседу не хуже, чем в салонах лучших сплетниц прошлого столетия. Тебя в этом доме оценили бы,— прежде всего потому, что ты превосходный скрипач, во-вторых, потому, что там о тебе было сказано много хорошего, наконец потому, что ты слывешь человеком не банальным и не расточительным на знакомства.

Мариоль был польщен, но, все еще противясь и к тому же предполагая, что это настойчивое приглашение делается не без ведома молодой женщины, проронил: «Ну, меня это мало интересует»; и в этом нарочитом пренебрежении уже звучала нотка согласия.

Масиваль продолжал:

— Хочешь, я представлю тебя на днях? Да ты, впрочем, уже знаешь ее по рассказам друзей; ведь мы

довольно часто говорим о ней. Ей двадцать восемь лет, это очень красивая женщина, большая умница; она не хочет вторично выходить замуж, потому что в первом браке была крайне несчастлива. Она сделала свой дом местом встреч приятных людей. Там не слишком много клубных завсегдатаев и светских пошляков. Ровно столько, сколько требуется для придания блеска. Она будет в восторге, если я тебя приведу.

Побежденный Мариоль ответил:

— Пусть будет по-твоему. Как-нибудь на днях.

В начале следующей недели композитор зашел к нему и спросил:

— Ты завтра свободен?

— Да... пожалуй.

— Отлично. Пойдем обедать к госпоже де Бюри. Она мне поручила пригласить тебя. Впрочем, вот и ее записка.

Подумав несколько мгновений для приличия, Мариоль ответил:

— Пойдем.

Андре Марнолю было лет тридцать семь, он был холост, ничем не занимался, был достаточно богат, чтобы позволить себе жить как ему вздумается, путешествовать и даже собрать прекрасную коллекцию новой живописи и старинных безделушек; он слыл человеком остроумным, немного сумасбродным, немного нелюдимым, чуть прихотливым, чуть высокомерным, разыгрывающим отшельника скорее из гордости, чем от застенчивости. Богато одаренный, тонкого ума, но ленивый, способный все понять и, быть может, многое сделать, он довольствовался тем, что наслаждался жизнью в качестве зрителя или, вернее, знатока. Будь он беден, он, несомненно, стал бы выдающимся человеком и знаменитостью, но, родившись богатым, он вечно упрекал себя за то, что не сумел ничего добиться. Правда, он предпринимал ряд попыток, но слишком нерешительных, в области искусств: одну — на литературном поприще, издав путевые заметки, интересные, живые и изысканные по стилю; другую — в области музыки, увлекаясь игрой на скрипке,— и тут он приобрел, даже среди профессиональных исполни-

телей, славу одаренного дилетанта; и наконец третью попытку — в области скульптуры, того искусства, где прирожденная ловкость и дар смело намечать обманчивые контуры заменяют в глазах невежд мастерство и выучку. Его глиняная статуэтка *Тунисский массажист* принесла ему даже некоторый успех на прошлогодней выставке.

Говорили, что он не только прекрасный наездник, но и выдающийся фехтовальщик, хоть он никогда не выступал публично, вероятно, из-за той же робости, которая заставляла его избегать светских кругов, где можно было опасаться серьезного соперничества.

Но друзья единодушно хвалили и ценили его, быть может, потому, что он не затмевал их. Во всяком случае, о нем говорили как о человеке надежном, преданном, отзывчивом и приятном в обращении.

Роста выше среднего, с черной бородкой, коротко подстриженной на щеках и образующей на подбородке острый клин, со слегка седеющими, но красиво вьющимися волосами, он отличался открытым взглядом ясных, живых карих глаз, недоверчивых и чуть суровых.

Среди его друзей преобладали деятели искусства — романист Гастон де Ламарт, музыкант Масиваль, художники Жобен, Риволе, де Модоль, которые, казалось, высоко ценили его дружбу, его ум, остроумие и даже его суждения, хотя в глубине души они с высокомерием людей, достигших успеха, считали его неудачником — пусть очень милым и очень умным.

Его надменная сдержанность как бы говорила: «Я ничто, потому что не захотел быть чем-либо». И он вращался в узком кругу, пренебрегая великосветским флиртом и модными салонами, где другие блистали бы ярче и оттеснили бы его в толпу светских статистов. Он посещал только такие дома, где могли правильно оценить его неоспоримые, но скрытые качества; и он так быстро согласился быть представленным г-же Мишель де Бюрн лишь потому, что лучшие его друзья, те самые, которые всюду рассказывали об его скрытых достоинствах, были постоянными гостями этой молодой женщины.

Она жила в первом этаже прекрасного дома на

улице Генерала Фуа, позади церкви Сент-Огюстен. Две комнаты — столовая и та гостиная, где принимали всех,— выходили на улицу, две другие — в прелестный сад, находившийся в распоряжении домовладельца. С этой стороны помещалась вторая гостиная, очень просторная, скорее длинная, чем широкая, с тремя окнами, откуда были видны деревья, листья которых касались ставен; она была обставлена исключительно простыми и редкими предметами безупречного, строгого вкуса и огромной ценности. Стулья, столы, прелестные шкафчики и этажерки, картины, веера и фарфоровые статуэтки в горке, вазы, фигурки, громадные стенные часы, обрамленные панно,— все убранство дома молодой женщины влекло и приковывало взоры своим стилем, стариной или изяществом. Чтобы создать себе такую обстановку, которой она гордилась почти так же, как самой собою, она воспользовалась дружбой, любезностью и чутьем всех знакомых ей художников. Они с охотничьим азартом выискивали для нее, богатой и щедрой, вещи, отмеченные тем неповторимым отпечатком, которого не улавливает вульгарный любитель, и благодаря этим людям г-жа де Бюрн создала знаменитый, малодоступный салон, где, как ей представлялось, гости чувствовали себя лучше и куда шли охотнее, нежели в заурядные салоны других светских женщин.

Одна из излюбленных ее теорий заключалась в том, что оттенок обоев, занавесей, уютность кресел, приятность форм, изящество целого нежат, чаруют и ласкают взоры не меньше, чем обворожительные улыбки хозяев. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспламеняют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать, повергают в печаль или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти.

В этой несколько сумрачной гостиной, между двумя жардиньерками с цветами, на почетном месте стоял величественный рояль. Дальше высокая двустворчатая дверь вела в спальню, за которой следова-

ла туалетная, тоже очень элегантная и просторная, обитая персидской материей, как летняя гостиная; здесь г-жа де Бюрн обычно проводила время, когда бывала одна.

Выйдя замуж за светского негодяя, за одного из тех семейных тиранов, которым все должны подчиняться и уступать, она вначале была очень несчастна. Целых пять лет ей приходилось терпеть жестокость, требовательность, ревность, даже грубость этого отвратительного властелина; и, терроризованная, ошеломленная неожиданностью, она безропотно покорилась игу открывшейся перед нею супружеской жизни; она была подавлена деспотической, гнетущей волей грубого мужчины, жертвой которого оказалась.

Однажды вечером, возвращаясь домой, муж ее умер от аневризма, и когда принесли его тело, завернутое в одеяло, она долго вглядывалась в него, не веря в реальность освобождения, чувствуя глубокую, сдерживаемую радость и боясь обнаружить ее.

От природы независимая, веселая, даже экспансивная, обворожительная и очень восприимчивая, с проблесками вольнодумства, которые каким-то образом появляются у иных парижских девочек, словно они с детских лет вдыхали пряный воздух бульваров, куда по вечерам через распахнутые двери театров врывается тлетворная атмосфера одобренных или освистанных пьес,— она все же сохранила от своего пятилетнего рабства какую-то застенчивость, сочетавшуюся с прежней смелостью, постоянную боязнь как бы не сделать, не сказать лишнего, жгучую жажду независимости и твердую решимость уже никогда больше не рисковать своей свободой.

Ее муж, человек светский, заставлял ее устраивать приемы, на которых она играла роль бессловесной, изящной, учтивой и нарядной рабыни. Среди друзей этого деспота было много деятелей искусства, и она принимала их с любопытством, слушала с удовольствием, но никогда не решалась показать им, как хорошо она их понимает и как высоко ценит.

Когда кончился срок траура, она как-то пригласила нескольких из них к обеду. Двое уклонились, трое же приняли приглашение и с удивлением нашли в ней

обаятельную молодую женщину с открытой душой, которая тотчас же безо всякого жеманства мило призналась им в том, какое большое удовольствие доставляли ей прежние их посещения.

Так постепенно она выбрала среди старых знакомых, мало знавших или мало ценивших ее, несколько человек себе по вкусу и, в качестве вдовы, в качестве свободной женщины, желающей, однако, сохранить безупречную репутацию, стала принимать наиболее изысканных мужчин, которых ей удалось собрать вокруг себя, присоединив к ним лишь двух—трех женщин.

Первые приглашенные стали близкими друзьями, образовали ядро, за ними последовали другие, и дому был придан уклад небольшого монаршего двора, куда каждый приближенный приносил либо талант, либо громкое имя; несколько тщательно отобранных титулов примешивалось здесь к светлым умам разночинной интеллигенции.

Ее отец, г-н де Прадон, занимавший верхний этаж, служил как бы блюстителем нравственности и защитником ее доброго имени. Старый волокита, чрезвычайно элегантный, остроумный, он уделял ей много внимания и обращался с ней скорее как с дамой сердца, чем как с дочерью; он возглавлял обеды, которые она давала по четвергам и которые вскоре приобрели в Париже славу, став предметом толков и зависти. Просьбы быть представленным и приглашенным все учащались; их обсуждали в кружке приближенных и часто отклоняли после своего рода голосования. Несколько острот, сказанных в этом салоне, облетели весь город. Здесь дебютировали актеры, художники и молодые поэты, и это было для них как бы крещением их славы. Лохматые гении, приведенные Гастоном де Ламартом, сменяли у рояля венгерских скрипачей, представленных Масивалем, а экзотические танцовщицы изумляли здесь гостей своей волнующей пластикой, прежде чем появиться перед публикой Эдема или Фоли-Бержер.

Г-жа де Бюрн, сохранившая тяжелое воспоминание о своей светской жизни под гнетом мужа и к тому же ревниво оберегаемая друзьями, благоразумно

воздерживалась слишком расширять круг знакомых. Довольная и в то же время чувствительная к тому, что могли бы сказать и подумать о ней, она отдавалась своим немного богемным наклонностям, сохраняя вместе с тем какую-то буржуазную осторожность. Она дорожила своею репутацией, остерегалась безрассудств, была корректна в своих прихотях, умерена в дерзаниях и заботилась о том, чтобы ее не могли заподозрить ни в одной связи, ни в одном флирте, ни в одной интриге.

Все пытались обольстить ее; но никому, как говорили, это не удалось. Они исповедовались друг другу и признавались в этом с удивлением, ибо мужчины с трудом допускают — и, пожалуй, не без оснований — такую добродетель в независимой женщине. Вокруг нее создалась легенда. Говорили, будто ее муж проявил в начале их совместной жизни столь возмутительную грубость и такие невероятные требования, что она навсегда излечилась от любви. И ее друзья часто обсуждали это между собой. Они неизбежно приходили к выводу, что девушка, воспитанная в мечтах о любовных ласках и в ожидании волнующей тайны, которая представляется ей как что-то мило-постыдное, что-то нескромное, но утонченное, должна быть потрясена, когда сущность брака раскрывается перед нею грубым самцом.

Светский философ Жорж де Мальтри добавлял с легкой усмешкой: «Ее час еще пробьет. Он никогда не минует таких женщин. И чем позднее, тем громче он прозвучит. Наша приятельница, с ее артистическими вкусами, влюбится на склоне лет в какого-нибудь певца или пианиста».

Гастон де Ламарт придерживался другого мнения. Как романист, психолог и наблюдатель, изучающий светских людей, с которых он, кстати сказать, писал иронические, но схожие портреты, он считал, что понимает женщин и разбирается в их душе с непогрешимой и непревзойденной проницательностью. Он причислял г-жу де Бюрн к разряду тех нынешних сумасбродок, образ которых он дал в своем любопытном романе «Одна из них». Он первый описал эту новую породу женщин, породу рассудительных истеричек,

которых терзают нервы, беспрестанно томят противоречивые влечения, даже не успевающие стать желаниями, женщин во всем разочарованных, хотя они еще ничего не испытали по вине обстоятельств, по вине эпохи, условий момента, современных романов; эти женщины, лишенные огня, неспособные на увлечение, сочетают в себе прихоти избалованных детей с черствостью старых скептиков.

Как и другие, он потерпел неудачу в своих попытках увлечь ее.

А в г-жу де Бюрн один за другим влюблялись все ее приближенные, и после кризиса они долго еще бывали растроганы и взволнованы. Мало-помалу они образовали как бы маленькую общину верующих. Эта женщина была для них мадонной, и они без конца говорили о ней, подвластные ее обаянию даже издали. Они чтили ее, восхваляли, критиковали или порицали, смотря по настроению, в зависимости от обид, неудовольствия или зависти, когда она выказывала предпочтение кому-нибудь из них. Они постоянно ревновали ее друг к другу, немного друг за другом шпионили; но всегда держались вокруг нее сплоченными рядами, чтобы не подпустить какого-нибудь опасного соперника. Самые преданные были: Масиваль, Гастон де Ламарт, толстяк Френель, молодой философ, весьма модный светский человек Жорж де Мальтри, известный своими парадоксами, красноречием и разносторонней образованностью, всегда пополняемой последними научными достижениями, непонятный даже для самых горячих его поклонниц; он славился также своими костюмами, такими же изысканными, как и его теории. К этим выдающимся людям хозяйка дома прибавила несколько светских друзей, слывших остроумными: графа де Марантена, барона де Гравиля и двух — трех других.

Самыми привилегированными среди избранных были Масиваль и Ламарт, обладавшие, казалось, даром всегда развлекать молодую женщину, которую забавляла их артистическая непринужденность, их болтовня и умение подтрунивать над всеми и даже над нею самою, когда она позволяла. Но ее желание — то ли естественное, то ли нарочитое — не оказывать ни од-

ному из поклонников длительного и явного предпочтения, шаловливый, непринужденный тон ее кокетства и подлинная справедливость в распределении знаков внимания поддерживали между ними дружбу, приправленную враждой, и умственное возбуждение, делавшее их привлекательными.

Иной раз кто-нибудь из них, чтобы досадить другим, представлял своего знакомого. Но так как этот знакомый обычно не бывал человеком особенно выдающимся или особенно интересным, остальные, объединившись против него, вскоре его выживали.

И вот Масиваль ввел в дом своего товарища, Андре Мариоля.

Лакей в черном фраке доложил:

— Господин Масиваль! Господин Мариоль!

Под огромным пышным облаком розового шелка — непомерно большим абажуром, который отбрасывал на старинный квадратный мраморный столик ослепительный свет лампы-маяка, укрепленной на высокой колонне из золоченой бронзы, над альбомом, только что принесенным Ламартом, склонились четыре головы: женская и три мужских. Писатель перевертывал страницы и давал пояснения.

Женщина обернулась к входившим, и Мариоль увидел ясное лицо слегка рыжеватой блондинки, с непокорными завитками на висках, пылавшими, как горящий хворост. Тонкий вздернутый нос, живая улыбка, рот с четко очерченными губами, глубокие ямочки на щеках, чуть выдающийся раздвоенный подбородок придавали этому лицу насмешливое выражение, в то время как глаза, по странному контрасту, обволакивали его грустью. Они были голубые, блекло-голубые, словно синева их выгорела, стерлась, слиняла, а посредине сверкали черные, круглые, расширенные зрачки. Этот блестящий, странный взгляд как бы свидетельствовал о грезах, навеянных морфием, если не был вызван просто-напросто кокетливым действием белладонны.

Г-жа де Бюрн, стоя, протягивала руку, здоровалась, благодарила.

— Я уже давно прошу моих друзей привести вас,— говорила она Мариолю,— но мне всегда приходится по

нескольку раз повторять такие просьбы, чтобы их исполнили.

Это была высокая, изящная, немного медлительная в движениях женщина; скромно декольтированное платье чуть обнажало прекрасные плечи, плечи рыжеватой блондинки, бесподобные при вечернем освещении. Между тем волосы ее были не красноватыми, а того непередаваемого оттенка, какой бывает у опавших листьев, опаленных осенью.

Потом она представила г-на Мариоля своему отцу, который поклонился и подал ему руку.

Мужчины, разбившись на три группы, непринужденно беседовали, как у себя дома, в обычном своем кругу, которому присутствие женщины придавало оттенок галантности.

Толстяк Френель беседовал с графом де Марантеном. Постоянное присутствие Френеля в этом доме и предпочтение, которое оказывала ему г-жа де Бюрн, часто возмущало и сердило ее друзей. Еще молодой, но толстый, как сосиска, надутый, сопящий, почти безбородый, с головой, осененной зыбким облачком светлых и непокорных волос, такой заурядный, скучный, он в глазах молодой женщины имел, несомненно, заслугу, неприятную для остальных, но существенную для нее,— а именно то, что любил ее без памяти, сильнее и преданнее всех. Его окрестили «тюленем». Он был женат, но никогда не заикался о том, чтобы ввести в дом г-жи де Бюрн свою жену, которая, по слухам, даже издали очень ревновала его. Особенно Ламарт и Масиваль возмущались явной симпатией их приятельницы к этой сопелке, но когда они не выдерживали и упрекали ее в дурном вкусе, эгоистичном и заурядном, она отвечала, улыбаясь:

— Я люблю его, как славного, верного песика.

Жорж де Мальтри рассказывал Гастону де Ламарту о последнем, еще не изученном открытии микробиологов.

Де Мальтри сопровождал свои рассуждения бесконечными тонкими оговорками, но романист Ламарт слушал его с тем воодушевлением, с той доверчивостью, с какою литераторы, не задумываясь, воспринимают все, что кажется им самобытным и новым.

Великосветский философ, со светлыми, как лен, волосами, высокий и стройный, был затянут во фрак, тесно облегавший его талию. Тонкое лицо его, выступавшее из белого воротничка, было бледно, а светлые плоские волосы казались наклеенными.

Что касается Ламарта, Гастона де Ламарта, которому частица «де» внушала некоторые дворянские и великосветские притязания, то это был прежде всего литератор, неумолимый и беспощадный литератор. Вооруженный зорким взглядом, который схватывал образы, положения, жесты с быстротой и точностью фотографического аппарата, и наделенный проницательностью и врожденным писательским чутьем, похожим на нюх охотничьей собаки, он с утра до ночи накапливал профессиональные наблюдения. Благодаря двум очень простым способностям — четкому восприятию внешних форм и инстинктивному постижению внутренней сущности — он придавал своим книгам оттенки, тон, видимость и остроту подлинной жизни, причем они отнюдь не обнаруживали тенденций, обычных для писателей-психологов, а казались кусками человеческой жизни, выхваченными из действительности.

Выход в свет романов Ламарта вызывал в обществе волнения, пересуды, злорадство и негодование, так как всегда казалось, что в них узнаешь известных людей, едва прикрытых прозрачной маской, а его появление в гостиных неизменно влекло за собою тревогу. К тому же он опубликовал том своих воспоминаний, где набросал портреты некоторых знакомых мужчин и женщин, хотя и без явного недоброжелательства, но с такою точностью и беспощадностью, что многие были задеты. Кто-то прозвал его «гроза друзей».

Об этом человеке с загадочной душой и замкнутым сердцем говорили, что он страстно любил когда-то женщину, причинившую ему много страданий, и что теперь он мстит другим.

Ламарт с Масивалем прекрасно понимали друг друга, хотя музыкант и был совсем другим человеком — более открытым, более увлекающимся, быть может, менее глубоким, зато более экспансивным. После

двух крупных успехов — оперы, сначала исполненной в Брюсселе, а потом перенесенной в Париж, где ее восторженно встретили в Опера-Комик, и другого произведения, принятого и тотчас же поставленного в Гранд-Опера, где его высоко оценили. как предвестие прекрасного таланта,— он переживал своего рода упадок, который, как преждевременный паралич, постигает большинство современных художников. Они не стареют в лучах славы и успеха, как их отцы, а кажутся пораженными бессилием уже в самом расцвете сил. Ламарт говорил: «Теперь во Франции встречаются лишь неудавшиеся гении».

В то время Масиваль казался сильно увлеченным г-жой де Бюрн, и кружок уже поговаривал об этом; вот почему, когда он с благоговением целовал ее руку, все взоры обратились на него.

Он спросил:

— Мы опоздали?

Она ответила:

— Нет, я еще поджидаю барона де Гравиля и маркизу де Братиан.

— Ах, маркизу? Чудесно! Значит, мы займемся музыкой?

— Надеюсь.

Запоздавшие приехали. Маркиза была женщина, пожалуй, слишком полная для своего роста, итальянка по происхождению, живая, черноглазая, с черными бровями и ресницами, с черными волосами, столь густыми и обильными, что они спускались на лоб и затеняли глаза; она славилась среди светских женщин своим замечательным голосом.

Барон, человек с безупречными манерами, со впалой грудью и большой головой, казался вполне завершенным лишь с виолончелью в руках. Страстный меломан, он посещал только те дома, где ценили музыку.

Доложили, что кушать подано, и г-жа де Бюрн, взяв под руку Андре Мариоля, пропустила перед собою гостей. Когда она осталась с Мариолем последнею в гостиной, она, прежде чем последовать за остальными, искоса взглянула на него, и ему показалось, что в этих светлых глазах с черными зрачками он улавли-

вает какую-то более сложную мысль, более острый интерес, чем те, которыми обычно утруждают себя красивые женщины, принимая гостя за своим столом в первый раз.

Обед прошел несколько уныло и однообразно. Ламарт нервничал и держался враждебно — не открыто враждебно, ибо всегда старался быть корректным, а он заражал всех тем почти неуловимым дурным настроением, которое леденит непринужденную беседу. Масиваль, мрачный и озабоченный, мало ел и исподлобья посматривал на хозяйку дома, мысли которой, казалось, витали где-то далеко. Она была невнимательна, отвечала с улыбкой, но тут же умолкала и, видимо, думала о чем-то, хотя и не особенно увлекательном, но все же более интересном для нее в этот вечер, чем ее гости. Она старалась быть как можно предупредительнее к маркизе и Мариолю, но делала это по обязанности, по привычке, была явно рассеяна и занята чем-то другим. Френель и г-н де Мальтри спорили о современной поэзии. Френель придерживался на этот счет ходячих великосветских мнений, а г-н де Мальтри разъяснял суждения самых изощренных версификаторов, непостижимые для обывателей.

За обедом Мариоль еще несколько раз встречал пытливый взгляд молодой женщины, но уже более рассеянный, менее упорный, менее сосредоточенный. Только маркиза де Братиан, граф де Марантен и барон де Гравиль болтали без умолку и успели рассказать друг другу множество новостей.

Позднее Масиваль, который становился все сумрачнее, подсел к роялю и взял несколько аккордов. Г-жа де Бюрн словно ожила и наскоро устроила небольшой концерт из своих любимых произведений.

Маркиза была в голосе и, воодушевленная присутствием Масиваля, пела с подлинным мастерством. Композитор аккомпанировал ей с меланхолическим видом, который он всегда принимал играя. Его длинные волосы ниспадали на воротник фрака, смешиваясь с курчавой, широкой, блестящей и шелковистой бородой. Многие женщины были в него влюблены и, по слухам, преследовали его и сейчас. Г-жа де Бюрн, сидевшая около рояля, всецело погрузилась в музыку и, каза-

лось, одновременно и любовалась музыкантом и не видела его, так что Мариоль почувствовал легкую ревность. Он не ревновал именно ее и именно к нему, но, видя этот женский взгляд, зачарованный знаменитостью, он почувствовал себя уязвленным в своем мужском самолюбии, понимая, что женщины оценивают нас в зависимости от завоеванной нами славы. Не раз уже он втайне страдал, сталкиваясь со знаменитостями в присутствии женщин, благосклонность которых служит для многих высшею наградою за достигнутый успех.

Часов около десяти одна за другой приехали баронесса де Фремин и две еврейки из высших банковских сфер. Разговор шел об одной предстоящей свадьбе и о намечающемся разводе.

Мариоль смотрел на г-жу де Бюрн, которая сидела теперь у колонки, поддерживавшей огромную лампу.

Ее тонкий, слегка вздернутый нос, милые ямочки на щеках и подбородке придавали ей детски-шаловливый вид, несмотря на то, что ей было уже под тридцать, а ее глаза, напоминавшие поблекший цветок, были полны какой-то волнующей тайны. Кожа ее в ярком вечернем освещении принимала оттенки светлого бархата, в то время как волосы, когда она поворачивала голову, загорались рыжеватыми отблесками.

Она почувствовала мужской взгляд, устремленный на нее с другого конца гостиной, и вскоре встала и направилась к Мариолю, улыбаясь, словно в ответ на его призыв.

— Вы, должно быть, соскучились?—сказала она.— В непривычном обществе всегда немного скучно.

Он запротестовал.

Она пододвинула стул и села около него.

И они сразу же разговорились. Это произошло внезапно, как вспыхивает спичка, поднесенная к пламени. Казалось, они уже давно знали взгляды и чувства друг друга, а одинаковая природа, воспитание, одинаковые склонности, вкусы предрасположили их к взаимному пониманию и предназначили им встретиться.

Быть может, тут сказалась и ловкость молодой женщины, но радость при встрече с человеком, кото-

рый слушает, угадывает твои идеи, отвечает и, возражая, дает толчок к дальнейшему развитию мысли, воодушевила Мариоля. Польщенный к тому же оказанным ему приемом, покоренный ее влекущей грацией, чарами, которыми она умела окутывать мужчин, он старался обнаружить перед ней особенности своего ума, немного приглушенного, но самобытного и тонкого, привлекавшего к нему тех немногочисленных, но истинных друзей, которые его хорошо знали.

Вдруг она сказала:

— Право, сударь, с вами очень приятно беседовать. Мне, впрочем, так и говорили.

Он почувствовал, что краснеет, и дерзнул ответить:

— А меня, сударыня, предупреждали, что вы...

— Договаривайте: кокетка? Да, я всегда кокетничаю с теми, кто мне нравится. Это всем известно, и я этого отнюдь не скрываю, но вы убедитесь, что мое кокетство совершенно беспристрастно, и это дает мне возможность сохранять... или возвращать себе друзей, никогда не теряя их окончательно, и удерживать их всех около себя.

Ее затаенная мысль, казалось, говорила: «Будьте спокойны и не слишком самоуверенны; не обольщайтесь, вам ведь достанется не больше, чем другим».

Он ответил:

— Это называется откровенно предупреждать своих гостей о всех опасностях, которым они здесь подвергаются.

Она открыла ему путь для разговора о ней. Он этим воспользовался. Он начал с комплиментов и убедился, что она их любит; потом подстрекнул ее женское любопытство, рассказав о том, что говорят на ее счет в различных кругах общества, где он бывает. Она слегка встревожилась и не могла скрыть, что это ее интересует, хотя и старалась проявить полное равнодушие к тому, что могут думать об ее образе жизни и вкусах.

Он рисовал ей лестный портрет женщины независимой, умной, незаурядной и обаятельной, которая окружила себя талантами и вместе с тем осталась безукоризненно светской.

Она отклоняла его комплименты с улыбкой, потому что, в сущности, была польщена; она слегка отнекивалась, но от души забавлялась всеми подробностями, которые он сообщал, и шутя требовала все новых и новых, искусно выпытывая их с какою-то чувственной жадностью к лести.

Он думал, глядя на нее: «В сущности, это просто дитя, как и все женщины». И он закончил красивой фразой, воздав хвалу ее подлинной любви к искусству, столь редкой у женщин.

Тогда она неожиданно приняла насмешливый тон в духе той французской лукавой веселости, которая, по-видимому, является самой сущностью нашей нации.

Мариоль ее перехвалил. Она дала ему понять, что она не дурочка.

— Право же,— сказала она,— признаюсь вам, я и сама не знаю, что́ я люблю: искусство или художников.

Он возразил:

— Как можно любить художников, не любя самого искусства?

— Они иной раз интереснее светских людей.

— Да, но зато и недостатки их сказываются резче.

— Это правда.

— Значит, музыку вы не любите?

Она вдруг опять стала серьезной.

— О, нет. Музыку я обожаю. Я, кажется, люблю ее больше всего на свете. Тем не менее Масиваль убежден, что я в ней ровно ничего не понимаю.

— Он вам так сказал?

— Нет, он так думает.

— А откуда вы это знаете?

— О, мы, женщины, если чего-нибудь и не знаем, то почти всегда догадываемся.

— Итак, Масиваль считает, что вы ничего не понимаете в музыке?

— Я в этом уверена. Я чувствую это хотя бы по тому, как он мне ее объясняет, как подчеркивает оттенки, а сам в то же время, вероятно, думает: «Все равно бесполезно; я это делаю только потому, что вы очень милы».

— А ведь он мне говорил, что во всем Париже не

бывает таких прекрасных музыкальных вечеров, как у вас.

— Да, благодаря ему.

— А литературу вы не любите?

— Очень люблю и даже осмеливаюсь думать, что хорошо в ней разбираюсь, вопреки мнению Ламарта.

— Который тоже считает, что вы в ней ничего не понимаете?

— Разумеется.

— И который тоже не говорил вам об этом?

— Простите, он-то говорил. Он полагает, что некоторые женщины могут тонко и верно понимать выраженные чувства, жизненность действующих лиц, психологию вообще, но что им совершенно не дано ценить самое главное в его мастерстве: искусство. Когда он произносит слово «искусство», не остается ничего другого, как гнать его вон из дома.

Мариоль спросил, улыбаясь:

— А ваше мнение, сударыня?

Она немного подумала, потом пристально посмотрела на него, чтобы убедиться, что он действительно расположен ее выслушать и понять.

— У меня особое мнение на этот счет. Я думаю, что чувство... чувство — вы понимаете меня? — может раскрыть ум женщины для восприятия всего, что хотите; но только обычно это в нем не удерживается. Поняли меня?

— Нет, не совсем, сударыня.

— Я хочу сказать, что для того, чтобы сделать нас такими же ценителями, как мужчины, надо прежде всего обращаться к нашей женской природе, а потом уже к уму. Все то, что мужчина предварительно не позаботится сделать для нас привлекательным, мало нас интересует, потому что мы все воспринимаем через чувство. Я не говорю «через любовь», нет, а вообще через чувство, которое принимает различные формы, различные оттенки, различные выражения. Чувство — это наша сфера, которая вам, мужчинам, не понятна, потому что чувство вас ослепляет, в то время как нам оно светит. О, я вижу, что для вас все это очень неясно, но что же делать! Словом, если мужчина нас любит и нам приятен,— а ведь нужно сознавать себя лю-

бимой, чтобы быть способной на такое усилие,—и если этот мужчина человек незаурядный,— он может, если постарается, заставить нас все угадать, все почувствовать, во все проникнуть, решительно во все, и в иные мгновения он может по частям передать нам все свое духовное богатство. Конечно, обычно это потом исчезает, гаснет, потому что мы ведь легко забываем,— да, забываем, как воздух забывает прозвучавшие слова! Мы наделены интуицией и прозрением, но мы изменчивы, впечатлительны и преображаемся под влиянием окружающего. Если бы вы только знали, как часто сменяются во мне душевные состояния, как я становлюсь совершенно другой женщиной в зависимости от погоды, здоровья, прочитанной книги или увлекательного разговора! Право, иногда у меня душа примерной матери семейства, хоть и без детей, а иной раз — почти что душа кокотки... без любовников.

Он был очарован и спросил:

— И вы думаете, что почти все умные женщины способны на такую активность мысли?

— Да,— сказала она.— Только они постепенно коснеют, а окружающая среда безвозвратно увлекает их в ту или иную сторону.

Он снова спросил:

— Значит, в сущности, музыку вы предпочитаете всему?

— Да. Но то, что я вам сейчас говорила, так верно! Конечно, я не любила бы ее настолько и не наслаждалась бы ею в такой мере, если бы не этот ангел Масиваль. Во все произведения великих композиторов, которые я и без того страстно любила, он вдохнул душу, играя их для меня. Как жаль, что он женат!

Она произнесла последние слова шутливо, но с таким глубоким сожалением, что они заглушили все — и ее рассуждения о женщинах и ее восторг перед искусством.

Масиваль действительно был женат. Еще до того как достигнуть успеха, он заключил один из тех союзов, нередких в мире искусства, которые впоследствии приходится влачить за собою сквозь славу до самой смерти.

Впрочем, он никогда не говорил о своей жене, не

вводил ее в свет, где сам постоянно бывал, и хоть у него было трое детей, об этом почти никто не знал.

Мариоль засмеялся. Решительно, это милая женщина, редкостного типа, очень красивая, полная неожиданностей! Он настойчиво, не отрываясь, вглядывался в нее,— это, видимо, ее ничуть не стесняло,— вглядывался в это серьезное и веселое лицо, чуть-чуть своенравное, с задорным носиком, с теплым оттенком кожи, осененное белокурыми волосами яркого, но мягкого тона, в это лицо, пламеневшее разгаром лета и зрелостью такой безупречной, нежной и упоительной, словно она именно в этом году, в этом месяце достигла полного расцвета. Он думал: «Не красится ли она?» — и старался уловить у корней волос более темную или более светлую полоску, но не находил ее.

Глухие шаги по ковру заставили его встрепенуться и повернуть голову. Два лакея вносили чайный столик. В большом серебряном приборе, блестящем и сложном, как химический аппарат, тихо бурлила вода, подогреваемая синим пламенем спиртовки.

— Можно предложить вам чашку чая? — спросила она.

Когда он согласился, она встала и прямой походкой, изысканной в самой своей твердости, не раскачиваясь, подошла к столику, где пар шумел во чреве этого прибора, среди цветника пирожных, печенья, засахаренных фруктов и конфет.

Теперь ее силуэт четко вырисовывался на обоях гостиной, и Мариоль обратил внимание на тонкость ее талии, изящество бедер в сочетании с широкими плечами и полной грудью, которыми он только что любовался. А так как ее светлое платье, извиваясь, раскинулось за нею и, казалось, бесконечно растягивало по ковру ее тело, у него мелькнула грубая мысль: «Вон оно что: сирена! Одни обещания!»

Теперь она обходила гостей, с чарующей грацией предлагая лакомства.

Мариоль следил за нею глазами, когда Ламарт, блуждавший с чашкою в руке, подошел к нему и спросил:

— Уйдем вместе?

— Разумеется.

— Сейчас же, хорошо? Я устал.

— Сейчас пойдем.

Они вышли.

На улице писатель спросил:

— Вы домой или в клуб?

— Зайду в клуб на часок.

— К «Барабанщикам»?

— Да.

— Я провожу вас до подъезда. На меня такие места наводят тоску; никогда там не бываю. Я состою членом, только чтобы пользоваться экипажем.

Они взялись под руку и пошли по направлению к церкви Сент-Огюстен.

Пройдя несколько шагов, Мариоль спросил:

— Какая странная женщина! Какого вы о ней мнения?

Ламарт громко рассмеялся.

— Это уже начинается кризис,— сказал он.— Вы пройдете через него, как и все мы; теперь я излечился, но и я переболел в свое время. Друг мой! Кризис выражается в том, что, собравшись вместе или встретившись где бы то ни было, ее друзья говорят только о ней.

— Что касается меня, то я говорю о ней в первый раз, и это вполне естественно, раз я еле знаком с нею.

— Пусть так. Поговорим о ней. Знайте же: вы влюбитесь в нее. Это неизбежно; через это проходят все.

— Значит, она так обворожительна?

— И да и нет. Те, кому нравятся женщины былых времен, женщины душевные, сердечные, чувствительные, женщины из старинных романов,— те не любят и даже ненавидят ее до такой степени, что начинают говорить о ней всякие гадости. Ну, а мы, ценящие обаяние современности, мы вынуждены признать, что она восхитительна,— пока не привяжешься к ней. А вот все как раз и привязываются. Впрочем, от этого не умирают, да и страдают не очень; зато бесятся, что она такая, а не иная. Если она захочет — и вы это испытаете. Да она уже расставила вам сети.

Мариоль воскликнул, выражая свою затаенную мысль:

— Ну, я для нее — первый встречный. Мне кажется, она ценит прежде всего титулы и отличия.

— Да, это она любит! Что и говорить! Но в то же время ей на них наплевать. Самый знаменитый, самый модный и даже самый выдающийся человек и десяти раз не побывает у нее, если он ей не нравится; зато она нелепейшим образом привязана к этому болвану Френелю и противному де Мальтри. Она почему-то нянчится с беспардонными идиотами,— может быть, оттого, что они забавляют ее больше, чем мы, а быть может, и потому, что они, в сущности, сильнее ее любят: ведь женщины к этому чувствительнее, чем ко всему остальному.

И Ламарт стал говорить о ней, анализируя, рассуждая, начинал сызнова, чтобы опровергнуть самого себя, и на вопросы Мариоля отвечал с искренним жаром, как человек заинтересованный, увлеченный темою, но и немного сбитый с толку, и высказал много удачных наблюдений и ложных выводов.

Он говорил: «Но ведь она не единственная; в наше время похожих на нее женщин найдется полсотни, если не больше. Да вот хотя бы тоненькая Фремин, которая сейчас приехала к ней,— совершенно такая же, но более смелая в повадках; она замужем за странным субъектом, и это делает ее дом любопытнейшим домом сумасшедших во всем Париже. Я и в этой кунсткамере часто бываю».

Они, не замечая, прошли бульвар Мальзерба, улицу Руаяль, аллею Елисейских Полей и уже подходили к Триумфальной арке, когда Ламарт вдруг вынул часы.

— Друг мой,— сказал он,—вот уже час десять минут, как мы говорим о ней; хватит на сегодня! В клуб я вас провожу в другой раз. Идите-ка спать, и я тоже.

II

Это была просторная, светлая комната, потолок и стены которой были обтянуты чудесной персидской тканью, привезенной знакомым дипломатом. Фон был желтый, словно ее окунули в золотистые сливки, а рисунки — разных оттенков, среди которых выделялась

персидская зелень; они изображали причудливые, с загнутыми крышами, домики, вокруг которых рыскали диковинные львы в париках, бродили антилопы, украшенные чудовищными рогами, и летали птички, словно выпорхнувшие из рая.

Мебели было немного. На трех продолговатых столах с зелеными мраморными досками находилось все необходимое для дамского туалета. На среднем — большие тазы из толстого хрусталя. Второй был занят целой батареей флаконов, шкатулок и ваз всевозможных размеров, с серебряными крышками, украшенными вензелями. На третьем были разложены бесчисленные приборы и инструменты, созданные к услугам современного кокетства и предназначенные для сложных, таинственных и деликатных целей. В комнате стояло всего лишь две кушетки и несколько низеньких табуреток, обитых мягкой стеганой материей, для отдыха уставшего обнаженного тела. Дальше целую стену занимало огромное трюмо, раскинувшееся, как светлый горизонт. Оно состояло из трех створок, причем боковые, подвижные, позволяли молодой женщине видеть себя одновременно и прямо, и сбоку, и со спины, замыкаясь в собственном своем изображении. Справа, в нише, обычно затянутой драпировкой, помещалась ванна, или, вернее, глубокий водоем, тоже из зеленого мрамора, к которому спускались две ступеньки. Бронзовый Амур, сидящий на краю ванны,— изящная статуэтка работы Предолэ — лил в нее холодную и горячую воду из двух раковин, которыми он играл. В глубине этого убежища поднималось венецианское зеркало из наклонно поставленных стекол с гранеными краями; образуя круглый свод, оно защищало, укрывало и отражало в каждой своей частице и водоем и купальщицу.

Немного дальше стоял письменный стол превосходной, но простой современной английской работы, усеянный разбросанными бумажками, сложенными письмами, разорванными конвертами с блестящими золотыми вензелями. Здесь она писала и вообще проводила время, когда бывала одна.

Растянувшись на кушетке, в китайском кашемировом капоте, г-жа де Бюрн отдыхала после ванны; ее

обнаженные руки, прекрасные, гибкие и упругие, смело выступали из глубоких складок материи, а подобранные кверху и туго скрученные рыжеватые волосы лежали на голове тяжелой массой.

В дверь постучалась горничная и, войдя, подала письмо.

Г-жа де Бюрн взяла его, посмотрела на почерк, распечатала, прочла первые строки и спокойно сказала камеристке: «Я позвоню вам через час».

Оставшись одна, она радостно и победоносно улыбнулась. Первых слов было достаточно, чтобы понять, что это — долгожданное признание в любви Мариоля. Он сопротивлялся гораздо дольше, чем она могла предполагать, потому что вот уже три месяца, как она его обольщала, пустив в ход все свое обаяние, всю свою чарующую прелесть и оказывая ему знаки внимания, каких еще не расточала ни перед кем. Он казался недоверчивым, предубежденным, настороженным против нее, против постоянно расставленных сетей ее ненасытного кокетства. Потребовалось немало задушевных бесед, в которые она вкладывала все свое внешнее очарование, всю покоряющую силу своего ума, и немало музыкальных вечеров, когда возле еще звучащего рояля, возле страниц партитуры, полных певучей души композитора, они содрогались от одних и тех же чувств,— чтобы она наконец заметила во взгляде этого покоренного человека униженную мольбу изнемогающей любви. Она-то, кокетка, хорошо разбиралась в этом! Она так часто с кошачьей ловкостью и неутомимым любопытством вызывала в мужчинах, которых ей удавалось пленить, этот сокровенный и жестокий недуг! Она радовалась, видя, как постепенно заполоняет их, как покоряет, властвует над ними, благодаря непреодолимому женскому могуществу, как становится для них Единственной, становится своенравным и властным Кумиром. Инстинкт войны и завоеваний развился в ней постепенно, как развиваются скрытые инстинкты. Быть может, еще в годы замужества в ее сердце зародилась потребность возмездия, смутная потребность отплатить мужчинам за то, что она вытерпела от одного из них, одержать верх, сломить их волю, сокрушить их сопротивление и, в свою

очередь, причинить боль. А главное, она была рождена кокеткой, и, едва почувствовав себя свободной, она стала преследовать и укрощать поклонников, как охотник преследует дичь,— просто ради удовольствия видеть их поверженными. Но сердце ее не жаждало волнений, как сердца нежных и чувствительных женщин; она не искала ни всепоглощающей страсти одного мужчины, ни счастья взаимной любви. Ей только нужно было видеть вокруг себя всеобщий восторг, внимание, преклонение, фимиам нежности. Всякий, кто становился ее постоянным гостем, должен был стать также и рабом ее красоты, и никакой духовный интерес не был в состоянии надолго привлечь ее к тем, кто противился ее кокетству, пренебрегал любовью вообще или любил другую. Чтобы стать ее другом, надо было влюбиться в нее; зато к влюбленным она проявляла необычайную предупредительность, чарующее внимание, бесконечную ласковость, чтобы сохранить возле себя тех, кого она покорила. Тот, кто однажды был зачислен в свиту ее поклонников, принадлежал ей как бы по праву войны. Она управляла ими с мудрым умением, сообразно с их недостатками, достоинствами и с характером их ревности. Тех, кто предъявлял чрезмерные требования, она изгоняла, когда находила нужным, а после того, как они смирялись, вновь допускала их, поставив им суровые условия, и, как избалованная девочка, настолько тешилась этой игрой обольщения, что ей казалось одинаково упоительным и сводить с ума стариков и кружить головы юношам.

Можно было бы даже сказать, что она сообразовала свое расположение с внушенной ею любовью; и толстяк Френель, бесполезный и неповоротливый статист, был одним из ее любимцев только потому, что она знала и чувствовала, какою неистовою страстью он одержим.

Она не была вполне равнодушна к мужскому обаянию; но она испытала лишь зачатки увлечений, известные ей одной и пресеченные в тот момент, когда они могли бы стать опасными.

Каждый новичок привносил своим любовным славословием новую нотку, а также неведомую сущность

своей души — особенно люди искусства, в которых она чуяла более яркие и тонкие оттенки, изысканность и изощренность чувств, периодически пробуждавшие в ней мечту о великих страстях и продолжительных связях. Но, находясь всегда во власти страха и осторожности, нерешительная, колеблющаяся, недоверчивая, она всегда сдерживала себя, пока наконец поклонник переставал ее волновать. Кроме того, она, как дочь своего времени, была наделена тем скептическим взглядом, который быстро совлекает ореол даже с самых великих людей. Как только они влюблялись в нее и в сердечном смятении утрачивали свои торжественные манеры и величественные привычки, они начинали казаться ей все одинаковыми — жалкими созданиями, над которыми она властвует силою своего обаяния.

Словом, чтобы такая совершенная женщина, как она, могла полюбить мужчину, он должен был бы обладать неслыханными достоинствами.

А между тем она очень скучала. Она не любила светского общества, в котором бывала, лишь подчиняясь предрассудку, и где терпеливо просиживала долгие вечера, подавляя зевоту и сонливость; она забавлялась там только изощренной болтовней, своими задорными причудами, своим переменчивым любопытством к тем или иным вещам и людям, она увлекалась тем, чем любовалась и что ценила, лишь настолько, чтобы не слишком скоро почувствовать к этому отвращение, но не до такой степени, чтобы найти истинную радость в привязанности или в прихоти; терзаемая нервами, а не желаниями, чуждая волнений, обуревающих простые и пылкие души,— она жила в веселой суете, без наивной веры в счастье, ища только развлечений и уже изнемогая от усталости, хотя и считала себя удовлетворенной.

Она считала себя удовлетворенной потому, что находила себя самой обольстительной и щедро одаренной женщиной. Гордая своим обаянием, могущество которого она часто испытывала на окружающих, влюбленная в свою своеобразную, причудливую и пленительную красоту, уверенная в тонкости своего восприятия, позволяющего ей предугадывать и понимать

множество вещей, которых не видят другие, гордясь своим умом, высоко ценимым столькими выдающимися людьми, и не сознавая ограниченности своего кругозора, она считала себя существом, ни с чем не сравнимым, редкостной жемчужиной в этом пошлом мире, который казался ей пустым и однообразным, потому что она была для него слишком хороша.

Никогда в ней не возникало даже подозрения, что она сама неосознанная причина постоянной скуки, которая томит ее; она винила в этом окружающих и возлагала на них ответственность за свою меланхолию. Если им не удавалось забавлять ее, веселить, а тем более восхищать — так только потому, что им не хватало привлекательности и подлинных достоинств. «Все убийственно скучны,— говорила она смеясь.— Терпимы только те, которые мне нравятся, и только потому, что они мне нравятся».

А нравились ей преимущественно те, которые находили ее несравненной. Прекрасно зная, что успех не дается без труда, она прилагала все старания, чтобы обольщать, и не знала ничего приятнее, как наслаждаться данью восторженного взгляда и умиленного сердца — этого неистового мускула, который приходит в трепет от одного слова.

Она очень удивлялась, что ей так трудно покорить Андре Мариоля, потому что с первого же дня ясно почувствовала, что нравится ему. Потом мало-помалу она разгадала его недоверчивую природу, втайне уязвленную, очень глубокую и сосредоточенную, и, играя на его слабостях, стала оказывать ему столько внимания, такое предпочтение и искреннюю симпатию, что он в конце концов сдался.

Особенно за последний месяц она стала чувствовать, что он смущается в ее присутствии, что он покорен, молчалив и лихорадочно возбужден. Но он все еще удерживался от признания. Ах, признания! В сущности, она не очень-то любила их, потому что, если они бывали чересчур пылки, чересчур красноречивы, ей приходилось проявлять жестокость. Два раза она даже была вынуждена рассердиться и отказать от дома. Но она обожала робкие проявления любви, полупризнания, скромные намеки, тайное преклонение; и она в самом

деле проявляла исключительный такт и ловкость, добиваясь от своих поклонников такой сдержанности.

Вот уж месяц, как она ждала и подстерегала на губах Мариоля слова, в которых изливается томящееся сердце,— ясные или только намекающие, в зависимости от характера человека.

Он не сказал ни слова, зато он пишет ей. Письмо было длинное, целых четыре страницы! Она держала его в руках, охваченная радостным трепетом. Она растянулась на кушетке, скинула на ковер туфельки, чтобы устроиться поудобнее, и стала читать. Она была удивлена. Он в серьезных выражениях говорил ей, что не хочет из-за нее страдать и что уже достаточно хорошо знает ее и не хочет быть ее жертвой. В очень учтивых фразах, преисполненных комплиментов, в которых всюду прорывалась сдерживаемая страсть, он признавался, что ему известна ее манера вести себя с мужчинами, что он тоже пленен, но решил сбросить с себя грозящее ему иго, уйти от нее. Он просто-напросто возвращается к своей прежней скитальческой жизни. Он уезжает.

Это было прощание, красноречивое и решительное.

Она была искренне удивлена, читая, перечитывая, вновь возвращаясь к этим четырем страницам такой нежно-взволнованной и страстной прозы. Она встала, надела туфли, стала ходить по комнате, закинув назад рукава и обнажив до плеча руки, которые прятала в кармашки халата, комкая письмо.

Она думала, ошеломленная таким непредвиденным признанием: «А человек этот пишет превосходно: искренне, взволнованно, трогательно. Он пишет лучше Ламарта: его письмо не отзывается романом».

Ей захотелось курить, она подошла к столику с духами и взяла папироску из саксонской фарфоровой табакерки. Закурив, она направилась к зеркалу и увидела в трех различно направленных створках трех приближающихся молодых женщин. Подойдя совсем близко, она остановилась, слегка поклонилась себе, слегка улыбнулась, слегка, по-дружески, кивнула головой, как бы говоря: «Прелестна! Прелестна!» Она всмотрелась в свои глаза, полюбовалась зубами, подняла руки, положила их на бедра и повернулась в про-

филь, слегка склонив голову, чтобы как следует разглядеть себя во всех трех зеркалах.

И она замерла во влюбленном созерцании, стоя лицом к лицу с самой собою, окруженная тройным отражением своего тела, которое она находила очаровательным; она восторгалась собою, была охвачена себялюбивым и плотским удовольствием от своей красоты и смаковала ее с радостью, почти столь же чувственной, как у мужчин.

Так любовалась она собою каждый день, и ее камеристка, часто застававшая ее перед зеркалом, говорила не без ехидства: «Барыня так глядится в зеркала, что скоро их насквозь проглядит».

Но в этой любви к самой себе и заключался секрет ее обаяния и ее власти над мужчинами. Она так любовалась собою, так холила изящество своего облика и прелесть всей своей особы, выискивая и находя все, что могло еще больше подчеркнуть их, так подбирала неуловимые оттенки, делавшие ее чары еще неотразимее, а глаза — еще необыкновеннее, и так искусно прибегала ко всем уловкам, украшавшим ее в ее собственном мнении, что исподволь находила все то, что могло особенно понравиться окружающим.

Будь она еще прекраснее, но более равнодушна к своей красоте, она не обладала бы той обольстительностью, которая внушала к ней любовь почти всем, кому не был чужд от природы самый характер ее очарования.

Вскоре, немного устав стоять, она сказала своему изображению, все еще улыбавшемуся ей (и изображение в тройном зеркале зашевелило губами, повторяя ее слова): «Мы еще посмотрим, сударь». Потом, пройдя через комнату, она села за письменный стол.

Вот что она написала:

«Дорогой г. Мариоль, зайдите поговорить со мною завтра, часа в четыре. Я буду одна, и, надеюсь, мне удастся успокоить Вас относительно той мнимой опасности, которая Вас страшит.

Я Вам друг и докажу Вам это.

Мишель де Бюрн».

Как скромно она оделась на другой день, чтобы принять Андре Мариоля! Простое серое платье — светло-серое, чуть лиловатое, меланхоличное, как сумерки; и совсем гладкое, с воротником, облегавшим шею, с рукавами, облегавшими руки, с корсажем, облегавшим грудь и талию, и юбкой, облегавшей бедра и ноги.

Когда он вошел с несколько торжественным выражением лица, она направилась ему навстречу, протянув обе руки. Он поцеловал их, и они сели; несколько мгновений она молчала, желая удостовериться в его смущении.

Он не знал, с чего начать, и ждал, чтобы она заговорила.

Наконец она решилась.

— Ну, что ж! Приступим прямо к главному вопросу. Что случилось? Вы мне написали, знаете ли, довольно дерзкое письмо.

Он ответил:

— Знаю и приношу вам свои извинения. Я бываю и всегда был со всеми чрезвычайно, до грубости откровенен. Я мог бы удалиться без тех неуместных и оскорбительных объяснений, с которыми я к вам обратился. Но я счел более честным поступить сообразно со своим характером и положиться на ваш ум, хорошо мне известный.

Она возразила с состраданием, но втайне довольная:

— Постойте, постойте! Что это за безумие?..

Он перебил ее:

— Лучше об этом не говорить.

Тут она с живостью прервала его, не давая ему продолжать:

— А я пригласила вас именно для того, чтобы поговорить об этом. И мы будем говорить до тех пор, пока вы вполне не убедитесь, что вам не грозит решительно никакой опасности.

Она засмеялась, как школьница, и ее скромное платье придавало этому смеху что-то ребяческое.

Он прошептал:

— Я вам написал правду, истинную правду, страшную правду, которая пугает меня.

Она опять стала серьезной и ответила:

— Пусть так; мне это знакомо. Через это проходят все мои друзья. Вы написали мне также, что я отчаянная кокетка; признаю это, но от этого никто не умирает, никто даже, кажется, особенно не страдает. Случается то, что Ламарт называет «кризисом». Вы как раз и находитесь в состоянии кризиса, но это проходит, и тогда впадают... как бы это сказать... в хроническую влюбленность, которая уже не причиняет страданий и которую я поддерживаю на медленном огне у всех моих друзей, чтобы они были мне как можно преданнее, покорнее, вернее. Ну, что? Согласитесь, что я тоже искренна, и откровенна, и резка. Много ли вы встречали женщин, которые осмелились бы сказать то, что я вам сейчас говорю?

У нее был такой забавный и решительный вид, такой простодушный и в то же время задорный, что и он не мог не улыбнуться.

— Все ваши друзья,— сказал он,— люди, уже не раз горевшие в этом огне, прежде чем их воспламенили вы. Они уже пылали и обгорели, им легче переносить жар, в котором вы их держите. Я же, сударыня, еще никогда не испытал этого. И с некоторых пор я предвижу, что если я отдамся чувству, которое растет в моем сердце, это будет ужасно.

Она вдруг стала непринужденно простой и, немного склонясь к нему, сложив на коленях руки, сказала:

— Слушайте, я не шучу. Мне грустно терять друга из-за страха, который кажется мне призрачным. Вы полюбите меня — пусть так. Но нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех и других.

Она замолчала, потом добавила со странной улыбкой, как женщина, которая говорит правду, воображая, что лжет:

— Полноте, во мне нет того, за что можно было бы влюбиться в меня без ума. Я слишком современна. Поверьте мне, я буду вам другом, хорошим другом, к которому вы по-настоящему привяжетесь, но и только,— уж я об этом позабочусь.

И она прибавила более серьезно:

— Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама

я неспособна по-настоящему увлечься никем, что я буду относиться к вам так же, как ко всем остальным, как к тем, к кому я отношусь хорошо, но не больше того. Я не выношу деспотов и ревнивцев. От мужа я вынуждена была все переносить, но от друга, просто от друга, я не желаю терпеть никакой любовной тирании, отравляющей сердечные отношения. Видите, как я мила с вами, я говорю по-товарищески, ничего не скрывая. Согласны вы на честный опыт, который я вам предлагаю? Если из этого ничего не выйдет, вы всегда успеете удалиться, как бы серьезен ни был ваш недуг. А с глаз долой — из сердца вон.

Он смотрел на нее, уже побежденный звуком ее голоса, ее жестами, всей опьяняющей прелестью ее существа, и прошептал, совсем покоренный и трепещущий от ее близости:

— Я согласен, сударыня. И если мне будет тяжело, тем хуже для меня. Вы стоите того, чтобы ради вас страдали.

Она прервала его.

— А теперь не будем больше говорить об этом,— сказала она.— Не будем никогда.

И она перевела разговор на темы, уже не волновавшие его.

Через час он вышел от нее, терзаясь — потому что любил ее, и радуясь — потому что она просила его, а он ей обещал не уезжать.

III

Он терзался, потому что любил ее. В отличие от заурядных влюбленных, которым женщина, избранница их сердца, предстает в ореоле совершенств, он увлекся ею, взирая на нее трезвым взглядом недоверчивого и подозрительного мужчины, ни разу в жизни не плененного до конца. Его тревожный, проницательный и медлительный ум, всегда настороженный, предохранял его от страстей. Несколько увлечений, два недолгих романа, зачахнувших от скуки, да оплаченные связи, прерванные от отвращения,— вот вся история его сердца. Он смотрел на женщин, как на вещь, необходимую для тех, кто желает обзавестись уютным

домом и детьми, или как на предмет, относительно приятный для тех, кто ищет любовных развлечений.

Когда он познакомился с г-жой де Бюрн, он был предубежден против нее признаниями ее друзей. То, что он знал о ней, интересовало его, интриговало, нравилось ему, но было ему немного противно. В принципе ему были непонятны такие никогда не расплачивающиеся игроки. После первых встреч он стал соглашаться, что она действительно очень своеобразна и наделена особым, заразительным обаянием. Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк, с длинными и тонкими ногами, созданными для бега, как ноги газели, с такими маленькими ступнями, что они не должны бы оставлять и следов, казалась ему символом тщетных упований. Кроме того, в беседах с нею он находил удовольствие, которое раньше считал невозможным в светском разговоре. Одаренная умом, полным непосредственной, неожиданной и насмешливой живости и ласковой иронии, она порою поддавалась, однако, воздействию чувства, мысли или образа, словно в глубине ее игривой веселости еще витала тень поэтической нежности наших прабабушек. И это делало ее восхитительной.

Она оказывала ему знаки внимания, желая покорить его, как и других; и он бывал у нее так часто, как только мог: возраставшая потребность видеть ее влекла его к ней все больше и больше. Им словно завладела какая-то сила, исходящая от нее, сила обаяния, взгляда, улыбки, голоса, сила неотразимая, хоть он и уходил от нее часто раздраженный каким-нибудь ее поступком или словом.

Чем больше он чувствовал себя захваченным теми непостижимыми флюидами, которыми заполняет и покоряет нас женщина, тем глубже он разгадывал, понимал ее сущность и мучился, так как горячо желал, чтобы она была иною.

Но то, что он осуждал в ней, обворожило и покорило его, вопреки его воле, наперекор разуму, пожалуй, даже больше, чем истинные ее достоинства.

Ее кокетство, которым она откровенно играла, словно веером, раскрывая или складывая его на виду у всех, смотря по тому, кто ее собеседник и нравится ли он ей; ее манера ничего не принимать всерьез, которая сначала забавляла его, а теперь пугала; ее постоянная жажда развлечений, новизны, всегда неутолимая в ее усталом сердце,— все это иной раз приводило его в такое отчаяние, что, возвратясь домой, он принимал решение бывать у нее реже, а потом и вовсе прекратить посещения.

На другой день он уже искал повода пойти к ней. И по мере того, как он все больше и больше увлекался, он все острее сознавал безнадежность этой любви и неизбежность предстоящих страданий.

О, он не был слеп; он погружался в это чувство, как человек, который тонет от усталости,— лодка его пошла ко дну, а берег слишком далеко. Он знал ее настолько, насколько можно было ее знать, потому что ясновидение, сопутствующее страсти, обострило его проницательность, и он уже не мог не думать о ней беспрестанно. С неутомимым упорством он старался разобраться в ней, осветить темные глубины этой женской души, это непостижимое сочетание игривого ума и разочарованности, рассудительности и ребячества, внешней задушевности и непостоянства — все эти противоречивые свойства, собранные воедино и согласованные, чтобы получилось существо редкостное, обольстительное и сбивающее с толку.

Но почему она так обольщает его? Он без конца задавал себе этот вопрос и все же не мог понять, так как его, наделенного рассудительной, наблюдательной и гордо-сдержанной натурой, должны были бы привлекать в женщине старинные, спокойные качества: нежность, привязанность, постоянство, которые служат залогом счастья мужчины.

В этой же он находил нечто неожиданное, какую-то новизну, волнующую своею необычностью, одно из тех существ, которые кладут начало новым поколениям, отличаются от всего известного ранее и излучают, даже в силу своих несовершенств, страшное обаяние, таящее в себе угрозу.

Страстных, романтических мечтательниц Реставрации сменили жизнерадостные женщины Второй империи, убежденные в реальности наслаждения, а теперь появляется новая разновидность вечно женственного: утонченное создание, с изменчивой чувствительностью, с тревожной, нерешительной, мятущейся душой, испробовавшее как будто уже все наркотики, успокаивающие или раздражающие нервы — и дурманящий хлороформ, и эфир, и морфий, которые возбуждают грезы, заглушают чувства и усыпляют волнение.

Он наслаждался в ней прелестью тепличного создания, предназначенного и приученного чаровать. Это был редкостный предмет роскоши, притягательный, восхитительный и хрупкий, на котором задерживается взор, возле которого бьется сердце и возбуждаются желания, подобно тому, как возбуждается аппетит при виде тонких яств, отделенных от нас витриной, но приготовленных и выставленных напоказ именно для того, чтобы вызвать в нас чувство голода.

Когда он вполне убедился в том, что катится по наклонной плоскости в бездну, он с ужасом стал размышлять об опасностях своего увлечения. Что станется с ним? Как поступит она? Она, конечно, обойдется с ним так же, как, по-видимому, обходилась со всеми: доведет его до того состояния, когда следуешь всем прихотям женщины, как собака следует по пятам хозяина, а потом определит ему место в своей коллекции более или менее знаменитых друзей. Но правда ли, что она поступала так со всеми остальными? Неужели нет среди них ни одного, ни единого, которого бы она любила, действительно любила бы — месяц, день, час,— в одном из тех быстро подавляемых порывов, которым отдавалось ее сердце?

Он без конца говорил о ней с другими после ее обедов, где все они воспламенялись от общения с нею. Он чувствовал, что все они взволнованы, недовольны, измучены, как люди, не получившие подлинного удовлетворения.

Нет, она не любила ни одного из этих героев, вызывающих любопытство толпы; но он, бывший ничем по сравнению с ними, он, чье имя, произнесенное на улице или в гостиной, не заставляло никого обора-

чиваться и не привлекало к нему ничьих взглядов,— чем станет он для нее? Ничем, ничем; статистом, знакомым, тем, кто для таких избалованных женщин становится заурядным гостем, полезным, но лишенным привлекательности, как вино без букета, вино, разбавленное водой.

Будь он знаменитостью, он еще согласился бы на такую роль, потому что его слава сделала бы ее менее унизительной. Но он не пользовался известностью, а потому не соглашался на это. И он написал ей прощальное письмо.

Получив несколько слов в ответ, он был взволнован, словно его посетило счастье, а когда она взяла с него обещание, что он не уедет, он ликовал, точно избавился от какой-то беды.

Прошло несколько дней, ничего не изменивших в их отношениях; но когда миновало успокоение, следующее за кризисом, он почувствовал, как желание растет и сжигает его. Он решил никогда ей больше ни о чем не говорить, но он не давал обещания не писать ей. И вот как-то вечером, когда он не мог сомкнуть глаз, когда ее образ владел им в его мятежной бессоннице, вызванной любовным волнением, он почти против воли сел за стол и стал на листке бумаги изливать свои чувства. Это было не письмо, это были заметки, фразы, мысли, страдальческие содрогания, превращавшиеся в слова.

Это его успокоило: ему казалось, что он немного избавился от своей тоски; он лег и мог наконец уснуть.

На другое утро, едва проснувшись, он перечел эти несколько страниц, нашел, что они полны трепета, вложил их в конверт и надписал адрес, но отправил письмо на почту только поздно вечером, чтобы она получила его при пробуждении.

Он был уверен, что эти листки не возмутят ее. К письму, в котором искренне говорится о любви, даже самые целомудренные женщины относятся с безграничной снисходительностью. И письма эти, написанные человеком, у которого дрожат руки, а взгляд опьянен и околдован одним-единственным видением, имеют непреодолимую власть над сердцами.

Вечером он отправился к ней, чтобы узнать, как она его примет и что ему скажет. Он застал у нее г-на де Прадона, который курил, беседуя с дочерью. Он часто проводил так возле нее целые часы, обращаясь с ней скорее как с обаятельной женщиной, чем как с дочерью. Она придала их отношениям и чувствам оттенок того любовного преклонения, которое питала к самой себе и которого требовала от всех.

Когда она увидела входящего Мариоля, на лице ее блеснуло удовольствие; она с живостью протянула ему руку; ее улыбка говорила: «Я рада вам».

Мариоль надеялся, что отец скоро уйдет. Но г-н де Прадон не уходил. Он хорошо знал свою дочь и давно уже не сомневался в ней, считая ее лишенной сексуальности, но все-таки следил за нею с настороженным, тревожным, почти супружеским вниманием. Ему хотелось знать, какие шансы на длительный успех имеет этот новый друг, знать, что он собою представляет, чего он стоит. Окажется ли он просто прохожим, как столько других, или станет членом привычного кружка?

Итак, он расположился надолго, и Мариоль тотчас же понял, что удалить его не удастся. Он примирился с этим и даже решил попытаться обворожить его, считая, что благосклонность или хотя бы безразличие все-таки лучше, чем неприязнь. Он изощрялся в остроумии, был весел, развлекал, ничем не выдавая своей влюбленности.

Она была довольна и подумала: «Он неглуп и прекрасно разыгрывает комедию». А г-н де Прадон рассуждал: «Вот милый человек! Ему моя дочь, по-видимому, не вскружила голову, как прочим дуракам».

Когда Мариоль счел уместным откланяться, он оставил их обоих очарованными.

Зато сам он выходил из ее дома с отчаянием в душе. Возле этой женщины он уже страдал от плена, в котором она держала его, и сознавал, что будет стучаться в это сердце так же тщетно, как заключенный стучится в железную дверь темницы.

Она завладела им — это было ему ясно, и он не пытался освободиться. Тогда, не будучи в силах избежать рока, он решил быть хитрым, терпеливым, стой-

ким, скрытным, ловко завоевать ее преклонением, которого она так жаждет, обожанием, которое ее пьянит, добровольным рабством, которое он примет.

Его письмо понравилось. Он решил писать. Он писал. Почти каждую ночь, возвратясь домой в тот час, когда ум, возбужденный дневными волнениями, превращает в своего рода галлюцинации все, что его занимает или волнует, он садился за стол, у лампы, и предавался восторгам, думая о ней. Зачатки поэзии, которым столько вялых людей по лености дают заглохнуть в своей душе, росли от этого увлечения. Он говорил все об одних и тех же вещах, все об одном и том же — о своей любви — в формах, которые обновлялись потому, что ежедневно обновлялось его желание, и распалял свою страсть, трудясь над ее литературным выражением. Целыми днями он подыскивал и находил неотразимо убедительные слова, которые чрезмерное возбуждение высекает из ума подобно искрам. Этим он сам раздувал пламя своего сердца и превращал его в пожар, потому что подлинно страстные любовные письма часто опаснее для тех, кто пишет, чем для тех, кто их получает.

Он так долго поддерживал в себе это возбужденное состояние, так распалял кровь словами и так насыщал душу одной-единственной мыслью, что постепенно утратил реальное представление об этой женщине. Перестав воспринимать ее такою, какой она представлялась ему вначале, он видел ее теперь лишь сквозь лиризм своих фраз; и все, что бы ни писал он ей каждую ночь, становилось для него истиной. Эта ежедневная идеализация делала ее приблизительно такою, какой ему хотелось бы ее видеть. К тому же прежняя его предубежденность исчезла благодаря явному расположению, которое выказывала к нему г-жа де Бюри. В настоящее время, хоть они ни в чем и не признались друг другу, она, несомненно, предпочитала его всем другим и открыто давала ему это понять. Поэтому он с какою-то безрассудной надеждой думал, что, быть может, она в конце концов и полюбит его.

И действительно, она с простодушной и неодолимой радостью поддавалась обаянию этих писем. Никогда никто не боготворил и не любил ее так, с такой

молчаливой страстью. Никогда никому не приходила в голову очаровательная мысль посылать ей ежедневно к пробуждению этот завтрак любовных чувств в бумажном конверте, который горничная по утрам подавала ей на серебряном подносе. А самым ценным было то, что он никогда не говорил об этом, что он, казалось, сам этого не знал, и в ее гостиной всегда был самым скромным из ее друзей, что он ни единым словом не намекал на этот поток нежностей, который втайне изливал на нее.

Конечно, она и раньше получала любовные письма, но в другом тоне, менее сдержанные, скорее похожие на требования. В продолжение целых трех месяцев — трех месяцев своего «кризиса» — Ламарт посвящал ей изящные письма, письма сильно увлеченного романиста, облекающего свои изысканные чувства в литературную форму. Она хранила в секретере, в особом ящике, эти тонкие и обворожительные послания к женщине, написанные искренне взволнованным стилистом, который баловал ее письмами до тех пор, пока не утратил надежду на успех.

Письма же Мариоля были совсем другие; они отличались такой силой и сосредоточенностью желания, такой непогрешимой искренностью выражений, таким полным подчинением, такой преданностью, сулящей быть долговечной, что она их получала, распечатывала и наслаждалась ими с радостью, какой не доставлял ей ни один другой почерк.

Это усиливало расположение, которое она чувствовала к нему, и она тем охотнее приглашала его к себе, что он держался безупречно-скромно и, беседуя с нею, сам, казалось, не знал, что когда-либо писал ей о своей любви. К тому же случай казался ей незаурядным, достойным послужить сюжетом для романа, и она находила в глубоком удовлетворении от близости этого человека, так любившего ее, какое-то властное начало симпатии, заставлявшее ее подходить к нему с особой меркой.

До сих пор, несмотря на тщеславие кокетства, она чувствовала во всех плененных ею сердцах посторонние заботы; она царила в них не одна: она обнаруживала, видела в них властные интересы, не связанные

с нею. Ревнуя Масиваля к музыке, Ламарта к литературе, а других еще к чему-нибудь, она была недовольна таким полууспехом, но бессильна изгнать все чуждое из сердец этих тщеславных мужчин, знаменитостей или людей искусства: ведь их профессия для них— любовница, с которой никто и ничто не может их разлучить. И вот она впервые встретила человека, для которого она была всем! По крайней мере, он клялся ей в этом. Один только толстяк Френель любил ее, вероятно, не меньше. Но то был толстяк Френель. Она чувствовала, что еще никогда никто не был настолько одержим ею; и ее эгоистическая признательность тому, кто доставил ей этот триумф, принимала видимость нежности. Теперь он был ей нужен, нужно было его присутствие, его взгляд, его покорность, нужна была эта прирученная любовь. Он менее других льстил ее тщеславию, зато больше льстил тем властным требованиям, которые управляют душою и телом кокеток: ее гордости и инстинкту господства, хищному инстинкту бесстрастной самки.

Подобно тому, как покоряют страны, она завладела его жизнью постепенно, последовательными мелкими набегами, учащавшимися со дня на день. Она устраивала приемы, выезды в театр, обеды в ресторанах, чтобы он участвовал в них; она влекла его за собою с жестокой радостью завоевательницы, не могла уже обходиться без него, или, вернее, без раба, в какого она его превратила.

Он следовал за нею, счастливый сознанием, что его балуют, ласкают ее глаза, ее голос, все ее причуды; и теперь он жил в постоянном неистовстве желания и любви, которое сводило с ума и сжигало, как лихорадка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Мариоль приехал к ней. Ему пришлось дожидаться, потому что ее еще не было дома, хотя она утром назначила ему свидание городской депешей.

В этой гостиной, где он так любил бывать, где все ему нравилось, он все-таки, очутившись один, всякий раз чувствовал стеснение в груди, слегка задыхался, нервничал и не мог спокойно сидеть на месте до тех пор, пока она не появлялась. Он ходил по комнате в блаженном ожидании, опасаясь, как бы не задержало ее какое-нибудь непредвиденное препятствие и не заставило отложить их встречу до завтра.

Услышав, что у подъезда остановился экипаж, он встрепенулся от надежды, а когда в передней раздался звонок, он больше уже не сомневался, что это она.

Она против обыкновения вошла в шляпе, с возбужденным и радостным видом.

— У меня для вас новость,— сказала она.

— Да что вы, сударыня!

Она засмеялась, глядя на него.

— Да. Я на некоторое время уезжаю в деревню.

Его охватила внезапная глубокая печаль, отразившаяся на его лице.

— И вы сообщаете мне это с таким веселым видом?

— Вот именно. Садитесь, сейчас все расскажу. Не знаю, известно вам или нет, что у брата моей покойной матери, г-на Вальсази, главного дорожного инженера, есть имение около Авранша, где он служит и где с женой и детьми проводит часть года. А мы каждое лето

навещаем их. В этом году я не хотела ехать, но он обиделся и устроил папе сцену. Кстати, скажу вам по секрету: папа ревнует меня к вам и тоже устраивает мне сцены, считая, что я себя компрометирую. Вам придется приезжать пореже. Но вы не огорчайтесь, я все улажу. Итак, папа меня разбранил и взял с меня обещание, что я дней на десять — двенадцать съезжу в Авранш. Мы уезжаем во вторник утром. Что вы на это скажете?

— Скажу, что вы приводите меня в отчаяние.

— И это все?

— А что же вы хотите? Ведь не могу же я вам воспрепятствовать.

— И не находите никакого выхода?

— Да нет... нет... не нахожу. А вы?

— У меня есть идея, а именно: Авранш совсем близко от горы Сен-Мишель. Вы бывали на Сен-Мишеле?

— Нет, сударыня.

— Так вот: в будущую пятницу вам взбредет в голову осмотреть эту достопримечательность. Вы остановитесь в Авранше, а, скажем, в субботу вечером, на закате, пойдете гулять в городской сад, который возвышается над бухтой. Мы случайно там встретимся. Папа разозлится, ну и пусть! На другой день я устрою поездку всей семьей в аббатство. Воодушевитесь и будьте очаровательны, как умеете быть, когда захотите. Очаруйте мою тетушку и пригласите нас всех пообедать в таверне, где мы остановимся. Там мы переночуем и, таким образом, расстанемся только на другой день. Вы вернетесь через Сен-Мало, а неделю спустя я буду уже снова в Париже. Хорошо придумано? Не душка ли я?

В порыве признательности он пролепетал:

— Вы — единственное, чем я дорожу на свете.

— Тш! — прошептала она.

И несколько мгновений они смотрели друг на друга. Она улыбалась, выражая этой улыбкой всю свою благодарность, признательность своего сердца, а также и расположение, очень искреннее, очень горячее, почти нежное. А он любовался ею, пожирал ее глазами. Ему хотелось упасть перед нею, броситься к ее ногам, целовать ее платье, кричать, а главное — выразить то, чего он не умел выразить, что захватило его всего, и

душу его, и тело, то, что было несказанно мучительным, потому что он не мог этого проявить,— свою любовь, свою страшную и упоительную любовь.

Но она понимала его и без слов, подобно тому как стрелок угадывает, что его пуля пробила самую сердцевину мишени. В человеке этом не осталось ничего, кроме нее. Он принадлежал ей больше, чем она себе самой. И она была довольна, она находила его очаровательным.

Она ласково спросила:

— Итак, решено? Мы устроим эту прогулку?

Он ответил прерывающимся от волнения голосом:

— Конечно, сударыня, решено.

Потом, опять помолчав, она сказала, не считая нужным извиняться:

— Сегодня я не могу вас больше удерживать. Я вернулась домой только для того, чтобы сказать вам это, я ведь уезжаю послезавтра. Весь завтрашний день у меня занят, а до обеда мне надо еще побывать в четырех — пяти местах.

Он тотчас же встал, охваченный печалью: ведь единственным его желанием было не разлучаться с нею. И, поцеловав у нее руки, он ушел с немного сокрушенным сердцем, но полный надежды.

Четыре дня, которые ему пришлось провести в ожидании, показались ему очень долгими. Он провел их в Париже, ни с кем не видясь, предпочитая тишину — шуму голосов и одиночество — друзьям. А в пятницу утром он выехал с восьмичасовым экспрессом. В эту ночь он почти не спал, возбужденный ожиданием путешествия. Его темная, тихая комната, куда доносился только грохот запоздалых экипажей, как бы звавших его в дорогу, угнетала его всю ночь, как темница.

Едва сквозь спущенные шторы забрезжил серый и печальный свет занявшегося утра, он вскочил с постели, распахнул окно и посмотрел на небо. Он боялся, что будет плохая погода. Погода была хорошая. Реял легкий туман, предвестник зноя. Он оделся скорее обычного, был готов за два часа до отъезда, его сердце снедало нетерпение уехать из дому, быть уже в дороге; и, едва одевшись, он послал за извозчиком, так как боялся, что позже не найдет его.

При первых толчках экипажа он ощутил радостную дрожь, но на Монпарнасском вокзале снова разволновался, узнав, что до отхода поезда осталось еще целых пятьдесят минут.

Одно купе оказалось свободным; он купил его целиком, чтобы уединиться и вволю помечтать. Когда он почувствовал, что едет, что устремляется к ней, влекомый плавным и быстрым движением экспресса, его возбуждение не только не улеглось, но еще более возросло, и у него явилось желание, глупое, ребяческое желание — обеими руками подталкивать обитую штофом стенку, чтобы ускорить движение.

Долгое время, до самого полудня, он был подавлен надеждой и скован ожиданием, но постепенно, после того как миновали Аржантон, пышная нормандская природа привлекла его взоры к окнам.

Поезд мчался по обширной волнистой местности, пересеченной оврагами, где крестьянские фермы, выгоны и фруктовые сады были обсажены высокими деревьями, развесистые вершины которых сверкали в лучах солнца. Кончался июль, наступила пора изобилия, когда нормандская земля, могучая кормилица, предстает во всем своем цветении, полная жизненных соков. На всех этих участках, разделенных и связанных высокими лиственными стенами, всюду на этих свежих лугах, почва которых казалась плотью и как бы сочилась сидром, без конца мелькали тучные серые волы, пегие коровы с причудливыми узорами на боках, рыжие широколобые быки с отвислой мохнатой кожей на шее; они стояли с вызывающим и гордым видом возле изгороди или лежали, отъевшись на тучных пастбищах.

Тут и там, у подножия тополей, под легкой сенью ив, струились узенькие речки; ручьи, сверкнув на мгновение в траве и исчезнув, чтобы подальше снова появиться, наполняли эту местность благодатной свежестью.

И восхищенный Мариоль проносил свою любовь сквозь это отвлекающее, быстрое и непрерывное мелькание прекрасного яблоневого сада, в котором паслись стада.

Но когда он на станции Фолиньи пересел в другой поезд, нетерпение вновь овладело им, и в последние

сорок минут он раз двадцать вынимал из кармана часы. Он беспрестанно высовывался из окна и наконец увидел на высоком холме город, где Она ждала его. Поезд опаздывал, и всего лишь час отделял его от той минуты, когда ему предстояло случайно встретить ее в городском саду.

Он оказался единственным пассажиром в омнибусе, высланном гостиницей; карета поднималась по крутой дороге Авранша, которому расположенные на вершине дома придавали издали вид крепости. Вблизи это оказался красивый древний нормандский городок с небольшими однообразными домами, сбившимися в кучу, похожими друг на друга, с печатью старинной гордости и скромного достоинства, придававшими им средневековый и сельский вид.

Оставив чемодан в комнате, Мариоль тотчас же спросил, как пройти в Ботанический сад, и хотя времени у него было еще много, торопливо направился туда, в надежде, что, быть может, и она придет раньше назначенного часа.

Подойдя к воротам, он сразу увидал, что сад пуст или почти пуст. В нем прогуливались только три старика, три местных обывателя, по-видимому, проводившие здесь ежедневно свои последние досуги, да резвилось несколько маленьких англичан, тонконогих девочек и мальчиков, в сопровождении белокурой гувернантки, сидевшей с рассеянным и мечтательным видом.

Мариоль шагал с бьющимся сердцем, всматриваясь вдаль. Он достиг аллеи высоких ярко-зеленых вязов, которая наискось пересекала сад, образуя над дорожкой густой лиственный свод; он миновал аллею и, подходя к террасе, возвышавшейся над горизонтом, внезапно отвлекся мыслью от той, ради кого явился сюда.

У подножия возвышенности, на которой он стоял, простиралась необозримая песчаная равнина, сливавшаяся вдали с морем и небом. Речка катила по ней свои воды, а многочисленные лужи выделялись сверкающими пятнами и казались зияющими безднами второго, внутреннего неба.

Среди этой желтой пустыни, еще пропитанной спадавшим приливом, километрах в двенадцати — пятнадцати от берега, вырисовывались величественные очер-

тания остроконечной горы — причудливой пирамиды, увенчанной собором.

Единственным его соседом в необъятных дюнах был обнаженный круглый утес, утвердившийся среди зыбкого ила: Томблен.

Дальше из голубоватых волн выступали коричневые хребты других скал, погруженных в воду, а справа, пробегая по горизонту, взор обнаруживал за этой песчаной пустыней обширные пространства зеленой нормандской земли, так густо поросшей деревьями, что она казалась бескрайным лесом. Здесь вся природа являлась сразу в одном месте, во всем своем величии, в своей мощи, свежести и красоте; и взгляд переходил от леса к гранитному утесу, одинокому обитателю песков, вздымавшему над необъятным взморьем свои причудливые готические очертания.

Странное наслаждение, уже не раз в былые времена испытанное Мариолем,— трепет при виде неожиданных красот, когда они открываются взорам путника в незнакомых местах,— теперь так сильно захватило его, что он замер на месте, взволнованный и растроганный, забыв о своем плененном сердце.

Но послышался удар колокола, и Мариоль обернулся, вновь охваченный страстным ожиданием встречи. Сад был по-прежнему почти пуст. Маленькие англичане исчезли. Только три старика продолжали свою унылую прогулку. Он последовал их примеру.

Она должна появиться сейчас, с минуты на минуту. Он увидит ее в конце дорожки, ведущей к этой чудесной террасе. Он узнáет ее фигуру, ее походку, потом лицо и улыбку и услышит ее голос. Какое счастье! Какое счастье! Он ощущал ее где-то здесь, близко, неуловимую, еще невидимую, но она думает о нем и знает, что сейчас увидит его.

Он чуть не вскрикнул. Синий зонтик, всего лишь купол зонтика, мелькнул в отдалении над кустарником. Это несомненно она! Показался мальчик, кативший перед собою обруч; затем две дамы — в одной из них он узнал ее; потом — двое мужчин: ее отец и какой-то другой господин. Она была вся в голубом, как весеннее небо. О, да! Он узнал ее, еще не различая лица; но он не осмелился пойти ей навстречу, чувствуя,

что станет бессвязно лепетать, будет краснеть, не сможет под подозрительным взглядом г-на де Прадона объяснить эту случайность.

Однако он шел им навстречу, поминутно смотря в бинокль, весь поглощенный, казалось, созерцанием горизонта. Окликнула его она и даже не потрудилась изобразить удивление.

— Здравствуйте, господин Мариоль! — сказала она.— Восхитительно, не правда ли?

Ошеломленный такою встречей, он не знал, в каком тоне отвечать, и пробормотал:

— Ах, вы здесь, сударыня? Какое счастье! Мне захотелось побывать в этой чудесной местности.

Она ответила улыбаясь:

— И вы выбрали время, когда я здесь? Как это мило с вашей стороны!

Потом она его представила:

— Это один из лучших моих друзей, господин Мариоль. Моя тетушка, госпожа Вальсази. Мой дядя, который строит мосты.

После взаимных поклонов г-н де Прадон и молодой человек холодно пожали друг другу руку, и прогулка возобновилась.

Она поместила его между собою и тетей, бросив на него молниеносный взгляд, один из тех взглядов, которые свидетельствуют о глубоком волнении. Она продолжала:

— Как вам нравится здесь?

— Мне кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.

На это она ответила:

— А если бы вы провели здесь, как я, несколько дней, вы почувствовали бы, до чего захватывает эта красота. Этого не передать никакими словами. Приливы и отливы моря на песчаной равнине, великое, непрерывное движение воды, которая омывает все это два раза в день, и притом наступает так быстро, что лошадь галопом не успела бы убежать от нее, необыкновенное зрелище, которое щедрое небо устраивает для нас,— клянусь, все это приводит меня в неистовство! Я сама не своя. Не правда ли, тетя?

Г-жа де Вальсази, уже пожилая, седая женщина, почтенная провинциалка, уважаемая супруга главного инженера, высокомерного чиновника, спесивого, как большинство воспитанников Политехнической школы, подтвердила, что никогда еще не видела своей племянницы в таком восторженном состоянии. Подумав немного, она добавила:

— Впрочем, это и не удивительно: ведь она ничего не видела и ничем не восхищалась, кроме театральных декораций.

— Но я почти каждый год бываю в Дьеппе или Трувиле.

Старая дама засмеялась:

— В Дьепп или Трувиль ездят только ради встреч с поклонниками. Море там лишь для того и существует, чтобы в нем купались влюбленные.

Это было сказано совсем просто, вероятно, без задней мысли.

Теперь они возвращались к террасе, которая непреодолимо влекла к себе всех. К ней невольно устремлялись со всех концов сада, подобно тому, как шары катятся по наклонной плоскости. Заходившее солнце расстилало тонкий золотой полог за высоким силуэтом аббатства, которое все больше и больше темнело, напоминая огромную раку на фоне ослепительного занавеса. Но теперь Мариоль смотрел лишь на обожаемое белокурое создание, шедшее рядом с ним и овеянное голубым облаком. Никогда еще не видел он ее такой восхитительной. Она казалась ему в чем-то изменившейся; от нее веяло какой-то свежестью, которая разлилась во всем ее теле, в глазах, в волосах и проникла в ее душу, свежестью, присущей всей этой местности, этим небесам, свету, зелени. Такою он ее еще никогда не видел и никогда не любил.

Он шел рядом с нею, не находя, что сказать; прикосновение ее платья, касание локтя, а иногда и руки, встреча их взглядов, столь красноречивых, окончательно превращали его в ничто, сводили на нет его личность. Он чувствовал себя подавленным в присутствии этой женщины, поглощенным ею до такой степени, что уже перестал быть самим собою, а обратился в одно только желание, в один призыв, в одну любовь. Она уничто-

жила всю его прежнюю сущность, как пламя сжигает письмо.

Она отлично заметила, она поняла свое полное торжество и, трепещущая, растроганная и к тому же оживленная морским и деревенским воздухом, полным солнечных лучей и жизненных соков, сказала, не глядя на него:

— Как я рада видеть вас!

И тотчас же добавила:

— Сколько времени вы пробудете здесь?

Он ответил:

— Два дня, если сегодняшний день может идти в счет.

Потом он, обернувшись к тетке, спросил:

— Не согласится ли госпожа Вальсази с супругом оказать мне честь и провести завтрашний день вместе на горе Сен-Мишель?

Г-жа де Бюрн ответила за родственницу:

— Я не позволю тете отказаться, раз уж нам посчастливилось встретить вас здесь.

Жена инженера добавила:

— Охотно соглашусь, сударь, но при условии, что сегодня вечером вы у меня отобедаете.

Он поклонился, принимая приглашение.

Тогда в нем вспыхнула неистовая радость, радость, которая охватывает нас при получении самой желанной вести. Чего он добился? Что нового случилось в его жизни? Ничего. И все же его окрылял упоительный восторг, вызванный каким-то смутным предчувствием.

Они долго гуляли по этой террасе, дожидаясь, пока зайдет солнце, чтобы как можно дольше любоваться черною узорчатою тенью горы, выступавшей на огненном горизонте.

Теперь они вели разговор об обыденных вещах, ограничиваясь тем, что можно сказать в присутствии посторонних, и изредка взглядывали друг на друга.

Они вернулись на виллу, которая была расположена на окраине Авранша, среди прекрасного сада, возвышавшегося над бухтой.

Из скромности, к тому же немного смущенный холодным, почти враждебным отношением г-на Прадона, Мариоль ушел рано. Когда он подносил к губам ру-

ку г-жи де Бюрн, она сказала ему два раза подряд, с каким-то особым выражением: «До завтра, до завтра».

Как только он удалился, супруги Вальсази, давно уже усвоившие провинциальные привычки, предложили ложиться спать.

— Ложитесь,— сказала г-жа де Бюрн,— а я пройдусь по саду.

Отец ее добавил:

— И я тоже.

Она вышла, накинув шаль, и они пошли рядом по белым песчаным аллеям, освещенным полной луной и похожим на извилистые речки, бегущие среди клумб и деревьев.

После довольно долгого молчания г-н де Прадон сказал тихо, почти шепотом:

— Дитя мое, будь справедлива и согласись, что я никогда не докучал тебе советами.

Она поняла, куда он клонит, и, готовая к этому нападению, ответила:

— Простите, папа, по крайней мере, один совет вы мне дали.

— Я?

— Да, вы.

— Совет относительно твоего... образа жизни?

— Да, и даже очень дурной. Поэтому я твердо решила: если вы мне еще будете давать советы,— им не следовать.

— Что я тебе посоветовал?

— Выйти замуж за господина де Бюрна. Это доказывает, что вы лишены рассудительности, проницательности, не знаете людей вообще и вашей дочери в частности.

Он помолчал несколько секунд от удивления и замешательства, потом медленно заговорил:

— Да, тогда я ошибся. Но я уверен, что не ошибусь, высказав тебе сегодня свое отеческое мнение.

— Что ж, говорите! Я воспользуюсь им, если пригодится.

— Еще немного, и ты себя скомпрометируешь.

Она рассмеялась, рассмеялась слишком резким смехом и досказала за него:

— Разумеется, с господином Мариолем?

— С господином Мариолем.

— Вы забываете, что я уже скомпрометировала себя с Жоржем де Мальтри, с Масивалем, с Гастоном де Ламартом, с десятком других, к которым вы меня ревновали; стоит мне назвать человека милым и преданным, как весь мой кружок приходит в ярость, и вы первый, вы, которого небо даровало мне в качестве благородного отца и главного руководителя.

Он горячо возразил:

— Нет, нет, до сих пор ты ни с кем себя не компрометировала. Наоборот, ты проявляешь в отношениях со своими друзьями много такта.

Она ответила заносчиво:

— Дорогой папа, я уже не девочка и обещаю вам, что скомпрометирую себя с господином Мариолем не больше, чем с кем-либо другим, не беспокойтесь. Однако признаюсь вам, что это я просила его приехать сюда. Я нахожу его очаровательным, таким же умным, как все те, но меньшим эгоистом. Таково было и ваше мнение до того, как вы обнаружили, что я немного предпочитаю его остальным. Ох, не так-то уж вы хитры! Я тоже вас хорошо знаю и многое могла бы вам сказать, если бы захотела. Итак, господин Мариоль мне нравится, и поэтому я решила, что было бы очень приятно совершить с ним невзначай небольшую прогулку, что глупо лишать себя удовольствия, если это не грозит никакой опасностью. А мне не грозит опасность скомпрометировать себя, раз вы здесь.

Теперь она смеялась от души, зная, что каждое ее слово попадает в цель, что она держит его в руках благодаря этому намеку на его подозрительность и ревность, которые она давно почуяла в нем, и она забавлялась этим открытием с затаенным, злорадным и дерзким кокетством.

Он замолчал, пристыженный, недовольный, рассерженный, сознавая, что она угадала под его отеческой заботой скрытую враждебность, в причине которой он не хотел признаться даже самому себе.

Она добавила:

— Не беспокойтесь. Вполне естественно в это время года совершить поездку на гору Сен-Мишель с дядей, тетей, с вами, моим отцом, и со знакомым. К тому же

об этом никто не узнает. А если и узнает, тут нечего осуждать. Когда мы вернемся в Париж, этот знакомый займет свое обычное место среди остальных.

— Пусть так,— заключил он.—Будем считать, что я ничего не говорил.

Они прошли еще несколько шагов. Г-н де Прадон спросил:

— Не пора ли домой? Я устал, хочу лечь.

— Нет, я еще немного погуляю. Ночь так хороша!

Он многозначительно сказал:

— Далеко не уходи. Мало ли кто может встретиться.

— О, я буду тут, под окнами.

— Спокойной ночи, дитя мое.

Он быстро поцеловал ее в лоб и вошел в дом.

Она села немного поодаль на простую скамью, врытую в землю у подножия дуба. Ночь была теплая, напоенная ароматами полей, дыханием моря и светлой мглой; полная луна, поднявшись на самую середину неба, лила свет на залив, окутанный туманом. Он полз, как клубы белого дыма, заволакивая дюны, которые в этот час должен был затопить прилив.

Мишель де Бюрн, скрестив на коленях руки, устремив взор вдаль, старалась проникнуть в собственную душу сквозь непроницаемую дымку, подобную той, что застилала пески.

Сколько уже раз, сидя в туалетной перед зеркалом в своей парижской квартире, она спрашивала себя: что я люблю? чего желаю? на что надеюсь? чего хочу? что я такое?

Помимо восхищения самой собою и глубокой потребности нравиться, которые доставляли ей действительно много наслаждения, она никогда не испытывала никаких чувств, если не считать быстро потухавшего любопытства. Она, впрочем, сознавала это, потому что так привыкла разглядывать и изучать свое лицо, что не могла не наблюдать также и за душой. До сих пор она мирилась с этим отсутствием интереса ко всему тому, что других людей волнует, ее же может, в лучшем случае, немного развлечь, но отнюдь не захватить.

И все же всякий раз, когда она чувствовала, что в

ней зарождается более острый интерес к кому-то, всякий раз, когда соперница, отвоевывая у нее поклонника, которым она дорожила, тем самым разжигала ее женские инстинкты и возбуждала в ее крови горячку влечения, она испытывала при этом мнимом зарождении любви гораздо более жгучее ощущение, нежели простую радость успеха. Но всегда это длилось недолго. Отчего? Она уставала, пресыщалась, была, быть может, излишне проницательной. Все, что сначала нравилось ей в мужчине, все, что ее увлекало, трогало, волновало, очаровывало в нем, вскоре начинало казаться ей уже знакомым, пошлым, обыденным. Все они слишком походили друг на друга, хоть и не были одинаковыми; и еще ни в одном из них она не находила тех свойств и качеств, которые нужны были, чтобы долго ее волновать и увлекать ее сердце навстречу любви.

Почему так? Была ли то их вина, или ее? Недоставало ли им того, чего она ожидала, или ей недоставало того, что повелевает любить? Потому ли любишь, что встретил наконец человека, который представляется тебе созданным для тебя, или просто потому, что ты рожден со способностью любить? Временами ей казалось, что у всех сердце наделено, как тело, руками — ласковыми и манящими, которые привлекают, льнут и обнимают; а ее сердце — безрукое. У него одни только глаза.

Часто случается, что мужчины — и мужчины незаурядные — безумно влюбляются в женщин, недостойных их, лишенных ума, обаяния, порой даже красоты. Почему? Как? Что за тайна? Значит, этот человеческий недуг вызывается не только роковым предопределением, но также и каким-то зерном, которое мы носим в себе и которое внезапно прорастает? Она выслушивала признания, она разгадывала секреты, она даже собственными глазами наблюдала внезапное преображение, вызванное в душе этим дурманом, и много размышляла об этом.

В свете, в повседневной суете визитов, сплетен, всех мелких глупостей, которыми забавляются, которыми заполняют досуг богачи, она иногда с завистливым, ревнивым и почти что недоверчивым удивлением обна-

руживала людей — и женщин и мужчин,— с которыми явно происходило что-то необычайное. Это проявлялось не ярко, не бросалось в глаза, но она угадывала и понимала это своим врожденным чутьем. На их лицах, в их улыбках, и особенно в глазах, появлялось нечто невыразимое, восторженное, восхитительно счастливое — душевная радость, разлившаяся по всему телу, озарившая и плоть и взгляд.

Сама не зная, почему, она относилась к ним враждебно. Влюбленные всегда раздражали ее, и она принимала за презрение ту глухую и глубокую неприязнь, которую вызывали в ней люди, пылающие страстью. Ей казалось, что она распознает их благодаря своей необычайно острой и безошибочной проницательности. И действительно, нередко ей удавалось почуять и разгадать любовную связь прежде, чем о ней начинали подозревать в свете.

Когда она думала о том сладостном безумии, в которое повергает нас чье-то существование, чей-то образ, звук голоса, мысль, те неуловимые черты в близком человеке, которые неистово волнуют наше сердце,— она сознавала, что неспособна на это. А между тем сколько раз, устав от всего и мечтая о неизъяснимых усладах, истерзанная неотступной жаждой перемен и чего-то неведомого, которая была, возможно, лишь смутным волнением, неосознанным стремлением любить,— она с тайным стыдом, порожденным гордыней, желала встретить человека, который ввергнул бы ее — пусть не надолго, на несколько месяцев — в эту волшебную восторженность, охватывающую все помыслы, все тело, ибо в эти дни волнений жизнь, вероятно, приобретает причудливую прелесть экстаза и опьянения.

Она не только желала этой встречи, но даже сама чуть-чуть подготовила ее, совсем чуть-чуть, проявив немного своей ленивой энергии, которую ничто не занимало надолго.

Все ее мимолетные увлечения признанными знаменитостями, ослеплявшими ее на несколько дней, кончались тем, что кратковременная вспышка ее сердца неизменно угасала в непоправимом разочаровании. Она слишком многого ждала от этих людей, от их характера, их природы, их чуткости, их дарований. При

общении с каждым из них ей всегда приходилось убеждаться, что недостатки выдающихся людей часто ощущаются резче, чем их достоинства, что талант — некий дар, вроде острого зрения или здорового желудка, дар особый, самодовлеющий, не зависящий от прочих приятных качеств, придающих отношениям задушевность и привлекательность.

Но к Мариолю ее с первой встречи привязывало что-то иное. Однако любила ли она его? Любила ли настоящей любовью? Не будучи ни знаменитым, ни известным, он покорил ее своим чувством, нежностью, умом — всеми своими подлинными и простыми достоинствами. Он покорил ее, ибо она думала о нем беспрестанно; беспрестанно желала, чтобы он был возле нее; ни одно существо в мире не было ей так приятно, так мило, так необходимо. Это-то и есть любовь?

Она не чувствовала в душе того пламени, о котором столько говорят, но она впервые испытывала искреннее желание быть для этого человека чем-то бо́льшим, чем обворожительной подругой. Любила ли она его? Нужно ли для любви, чтобы человек казался преисполнен привлекательных качеств, выделялся среди окружающих и стоял выше всех, в ореоле, который сердце обычно возжигает вокруг своих избранников, или же достаточно, чтобы человек очень нравился, нравился настолько, что без него почти уже нельзя обойтись?

Если так, то она любила его или, по крайней мере, была к этому очень близка. Глубоко, с пристальным вниманием поразмыслив, она в конце концов ответила себе: «Да, я люблю его, но мне недостает сердечного порыва: такою уж я создана».

Между тем сегодня она слегка почувствовала в себе этот порыв, когда увидела его идущим ей навстречу на террасе парка в Авранше. Впервые в ней проснулось то невыразимое, что толкает, влечет, бросает нас к кому-нибудь; ей доставляло большое удовольствие идти рядом с ним, чувствовать его возле себя сгорающим от любви и смотреть, как солнце садится за тенью Сен-Мишеля, напоминающей сказочное видение. Разве сама любовь — не сказка для душ, в которую одни

инстинктивно верят, о которой другие мечтают так долго, что иной раз тоже начинают верить в нее? Не поверит ли в конце концов и она? Она почувствовала странное и сладостное желание склонить голову на плечо этого человека, стать ему более близкой, искать той «полной близости», которой никогда не достигаешь, подарить ему то, что тщетно предлагать, потому что все равно всегда сохраняешь это при себе: свою сокровенную сущность.

Да, она ощутила влечение к нему и в глубине сердца ощущает его и сейчас. Быть может, стоило только поддаться этому порыву, чтобы он превратился в страсть? Она всегда слишком сопротивлялась, слишком рассуждала, слишком боролась с обаянием людей. Разве не было бы упоительно в такой вечер, как сегодня, гулять с ним под ивами на берегу реки и в награду за его любовь время от времени дарить ему для поцелуя свои губы?

Одно из окон виллы распахнулось. Она обернулась. Это был ее отец, несомненно, искавший ее.

Она крикнула ему:

— Вы еще не спите?

Он ответил:

— Ты простудишься.

Она встала и направилась к дому. Вернувшись к себе, она раздвинула шторы, чтобы еще раз взглянуть на туман над бухтой, становившийся все белее от лунного света, и ей показалось, что и туман в ее сердце светлеет от восходящей любви.

Однако спала она крепко, и горничной пришлось разбудить ее, так как они собирались выехать рано, чтобы завтракать на горе.

Им подали большое ландо. Услышав шум колес по песку у подъезда, она выглянула в окно и тотчас же встретила взгляд Андре Мариоля, устремленный на нее. Ее сердце слегка забилось. Она с удивлением и испугом ощутила непривычное и странное движение того мускула, который трепещет и быстрее гонит кровь только оттого, что мы увидали кого-то. Как и накануне ночью, она спросила себя: «Неужели я влюблена?»

Потом, увидев его перед собою, она поняла, что он так увлечен, так болен любовью, что ей в самом

деле захотелось открыть объятия и дать ему поцеловать себя.

Они лишь обменялись взглядом, а он был и этим так счастлив, что побледнел.

Лошади тронули. Стояло ясное утро, сиявшее всюду разлившейся юностью; щебетали птицы. Экипаж стал спускаться по склону, миновал реку и проехал несколько деревень по каменистой дороге, такой неровной, что ездоков подбрасывало на скамьях. После длительного молчания г-жа де Бюрн стала подшучивать над дядей по поводу плохого состояния дорог; этого оказалось достаточно, чтобы сломить лед, и реявшее в воздухе веселье передалось всем.

Вдруг, при выезде из одной деревушки, вновь показалась бухта, но уже не желтая, как накануне вечером, а сверкающая от прозрачной воды, которою было покрыто все: дюны, прибрежные луга и, по словам кучера, даже часть дороги немного подальше.

Затем целый час ехали шагом, выжидая, когда этот поток схлынет обратно в море.

Кайма дубов и вязов вокруг ферм, мимо которых они проезжали, то и дело скрывала от глаз очертания монастыря, возвышавшегося на горе, которую в этот час со всех сторон окружало море. Потом он снова мелькал между фермами, все ближе и ближе, все более и более поражая взор. Солнце окрашивало в рыжеватые тона узорчатый гранитный храм, утвердившийся на вершине скалы.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль любовались им, потом обращали друг на друга взоры, в которых сочетались — у нее едва зарождающееся, а у него уже буйное — смятение сердца с поэтичностью этого видения, представшего им в розовой дымке июльского утра.

Беседовали с дружеской непринужденностью. Г-жа Вальсази рассказывала трагические истории, ночные драмы в зыбучих песках, засасывающих людей. Г-н Вальсази защищал плотину от нападок художников и расхваливал ее преимущества, подчеркивая, что она дает возможность в любое время сообщаться с горою и постепенно отвоевывает у моря дюны — сначала для пастбищ, а потом и для нив.

Вдруг экипаж остановился. Дорога оказалась за-

топленной. С виду это был пустяк: тонкий водный покров на каменистом грунте, но чувствовалось, что местами образовались рытвины и ямы, из которых не выбраться. Пришлось ждать.

— Вода быстро схлынет,— утверждал г-н Вальсази, указывая на дорогу, с которой тонкий слой воды сбегал, словно его выпивала земля или тянула куда-то таинственная и могучая сила.

Они вышли из экипажа, чтобы посмотреть поближе на это странное, стремительное и бесшумное отступление моря, следуя за ним шаг за шагом. На затопленных лугах, кое-где холмистых, уже проступили зеленые пятна, которые все росли, округлялись, превращались в острова. Эти острова постепенно принимали очертания материков, разделенных крошечными океанами, и наконец на всем протяжении залива стало заметно беспорядочное бегство моря, отступавшего вдаль. Казалось, что с земли сдергивают длинный серебристый покров — огромный, сплошь искромсанный, рваный покров, и, сползая, он обнажал обширные пастбища с низкой травой, но все еще застилал лежащие за пастбищами светлые пески.

Все опять вошли в экипаж и стояли в нем, чтобы лучше видеть. Дорога впереди уже просыхала, и лошади тронули, но все еще шагом, а так как на ухабах путники теряли равновесие, Андре Мариоль вдруг почувствовал, что к его плечу прильнуло плечо г-жи де Бюрн. Сперва он подумал, что прикосновение это вызвано случайным толчком, но она не отстранилась, и каждый скачок колес отзывался ударом в плече Мариоля, волновал его сердце и вызывал в нем трепет. Он уже не решался взглянуть на молодую женщину, скованный блаженством этой нежданной близости, и думал, путаясь в мыслях, как одурманенный: «Возможно ли? Неужели возможно? Неужели мы теряем рассудок оба?»

Лошади снова пошли рысью, пришлось сесть. Тогда Мариоля внезапно охватило властное, непонятное желание быть особенно любезным с г-ном Прадоном, и он стал оказывать ему самые лестные знаки внимания. Чувствительный к комплиментам почти в такой же мере, как и его дочь, г-н де Прадон поддался лести, и

вскоре его лицо снова приняло благодушное выражение.

Наконец доехали до плотины и покатили к горе, возвышавшейся в конце прямой дороги, проложенной среди песков. Слева ее откос омывала речка Понторсон, справа тянулись пастбища, поросшие низкой травой, которую кучер назвал морским гребешком, а дальше пастбища постепенно уступали место дюнам, еще пропитанным сочащейся морской водой.

Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: купол с колоколенками и башенками, кровля, ощетинившаяся водостоками в виде ухмыляющихся химер и косматых чудищ, которыми наши предки в суеверном страхе украшали готические храмы.

В гостиницу, где был заказан завтрак, приехали только около часу. Хозяйка, предвидя опоздание, еще не приготовила его; пришлось подождать. Поэтому за стол сели очень поздно; все сильно проголодались. Шампанское сразу же всех развеселило. Все были довольны, а два сердца чувствовали себя на грани блаженства. За десертом, когда возбуждение от выпитого вина и удовольствие от беседы разлили в телах ту радость бытия, которая одушевляет нас к концу хорошей трапезы и настраивает со всем соглашаться и все одобрять, Мариоль спросил:

— Не остаться ли нам здесь до завтра? Как чудесно было бы вечером полюбоваться луной и вместе поужинать!

Г-жа де Бюрн тотчас же приняла предложение, согласились и двое мужчин. Одна только г-жа Вальсази колебалась — из-за сына, который остался дома, но муж уговорил ее, напомнив, что ей уже не раз приходилось так отлучаться. Он тут же, не сходя с места, написал телеграмму бонне. Ему очень нравился Мариоль, который, желая польстить, похвалил плотину и высказал мнение, что она вовсе не настолько вредит красоте горы, как обычно говорят.

Встав из-за стола, они пошли осматривать аббатство. Решили идти вдоль укреплений. Городок представляет собою кучку средневековых домов, громоздящихся друг над другом на огромной гранитной скале,

на самой вершине которой высится монастырь; городок отделен от песков высокой зубчатой стеной. Эта стена круто поднимается в гору, огибая старый город и образуя выступы, углы, площадки, дозорные башни, которые на каждом повороте открывают перед изумленным взором все новые просторы широкого горизонта. Все приумолкли, слегка разомлев после обильного завтрака, но всё вновь и вновь изумлялись поразительному сооружению. Над ними, в небе, высился причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню,— неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала, вырывалась, словно для взлета, сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами. Между морем и аббатством, на северной стороне горы, за последними домами начинался угрюмый, почти отвесный склон, называемый Лесом, потому что он порос старыми деревьями; он выступал темно-зеленым пятном на безбрежных желтых песках. Г-жа де Бюри и Андре Мариоль, шедшие впереди, остановились, чтобы посмотреть вниз. Она оперлась на его руку, оцепенев от небывалого восторга. Она поднималась легко и готова была всю жизнь так подниматься с ним к этому сказочному храму и даже еще выше, к чему-то неведомому. Ей хотелось, чтобы этот крутой склон тянулся бесконечно, потому что здесь она в первый раз в жизни чувствовала почти полное внутреннее удовлетворение.

Она прошептала:

— Боже! Какая красота!

Он ответил, глядя на нее:

— Я не в силах думать ни о чем, кроме вас.

Она возразила, улыбнувшись:

— Я женщина не особенно поэтичная, но мне здесь так нравится, что я не на шутку потрясена.

Он прошептал:

— А я... я люблю вас безумно.

Он почувствовал, как она слегка пожала его руку, и они продолжали путь.

У ворот аббатства их встретил сторож, и они поднялись между двумя громадными башнями по велико-

лепной лестнице, которая привела их в караульное помещение. Затем они стали переходить из залы в залу, со двора во двор, из кельи в келью, слушая объяснения, дивясь, восхищаясь всем, всем любуясь: склепом с его толстыми столбами, прекрасными мощными, огромными колоннами, поддерживающими алтарь верхней церкви, и всем этим чудом — грандиозным трехэтажным сооружением, состоящим из готических построек, воздвигнутых одна над другой, самым необыкновенным созданием средневекового монастырского и военного зодчества.

Наконец они дошли до монастыря. Когда они увидели большой квадратный двор, окруженный самой легкой, самой изящной, самой пленительной из монастырских колоннад всего мира, они были так поражены, что невольно остановились. Двойной ряд тонких невысоких колонн, увенчанных прелестными капителями, несет на себе вдоль всех четырех галерей непрерывную гирлянду готических орнаментов и цветов, бесконечно разнообразных, созданных неисчерпаемой выдумкой, изящной и наивной фантазией простодушных старинных мастеров, руки которых воплощали в камне их мысли и мечты.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль, под руку, не спеша обошли весь двор, тогда как остальные, немного утомившись, любовались издали, стоя у ворот.

— Боже, как мне здесь нравится! — сказала она, остановившись.

Он ответил:

— А я уже совсем потерял представление о том, где я, что́ я вижу, что́ со мной происходит. Я только чувствую, что вы подле меня,— вот и все.

Тогда она, улыбаясь, взглянула ему прямо в лицо и прошептала:

— Андре!

Он понял, что она отдается ему. Они не сказали больше ни слова и пошли дальше.

Продолжался осмотр здания, но они уже почти ни на что не глядели.

На мгновение их, однако, отвлекла заключенная в арке кружевная лестница, перекинутая прямо по

воздуху от одной башенки к другой, словно для того, чтобы взбираться на облака. И снова они были изумлены, когда дошли до «Тропы безумцев» — головокружительной гранитной дорожки без перил, которая вьется почти до самой вершины последней башни.

— Можно по ней пройти? — спросила она.

— Запрещено,— ответил сторож.

Она вынула двадцать франков. Сторож заколебался. Все семейство, и так уже ошеломленное отвесной кручей и безграничным пространством, стало возражать против такой неосторожности.

Она спросила Мариоля:

— А вы пойдете, правда?

Он засмеялся:

— Мне удавалось преодолевать и более трудные препятствия.

И, не обращая внимания на остальных, они отправились.

Он шел впереди, по узкому карнизу у самого края бездны, а она пробиралась за ним, скользя вдоль стены, закрыв глаза, чтобы не видеть зияющей у ног пропасти, взволнованная, почти теряя сознание от страха, вцепившись в руку, которую он ей протягивал; но она чувствовала, что он непоколебим и не упадет в обморок, что он уверен в себе, ступает твердой поступью, и она с восхищением думала, несмотря на страх: «Вот настоящий мужчина!» Они были одни в пространстве, на такой высоте, где парят лишь морские птицы, они возвышались над горизонтом, по которому беспрерывно проносились белокрылые чайки, всматриваясь вдаль желтыми глазками.

Почувствовав, что она дрожит, Мариоль спросил:

— Голова кружится?

Она прошептала:

— Немного. Но с вами я не боюсь.

Тогда, приблизясь к ней, он обнял ее одной рукой, чтобы поддержать, и она почувствовала такое успокоение от этой грубоватой мужской помощи, что даже решилась поднять голову и посмотреть вдаль.

Он почти нес ее, а она вверялась ему, наслаждаясь мощным покровительством человека, который ведет ее

по воздуху, и чувствовала к нему признательность, романтическую женскую признательность за то, что он не портит поцелуями этот полет, полет двух чаек.

Когда они вернулись к своим спутникам, ожидавшим их в крайней тревоге, г-н де Прадон вне себя сказал дочери:

— Что за глупости ты делаешь!

Она ответила убежденно:

— Это не глупость, раз она удалась. То, что удается, папа, никогда не бывает глупо.

Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горою со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид.

Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил.

С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюрн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа.

Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны.

Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Никому, впрочем,

не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства — больше уже не хотелось смотреть ни на что.

Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила ложиться спать. Все без возражений согласились с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.

Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью.

Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать,— потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья.

И в гостинице и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость.

Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.

II

Они условились встретиться на другой день утром у подъезда гостиницы, чтобы проститься. Андре Мариоль спустился первым и ждал ее появления с щемящим чувством тревоги и блаженства. Что она скажет? Какою будет? Что станется с нею и с ним? В какую полосу жизни — то ли счастливую, то ли гибельную — он ступил? Она может сделать из него все, что захочет,— человека, погруженного в мир грез, подобно курильщикам опиума, или мученика,— как ей вздумается. Он беспокойно шагал возле двух экипажей, которые должны были разъехаться в разные стороны: ему предстояло закончить путешествие через Сен-Мало, чтобы довершить обман, остальные же возвращались в Авранш.

Когда он увидит ее вновь? Сократит ли она свое пребывание у родственников или задержится там? Он страшно боялся ее первого взгляда и первых слов, потому что в минуты краткого ночного объятия не видел ее и они почти ничего не сказали друг другу. Она отдалась без колебаний, но с целомудренной сдержанностью, не наслаждаясь, не упиваясь его ласками; потом ушла своей легкой походкой, прошептав: «До завтра, мой друг».

От этой быстрой, странной встречи у Андре Мариоля осталось еле уловимое чувство разочарования, как у человека, которому не довелось собрать всю жатву любви, казавшуюся ему уже созревшей, и в то же время осталось опьянение победою и, следовательно, надежда, почти уверенность, что вскоре он добьется от нее полного самозабвения.

Он услыхал ее голос и вздрогнул. Она говорила громко, по-видимому, недовольная какой-то прихотью отца, и когда она показалась на верхних ступеньках лестницы, на губах ее лежала сердитая складка.

Мариоль направился к ней; она его увидела и стала улыбаться. Ее взгляд вдруг смягчился и принял ласковое выражение, разлившееся по всему лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисто и нежно, он почувствовал, что она подтверждает принесенный ею дар и делает это без принуждения и раскаяния.

— Итак, мы расстаемся? — сказала она.

— Увы, сударыня! Не могу выразить, как мне это тяжело.

Она промолвила:

— Но ведь не надолго.

Г-н де Прадон подходил к ним, поэтому она добавила совсем тихо:

— Скажите, что собираетесь дней на десять в Бретань, но не ездите туда.

Г-жа де Вальсази в большом волнении подбежала к ним.

— Что это папа говорит? Ты собираешься ехать послезавтра? Подождала бы хоть до будущего понедельника.

Г-жа де Бюрн, слегка нахмурившись, возразила:

— Папа нетактичен и не умеет молчать. Море вызывает у меня, как всегда, очень неприятные невралгические явления, и я действительно сказала, что мне надо уехать, чтобы потом не пришлось лечиться целый месяц. Но сейчас не время говорить об этом.

Кучер Мариоля торопил его, чтобы не опоздать к поезду.

Г-жа де Бюрн спросила:

— А вы когда думаете вернуться в Париж?

Он сделал вид, что колеблется.

— Не знаю еще; мне хочется посмотреть Сен-Мало, Брест, Дуарненез, бухту Усопших, мыс Раз, Одиерн, Пенмарк, Морбиган — словом, объездить весь знаменитый бретонский мыс. На это потребуется...

Помолчав, будто высчитывает, он решил преувеличить:

— Дней пятнадцать — двадцать.

— Это долго,— возразила она, смеясь.— А я, если буду чувствовать себя так плохо, как в эту ночь, через два дня вернусь домой.

Волнение стеснило ему грудь, ему хотелось крикнуть: «Благодарю!», но он ограничился тем, что поцеловал, поцеловал, как любовник, руку, которую она протянула ему на прощание.

Обменявшись бесчисленными приветствиями, благодарностями и уверениями во взаимном расположении с супругами Вальсази и г-ном де Прадоном, которого он

несколько успокоил, объявив о своем путешествии, Мариоль сел в экипаж и уехал, оглядываясь в сторону г-жи де Бюрн.

Он вернулся в Париж, нигде не задерживаясь и ничего не замечая в пути. Всю ночь, прикорнув в вагоне, полузакрыв глаза, скрестив руки, с душой, поглощенной одним-единственным воспоминанием, он думал о своей воплотившейся мечте. Едва он оказался дома, едва кончилось его путешествие и он снова погрузился в тишину своей библиотеки, где обычно проводил время, где занимался, где писал, где почти всегда чувствовал себя спокойно и уютно в обществе своих любимых книг, рояля и скрипки,— в душе его началась та нескончаемая пытка нетерпения, которая, как лихорадка, терзает ненасытные сердца. Пораженный тем, что он не может ни на чем сосредоточиться, ничем заняться, что ничто не в силах не только поглотить его мысли, но даже успокоить его тело,— ни привычные занятия, которыми он разнообразил жизнь, ни чтение, ни музыка,— он задумался: что же сделать, чтобы умерить этот новый недуг? Его охватила потребность — физическая необъяснимая потребность — уйти из дому, ходить, двигаться; охватил приступ беспокойства, которое от мысли передалось телу и было не чем иным, как инстинктивным и неукротимым желанием искать и вновь обрести кого-то.

Он надел пальто, взял шляпу, отворил дверь и, уже спускаясь по лестнице, спросил себя: «Куда я?» И у него возникла мысль, над которой он еще не задумывался. Ему нужно было найти приют для их свиданий — укромную, простую и красивую квартиру.

Он искал, ходил, обегал улицы за улицами, авеню и бульвары, тревожно приглядывался к угодливо улыбавшимся привратницам, хозяйкам с подозрительными лицами, к квартирам с сомнительной мебелью и вечером вернулся домой в унынии. На другое утро, с девяти часов, он снова принялся за поиски и наконец, уже в сумерках, отыскал в одном из переулков Отейля, в глубине сада с тремя выходами, уединенный флигелек, который местный обойщик обещал ему обставить в два дня. Он выбрал обивку, заказал мебель,— совсем простую, из морёной сосны,— и очень мягкие

ковры. Сад находился под присмотром булочника, жившего поблизости. С женой его он сговорился насчет уборки квартиры. Соседний садовод взялся сделать клумбы.

Все эти хлопоты задержали его до восьми часов, а когда он пришел домой, изнемогая от усталости, его сердце забилось при виде телеграммы, лежавшей на письменном столе. Он вскрыл ее.

«Буду дома завтра вечером,— писала г-жа де Бюрн.— Ждите указаний. Миш.»

Он еще не писал ей, боясь, что письмо пропадет, раз она должна уехать из Авранша. Сразу же после обеда он сел за письменный стол, чтобы выразить ей все, что он чувствовал. Он писал долго и с трудом, ибо все выражения, фразы и самые мысли казались ему слабыми, несовершенными, нелепыми для передачи его нежной и страстной признательности.

В письме, которое он получил на другое утро, она подтверждала, что вернется в тот же вечер, и просила его не показываться никому несколько дней, чтобы все верили в его отсутствие. Кроме того, она просила его прийти на следующий день, часов в десять утра, в Тюильрийский сад, на террасу, возвышающуюся над Сеной.

Он явился туда часом раньше и бродил по обширному саду, где мелькали лишь ранние прохожие, чиновники, спешившие в министерства на левом берегу, служащие, труженики разных профессий. Он сознательно отдавался удовольствию наблюдать за этими торопливо бегущими людьми, которых забота о хлебе насущном гнала к их притупляющим занятиям, и, сравнивая себя с ними в этот час, когда он ждал свою возлюбленную, одну из владычиц мира, он чувствовал себя таким баловнем судьбы, существом столь счастливым, столь далеким от жизненной борьбы, что ему захотелось возблагодарить голубые небеса, ибо провидение было для него лишь сменою лазури и ненастья, в зависимости от Случая, коварного властелина людей и дней.

За несколько минут до десяти часов он поднялся на террасу и стал всматриваться.

«Опаздывает»,— подумал он. Не успел он расслы-

шать десять ударов, пробивших на одной из соседних башен, как ему показалось, что он узнает ее издали, что это она идет по саду торопливым шагом, как продавщица, спешащая в свой магазин. Он сомневался: она ли это? Он узнавал ее походку, но его удивляла перемена в ее внешности, такой скромной в простом темном платье. А она в самом деле направлялась к лестнице, ведущей на террасу, и шла уверенно, словно бывала тут уже много раз.

«Вероятно,— подумал он,— ей нравится это место и она иногда гуляет здесь». Он наблюдал, как она подобрала платье, поднимаясь на первую каменную ступеньку, как легко прошла остальные, а когда он устремился к ней, чтобы ускорить встречу, она с ласковой улыбкой, таившей беспокойство, сказала ему:

— Вы очень неосторожны. Не надо ждать так, на самом виду. Я увидела вас почти что с улицы Риволи. Пойдемте посидим на скамейке, вон там за оранжереей. Там и ждите меня в другой раз.

Он не мог удержаться и спросил:

— Значит, вы часто здесь бываете?

— Да, я очень люблю это место. Я люблю гулять рано по утрам и прихожу сюда любоваться этим прелестным видом. Кроме того, здесь никогда никого не встречаешь, в то время как Булонский лес нестерпим. Но никому не выдавайте этой тайны.

Он засмеялся:

— Еще бы!

Осторожно взяв ее руку, маленькую руку, прятавшуюся в складках одежды, он вздохнул:

— Как я люблю вас! Я истомился, ожидая вас! Получили вы мое письмо?

— Да, благодарю. Оно меня очень тронуло.

— Значит, вы не сердитесь на меня?

— Да нет. За что же? Вы так милы.

Он подыскивал пламенные, трепетные слова, чтобы высказать свою признательность и волнение. Не находя их и слишком волнуясь, чтобы выбирать выражения, он повторил:

— Как я люблю вас!

Она сказала:

— Я предложила вам прийти сюда, потому что

здесь тоже вода и пароходы. Конечно, это не то, что там, но и здесь неплохо.

Они сели на скамеечке, у каменной балюстрады, тянущейся вдоль Сены, и оказались почти одни. Два садовника да три няньки с детьми были в этот час единственными живыми существами на обширной террасе.

У ног их по набережной катили экипажи, но они не видели их. Совсем близко, под стеной, спускающейся от террасы, раздавались шаги, а они, не находя еще что сказать друг другу, смотрели на этот красивый парижский вид, начинающийся островом Сен-Луи и башнями Собора Богоматери и кончающийся Медонскими холмами. Она повторила:

— Как здесь все-таки хорошо!

Но его вдруг пронзило вдохновляющее воспоминание об их восхождении в небеса с вершин аббатства, и, терзаемый сожалением о пронесшемся порыве чувства, он сказал:

— Помните, сударыня, наш взлет у Тропы безумцев?

— Еще бы... Но теперь, когда я вспоминаю об этом, мне становится страшновато. Боже, как закружилась бы у меня голова, если бы пришлось это повторить. Я тогда совсем опьянела от воздуха, солнца и моря. Взгляните, друг мой, как прекрасно и то, что у нас сейчас перед глазами. Я очень люблю Париж.

Он удивился, смутно почувствовав, что в ней уже недостает чего-то, мелькнувшего там, на вершине.

Он прошептал:

— Не все ли равно где, лишь бы быть возле вас!

Она молча пожала ему руку. Это легкое пожатие наполнило его бо́льшим счастьем, нежели сделали бы ласковые слова; сердце его избавилось от стеснения, тяготившего его до сих пор, и он мог наконец заговорить.

Он сказал ей медленно, почти что в торжественных выражениях, что отдал ей жизнь навеки, что она может делать с ним, что захочет.

Она была ему благодарна, но, как истая дочь своего времени, отравленная сомнениями, как безнадежная пленница подтачивающей иронии, она, улыбнувшись, возразила:

— Не берите на себя таких больших обязательств.

Он совсем повернулся к ней и, глядя ей в самые глаза, глядя тем проникновенным взглядом, который кажется прикосновением, он повторил ей только что сказанное — более пространно, более пылко, более поэтично. Все, что он ей писал в стольких восторженных письмах, он выражал теперь с такой пламенной убежденностью, что она внимала ему, как бы паря в облаках фимиама. Всем своим женским существом она ощущала ласку этих обожающих губ, ласку, какой она еще никогда не знала.

Когда он умолк, она ответила ему просто:

— И я тоже вас очень люблю.

Теперь они держались за руки, как подростки, шагающие бок о бок по проселочной дороге, и затуманенным взором наблюдали, как по реке ползут пароходики. Они были одни в Париже, среди смутного, немолчного, далекого и близкого гула, который носился над ними в этом городе, полном жизни, они были здесь в большем уединении, чем на вершине воздушной башни, и на несколько мгновений действительно забыли, что на земле есть еще что-то, кроме них.

К ней первой вернулось ощущение реальности и сознание, что время идет.

— Хотите опять встретиться здесь завтра? — спросила она.

Он подумал несколько секунд и смутился от того, о чем собирался просить:

— Да... да... разумеется. Но... разве мы никогда не увидимся в другом месте?.. Здесь уединенно... однако... всякий может сюда прийти.

Она колебалась.

— Вы правы... А кроме того, вы не должны никому показываться еще, по крайней мере, недели две, чтобы все верили, что вы путешествуете. Будет так мило и так таинственно встречаться с вами, в то время как все думают, что вас нет в Париже. Но пока что я не могу вас принимать. Поэтому... я не представляю себе...

Он почувствовал, что краснеет, но сказал:

— И я не могу просить вас заехать ко мне. Может быть, есть другая возможность, другое место?

Как женщина практическая, свободная от ложной стыдливости, она не удивилась и не была возмущена.

— Да, конечно. Но об этом надо подумать.

— Я уже подумал...

— Уже?

— Да.

— И что же?

— Знаете вы улицу Вьё-Шан в Отейле?

— Нет.

— Она выходит на улицы Турнмин и Жан-де-Сож.

— Ну, а дальше?

— На этой улице, или, вернее, в этом переулке, есть сад, а в саду — домик, из которого можно выйти также и на те две улицы, которые я назвал.

— Ну, а дальше?

— Этот домик ждет вас.

Она задумалась, потом все так же непринужденно задала два — три вопроса, подсказанных ей женской осторожностью. Он дал разъяснения, по-видимому, удовлетворившие ее, потому что она сказала, вставая:

— Хорошо, завтра приду.

— В котором часу?

— В три.

— Я буду ждать вас за калиткой. Дом номер семь. Не забудьте. Но когда пойдете мимо, постучите.

— Хорошо. До свидания, мой друг. До завтра!

— До завтра. До свидания. Благодарю! Я боготворю вас!

Они стояли рядом.

— Не провожайте меня,— сказала она.— Побудьте здесь минут десять, потом идите набережной.

— До свидания.

— До свидания.

Она пошла очень быстро, с таким скромным, благонравным, деловым видом, что была совсем похожа на тех стройных и трудолюбивых парижских девушек, которые утром бегут по улицам, торопясь на работу.

Он приказал везти себя в Отейль; его терзало опасение, что квартира не будет готова завтра.

Но она оказалась полна рабочих. Стены были уже обиты штофом, на паркете лежали ковры. Всюду мы-

ли, стучали, вбивали гвозди. В саду, остатках старинного парка, довольно обширном и нарядном, было несколько высоких и старых деревьев, густых рощиц, создававших видимость леса, две лиственных беседки, две лужайки и дорожки, вившиеся вокруг куп деревьев; местный садовник уже посадил розы, гвоздику, герань, резеду и десятка два других растений, цветение которых можно путем внимательного ухода ускорить или задержать, чтобы потом в один день превратить невозделанную землю в цветущие клумбы.

Мариоль был рад, словно добился нового успеха; он взял с обойщика клятву, что вся мебель будет расставлена по местам завтра до полудня, и пошел по магазинам за безделушками, чтобы украсить этот уголок внутри. Для стен он выбрал несколько превосходных репродукций знаменитых картин, для каминов и столиков — дэковский фаянс и несколько мелочей, которые женщины любят всегда иметь под рукой.

За день он истратил свой двухмесячный доход и сделал это с огромным наслаждением, подумав, что целых десять лет он экономил не из любви к сбережениям, а из-за отсутствия потребностей, и это позволяло ему теперь роскошествовать, как вельможе.

На другой день он уже с утра был во флигельке, принимал доставленную мебель, распоряжался ее расстановкой, сам развешивал рамки, лазил по лестницам, курил благовония, опрыскивал духами ткани, ковры. В этой лихорадке, в этом восторженном возбуждении, охватившем все его существо, ему казалось, что он занят самым увлекательным, самым упоительным делом, каким занимался когда-либо. Он поминутно глядел на часы, вычислял, сколько времени отделяет его от мгновения, когда войдет она; он торопил рабочих, волновался, стараясь все устроить получше, расставить и сочетать предметы как можно удачнее.

Из предосторожности он отпустил рабочих, когда еще не пробило двух часов. И в то время, как стрелки медленно обходили последний круг по циферблату, в тиши этой обители, где он ожидал величайшего счастья, на какое когда-либо мог рассчитывать, наедине со своей грезой, переходя из спальной в гостиную и обратно, разговаривая вслух, мечтая, бредя, он наслаждался

такой безумной любовной радостью, какой не испытывал еще никогда.

Потом он вышел в сад. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, ложились на траву и как-то особенно пленительно освещали клумбу с розами. Значит, и само небо старалось украсить это свидание. Затем он притаился за калиткой, но временами приотворял ее, боясь, как бы г-жа де Бюрн не ошиблась.

Пробило три удара, на которые тотчас же отозвалось несколько фабричных и монастырских башенных часов. Теперь он ждал с часами в руках, и когда раздались два легких удара в дверь, к которой он приложился ухом, он встрепенулся от удивления, потому что не уловил ни малейшего звука шагов.

Он отворил; это была она. Она смотрела на все с удивлением. Прежде всего она тревожным взором окинула ближайшие дома, но сразу успокоилась, так как у нее, конечно, не могло быть знакомых среди тех скромных мещан, которые ютились здесь; затем она с любопытством и удовольствием осмотрела сад; наконец, сняв перчатки, приложила обе руки к губам своего возлюбленного, потом взяла его под руку.

Она твердила на каждом шагу:

— Боже! Вот прелесть! Какая неожиданность! Как очаровательно!

Заметив клумбу с розами, расцвеченную солнцем, пробившимся сквозь ветви, Мишель воскликнула:

— Да это как в сказке, мой друг!

Она сорвала розу, поцеловала ее и приколола к корсажу. Они вошли в домик; у нее был такой довольный вид, что ему хотелось стать перед нею на колени, хотя в глубине сердца он и чувствовал, что ей следовало бы, пожалуй, побольше заниматься им и поменьше окружающим. Она глядела вокруг, возбужденная и радостная, словно девочка, которая забавляется новой игрушкой. Не чувствуя смущения в этой изящной могиле ее женской добродетели, она хвалила изысканность обстановки с восторгом знатока, вкусам которого угодили. Идя сюда, она боялась найти пошлую квартиру с поблекшей обивкой, осквернённой предшествующими свиданиями. Тут же, наоборот, все было ново, неожиданно, кокетливо, создано нарочно для нее и обо-

шлось, вероятно, очень дорого. Человек этот, право же, совершенство!

Она повернулась к нему и подняла руки чарующим призывным движением; закрыв глаза, они обнялись, слившись в поцелуе, который дает странное и двойственное ощущение — блаженства и небытия.

Три часа провели они в непроницаемой тишине этого уединения, тело к телу, уста к устам, и душевное опьянение Андре Мариоля слилось наконец с опьянением плоти.

Перед разлукой они прошлись по саду и сели в одной из лиственных беседок, откуда их нельзя было видеть. Восторженный Андре говорил с нею благоговейно, как с кумиром, сошедшим ради него со священного пьедестала, а она его слушала, истомленная усталостью, отражение которой он часто замечал в ее взгляде после затянувшегося визита докучливых гостей. Она все же была приветлива, лицо ее освещалось нежной, несколько принужденной улыбкой, и, держа его руку, она сжимала ее долгим пожатием, скорее невольным, чем сознательным.

Она, по-видимому, не слушала того, что он ей говорил, потому что, прервав его в середине фразы, сказала:

— Решительно мне пора идти. В шесть часов я должна быть у маркизы де Братиан, и я уже сильно запаздываю.

Он бережно проводил ее до двери, которую отворил ей при входе. Они поцеловались, и, бросив на улицу беглый взгляд, она пошла, держась как можно ближе к стене.

Как только он остался один, как только почувствовал внезапную пустоту, которую оставляет в нас женщина, исчезая после объятий, и странную царапину в сердце, наносимую удаляющимися шагами, ему показалось, что он покинут и одинок, словно он ничего не сохранил от нее. И он стал шагать по песчаным дорожкам, размышляя о вечном противоречии между надеждой и действительностью.

Он пробыл здесь до темноты, постепенно успокаиваясь и отдаваясь ей издали с бо́льшим самозабвением, нежели отдавалась она, когда была в его объя-

тиях; потом вернулся домой, пообедал, не замечая того, что́ ест, и сел ей писать.

Следущий день показался ему долгим, вечер — нескончаемым. Он снова написал ей. Как это она не ответила ему, ничего не велела передать? На второй день, утром, он получил краткую телеграмму, назначавшую свидание на завтра, в тот же час. Этот клочок голубой бумаги сразу излечил его от недуга ожидания, который уже начинал его терзать.

Она явилась, как и в первый раз, вовремя, приветливая, улыбающаяся, и их встреча во флигельке ничем не отличалась от первой. Андре Мариоль, сначала удивленный и смутно взволнованный тем, что не ощущал в их отношениях той восторженной страсти, приближение которой он предчувствовал, но еще более влюбленный чувственно, понемногу забывал мечту об ожидаемом обладании, испытывая несколько иное счастье в обладании обретенном. Он привязывался к ней узами ласк, самыми опасными, неразрывными, теми единственными узами, от которых никогда уже не освободиться мужчине, если они крепко обхватят его и так вопьются, что выступит кровь.

Прошло три недели, таких сладостных, таких мимолетных! Ему казалось, что этому не будет конца, что он всегда будет жить так, исчезнув для всех и существуя для нее одной; и в его увлекающейся душе, душе художника, ничего не создавшего, вечно томимого ожиданием, рождалась призрачная надежда на скромную, счастливую и замкнутую жизнь.

Мишель приходила раза два в неделю, не сопротивляясь, привлекаемая, должно быть, столько же радостью этих свиданий, очарованием домика, превратившегося в оранжерею редких цветов, и новизною этих любовных отношений, отнюдь не опасных, раз никто не имел права выслеживать ее, и все же полных тайны,— сколько и почтительной, все возрастающей нежностью ее возлюбленного.

Но как-то она сказала ему:

— Теперь, друг мой, вам пора снова появиться в свете. Приходите ко мне завтра днем. Я сказала, что вы вернулись.

Он был в отчаянии.

— Ах, зачем так скоро! — воскликнул он.

— Потому что, если бы случайно узнали, что вы в Париже, ваше уединение показалось бы слишком необъяснимым, возбудило бы подозрения.

Он согласился, что она права, и обещал прийти к ней на другой день. Потом спросил:

— Значит, у вас завтра приемный день?

— Да,— ответила она.— И даже маленькое торжество.

Это было ему неприятно.

— Какое торжество?

Она смеялась, очень довольная.

— Я при помощи разных ухищрений добилась от Масиваля, чтобы он сыграл у меня свою *Дидону,* которую еще никто не слыхал. Это поэма об античной любви. Госпожа де Братиан, считавшая себя единственной обладательницей Масиваля, в полном отчаянии. Впрочем, она тоже будет, она ведь поет. Не молодчина ли я?

— Много будет гостей?

— О, нет, только несколько самых близких. Вы почти со всеми знакомы.

— Нельзя ли мне уклониться от этого концерта? Я так счастлив в своем уединении.

— О, нет, друг мой. Поймите же, вы для меня самый главный.

Сердце его забилось.

— Благодарю,— сказал он.— Приду.

III

— Здравствуйте, дорогой господин Мариоль.

Он обратил внимание, что теперь он уже не «дорогой друг», как в Отейле. И последовавшее за этим краткое рукопожатие было поспешным рукопожатием женщины, занятой, озабоченной, поглощенной светскими обязанностями. Он направился в гостиную, в то время как г-жа де Бюрн пошла навстречу прекраснейшей г-же Ле Приёр, чуть-чуть иронически прозванной «богиней» за смелые декольте и притязания на скульптурность форм. Ее муж был академик по разряду Надписей и Изящной Словесности.

— А, Мариоль! — воскликнул Ламарт.— Где вы пропадали? Мы уже думали, что вас нет в живых.

— Я путешествовал по Финистеру.

Он стал делиться впечатлениями, но романист прервал его:

— Вы знакомы с баронессой де Фремин?

— Нет, знаю ее только в лицо. Но я много о ней слышал. Говорят, она очень интересна.

— Это королева заблудших, но она упоительна, от нее веет самой изысканной современностью. Пойдемте, я вас представлю ей.

Он взял Мариоля под руку и повел его к молодой женщине, которую всегда сравнивали с куколкой, бледной и очаровательной белокурой куколкой, придуманной и сотворенной самим дьяволом на погибель большим бородатым детям. У нее были продолговатые, узкие, красивые глаза, немного подтянутые к вискам, как у китайцев; взгляд их, отливавший голубой эмалью, струился между век, редко открывавшихся совсем, меж медлительных век, созданных, чтобы что-то скрывать, чтобы беспрестанно опускать завесу над тайной этого существа.

Ее очень светлые волосы отливали серебряными шелковистыми оттенками, и изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, а ее неожиданные острые мысли, полные тлетворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы.

Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная и к тому же самая остроумная светская женщина из подлинного света, хотя никто в точности не знал, кто она такая и что собою представляет. Она покоряла мужчин своим неотразимым могуществом. Муж ее тоже был загадкой. Благодушный и барственный, он, казалось, ничего не замечал. Была ли то слепота, безразличие или снисходительность? Быть может, ему нечего было замечать, кроме экстравагантностей, которые, несомненно, забавляли и его самого? Впрочем, мнения о нем сильно расходились. Передавали и очень дурные слухи. Доходило

до намеков, будто он извлекает выгоду из тайной порочности жены.

С г-жой де Бюрн ее связывало взаимное смутное влечение и дикая зависть; периоды их близости чередовались с приступами исступленной вражды. Они нравились друг другу, друг друга боялись и стремились одна к другой, как два заядлых дуэлиста, из которых каждый высоко ценит противника и мечтает его убить.

В настоящее время торжествовала баронесса де Фремин. Она только что одержала победу, и крупную победу: она отвоевала Ламарта, отбила его у соперницы, разлучила и приблизила к себе, чтобы приручить его и открыто записать в число своих завзятых поклонников. Романист был, по-видимому, увлечен, заинтересован, очарован и ошеломлен всем тем, что обнаружил в этом невероятном создании; он не мог удержаться, чтобы не говорить о ней с первым встречным, и это уже стало вызывать толки.

В тот момент, когда он представлял Мариоля, г-жа де Бюрн бросила на него взгляд с другого конца гостиной, и он улыбнулся, шепнув своему другу:

— Посмотрите, как недовольна здешняя повелительница.

Андре взглянул, но г-жа де Бюрн уже повернулась к Масивалю, показавшемуся из-за приподнятой портьеры.

Почти сразу же вслед за ним появилась маркиза де Братиан, и это дало Ламарту повод сострить:

— А знаете, мы ведь будем присутствовать при втором исполнении *Дидоны*. Первое, как видно, состоялось в карете маркизы.

Г-жа де Фремин добавила:

— Право, очаровательная Мишель теряет лучшие жемчужины своей коллекции.

В сердце Мариоля вдруг пробудилась злоба, почти ненависть к этой женщине и внезапная неприязнь ко всему этому обществу, к жизни этих людей, к их понятиям, вкусам, их мелочным интересам, их пустым развлечениям. И воспользовавшись тем, что Ламарт склонился к молодой даме и стал говорить ей что-то вполголоса, он повернулся и отошел.

Прекрасная г-жа Ле Приёр сидела одна, в нескольких шагах от него. Он подошел поздороваться с ней. По словам Ламарта, в этой передовой среде она была представительницей старины. Молодая, высокая, красивая, с очень правильными чертами лица, с каштановыми волосами, сверкавшими огненными искрами, приветливая, пленяющая своим спокойствием и доброжелательностью, невозмутимым и в то же время умным кокетством, великим желанием нравиться, скрытым за внешне искренней и простой сердечностью, она снискала себе верных поклонников, которых тщательно оберегала от опасных соперниц. Ее салон состоял из близких друзей, которые, впрочем, единодушно восхваляли также и достоинства ее мужа.

Между нею и Мариолем завязался разговор. Она очень ценила этого умного и сдержанного человека, о котором мало говорили, в то время как он стоил, пожалуй, больше многих других.

Входили запоздавшие приглашенные: толстяк Френель, запыхавшийся, проводил в последний раз платком по всегда влажному, лоснящемуся лбу; великосветский философ Жорж де Мальтри; потом, вместе, барон де Гравиль и граф де Марантен. Г-н де Прадон с дочерью встречали гостей. С Мариолем г-н де Прадон был очень любезен. Но Мариоль с сокрушением смотрел, как г-жа де Бюрн переходит от одного к другому, занятая всеми больше, чем им. Правда, два раза она бросила на него быстрый взгляд, как бы говоривший: «Я думаю о вас»,— но взгляд столь мимолетный, что он, быть может, ошибся в его значении. К тому же он не мог не замечать, что настойчивое ухаживание Ламарга за г-жой де Фремин раздражает г-жу де Бюрн. «Это,— думал он,— всего лишь досада кокетки, зависть светской женщины, у которой похитили ценную безделушку». Тем не менее он страдал от этого; особенно, когда замечал, что она беспрестанно бросает на них украдкой беглые взгляды, но отнюдь не беспокоится, видя его возле г-жи Ле Приёр. Ведь его-то она крепко держит, в нем она уверена, между тем как другой ускользает от нее. В таком случае, что же значит для нее их любовь, их только что родившаяся любовь, которая из его души вытеснила все прочие помыслы?

Г-н де Прадон призвал к вниманию, и Масиваль уже открыл рояль, а г-жа де Братиан, снимая перчатки, подходила к нему, чтобы спеть любовные восторги Дидоны, как дверь вновь отворилась и вошел молодой человек, привлекший к себе все взоры. Это был высокий стройный блондин, с завитыми бакенбардами, короткими вьющимися волосами и безупречно аристократической внешностью. Даже на г-жу Ле Приёр он, видимо, произвел впечатление.

— Кто это? — спросил ее Мариоль.

— Как?! Вы его не знаете?

— Да нет.

— Граф Рудольф фон Бернхауз.

— Ах, тот, у которого была дуэль с Сижисмоном Фабром?

— Да.

История эта наделала много шуму. Граф фон Бернхауз, советник австрийского посольства, дипломат с большим будущим, прозванный «изящным Бисмарком», услышав на одном официальном приеме непочтительный отзыв о своей государыне, вызвал оскорбителя, знаменитого фехтовальщика, на дуэль и убил его. После этой дуэли, ошеломившей общественное мнение, граф фон Бернхауз в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар, с той разницей, что его имя было окружено ореолом рыцарской доблести. Впрочем, это был очаровательный, безукоризненно воспитанный человек, приятный собеседник. Ламарт говорил о нем: «Это укротитель наших прекрасных львиц».

Он с почтительным видом занял место возле г-жи де Бюрн, а Масиваль сел за рояль, и его пальцы пробежали по клавиатуре.

Почти все слушатели пересели, устроились поближе, чтобы лучше слышать и видеть певицу. Ламарт оказался плечом к плечу с Мариолем.

Наступила глубокая тишина, полная напряженного внимания, настороженности и благоговения; потом пианист начал с медленного, очень медленного чередования звуков, казавшегося музыкальным повествованием. Сменялись паузы, легкие повторы, вереницы коротких фраз, то изнемогающих, то нервных, тревожных, но неожиданно-своеобразных. Мариоль погрузился в мечты.

Ему представлялась женщина, царица Карфагена, прекрасная своей зрелой юностью и вполне расцветшей красотой, медленно идущая по берегу моря. Он понимал, что она страдает, что в душе ее — великое горе; и он всматривался в г-жу де Братиан.

Неподвижная, бледная под копной черных волос, как бы окрашенных ночным мраком, итальянка ждала, устремив вперед неподвижный взгляд. В ее энергичном, немного суровом лице, на котором темными пятнами выделялись глаза и брови, во всем ее мрачном облике, мощном и страстном, было что-то тревожное, как предвестие грозы, таящейся в сумрачном небе.

Масиваль, слегка покачивая кудрявой головой, продолжал рассказывать на звучных клавишах надрывающую сердце повесть.

Вдруг по телу певицы пробежал трепет; она приоткрыла рот и издала протяжный, душераздирающий вопль отчаяния. То не был крик трагической безнадежности, какие издают на сцене певцы, сопровождая их скорбными жестами, то не был и красивый стон обманутой любви, вызывающий в зале восторженные восклицания; это был вопль невыразимый, исторгнутый не душою, а плотью, похожий на вой раздавленного животного,— вопль покинутой самки. Потом она смолкла, а Масиваль все продолжал трепетную, еще более взволнованную, еще более мучительную повесть несчастной царицы, покинутой любимым человеком.

Затем снова раздался голос женщины. Теперь она говорила, она рассказывала о невыносимой пытке одиночества, о неутолимой жажде утраченных ласк и о мучительном сознании, что он ушел навсегда.

Ее теплый вибрирующий голос приводил сердца в трепет. Казалось, что эта мрачная итальянка с волосами темнее ночи выстрадала все, о чем она поет, что она любит или, по крайней мере, может любить с неистовым пылом. Когда она умолкла, ее глаза были полны слез; она не спеша стала вытирать их. Ламарт склонился к Мариолю и сказал, весь трепеща от восторга:

— Боже, как она прекрасна в этот миг, дорогой мой! Вот женщина, и другой здесь нет!

Потом, подумав, добавил:

— А впрочем, как знать. Быть может, это только

мираж, созданный музыкой. Ведь, кроме иллюзии, ничего нет. Зато какое чудесное искусство — музыка! Как она создает иллюзии! И притом любые иллюзии!

В перерыве между первой и второй частями музыкальной поэмы композитора и певицу горячо поздравляли с успехом Особенно восторгался Ламарт, и притом вполне искренне, потому что он был одарен способностью чувствовать и понимать и был одинаково чуток к любым проявлениям красоты. Он так пылко рассказал г-же де Братиан о том, что́ переживал, слушая ее, что она слегка покраснела от удовольствия, в то время как другие женщины, присутствовавшие при этом, испытывали некоторую досаду. Быть может, он и сам заметил, какое впечатление произвели его слова. Возвращаясь на свое место, он увидел, что граф Рудольф фон Бернхауз садится рядом с г-жой де Фремин. Она тотчас же сделала вид, что говорит ему что-то по секрету, и оба они улыбались, словно эта задушевная беседа привела их в полный восторг. Мариоль, все больше и больше мрачневший, стоял, прислонясь к двери. Писатель подошел к нему. Толстяк Френель, Жорж де Мальтри, барон де Гравиль и граф де Марантен окружили г-жу де Бюрн, которая стоя разливала чай. Она была как бы в венке поклонников. Ламарт иронически обратил на это внимание своего друга и добавил:

— Впрочем, венок без драгоценностей, и я уверен, что она отдала бы все эти рейнские камешки за один недостающий бриллиант.

— Какой бриллиант? — спросил Мариоль.

— Да Бернхауз! Прекраснейший, неотразимый, несравненный Бернхауз! Тот, ради которого и устроен сегодняшний концерт, ради которого было совершено чудо: Масиваля уговорили привезти сюда его флорентийскую Дидону.

При всем своем недоверии Андре почувствовал, что сердце его разрывается от горя.

— Давно она с ним знакома? — спросил он.

— О, нет, дней десять самое большее. Но какие усилия она сделала за эту краткую кампанию и какую развернула завоевательную тактику! Если бы вы были здесь — посмеялись бы от души!

— Вот как? Почему?

— Она встретила его в первый раз у г-жи де Фремин. В тот день я там обедал. К Бернхаузу в этом доме очень расположены, в чем вы можете убедиться,— достаточно взглянуть на него сейчас; и вот, едва они познакомились, как наш прелестный друг, госпожа де Бюрн, принялась пленять несравненного австрийца. И ей это удается, ей это удастся, хотя малютка де Фремин и превосходит ее циничностью, подлинным бездушием и, пожалуй, порочностью. Зато наш друг де Бюрн искуснее в кокетстве, она более женщина,— я хочу сказать: женщина современная, то есть неотразимая благодаря искусству пленять, которое теперь заменяет былое естественное очарование. И надо бы даже сказать, не искусство, а эстетика — глубокое понимание женской эстетики. Все ее могущество именно в этом. Она прекрасно знает самое себя, потому что любит себя больше всего на свете, и она никогда не ошибается в выборе средств для покорения мужчины, в том, как показать себя с лучшей стороны, чтобы пленить нас.

Мариоль стал возражать:

— Мне кажется, вы преувеличиваете; со мной она всегда держалась очень просто.

— Потому что простота — это прием, самый подходящий для вас. Впрочем, я не намерен о ней злословить; я нахожу, что она выше почти всех ей подобных. Но это вообще не женщины.

Несколько аккордов, взятых Масивалем, заставили их умолкнуть, и г-жа де Братиан спела вторую часть поэмы, где она предстала подлинной Дидоной, великолепной своей земною страстью и чувственным отчаянием.

Но Ламарт не отрывал глаз от г-жи де Фремин и графа фон Бернхауза, сидевших рядом. Как только последний звук рояля замер, заглушенный аплодисментами, он сказал раздраженно, словно продолжал какой-то спор, словно возражал противнику:

— Нет, это не женщины. Даже самые порядочные из них — ничтожества, сами того не сознающие. Чем больше я их узнаю, тем меньше испытываю то сладостное опьянение, которое должна вызывать в нас настоящая женщина. Эти тоже опьяняют, но при этом стра-

но возбуждают нервы; это не натуральное вино. О, оно превосходно при дегустации, но ему далеко до былого, настоящего вина. Дорогой мой, ведь женщина создана и послана в этот мир лишь для двух вещей, в которых только и могут проявиться ее подлинные, великие, превосходные качества: для любви и для материнства. Я рассуждаю, как господин Прюдом. Эти же не способны на любовь и не желают детей; когда у них, по оплошности, родятся дети — это для них несчастье, а потом обуза. Право же, они чудовища.

Мариоль, удивленный резким тоном писателя и злобным огоньком, блестевшим в его глазах, спросил:

— Тогда почему же вы полжизни проводите возле них?

Ламарт ответил с живостью:

— Почему? Почему? Да потому, что это меня интересует. И наконец... Что же, вы запретите врачам посещать больницы и наблюдать болезни? Такие женщины — моя клиника, вот и все.

Это соображение, казалось, успокоило его. Он добавил:

— Кроме того, я обожаю их потому, что они вполне современны. В сущности, я в такой же мере мужчина, в какой они женщины. Когда я более или менее привязываюсь к одной из них, мне занятно обнаруживать и изучать все то, что меня от нее отталкивает, и я занимаюсь этим с тем же любопытством, с каким химик принимает яд, чтобы испробовать его свойства.

Помолчав, он продолжал:

— Поэтому я никогда не попадусь на их удочку. Я пользуюсь их же оружием, притом владею им не хуже, чем они, может быть, даже лучше, и это полезно для моих сочинений, в то время как им все то, что они делают, не приносит никакой пользы. До чего они глупы! Это все неудачницы, прелестные неудачницы, и тем из них, которые на свой лад чувствительны, остается только чахнуть с горя, когда они начинают стареть.

Слушая его, Мариоль чувствовал, как его охватывает грусть, гнетущая тоска, словно пронизывающая сырость ненастных дней. Он знал, что в общем писатель прав, но не хотел допустить, чтобы он был прав вполне.

Поэтому он стал, немного раздражаясь, спорить, не

столько, чтобы защитить женщин, сколько для того, чтобы выяснить, почему в современной литературе их изображают такими изменчиво-разочарованными.

— В те времена, когда романисты и поэты восхваляли их и возбуждали в них мечтательность, они искали и воображали, что находят в жизни эквивалент того, что сердца их предугадывали по книгам. Теперь же вы упорно устраняете все поэтическое и привлекательное и показываете лишь отрезвляющую реальность. А если, друг мой, нет любви в книгах,—нет ее и в жизни. Вы создавали идеалы, и они верили в ваши создания. Теперь вы только изобразители правдивой действительности, и вслед за вами и они уверовали в пошлость жизни.

Ламарт, любивший литературные споры, стал было возражать, но к ним подошла г-жа де Бюрн.

В этот день она была обворожительно одета и както особенно хороша, а сознание борьбы придавало ей смелый, вызывающий вид.

Она села.

— Вот это я люблю,— сказала она,— застигнуть двух беседующих мужчин, когда они говорят, не рисуясь передо мною. К тому же вы здесь единственные, которых интересно послушать. О чем вы спорите?

Не смущаясь, тоном светского насмешника Ламарт объяснил ей сущность спора. Потом он повторил свои доводы с еще бо́льшим воодушевлением, подстрекаемый желанием понравиться, которое испытывают в присутствии женщины все жаждущие славы.

Она сразу заинтересовалась темой спора и с увлечением приняла в нем участие, защищая современных женщин очень умно, тонко и находчиво. Несколько фраз, непонятных для писателя, о том, что даже самые ненадежные из них могут оказаться верными и любящими, заставили забиться сердце Мариоля. Когда она отошла, чтобы сесть возле г-жи де Фремин, которая упорно не отпускала от себя графа фон Бернхауза,— Ламарт с Мариолем, очарованные ее женской мудростью и изяществом, единодушно признали, что она, бесспорно, восхитительна.

— Посмотрите-ка на нее! — добавил писатель.

Шла великая дуэль. О чем говорили они, австриец

и две женщины? Г-жа де Бюрн подошла как раз в тот момент, когда продолжительное уединение двух людей, мужчины и женщины, даже если они нравятся друг другу, становится однообразным. И она нарушила это уединение, пересказав с возмущенным видом все, что только что слышала из уст Ламарта. Все это, конечно, могло относиться и к г-же де Фремин, все это шло от последнего завоеванного ею поклонника, все это повторялось при человеке очень тонком, который сумеет понять. Снова разгорелся спор на вечную тему о любви, и хозяйка дома знаком пригласила Ламарта и Мариоля присоединиться к ним. Потом, когда голоса зазвучали громче, она подозвала всех остальных.

Завязался общий спор, веселый и страстный; каждый вставил свое слово, а г-жа де Бюрн, приправляя даже самые потешные свои суждения крупицей чувства, быть может, притворного, сумела показать себя самой остроумной и забавной, ибо в этот вечер она действительно была в ударе, была оживлена, умна и красива, как никогда.

IV

Как только Мариоль расстался с г-жой де Бюрн и стали ослабевать чары ее присутствия, он почувствовал в самом себе и вокруг себя, в теле своем, в душе и во всем мире исчезновение той радости жизни, которая поддерживала и воодушевляла его с некоторых пор.

Что же произошло? Ничего, почти ничего. Она была очень мила с ним в конце этого вечера, раза два сказала ему взглядом: «Для меня здесь нет никого, кроме вас». И все же он чувствовал, что она призналась ему в чем-то, чего он предпочел бы не знать. Это тоже было ничто, почти ничто; тем не менее он был поражен, словно человек, обнаруживший, что его мать или отец совершили неблаговидный поступок, когда узнал, что в течение последних трех недель, тех трех недель, которые он считал без остатка отданными, посвященными ею, как и им, минута за минутой столь новому и столь яркому чувству их расцветшей любви,— она вернулась к прежнему образу жизни, сделала множество визитов, начала хлопотать, строить планы, возобновила отвратительную любовную войну, побеждала соперниц, за-

воевывала мужчин, с удовольствием выслушивала комплименты и расточала свое очарование перед другими, а не только перед ним.

Уже! Она уже увлекалась всем этим! О, позже он не удивился бы. Он знал свет, женщин, чувства, он был достаточно умен, чтобы все понять, и никогда не допустил бы в себе ни чрезмерной требовательности, ни мрачной недоверчивости. Она была прекрасна, была создана, чтобы нравиться, чтобы принимать поклонение и пошлые похвалы. Среди всех она выбрала его, отдалась ему смело и гордо. Он все равно по-прежнему остался бы признательным рабом ее прихотей и безропотным свидетелем ее жизни — жизни красивой женщины. Но что-то страдало в нем, в том темном уголке, на дне души, где таятся самые сокровенные чувства.

Конечно, он был неправ и всегда бывал неправ с тех пор, как себя помнил. Он проходил по свету с излишней настороженностью. Оболочка его души была слишком нежна. Отсюда та своего рода отчужденность, в которой он жил, опасаясь трений и обид. Он был неправ, ибо эти обиды почти всегда вызываются тем, что мы не терпим в окружающих черт, несвойственных нам самим. Ему это было известно, он это часто наблюдал в других и все же был не в силах унять свое волнение.

Разумеется, ему не в чем было упрекнуть г-жу де Бюрн. Если она в течение этих дней счастья, дарованного ею, и держала его в затворе, вдали от своего салона, так только для того, чтобы отвлечь внимание, обмануть соглядатаев, а затем безмятежно принадлежать ему. Откуда же эта печаль, закравшаяся в сердце? Откуда? Да ведь он воображал, что она отдалась ему всецело, теперь же он понял, почувствовал, что никогда ему не удастся завладеть и безраздельно обладать ее разносторонней и общительной натурой.

Правда, он прекрасно знал, что вся жизнь построена на зыбких основаниях, и до сего времени мирился с этим, скрывая свою неудовлетворенность под нарочитой нелюдимостью. Но на этот раз ему показалось, что он наконец обретет «полную меру», которую беспрестанно ждал, на которую беспрестанно надеялся. Но «полная мера» — не от мира сего.

Вечер прошел тоскливо, и Мариоль старался доводами рассудка побороть свое тягостное впечатление.

Когда он лег, это впечатление, вместо того чтобы рассеяться, еще возросло, а так как он всегда пристально изучал самого себя, он стал доискиваться малейших причин своих новых душевных мук. Они проходили, уносились, вновь возвращались, как легкие дуновения ледяного ветра, примешивая к его любви боль — еще слабую, отдаленную, но мучительную, похожую на те неопределенные невралгии, вызванные сквозняком, которые грозят жестокими страданиями.

Прежде всего он понял, что он ревнует,— уже не только как неистовый влюбленный, но как самец-обладатель. До тех пор пока он снова не увидел ее среди мужчин — ее поклонников,— он не знал этого чувства, хотя отчасти и предвидел его, но представлял его себе иным, совсем не таким, каким оно теперь обернулось. Когда он вновь увидел свою любовницу, которая в дни их тайных и частых свиданий, в пору их первых объятий, должна была бы замкнуться в уединении и в горячем чувстве,— когда он вновь увидел ее и заметил, что она не меньше, а, пожалуй, даже больше прежнего увлекается и тешится все тем же пустым кокетством, что она по-прежнему расточает самое себя перед первым встречным, так что на долю ее избранника могут остаться лишь крохи,— он почувствовал, что ревнует телом еще больше, чем душою, и теперь это было чувство не смутное, как назревающий недуг, а вполне определенное, потому что он усомнился в ней.

Сначала он усомнился инстинктивно, благодаря глухому недоверию, проникшему скорее в его кровь, чем в мысль, благодаря почти физической боли, которая охватывает мужчину, когда он не уверен в своей подруге. Усомнившись, он стал подозревать.

Что он ей в конце концов? Первый любовник, десятый? Прямой преемник мужа, г-на де Бюрна, или преемник Ламарта, Масиваля, Жоржа де Мальтри и, быть может, предшественник графа фон Бернхауза? Что ему известно о ней? Что она восхитительно красива, что она изящна, умна, изысканна, остроумна, зато изменчива, быстро утомляется, охладевает, пресыщается, что она прежде всего влюблена в самое себя и

безгранично кокетлива. Был ли у нее любовник — или любовники — до него? Если бы их у нее не было, разве отдалась бы она ему так смело? Откуда взялась бы у нее дерзость войти к нему в комнату, на постоялом дворе, ночью? Пришла бы разве она потом так легко в отейльский флигелек? Прежде чем принять его приглашение, она только задала несколько вопросов, вполне естественных для опытной и осторожной женщины. Он ответил ей как человек осмотрительный, привычный к таким свиданиям; и она тотчас же сказала «да», доверчивая, успокоенная, вероятно, уже умудренная опытом прежних похождений.

С какой сдержанной властностью постучалась она в дверцу, за которой он ждал ее, ждал изнемогающий, с бьющимся сердцем. Как уверенно она вошла, без малейших внешних признаков волнения, желая только убедиться в том, что ее не могут увидеть из соседних домов. Как она сразу почувствовала себя дома в этом подозрительном убежище, снятом и обставленном для ее греховных утех. Могла ли женщина — пусть смелая, стоящая выше житейской морали, презирающая предрассудки,— так спокойно погрузиться в неизвестность этой первой встречи, будь она не искушена в таких делах?

Разве не испытала бы она душевного смятения, нерешительности, инстинктивной робости, ступая на этот путь, разве не почувствовала бы она всего этого, если бы не имела некоторого опыта в этих любовных вылазках, если бы привычка к таким вещам уже не притупила ее врожденной стыдливости?

Разгоряченный терзающей, невыносимой лихорадкой, которую душевные страдания рождают в тепле постели, Мариоль метался, увлекаемый цепью своих предположений, как человек, скользящий по наклонной плоскости. Временами он пытался остановить их поток и разрушить их последовательность, он подыскивал, находил, лелеял разумные и успокаивающие мысли, но в нем таился зачаток страха, и он не мог воспрепятствовать его росту.

А между тем в чем он мог бы ее упрекнуть? Разве только в том, что она не вполне похожа на него, что она понимает жизнь не так, как он, и что чувствитель-

ные струны ее сердца не вполне созвучны с его струнами?

На другой день, как только он проснулся, в нем стало расти, словно голод, желание вновь увидеть ее, восстановить возле нее свое поколебленное доверие, и он стал ждать положенного часа, чтобы отправиться туда с первым официальным визитом.

Когда он вошел в маленькую гостиную, где она в одиночестве писала письма, она встала ему навстречу, протянув обе руки.

— Здравствуйте, милый друг,— сказала она с такой живой и искренней радостью, что все дурные мысли, тень которых еще витала в его уме, мгновенно улетучились.

Он сел возле нее и сразу стал говорить о том, как он ее любит, потому что теперь он ее любил уже не так, как прежде. Он ласково объяснял ей, что на свете существуют две породы влюбленных: одни безумствуют от вожделений, но пыл их остывает на другой же день после победы; других обладание покоряет и привязывает; у этих последних чувственной любви сопутствуют духовные, неизъяснимые призывы, с которыми мужское сердце иной раз обращается к женщине, и это порождает великую порабощенность, порабощенность всепоглощающей и мучительной любви.

Да, мучительной, всегда мучительной, какою бы счастливой она ни была, потому что ничто не может утолить, даже в мгновения наибольшей близости, ту потребность в ней, которую мы носим в своем сердце.

Г-жа де Бюрн слушала его очарованная, благодарная и воодушевлялась его словами, как воодушевляется зритель, когда актер с увлечением играет роль и когда эта роль трогает нас, отзываясь эхом в нашей собственной душе. А это действительно звучало, как эхо, волнующее эхо искренней страсти; но не в ней кричала эта страсть. Однако она была так довольна тем, что зародила подобное чувство, так довольна, что это случилось с человеком, который может так его выражать, с человеком, который ей положительно очень нравится, к которому она начинает очень привязываться, который становится ей все более и более необходим — не для тела ее, не для плоти, а для ее таинственного женского

существа, всегда жаждущего ласки, поклонения, покорности; была так рада, что ей хотелось поцеловать его, отдать ему свои губы, отдать всю себя, чтобы он не переставал боготворить ее.

Она отвечала ему без притворства и жеманной стыдливости, с большим искусством, каким одарены некоторые женщины, и дала понять, что и он многого достиг в ее сердце. И, сидя в этой гостиной, где в тот день случайно никто не появлялся до самых сумерек, они пробыли вдвоем, беседуя об одном и том же и лаская друг друга словами, которые имели неодинаковое значение для их душ.

Уже внесли лампы, когда приехала г-жа де Братиан. Мариоль откланялся; г-жа де Бюрн проводила его до большой гостиной, и он спросил:

— Когда же мы увидимся там?

— Хотите в пятницу?

— Разумеется. В котором часу?

— Как всегда — в три.

— До пятницы. Прощайте. Я боготворю вас!

В течение двух дней, отделявших его от этой встречи, он обнаружил в себе, он почувствовал такую пустоту, какой не испытывал еще никогда. Ему недоставало этой женщины, и ничто, кроме нее, для него не существовало. А так как эта женщина была недалеко, была доступна и только светские условности мешали ему видеть ее в любой момент, даже жить возле нее, он приходил в отчаяние от своего одиночества, от бесконечного потока мгновений, которые порою так медленно ползут, от полной невозможности осуществить такую простую вещь.

В пятницу он пришел на свидание за три часа до назначенного времени; но ему нравилось ждать там, куда она должна прийти; это успокаивало его после того, что он выстрадал, мысленно ожидая ее в таких местах, куда она прийти не могла.

Он стал за дверью задолго до того, как должны были пробить три долгожданных удара, а услышав их, задрожал от нетерпения. Он осторожно, чуть высунув голову, выглянул в переулок. Там не было ни души. Минуты казались ему мучительно долгими. Он беспрестанно вынимал часы, а когда стрелки добрались до по-

ловины, ему стало казаться, что он стоит на этом месте с незапамятных времен. Вдруг он различил легкие шаги на тротуаре, и когда она рукою в перчатке постучала в деревянную дверцу, он забыл пережитую муку, растворившуюся в благодарности к ней.

Немного запыхавшись, она спросила:

— Я очень опоздала?

— Нет, не очень.

— Представьте себе, что мне чуть было не помешали. У меня был полон дом, и я решительно не знала, как всех их спровадить. Скажите, вы сняли этот домик на свое имя?

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Чтобы знать, кому послать телеграмму, если будет какое-нибудь непреодолимое препятствие.

— Я — господин Николь.

— Отлично. Я запомню. Боже, как хорошо здесь в саду!

Цветы, за которыми садовник заботливо ухаживал, обновляя и приумножая их, так как убедился, что заказчик платит щедро, не торгуясь, теперь пестрели среди лужайки пятью большими благоухающими островками.

Она остановилась у скамьи, возле клумбы с гелиотропом, и сказала:

— Посидим здесь немного. Я расскажу вам препотешную историю.

И она поделилась с ним совсем свеженькой сплетней, под впечатлением которой она еще находилась. Говорили, будто г-жа Масиваль, бывшая любовница композитора, на которой он впоследствии женился, проникла, потеряв голову от ревности, к г-же Братиан в самый разгар вечера, когда маркиза пела под аккомпанемент композитора, и устроила дикую сцену; в итоге — ярость итальянки, изумление и злорадство гостей.

Растерявшийся Масиваль пытался вывести, вытащить супругу, но та осыпала его пощечинами, вцепилась в бороду и волосы, кусалась, рвала на нем платье. Она впилась в него, связала его движения, в то время как Ламарт и два лакея, прибежавшие на крик, старались вырвать его из когтей этой взбесившейся фурии.

Спокойствие водворилось лишь после того, как супруги уехали. С тех пор музыкант нигде не показывает-

ся, а романист, свидетель этой сцены, всюду рассказывает о случившемся с неподражаемым остроумием и фантазией.

Г-жа де Бюрн была так взволнована и поглощена этой историей, что только о ней и говорила. Имена Масиваля и Ламарта, не сходившие с ее губ, раздражали Мариоля.

— Вы только что узнали об этом? — спросил он.

— Ну да, какой-нибудь час тому назад.

Он с горечью подумал: «Так вот почему она опоздала».

Потом он спросил:

— Пойдемте в комнаты?

Она рассеянно и покорно прошептала:

— Пойдемте.

Когда она час спустя рассталась с ним, потому что очень торопилась, он один вернулся в уединенный домик и сел на низенькую табуретку в их спальне. Во всем его существе, в его сердце осталось впечатление, что он обладал ею не больше, чем если бы она вовсе не пришла, и в нем раскрылась черная бездна, в глубь которой он теперь глядел. Он ничего там не видел, он не понимал. Он перестал понимать. Если она и не уклонялась от его объятий, то она уклонилась от его нежной любви, потому что в ней странно отсутствовало желание принадлежать ему. Она не отказалась отдаться, она не отстранялась, но сердце ее, по-видимому, не вошло в этот дом вместе с нею. Оно осталось где-то далеко-далеко, блуждающее, занятое мелочами.

Тогда он ясно понял, что теперь любит ее телом так же, как и душой,— быть может, даже больше. Разочарование, оставшееся после тщетных ласк, зажигало в нем неистовое желание броситься ей вслед, вернуть, вновь обладать ею. Но зачем? К чему это? Раз ее изменчивая мысль занята сегодня чем-то другим! Значит, надо ждать, ждать дня и часа, когда этой вечно ускользающей любовнице среди других прихотей придет прихоть чувствовать себя влюбленной в него.

Он пошел домой не спеша, тяжелой поступью, очень утомленный, понурый, уставший от жизни. И тут он вспомнил, что они не назначили следующего свидания — ни у нее, ни в другом месте.

V

До наступления зимы она была более или менее верна их свиданиям. Верна, но не точна.

Первые три месяца она приходила с опозданием от сорока минут до двух часов. Так как из-за осенних дождей Мариолю приходилось теперь ждать ее за калиткою сада, у забора, в грязи, дрожа от сырости, он велел поставить деревянную будку, вроде сеней, с крышею и стенами, чтобы не простужаться при каждой их встрече. Деревья стояли обнаженные, на месте роз и других растений теперь раскинулись высокие и широкие клумбы с белыми, розовыми, сиреневыми, красными, желтыми хризантемами, которые распространяли свое терпкое и пряное, немного печальное благоухание крупных, благородных осенних цветов в сыром воздухе, пропитанном грустным запахом дождя, струящегося на опавшие листья. Их редкие разновидности умело подобранных и искусственно подчеркнутых оттенков образовали перед входом в домик большой мальтийский крест нежных переливчатых тонов, и когда Мариоль проходил мимо этой клумбы, придуманной его садовником, где распускались все новые изумительные цветы, его сердце сжималось от мысли, что этот цветущий крест как бы обозначает могилу.

Он познал теперь долгие часы ожидания в будочке за калиткой. Дождь лил на солому, которою он распорядился покрыть крышу, и стекал с нее по дощатым стенам; и каждый раз, стоя в этой часовне ожидания, он перебирал в душе все те же думы, повторял те же рассуждения, проходил через те же надежды, те же тревоги и то же отчаяние.

Для него это была непредвиденная, беспрестанная нравственная борьба, ожесточенная, изнуряющая борьба с чем-то неуловимым, с чем-то, быть может, даже вовсе не существующим; борьба за сердечную нежность этой женщины. Как странны были их встречи!

То она являлась смеющаяся, горящая желанием поболтать, и садилась, не снимая шляпы, не снимая перчаток, не поднимая вуалетки, даже не поцеловав его. В такие дни ей нередко и в голову не приходило его поцеловать. В уме ее роилось множество посторонних

мыслей, более заманчивых, чем желание протянуть губы возлюбленному, которого снедает отчаянная страсть. Он садился возле нее, с сердцем и устами, полными жгучих слов, не находивших исхода; он слушал ее, отвечал и, с виду очень заинтересованный тем, что она рассказывала, временами пробовал взять ее за руку. И она давала ее бессознательно, дружески и хладнокровно.

То она казалась более нежной, более принадлежащей ему; но, бросая на нее тревожные взгляды, проницательные взгляды влюбленного, бессильного покорить ее всецело, он понимал, догадывался, что эта относительная нежность объясняется тем, что сегодня ее мысль не взволнована и не отвлечена никем и ничем.

К тому же ее постоянные опаздывания говорили о том, как мало стремилась она на эти свидания. Торопишься к тому, что любишь, что нравится, что влечет к себе, но никогда не спешишь к тому, что мало привлекает, и все тогда служит предлогом, чтобы замедлить или прервать поездку, чтобы оттянуть тягостный час. Странное сравнение с самим собою беспрестанно приходило ему в голову. Летом влечение к холодной воде заставляло его спешить с утренним туалетом, чтобы поскорее принять душ, в то время как в сильные холода он находил столько мелочей, которые надо было сделать перед уходом, что приходил в банное заведение часом позже обычного. Отейльские встречи были для нее тем же, что душ зимою.

С некоторых пор, впрочем, она стала пропускать свидания, откладывать их на другой день, в последнюю минуту присылала депешу — казалось, выискивая препятствия и всегда находя вполне благовидные предлоги, но они все же повергали его в невыносимую душевную тревогу и физическое изнеможение.

Если бы она хоть чем-нибудь проявляла охлаждение к нему, малейшее утомление от его страсти, которая, как она видела и чувствовала, все возрастала, он, пожалуй, мог бы рассердиться, потом оскорбиться, потом впасть в уныние и наконец успокоиться. Она же, напротив, казалась как никогда привязанной к нему, как никогда польщенной его любовью, дорожащей ею, но отвечала ему лишь дружеским предпочтением, которое начинало возбуждать ревность остальных ее поклонников.

Как бы часто он ни бывал у нее, ей всегда этого казалось мало, и в той же телеграмме, в которой сообщала Андре о невозможности приехать в Отейль, она всегда настойчиво приглашала его прийти к обеду или посидеть часок вечером. Сначала он принимал эти приглашения за желание вознаградить его, но потом ему пришлось понять, что ей просто очень приятно его видеть, приятнее, чем остальных, что действительно он ей нужен, нужны его влюбленная речь, боготворящий взгляд, близость, как бы обволакивающая привязанность и сдержанная ласка его присутствия. Они были ей нужны, подобно тому, как идолу, чтобы стать истинным богом, нужны чьи-то молитвы и вера. В безлюдной часовне он всего лишь точеная деревяшка. Но если хоть один верующий войдет в святилище, станет поклоняться, взывать, повергаться ниц, стенать от усердия в упоении своей верою, идол станет равным Браме, Аллаху или Христу, ибо всякое любимое существо — своего рода бог.

Г-жа де Бюрн, больше чем всякая другая, чувствовала себя созданной для роли фетиша, для миссии, которую природа предназначила женщинам,— быть предметом поклонения и искательства, торжествовать над мужчинами своею красотой, изяществом, очарованием и кокетством.

Она действительно была той женщиной-богиней, хрупкой, высокомерной, требовательной и надменной, которую любовное преклонение самцов, точно фимиам, возвеличивает и обожествляет.

Между тем свое расположение к Мариолю и явное предпочтение ему она проявляла почти открыто, не боясь сплетен и, быть может, не без тайного умысла раздразнить и воспламенить других. Теперь уже почти нельзя было прийти к ней, чтобы не застать его здесь, сидящим в большом кресле, которое Ламарт называл «жреческим троном», и ей доставляло искреннее удовольствие проводить целые вечера с ним наедине, беседуя и слушая его.

Ей все больше нравилась та сокровенная жизнь, которую он открывал перед ней, и беспрестанное общение с приятным, просвещенным, образованным человеком, принадлежащим ей, ставшим ее собственностью,

как безделушки, валяющиеся у нее на столе. Она и сама мало-помалу все больше раскрывалась перед ним, делясь с ним своими мыслями, своими затаенными мечтами в дружеских признаниях, которые так же приятно делать, как и выслушивать. Она чувствовала себя с ним свободнее, искреннее, откровеннее, непринужденнее, чем с другими, и любила его за это больше других. Как всякой женщине, ей было отрадно чувствовать, что она действительно дарит что-то, доверяет кому-то всю свою внутреннюю сущность, чего она никогда еще не делала.

Для нее это было много, но мало для него. Он ждал, он все надеялся на великую, окончательную победу над существом, которое отдает в ласках всю свою душу. Однако ласки она, по-видимому, считала излишними, докучными, даже тягостными. Она покорялась им, не была безразличной, но быстро уставала; а за этой усталостью, несомненно, следовала скука.

Даже самая легкая, самая незначительная ласка, по-видимому, утомляла и раздражала ее. Когда он, беседуя, брал ее руку и один за другим целовал ее пальцы, слегка вбирая их губами, как конфеты, ей, видимо, всегда хотелось отнять их, и он чувствовал в ее руке невольное сопротивление.

Когда, уходя от нее, он припадал долгим поцелуем к ее шее, между воротничком и золотистыми завитками на затылке, вдыхая ее аромат в складках материи, касающейся тела, она всегда слегка отстранялась и еле заметно ускользала от прикосновения его губ.

Он ощущал это, как удар ножа, и уносил с собою, в одиночество своей любви, раны, которые потом еще долго кровоточили. Почему ей не дано было пережить хотя бы тот краткий период увлечения, который следует почти у всех женщин за добровольным и бескорыстным даром своего тела? Часто он длится недолго, сменяясь сначала усталостью, потом отвращением. Но как редко случается, что он вовсе не наступает — ни на день, ни на час! Эта женщина сделала его не любовником, а каким-то чутким свидетелем своей жизни.

На что же он жалуется? Те, которые отдаются совсем, быть может, не дарят так много?

Он не жаловался: он боялся. Он боялся *другого* —

того, который появится неожиданно, кого она встретит завтра или послезавтра, кто бы он ни был — художник, светский лев, офицер, актеришка,— того, кто рожден пленить ее женский взор и нравиться ей только потому, что он — тот самый, который впервые внушит ей властное желание раскрыть свои объятия.

Он уже ревновал ее к будущему, как временами ревновал к неизвестному прошлому; зато все друзья молодой женщины уже начинали ее ревновать к нему. Они говорили об этом между собою, а иногда даже осмеливались на осторожные, туманные намеки в ее присутствии. Одни считали, что он ее любовник. Другие придерживались мнения Ламарта и утверждали, что она, как обычно, забавляется тем, что кружит ему голову, а их доводит до ожесточения и отчаяния,— вот и все. Заволновался и ее отец; он сделал ей несколько замечаний, которые она выслушала свысока. И чем больше рос вокруг нее ропот, тем с большей настойчивостью она открыто выказывала свое предпочтение Мариолю, странным образом противореча своему обычному благоразумию.

Его же несколько беспокоили эти глухие подозрения. Он сказал ей о них.

— Какое мне дело! — ответила она.

— Если бы вы хоть действительно любили меня настоящей любовью.

— Да разве я не люблю вас, друг мой?

— И да и нет. Вы очень любите меня у себя дома и мало — в другом месте. Я предпочел бы обратное — для себя и даже для вас.

Она рассмеялась и прошептала:

— Каждый старается по мере сил.

Он возразил:

— Если бы вы знали, в какое волнение повергают меня тщетные старания воодушевить вас! То мне кажется, что я стремлюсь схватить что-то неуловимое, то я словно обнимаю лед, который замораживает меня, тая в моих руках.

Она ничего не ответила, потому что недолюбливала эту тему, и приняла тот рассеянный вид, который часто бывал у нее в Отейле.

Он не посмел настаивать. Он смотрел на нее с тем

восхищением, с каким знатоки смотрят в музеях на драгоценные предметы, которые нельзя унести с собой.

Его дни, его ночи превратились в бесконечные часы страданий, потому что он жил с навязчивой мыслью, больше того — с неотступным ощущением, что она его и не его, что она покорена и непокорима, отдалась и не принадлежит ему. Он жил около нее, совсем близко, но она оставалась все такой же далекой, и он любил ее со всем неутоленным вожделением души и тела. Как и в начале их связи, он стал писать ей. Один раз он уже преодолел чернилами ее добродетель; быть может, чернилами же ему удастся преодолеть и это последнее — внутреннее и тайное сопротивление. Он стал посещать ее реже, зато почти ежедневно твердил ей в письмах о тщете своего любовного порыва. Время от времени, когда они бывали особенно красноречивы, страстны, скорбны, она отвечала ему.

Ее письма, нарочно помеченные полуночным часом, двумя и даже тремя часами ночи, были ясны, определенны, хорошо обдуманы, благосклонны, ободряющи, но приводили в отчаяние. Она прекрасно рассуждала, вкладывала в них ум, даже фантазию. Но сколько бы он их ни перечитывал, какими бы ни считал их справедливыми, умными, хорошо написанными, изящными, лестными для его мужского самолюбия — он не находил в них души. Души в них было не больше, чем в поцелуях, которые она дарила ему в отейльском флигельке.

Он доискивался причин. И, твердя эти письма наизусть, он в конце концов так хорошо их изучил, что постиг эту причину: ведь в письмах узнаешь людей лучше всего. Слова ослепляют и обманывают, потому что их сопровождает мимика, потому что видишь, как они срываются с уст,— а уста нравятся, и глаза обольщают. Но черные слова на белой бумаге — это сама обнаженная душа.

Благодаря уловкам красноречия, профессиональной сноровке, привычке пользоваться пером для решения всевозможных повседневных дел мужчине часто удается скрыть свой характер за безличным — деловым или литературным — слогом. Но женщина пишет почти только для того, чтобы поговорить о себе, и в каждое

слово вкладывает частицу своего существа. Ей неведомы ухищрения стиля, и в простодушных выражениях она выдает себя целиком. Он припоминал письма и мемуары знаменитых женщин, прочитанные им. Как отчетливо выступали там все они — и жеманницы, и остроумные, и чувствительные! А письма г-жи де Бюрн его особенно поражали тем, что в них никогда не заметно было ни крошки чувствительности. Эта женщина мыслила, но не чувствовала. Он вспоминал другие письма. Он получал их много. Одна мещаночка, с которой он познакомился во время путешествия, любила его в течение трех месяцев и писала ему прелестные письма, полные трепета, остроумия и неожиданностей. Он даже удивлялся гибкости, красочному изяществу и разнообразию ее слога. Чем объяснялся этот дар? Тем, что она была очень чувствительна, и только. Женщина не выбирает выражений: их подсказывает ее уму непосредственное чувство; она не роется в словарях. Когда она сильно чувствует, она выражается очень точно, без труда и ухищрений, под влиянием своей изменчивой искренности.

Именно неподдельную сущность своей любовницы и старался он обнаружить в строках, которые она писала ему. Она писала мило и тонко. Но почему у нее не находилось для него ничего другого? Он-то ведь нашел для нее слова, правдивые и жгучие, как уголья.

Когда камердинер подавал ему почту, он взглядом отыскивал на конверте желанный почерк и, узнав его, испытывал невольный трепет, сердце его начинало биться. Он протягивал руку и брал письмо. Снова смотрел на адрес, потом распечатывал конверт. Что она ему скажет? Будет ли там слово «любить»? Ни разу она его не написала, ни разу не произнесла, не добавив «очень». «Я вас очень люблю». «Я вас горячо люблю». «Разве я не люблю вас?» Он хорошо знал эти выражения, теряющие значение от того, что к ним прибавляется. Могут ли существовать различные степени, когда находишься во власти любви? Можно ли судить, хорошо ли ты любишь или дурно? Очень любить — как это мало! Когда любишь,— просто любишь, ни более, ни менее. Это не нуждается ни в каких

дополнениях. Сверх этого слова невозможно ничего ни придумать, ни сказать. Оно кратко, оно самодовлеюще. Оно становится телом, душою, жизнью, всем существом. Его ощущаешь, как теплоту крови, вдыхаешь, как воздух, носишь в себе, как Мысль, потому что оно становится единственной Мыслью. Кроме него, ничего не существует. Это не слово — это невыразимое состояние, изображенное несколькими буквами. Что бы ты ни делал, ты ничего не делаешь, ничего не видишь, ничего не чувствуешь, ничем не наслаждаешься, ни от чего не страдаешь так, как прежде. Мариоль стал жертвою этого коротенького глагола; и его глаза пробегали по строчкам, ища хоть признака нежности, подобной его чувству. Но он находил там только то, что позволяло сказать самому себе: «Она очень меня любит»,— но никак не воскликнуть: «Она любит меня!» В своих письмах она продолжала красивый и поэтический роман, начавшийся на горе Сен-Мишель. Это была любовная литература, а не любовь.

Кончив читать и перечитывать, он запирал эти дорогие и доводящие до отчаяния листки и садился в кресло. Он провел в нем уже немало тягостных часов.

Со временем она стала отвечать реже, по-видимому устав слагать фразы и повторять все одно и то же. К тому же она переживала полосу светских волнений, и Андре чувствовал это с той острой болью, которую причиняют страждущим сердцам мелкие неприятности.

В эту зиму давалось много балов. Какой-то вихрь развлечений охватил и закружил Париж, и все ночи напролет по городу катили фиакры, кареты, за поднятыми стеклами которых мелькали, как белые видения, облики нарядных женщин. Все веселились; только и было разговору, что о спектаклях и балах, утренних приемах и вечерах. Эта жажда удовольствий, словно какое-то поветрие, внезапно захватила все слои общества и коснулась также и г-жи де Бюрн.

Началось это с балетного представления в австрийском посольстве, где ее красота имела шумный успех. Граф фон Бернхауз познакомил ее с женою посла, княгиней фон Мальтен, которую она сразу и окончательно пленила. Она в короткий срок стала ближайшим другом княгини и через нее быстро расширила свои связи

в самых изысканных дипломатических и великосветских кругах. Ее изящество, обаяние, ум, элегантность, ее редкое остроумие способствовали ее быстрому триумфу, сделали ее модной, выдвинули в первый ряд, и самые знатные женщины Франции пожелали бывать у нее.

Каждый понедельник целые вереницы карет с гербами выстраивались вдоль тротуара на улице Генерала Фуа, и лакеи теряли голову, путая герцогинь с маркизами, графинь с баронессами, когда провозглашали эти громкие имена в дверях гостиных.

Все это пьянило ее. Комплименты, приглашения, знаки внимания, чувство, что она стала одной из тех любимиц, одной из тех избранниц, которых Париж приветствует, обожает, боготворит, пока длится его увлечение, чувство радости от сознания, что ее лелеют, зовут, приглашают, что ею любуются, что она всюду желанна, вызвали в ее душе острый приступ снобизма.

Ее артистический кружок попробовал было бороться, и этот бунт объединил всех ее старых друзей. Даже Френеля они приняли, зачислили в свои ряды, и он стал силой в этой лиге; а возглавил ее Мариоль, так как всем было известно его влияние на г-жу де Бюрн и ее расположение к нему.

Но сам он, наблюдая, как она уносится в вихре головокружительных светских успехов, испытывал чувство ребенка, который видит, как улетает красный воздушный шар, выпущенный им из рук.

Ему казалось, что она ускользает в нарядной, пестрой танцующей толпе, уходит далеко-далеко от сладостного тайного чувства, которого он так жаждал, и он ревновал ее ко всем и ко всему, к мужчинам, к женщинам, к вещам. Он ненавидел весь ее образ жизни, всех, кто ее окружал, все празднества, где она бывала, балы, музыкальные собрания, театры, потому что все это по частицам отнимало ее, поглощало ее дни и вечера, и для общения с ним у нее оставались лишь редкие свободные часы. Его так мучила эта затаенная обида, что он едва не заболел, и он стал являться к ней с таким осунувшимся лицом, что она как-то спросила:

— Что с вами? Вы так изменились, так стали худеть.

— Со мною то, что я слишком люблю вас,— ответил он.

Она бросила на него признательный взгляд:

— Нельзя любить слишком, друг мой.

— И это вы так говорите?

— Разумеется.

— И вы не понимаете, что я умираю оттого, что люблю вас тщетно?

— Прежде всего вы любите меня не тщетно. Кроме того, от этого не умирают. Наконец все наши друзья завидуют вам, и это доказывает, что в конечном счете я отношусь к вам не так уж плохо.

Он взял ее руку:

— Вы не понимаете меня.

— Нет, отлично понимаю.

— Слышите вы отчаянные призывы, с которыми я беспрестанно обращаюсь к вашему сердцу?

— Слышу.

— И что же?

— И... мне это очень грустно, потому что я искренне люблю вас.

— Другими словами...

— Другими словами, вы ко мне взываете: «Будьте такою, как я: мыслите, чувствуйте и выражайтесь, как я». Но, бедный друг мой, этого я сделать не могу. Я такая, как есть. Нужно принимать меня такою, какой я создана; такою я вам отдалась, и не жалею об этом, и не хочу отступать: ведь вы для меня — самое дорогое существо на свете.

— Вы не любите меня.

— Я люблю вас самою большою любовью, на какую способна. Если она такая, а не иная и не может быть сильнее,— моя ли в том вина?

— Будь я в этом уверен, я, может быть, удовольствовался бы тем, что есть.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что считаю вас способной любить иначе, но уже не верю в то, что могу внушить вам настоящую любовь.

— Нет, друг мой, вы ошибаетесь. Вы мне дороже, чем кто-либо когда-нибудь был и будет. По крайней мере, я в этом совершенно убеждена. У меня большая

заслуга перед вами в том, что я не лгу, не подделываюсь под ваш идеал, в то время как многие женщины поступили бы иначе. Цените же это, не волнуйтесь, не терзайтесь, верьте в мою привязанность, которая отдана вам искренне и безраздельно.

Он тихо возразил, понимая, как далеки они друг от друга:

— Какое странное понимание любви и какая странная манера говорить о ней! Я действительно тот, кого вам часто бывает приятно видеть сидящим возле вас. Для меня же вы весь мир: я знаю в нем только вас, ощущаю вас одну, нуждаюсь в вас одной.

Она благосклонно улыбнулась и ответила:

— Я это знаю, чувствую, понимаю. Я в восторге от этого и говорю вам: любите меня так всегда, если возможно, потому что для меня это — истинное счастье. Но не заставляйте меня разыгрывать перед вами комедию, мне это было бы тяжело да и недостойно нас. С некоторых пор я уже чувствую, как назревает этот кризис; он для меня очень мучителен, потому что я глубоко привязана к вам, но я не могу переломить свою натуру до такой степени, чтобы она стала подобною вашей. Берите меня такою, какая я есть.

Он вдруг спросил:

— Предполагали ли вы, думали ли хоть один день, один час, до или после, что можете полюбить меня иначе?

Она несколько мгновений помолчала, затрудняясь ответить.

Он мучительно ждал, потом проговорил:

— Вот видите, вы сами отлично сознаете, что мечтали совсем о другом.

Она медленно прошептала:

— Я могла одно мгновение и ошибаться в себе самой.

Он воскликнул:

— Ах, какие тонкости, какая психология! О сердечных порывах так не рассуждают.

Она все еще думала, занятая собственной мыслью, этим самоанализом, самоизучением, а потом добавила:

— Прежде чем полюбить вас, как я теперь вас люблю, быть может, мне действительно на один миг пове-

рилось, что я буду сильнее... сильнее увлечена вами... но тогда я безусловно была бы не так проста, не так откровенна... может быть, не так искренна впоследствии.

— Почему не так искренна впоследствии?

— Потому, что вы заключаете любовь в формулу: «Все или Ничего», а это «Все или Ничего», по-моему, означает: «Сначала Все, а потом Ничего». И вот, когда наступает это «Ничего», женщина начинает лгать.

Он возразил в сильном волнении:

— Значит, вы не понимаете, какой ужас, какая пытка для меня думать, что вы могли бы любить меня иначе? Вам это почудилось — значит, так вы полюбите кого-то другого.

Она, не колеблясь, ответила:

— Не думаю.

— А почему? В самом деле, почему? Если у вас было предчувствие любви, если вас коснулось веяние неосуществимой и мучительной надежды слиться всей своей жизнью, душою и телом с другим существом, исчезнуть в нем и принять его в себя, если вы почувствовали возможность этого невыразимого душевного состояния, то рано или поздно вы испытаете его.

— Нет. Я была обманута своим воображением, и оно обмануло во мне. Я отдаю вам все, что могу отдать. Я много размышляла над этим с тех пор, как стала вашей любовницей. Заметьте: я ничего не боюсь — даже слов. Право, я вполне убеждена, что не могу любить ни больше, ни лучше, чем люблю сейчас. Видите, я говорю с вами, как сама с собой. Я поступаю так потому, что вы очень умный, что вы все понимаете, во все вникаете и что ничего не скрывать от вас — лучший, единственный способ связать нас крепко и надолго. Вот на что я надеюсь, мой друг.

Он слушал ее так, как пьет умирающий от жажды; он бросился на колени, прильнув лицом к ее платью. Он прижимал к губам ее маленькие ручки, твердя: «Благодарю, благодарю!» Когда он поднял голову и посмотрел на нее, на глазах ее были слезы. И, обвив руками голову Андре, она тихо привлекла его к себе, наклонилась и поцеловала его в глаза.

— Сядьте,— сказала она.— Не очень-то благоразумно становиться предо мной на колени здесь.

Он сел, и после того как они несколько мгновений молча смотрели друг на друга, она спросила, не проводит ли он ее как-нибудь на днях на выставку скульптора Предолэ, о котором так восторженно отзываются. У нее в будуаре стоит прелестная статуэтка его работы, бронзовый Амур, льющий воду в ванну, и ей хочется видеть все собрание произведений этого восхитительного мастера, который вот уже целую неделю сводит Париж с ума.

Они назначили день, и Мариоль встал, собираясь уходить.

— Хотите встретиться завтра в Отейле? — спросила она шепотом.

— Еще бы!

И он ушел, одурманенный радостью, опьяненный тем «быть может», которое никогда не умирает в сердце влюбленного.

VI

Карета г-жи де Бюрн, запряженная парой, крупной рысью катила по улице Гренель. Стояли первые дни апреля, но запоздалый дождь со снегом и градом шумно барабанил в стекла экипажа и отскакивал на мостовую, всю покрытую белыми зернами. Пешеходы под зонтиками шли торопливо, прячась в поднятые воротники пальто. После двух недель прекрасной погоды вернулся противный предвесенний холод и снова леденил и пощипывал кожу.

Поставив ноги на грелку с кипятком и зарывшись в пушистые и тонкие меха, которые согревали ее сквозь платье своей вкрадчивой и нежной лаской, упоительно приятной ее коже, так боявшейся прикосновений, молодая женщина с огорчением думала о том, что самое большее через час ей придется нанять извозчика и отправиться к Мариолю в Отейль.

Острое желание послать ему телеграмму преследовало ее, но уже два месяца тому назад она дала себе обещание прибегать к этому возможно реже, всеми силами стараясь любить так же, как была любима сама.

Она была тронута его страданиями и после того раз-

говора, когда она в порыве подлинной нежности поцеловала его в глаза, действительно стала с ним нежнее и ласковее.

Удивляясь своей невольной холодности, она спрашивала себя, не полюбит ли она его в конце концов, как многие женщины любят своих любовников? Ведь она чувствовала к нему глубокую привязанность, он нравился ей больше всех.

Причиной такого беспечного равнодушия в любви могла быть только леность ее сердца, которую, как всякую леность, быть может, удастся преодолеть.

Она пробовала. Она пыталась воспламенять себя, думая о нем, пыталась воодушевлять себя в дни свиданий. Иной раз ей это действительно удавалось, вроде того как иногда пугаешь самого себя ночью, думая о ворах или привидениях.

Она даже заставляла себя, немного увлекаясь этой игрой в страсть, быть ласковее, быть нежнее. Сначала это у нее выходило, и он безумствовал от восторга.

Тогда ей почудилось, что и в ней разгорается пыл, подобный тому, какой, она чувствовала, сжигает его. Ее былая, то вспыхивавшая, то угасавшая надежда на любовь, которая показалась ей осуществимой в тот вечер, когда она, мечтая в молочно-белом ночном тумане у бухты Сен-Мишель, решила отдаться, вновь возродилась, менее соблазнительная, менее овеянная поэтической дымкой фантазии, но зато более определенная, более человечная, освобожденная от прежних иллюзий опытом этой любовной связи.

Тщетно призывала она и подстерегала в себе те властные порывы, которые неудержимо и безраздельно влекут все существо к другому существу и рождаются будто бы вслед за тем, как сольются тела, охваченные душевным волнением. Порывов этих она так и не испытала.

Все же она упорно притворялась увлеченной, часто назначала свидания, твердила ему: «Я чувствую, что люблю вас все сильней и сильней». Однако ее постепенно охватывала усталость и сознание, что нет сил продолжать обманываться и обманывать его. Она с удивлением убеждалась, что его поцелуи мало-помалу начинают ее раздражать, хоть она и не вполне к ним бес-

чувственна. Она убеждалась в этом по тому странному изнеможению, которое испытывала с самого утра в те дни, когда им предстояло встретиться. Почему в эти дни не ощущала она, как столько других женщин, что тело ее, наоборот, охвачено волнующим ожиданием желанных ласк? Она подчинялась им, принимала их с нежной покорностью, потом сдавалась, уступая грубой силе, и невольно трепетала, но без упоения. Неужели ее тело, такое изящное, такое хрупкое, исключительно утонченное и аристократическое, таит в себе некое неведомое целомудрие — целомудрие, присущее высшему, священному существу и еще не осознанное ее столь современной душой?

Мало-помалу Мариоль понял это. Он видел, как убывает этот искусственный пыл. Он догадался об ее самоотверженной попытке, и смертельная, неутешная тоска закралась в его душу.

Теперь ей стало ясно, как и ему, что опыт не удался и всякая надежда утрачена. Сегодня же, тепло укутанная в меха, поставив ноги на грелку, уютно поеживаясь и наблюдая, как град хлещет в стекла кареты, она даже не находила в себе мужества выйти из этого тепла и пересесть в холодную извозчичью пролетку, чтобы ехать к своему бедному другу.

Впрочем, ей ни на минуту не приходила мысль отступить, порвать с ним, отвергнуть его ласки. Она слишком хорошо знала, что для того, чтобы окончательно поработить влюбленного и сохранить его для себя одной, не опасаясь соперничества других женщин, нужно отдаваться ему, нужно опутать его той цепью, которая сковывает тела. Она знала это, потому что это извечный закон, логичный, неоспоримый. Этого требует и порядочность, а она хотела быть с ним порядочной, быть по отношению к нему безупречно честной любовницей. Следовательно, она опять отдастся; будет отдаваться всегда; но зачем так часто? Ведь если их свидания будут реже, они станут для него еще желаннее, приобретут прелесть обновления, превратятся в бесценные и редкостные минуты счастья, которые она будет дарить ему и которые не следует расточать.

Каждый раз, когда она ездила в Отейль, ей казалось, что она несет ему драгоценнейший дар, неоцени-

мое приношение. Когда так дарят — радость дарить неотделима от мысли, что это жертва; это не опьянение оттого, что отдаешь себя, а гордость от сознания своей щедрости и удовлетворение оттого, что можешь осчастливить человека.

Ей даже подумалось, что любовь Андре может продлиться дольше, если она будет немного чаще отказывать ему, потому что пост всегда усиливает голод, а чувственное желание — всего лишь голод. Придя к этому выводу, она решила, что поедет в Отейль, но скажется больной. Теперь поездка, представлявшаяся ей за минуту перед тем такой тягостной в этот дождливый, холодный день, сразу представилась ей совсем легкой; и она поняла, посмеиваясь над собою и над этой внезапной переменой, почему ей так трудно выносить столь естественные, казалось бы, отношения. Только что она противилась, теперь ехала охотно. Она противилась потому, что заранее представляла себе множество неприятных подробностей свидания. Она вечно колола себе пальцы булавками, потому что не умела с ними обращаться; она не находила вещей, которые разбрасывала по комнате, когда поспешно раздевалась, ее бесила несносная необходимость вновь одеваться без посторонней помощи.

Она задержалась на этой мысли, впервые осознав ее как следует, впервые вникнув в нее. Нет ли все же чего-то пошлого, чего-то отталкивающего в такой любви, назначенной на определенный час, предусмотренной за день или за два, словно деловая встреча или визит врача? После нежданного долгого свидания наедине, непринужденного и пьянящего, вполне естественно срывается с губ поцелуй, соединяющий уста, которые друг друга очаровывали, призывали, соблазняли нежными, горячими словами. Но как не похожи на это отнюдь не неожиданные, а заранее намеченные поцелуи, за которыми она ездила раз в неделю с часами в руках. Она понимала это так ясно, что иногда в неурочные дни у нее вспыхивало смутное желание поехать к нему, между тем как она почти совсем не испытывала такого желания, отправляясь туда украдкой, заметая следы, как преследуемый вор, в грязном фиакре, когда все эти досадные мелочи отвлекали от него ее мысли.

Ах, этот час в Отейле! Она следила за его приближением на часах всех своих приятельниц; она видела, как он наступает минута за минутою — у г-жи де Фремин, у маркизы де Братиан, у прекрасной г-жи Ле Приёр, когда она убивала послеобеденное время, порхая по Парижу, чтобы не оставаться дома, где нежданный гость или другое непредвиденное обстоятельство могли ее задержать.

Вдруг она решила: «Сегодня, в день воздержания, я поеду как можно позже, чтобы не дразнить его». И она открыла в передней стенке кареты незаметный внутренний шкафчик, скрытый под черным шелком, которым была обита карета, как настоящий дамский будуар. Когда распахнулись крошечные дверцы этого тайника, в нем показалось зеркало на шарнирах; она выдвинула его, подняв на уровень лица. За зеркалом, в атласных углублениях, выстроилось несколько маленьких серебряных предметов: пудреница, карандаш для губ, два флакона с духами, чернильница, ручка, ножницы, прелестный нож для разрезания книги — последней новинки, которую читаешь в пути. К обивке были прикреплены прелестные часы, крохотные и кругленькие, как золотой орех; они показывали четыре.

Г-жа де Бюрн подумала: «В моем распоряжении еще по крайней мере час» — и нажала кнопку, чтобы выездной лакей, сидевший на козлах рядом с кучером, взял слуховую трубку и выслушал распоряжение.

Она взяла другой конец трубки, скрытый в обивке кареты, и, приблизив к губам рупор из горного хрусталя, сказала:

— В австрийское посольство.

Потом она погляделась в зеркало. Она посмотрелась, как смотрелась всегда, с тем чувством удовлетворения, которое испытываешь при встрече с самым любимым существом, затем немного распахнула шубу, чтобы взглянуть на свой наряд. На ней было теплое платье, рассчитанное на последние зимние дни. Воротник был оторочен полоской тонких и легких перьев такой белизны, что они как бы светились. Они слегка склонялись на плечи и принимали сероватый оттенок, напоминая крылья. Талия ее была опоясана такой же пушистой гирляндой, и это придавало молодой женщине

причудливый вид лесной птицы. На шляпе вроде берета тоже вздымались перья — задорная эгретка более ярких оттенков; и все это прелестное белокурое создание, казалось, разукрасилось так для того, чтобы улететь вслед за чирками в серое ненастное небо.

Она еще любовалась собою, когда карета круто свернула в широкие ворота посольства. Г-жа де Бюрн запахнула мех, сложила зеркало, закрыла дверцы шкафчика, а когда экипаж остановился, сказала кучеру:

— Поезжайте домой. Вы мне больше не нужны.

Потом спросила у ливрейного лакея, который вышел ей навстречу на ступеньки подъезда:

— Княгиня принимает?

— Принимает, сударыня.

Она вошла, поднялась по лестнице и направилась в крошечную гостиную, где княгиня фон Мальтен писала письма.

При виде своей приятельницы посланница встала с чрезвычайно довольным видом, с сияющими глазами, и они поцеловались два раза подряд в щеки, в уголки губ.

Потом они уселись рядом на низеньких стульях у камина. Они очень любили друг друга, бесконечно друг другу нравились, прекрасно во всем одна другую понимали, потому что это были женщины одного типа, почти одинаковые, выросшие в одинаковой атмосфере и наделенные одинаковыми чувствами, хотя г-жа фон Мальтен и была родом шведка, вышедшая замуж за австрийца. В каждой из них заключалась для другой какая-то странная и таинственная притягательная сила, и отсюда то искреннее чувство уюта и глубокого удовлетворения, которое они испытывали, когда бывали вместе. Они могли без умолку болтать по целым часам о всяких пустяках, интересных обеим просто потому, что они беспрестанно убеждались в общности своих вкусов.

— Видите, как я люблю вас,— говорила г-жа де Бюрн.— Вечером вы у меня обедаете, а я не могла удержаться, чтобы не навестить вас днем. Это какая-то страсть, друг мой.

— Так же, как и у меня,— ответила, улыбаясь, шведка.

И по привычке они рассыпались друг перед другом

в любезностях и кокетничали не меньше, чем с мужчинами, но по-иному, так как воевали уже не с противником, а с соперницей.

Разговаривая, г-жа де Бюрн поглядывала на часы. Было почти пять. Он ждет уже целый час. «Этого достаточно»,— подумала она, вставая.

— Уже? — воскликнула княгиня.

Гостья решительно ответила:

— Да, я спешу, меня ждут. Я, конечно, предпочла бы побыть с вами.

Они опять поцеловались; г-жа де Бюрн попросила, чтобы послали за извозчиком, и уехала.

Прихрамывающая лошадь с бесконечным трудом тащила старый экипаж; и эту хромоту, эту усталость животного г-жа де Бюрн чувствовала и в себе самой. Как и этой кляче, переезд казался ей долгим и тягостным. Порою ее утешала радость увидеть Андре; минутами огорчало то, как она собиралась с ним поступить.

Она застала его совсем прозябшим за калиткой. Густой мокрый снег кружился в ветвях деревьев. Пока они шли к флигельку, ледяная крупа барабанила по зонтику. Ноги их вязли в грязи.

Сад казался печальным, унылым, безжизненным, грязным. Андре был бледен. Он очень страдал.

— Боже, какой холод,— сказала она.

А между тем в обеих комнатах жарко горели камины. Но их развели только в полдень, и пропитанные сыростью стены еще не успели просохнуть; от холода по телу пробегали мурашки.

Она добавила:

— Мне не хочется снимать шубу.

Она только слегка распахнула ее и обнаружила украшенное перьями платье, в котором она казалась одной из тех зябких перелетных птиц, которые беспрестанно странствуют с места на место.

Он сел рядом с нею.

Она продолжала:

— Сегодня у меня очаровательное общество за обедом, и я заранее предвкушаю удовольствие.

— Кто же будет?

— Гм... прежде всего вы; затем Предолэ, с которым мне так хочется познакомиться.

— Вот как? Будет Предолэ?

— Да, его приведет Ламарт.

— Но Предолэ вовсе вам не подходит. Скульпторы вообще не так созданы, чтобы нравиться хорошеньким женщинам, а этот в особенности.

— Нет, друг мой, не может быть. Я от него в таком восторге!

За последние два месяца, после выставки в галерее Варена, скульптор Предолэ завоевал и покорил весь Париж. Его и раньше высоко ценили, перед ним благоговели, о нем говорили: «Он лепит чудесные статуэтки». Но когда художники и знатоки были приглашены высказаться о его творчестве в целом, о произведениях, собранных в залах на улице Варена, последовал подлинный взрыв восторга.

Тут открылось такое неожиданное очарование, такой исключительный дар передавать изящество и грацию, что казалось, будто присутствуешь при рождении новой красоты.

Он специализировался на полуодетых фигурках, нежные и едва прикрытые очертания которых он передавал с бесподобным совершенством. Особенно его танцовщицы, которых он изображал в многочисленных этюдах, обнаруживали в движениях, позах, в гармоничности положений и жестов всю неповторимую и гибкую красоту, таящуюся в женском теле.

Уже целый месяц г-жа де Бюрн делала настойчивые попытки привлечь его к себе. Но скульптор был, по слухам, увалень, даже немного дикарь. Наконец ей это удалось благодаря содействию Ламарта, который чистосердечно и неистово рекламировал скульптора, за что тот был ему очень признателен.

Мариоль спросил:

— А еще кто будет?

— Княгиня фон Мальтен.

Он был недоволен. Эта женщина ему не нравилась.

— А еще?

— Масиваль, Бернхауз и Жорж де Мальтри. Вот и все — только самые избранные. А вы ведь знакомы с Предолэ?

— Да, немного.

— Он вам нравится?

— Это чудесный человек; я еще не встречал никого, кто был бы так влюблен в свое искусство и так увлекательно говорил бы о нем.

Она в восторге повторила еще раз:

— Будет очаровательно!

Он взял ее руку, прятавшуюся под мехом. Он слегка пожал ее, потом поцеловал. Тогда она вдруг спохватилась, что забыла сказаться больной, и, тут же подыскивая другую причину, прошептала:

— Боже, какой холод!

— Да что вы!

— Я продрогла до костей.

Он встал, чтобы взглянуть на градусник; в комнате действительно было прохладно.

Потом он снова сел возле нее.

Она сказала: «Боже, как холодно»,— и ему казалось, что он понимает смысл этих слов. Последние три недели он при каждой их встрече замечал, как неуклонно ослабевают ее усилия быть нежной. Он догадывался, что она настолько устала от этого притворства, что уже не в силах его продолжать, а сам он был в таком отчаянии от ее холодности, так терзало его тщетное и неистовое желание, что в часы беспросветного одиночества он решал: «Лучше порвать, чем продолжать такую жизнь».

Он спросил, чтобы убедиться в ее намерениях:

— Вы сегодня даже шубу не снимаете?

— Нет, нет,— ответила она,— я немного кашляю. От этой ужасной погоды я простудилась. Боюсь совсем расхвораться.

Помолчав, она пояснила:

— Мне очень хотелось вас видеть, а то я бы не приехала.

Так как он ничего не ответил, охваченный горем и бешенством, она добавила:

— После того как целых две недели стояла такая чудная погода, это похолодание очень опасно.

Она глядела в сад, где тающие снежинки кружились в ветвях деревьев, уже почти совсем покрывшихся зеленью.

А он смотрел на нее и думал: «Вот ее любовь!»

Впервые в нем поднималась к ней ненависть обманутого мужчины, к этой неуловимой душе, к этому лицу, к этому женскому телу — столь желанному и постоянно ускользающему.

«Она говорит, что ей холодно,— думал он.— Ей холодно только потому, что я здесь. Если бы речь шла о каком-нибудь развлечении, об одной из тех нелепых причуд, которые заполняют бесполезное существование этих пустых созданий, она ни с чем не посчиталась бы, она рискнула бы самой жизнью. Ведь выезжает же она в самые холодные дни в открытом экипаже, чтобы выставлять напоказ свои наряды. Ах, теперь все они такие!»

Он смотрел на нее, такую спокойную в сравнении с ним. И он знал: эта головка, эта маленькая обожаемая головка обдумывает, как бы прервать свидание, потому что оно становится слишком уж тягостным.

Неужели существовали, неужели еще существуют на свете страстные женщины, которых потрясают чувства, которые страдают, плачут, отдаются с упоением, обнимают, лелеют и воркуют, которые любят телом столько же, как и душой, выражают любовь словами и взглядами, женщины с пылким сердцем и ласкающей рукой, которые решаются на все, потому что любят, которые идут, днем ли, ночью ли, несмотря на преследования и угрозы, бесстрашные и трепещущие, к тому, кто примет их в свои объятия, изнемогающих и обезумевших от счастья?

О, как страшна такая любовь, какою он теперь скован, любовь без исхода, без конца, без радости и без победы, изнуряющая и гложущая тоской; любовь без услады и упоения, рождающая только предчувствия и разочарование, муку и слезы и дающая познать восторги разделенных ласк лишь в мучительном сожалении о поцелуях, которые нельзя пробудить на устах холодных, бесплодных и сухих, как мертвые листья.

Он смотрел на нее, обворожительную в плотно облегающем платье, украшенном перьями. Не являются ли эти наряды — ревнивые хранители, кокетливые и драгоценные преграды, которые скрывают и таят от него его любовницу,— теми могучими врагами, которых еще труднее победить, чем женщину?

— У вас чудесное платье,— сказал он, не желая говорить о том, что его мучит.

Она ответила, улыбаясь:

— А вот увидите, какое будет вечером!

Потом она кашлянула несколько раз подряд и сказала:

— Я окончательно простужаюсь. Отпустите меня, друг мой. Солнце скоро опять засветит, и я последую его примеру.

Он не стал настаивать; он пал духом, понимая, что теперь уже ничто не в силах преодолеть равнодушие этого существа, лишенного порывов, что все кончено, надо оставить, оставить навеки надежду, не ждать больше ни взволнованных слов от этих бесстрастных уст, ни огня от этих спокойных глаз. И вдруг в нем родилось неистовое желание избавиться от ее мучительного владычества. Она распяла его на кресте; кровь струями сочилась из его тела, а она смотрела, как он умирает, не понимая его страданий и даже радуясь, что он мучается из-за нее.

Но он оторвется от этого смертного столба, оставив на нем клочья своего тела, куски кожи и все свое растерзанное сердце. Он убежит, как зверь, смертельно раненный охотниками, он скроется где-нибудь в глуши, и там, быть может, его раны зарубцуются и он будет чувствовать только глухую боль, от которой до самой смерти содрогается искалеченный человек.

— Что ж, прощайте,— сказал он.

Ее поразила грусть, звучавшая в его голосе, и она поправила:

— До вечера, мой друг.

Он повторил:

— До вечера... прощайте.

Он проводил ее до калитки, а вернувшись, сел в одиночестве у камина.

В одиночестве! Как в самом деле холодно! И как ему тяжело. Всему конец! О, какая страшная мысль! Конец надеждам, ожиданиям, мечтам о ней и тому сердечному пламени, благодаря которому мы мгновениями живем настоящей жизнью на этой сумрачной земле, словно веселые костры, зажженные в темные вечера. Прощайте ночи, проведенные в одиноком волнении, ко-

гда он почти до рассвета шагал по комнате, думая о ней, и пробуждения, когда он, едва открыв глаза, говорил себе: «Сегодня я ее увижу в нашем домике».

Как он любил ее! Как он любил ее! Как трудно будет исцелиться от этого и как много нужно на это времени! Она ушла, потому что ей было холодно. Он все еще видел ее перед собою, видел как живую, и она смотрела на него и очаровывала, очаровывала для того, чтобы легче пронзить его сердце. О, как метко она его поразила. Поразила насквозь, одним-единственным ударом! И он ощущал эту боль; теперь это уже старая рана, раскрывшаяся, потом перевязанная ею, а теперь ставшая неизлечимой, потому что она погрузила в нее, словно нож, свое губительное равнодушие. Он ощущал даже, будто кровь из пронзенного сердца сочилась в его внутренности, наполняла его тело, подступала к горлу и душила его. Тогда, закрыв глаза руками, словно для того, чтобы скрыть от себя эту слабость, он залился слезами. Она ушла, потому что было холодно! А он пошел бы нагим по снегу, лишь бы встретиться с нею. Он бросился бы с высокой крыши, лишь бы упасть к ее ногам. Ему припомнилась старинная история, превращенная в легенду и связанная с горою Двух влюбленных, мимо которой проезжаешь по пути в Руан. Одна девушка, в угоду жестокой прихоти своего отца, который не соглашался выдать ее за любимого человека, пока она не отнесет своего жениха на вершину крутой горы, дотащила его туда, доползла на руках и коленях, и тут же умерла. Значит, любовь теперь только легенда, годная лишь для того, чтобы ее воспевали в стихах или описывали в лживых романах?

Не сказала ли его любовница сама во время одной из их первых встреч фразу, которая всегда ему вспоминалась: «Нынешние мужчины не любят современных женщин до такой степени, чтобы действительно страдать из-за них. Поверьте мне, я знаю и тех и других».

И если она ошиблась в нем, то отнюдь не ошибалась в себе, так как при этом она добавила: «Во всяком случае, предупреждаю вас, что сама я никем не способна по-настоящему увлечься...»

Никем? Так ли это? Им она увлечься не могла. Теперь он в этом убедился, но другим?

Почему она не могла его полюбить? Почему?

Тогда мысль, что его жизнь не удалась, мысль, уже давно тяготевшая над ним, обрушилась и придавила его. Он ничего не свершил, ничего не достиг, ни в чем не преуспел, ничем не овладел. Искусства привлекали его, но он не нашел в себе ни мужества всецело отдаться одному из них, ни той упорной настойчивости, которая необходима, чтобы победить. Ни разу успех не порадовал его, ни разу восторг перед чем-то прекрасным не придал ему благородства и величия. Единственное его мощное усилие завоевать сердце женщины рухнуло, как и все остальное. В конце концов — он просто неудачник.

Он все еще плакал, закрыв лицо руками. Слезы текли по его щекам, капали на усы; он чувствовал на губах их соленый вкус.

И горечь их еще усиливала его горе и безнадежность.

Когда он поднял голову, он увидел, что уже темно. Он едва успеет заехать домой и переодеться, перед тем как отправиться к ней на обед.

VII

Андре Мариоль приехал к г-же Мишель де Бюрн первым. Он сел и стал смотреть вокруг себя, на стены, на вещи, на портьеры, на безделушки, на мебель, которые стали дороги ему, потому что принадлежали ей, на эти привычные для него комнаты, где он познакомился с нею, обрел ее и вновь обретал столько раз, где научился ее любить, где обнаружил в своем сердце страсть и чувствовал, как она растет день ото дня, вплоть до часа бесплодной победы. С каким пылом он ждал ее, бывало, в этом нарядном уголке, созданном для нее, как прекрасное обрамление этого восхитительного существа. И как знаком ему был запах этой гостиной, этих тканей — нежный запах ирисов, благородный и простой. Здесь он столько раз трепетал от ожидания, столько раз содрогался от надежды, здесь испытал столько волнений и под конец — столько мук. Слов-

но прощаясь с другом, сжимал он локотники широкого кресла, сидя в котором так часто говорил с нею, любуясь ее улыбкой и упиваясь ее голосом. Ему бы хотелось, чтобы никто не входил, даже она, хотелось бы просидеть так, одному, всю ночь в раздумье о своей любви, подобно тому, как бодрствуют у смертного одра. А с рассветом он ушел бы надолго, может быть, навсегда.

Дверь отворилась. Она вошла и направилась к нему, протянув руку. Он овладел собою и ничем не выдал своего волнения. То была не женщина, а живой букет, букет невообразимой прелести.

Пояс из гвоздик обхватывал ее талию и, змеясь, спускался к ногам. Обнаженные плечи и руки были обвиты гирляндами из незабудок и ландышей, а три волшебных орхидеи словно возникали из ее груди, и розово-красная плоть этих сверхъестественных цветов, казалось, ласкала ее белую кожу. Белокурые волосы были усыпаны эмалевыми фиалками, в которых светились крошечные бриллианты. В отделке корсажа, как капли воды, тоже сверкали бриллианты, трепетавшие на золотых булавках.

— У меня будет мигрень,— сказала она.— Ну что ж, зато это мне к лицу!

Она благоухала, как весенний сад, она была свежее своих гирлянд. Андре смотрел на нее в восторге, думая, что обнять ее сейчас было бы таким же варварством, как растоптать великолепный цветник. Значит, тело современных кокеток лишь повод для украшений, лишь предмет для убранства, а вовсе не для любви. Они похожи на цветы, они похожи на птиц, они столь же похожи на множество других вещей, как и на женщин. Их матери, женщины былых поколений, прибегали к искусству кокетства, как к пособнику красоты, но прежде всего старались пленить непосредственным соблазном тела, природным могуществом своей грации, неодолимым влечением, которое возбуждает в самце женское тело. Теперь же кокетство стало всем; искусственные ухищрения стали главным средством и в то же время целью: ведь к нему прибегают даже не столько для того, чтобы покорять мужчин, как для того, чтобы дразнить соперниц и подстрекать их ревность.

На кого же рассчитан этот наряд? На него, любовника, или на уничижение княгини фон Мальтен?

Дверь отворилась; доложили о ее приезде.

Г-жа де Бюрн бросилась к ней и, бережно охраняя свои орхидеи, поцеловала ее, приоткрыв губы с гримаской нежности. Это был милый, желанный поцелуй, поцелуй, данный обеими от всего сердца.

Мариоль содрогнулся. Ни разу она не подбегала к нему с такой порывистой радостью, никогда не целовала его так; мысль его сделала резкий скачок, и он с отчаянием подумал: «Эти женщины уже не для нас».

Появился Масиваль, а вслед за ним г-н де Прадон, граф фон Бернхауз, потом блистающий английским лоском Жорж де Мальтри.

Поджидали только Ламарта и Предолэ. Когда заговорили о скульпторе, все голоса слились в единодушных похвалах.

«Он воскресил изящество, восстановил утраченную традицию Возрождения и добавил к ней нечто новое: совершенную искренность». По мнению Жоржа де Мальтри, он «достигал дивных откровений, воплощая гибкость человеческого тела». Эти фразы вот уже два месяца повторялись во всех гостиных, переходя из уст в уста.

Наконец появился сам скульптор. Все были поражены. Это был тучный человек неопределенного возраста, с мужицкими плечами и большой головой; у него были резкие черты лица, крупный нос, мясистые губы, в волосах и бороде виднелась легкая проседь. Вид у него был застенчивый и смущенный. Он как-то неуклюже оттопыривал локти, что объяснялось, по-видимому, громадными размерами его рук, торчавших из рукавов. Широкие, толстые, с волосатыми и мускулистыми пальцами, как у мясника или атлета, они казались неловкими, нескладными, как бы стыдились самих себя и не знали, куда деваться.

Но лицо его освещалось ясными, серыми, проницательными и необыкновенно живыми глазами. Только они и жили, казалось, в этом грузном теле. Они смотрели, пронизывали, шарили, метали всюду быстрые, острые и подвижные лучи, и чувствовалось, что этот пытливый взгляд одушевлен живым и сильным умом.

Г-жа де Бюрн, слегка разочарованная, любезно указала ему на кресло, в которое он и сел. Так он и не сходил с места, видимо, смущенный тем, что попал в этот дом.

Чтобы разбить лед, Ламарт, как ловкий посредник, подошел к своему приятелю.

— Дорогой мой, — сказал он, — я вам сейчас покажу, где вы находитесь. Вы уже видели нашу божественную хозяйку, теперь посмотрите, что ее окружает.

Он обратил его внимание на подлинный бюст Гудона, украшавший камин, на двух обнявшихся и пляшущих женщин Клодиона на секретере работы Буля и наконец на четыре превосходнейших танагрских статуэтки.

Тут лицо Предолэ внезапно прояснилось, точно он в пустыне обрел родных детей. Он встал и подошел к античным глиняным статуэткам; он взял их по две сразу в свои огромные ручищи, созданные, казалось, для того, чтобы валить быков, так что г-жа де Бюрн даже испугалась за свои сокровища. Но, прикасаясь к статуэткам, он словно ласкал их — с такой изумительной бережностью и ловкостью он обращался с ними, поворачивая их толстыми пальцами, которые сразу стали проворными, как пальцы жонглера. По тому, как он рассматривал их и ощупывал, видно было, что в душе и руках этого толстяка живет редкостная, возвышенная и чуткая нежность ко всем изящным вещам.

— Хороши? — спросил Ламарт.

Тогда скульптор стал их расхваливать, как бы приветствуя их, и заговорил о самых замечательных из числа тех, какие ему довелось видеть; он говорил немногословно, глуховатым, но спокойным, уверенным голосом, выражая ясную мысль и зная цену словам.

Потом он вместе с писателем осмотрел другие редкости и безделушки, собранные г-жой де Бюрн по совету друзей. Он воздавал им должное, радуясь и удивляясь, что находит их здесь; он неизменно брал их в руки и бережно перевертывал во все стороны, словно вступая с ними в сладостное общение. Одна бронзовая статуэтка, тяжелая, как пушечное ядро, стояла в темном углу; он поднял ее одной рукой, поднес к свету,

долго любовался ею, потом так же легко поставил на место.

Ламарт сказал:

— Вот силач! Он для того и создан, чтобы воевать с мрамором и камнем.

На него смотрели с симпатией.

Лакей доложил:

— Кушать подано.

Хозяйка дома взяла скульптора под руку и направилась в столовую; она предложила ему место справа от себя и из учтивости спросила, как спросила бы потомка знаменитого рода о точном происхождении его имени:

— Ведь за вашим искусством, сударь, еще и та заслуга, что оно самое древнее, не правда ли?

Он спокойным голосом ответил:

— Как сказать, сударыня. Библейские пастухи играли на свирели, следовательно, музыка как будто древнее. Но, по нашим понятиям, настоящая музыка существует не так уж давно, зато начало настоящей скульптуры теряется в незапамятных временах.

Она продолжала:

— Вы любите музыку?

Он ответил с серьезной убежденностью:

— Я люблю все искусства.

— А известно, кто был первым скульптором?

Он подумал и заговорил с нежными интонациями, словно рассказывал трогательную историю:

— По эллинским преданиям, творцом искусства ваяния был афинянин Дедал. Но самая красивая легенда приписывает это открытие сикионскому горшечнику по имени Дибутад. Его дочь Кора стрелою обвела тень от профиля своего жениха, а отец заполнил этот контур глиною и вылепил лицо. Так родилось мое искусство.

Ламарт заметил:

— Прелестно.

Потом, помолчав, продолжал:

— Ах, Предолэ, не согласитесь ли вы...

И обратился к г-же де Бюрн:

— Вы представить себе не можете, сударыня, до чего увлекателен бывает этот человек, когда он говорит о

том, что любит, как он умеет это выразить, показать и внушить восторг!

Но скульптор, по-видимому, не был расположен ни рисоваться, ни ораторствовать. Он засунул уголок салфетки за воротничок, чтобы не закапать жилет, и ел суп сосредоточенно, с тем своеобразным уважением, какое питают крестьяне к похлебке.

Потом он выпил бокал вина и оживился, постепенно осваиваясь с обстановкой и чувствуя себя непринужденнее.

Он несколько раз порывался обернуться, так как видел отраженную в зеркале статуэтку современной работы, стоявшую за его спиной, на камине. Она была ему незнакома, и он старался угадать автора.

Наконец, не вытерпев, он спросил:

— Это Фальгиер, не правда ли?

Г-жа де Бюрн рассмеялась:

— Да, Фальгиер. Как вы узнали это в зеркале?

Он тоже улыбнулся.

— Ах, сударыня. Я почему-то с первого взгляда узнаю скульптуру людей, которые занимаются также и живописью, и живопись тех, кто занимается не только ею, но и ваянием. Их вещи совсем не похожи на произведения художников, всецело посвятивших себя какому-нибудь одному искусству.

Ламарт, чтобы дать своему другу возможность блеснуть, попросил разъяснений, и Предолэ поддался на эту уловку.

Не спеша, в точных словах он определил и охарактеризовал живопись скульпторов и скульптуру живописцев, и притом так ясно, свежо и своеобразно, что все слушали, не спуская с него глаз. Уходя в своих рассуждениях в глубь истории искусств и черпая примеры из различных эпох, он дошел до самых ранних итальянских мастеров, бывших одновременно и ваятелями и живописцами, — Николо́ и Джованни Пизанских, Донателло, Лоренцо Гиберти. Он привел любопытное мнение Дидро по этому вопросу и в заключение упомянул о вратах баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, где барельефы работы Гиберти так живы и драматичны, что скорее похожи на масляную живопись.

Своими тяжелыми руками, двигавшимися так, будто они полны глины, и все же до того гибкими и легкими, что приятно было на них смотреть, он с такою убедительностью воссоздавал произведения, о которых рассказывал, что все с любопытством следили за его пальцами, лепившими над бокалами и тарелками образы, о которых он говорил.

Потом, когда ему предложили блюдо, которое он любил, он замолк и занялся едой.

До самого конца обеда он уже почти не говорил и еле следил за разговором, переходившим от театральных новостей к политическим слухам, от бала к свадьбе, от статьи в *Ревю де Дё Монд* к только что открывшимся скачкам. Он с аппетитом ел, много пил, но не хмелел, и мысль его оставалась ясной, здоровой, невозмутимой, лишь слегка возбужденной хорошим вином.

Когда вернулись в гостиную, Ламарт, еще не добившийся от скульптора всего, чего он от него ждал, подвел его к одному из шкафчиков и показал бесценный предмет: серебряную чернильницу, достоверное, историческое, занесенное в каталоги творение Бенвенуто Челлини.

Скульптором овладело какое-то опьянение. Он созерцал чернильницу, как созерцают лицо возлюбленной, и, охваченный умилением, высказал о работах Челлини несколько мыслей, тонких и изящных, как само искусство божественного мастера; потом, заметив, что к нему прислушиваются, он отдался увлечению и, сев в широкое кресло, не выпуская из рук драгоценности и любуясь ею, стал рассказывать о своих впечатлениях от разных известных ему чудес искусства, раскрыл свою восприимчивую душу и проявил то особое упоение, которое овладевало им при виде совершенных форм. В течение десяти лет он странствовал по свету, не замечая ничего, кроме мрамора, камня, бронзы или дерева, обработанных гениальными руками, или же золота, серебра, слоновой кости и меди — бесформенного материала, превращенного в шедевры волшебными пальцами ювелиров.

И он словно лепил словами, создавая изумительные рельефы и чудесные контуры одной лишь меткостью выражений.

Мужчины, стоя вокруг, слушали его с огромным интересом, в то время как обе женщины, пристроившиеся у огня, по-видимому, немного скучали и время от времени переговаривались вполголоса, недоумевая, как можно приходить в такой восторг от очертаний и форм.

Когда Предолэ умолк, восхищенный Ламарт с увлечением пожал ему руку и ласково сказал, умиленный их общей страстью:

— Право, мне хочется вас расцеловать. Вы единственный художник, единственный фанатик и единственный гений современности; вы один действительно любите свое дело, находите в нем счастье, никогда не устаете и никогда не пресыщаетесь. Вы владеете вечным искусством в его самой чистой, самой простой, самой возвышенной и самой недосягаемой форме. Вы порождаете прекрасное изгибом линии и об остальном не беспокоитесь! Пью рюмку коньяку за ваше здоровье!

Потом разговор снова стал общим, но вялым; все были подавлены грандиозными идеями, которые пронеслись в воздухе этой изящной гостиной, полной драгоценных вещей.

Предолэ ушел рано, сославшись на то, что всегда принимается за работу с рассветом.

Когда он откланялся, восхищенный Ламарт спросил г-жу де Бюрн:

— Ну, как он вам понравился?

Она ответила нерешительно, но с недовольным и равнодушным видом:

— Довольно забавен, но болтлив.

Писатель улыбнулся и подумал: «Еще бы, ведь он не восторгался вашим нарядом, вы оказались единственной из ваших безделушек, на которую он почти не обратил внимания». Потом, сказав несколько любезных фраз, он сел возле княгини фон Мальтеп, чтобы поухаживать за нею. Граф фон Бернхауз подошел к хозяйке дома и, устроившись на низеньком табурете, словно припал к ее ногам. Мариоль, Масиваль, Мальтри и г-н де Прадон продолжали говорить о скульпторе; он произвел на них большое впечатление. Г-н де Мальтри сравнивал его со старинными мастерами, вся жизнь которых была украшена и озарена исключительной, всепоглощающей любовью к проявлениям Красоты; он

философствовал на эту тему в изысканных, размеренных и утомительных выражениях.

Масиваль, устав от разговора об искусстве, которое не было его искусством, подошел к г-же фон Мальтен и уселся около Ламарта, а тот вскоре уступил ему свое место, чтобы присоединиться к мужчинам.

— Не пора ли домой? — спросил Мариоль.

— Да, конечно.

Писатель любил поговорить ночью, на улице, провожая кого-нибудь. Его голос, отрывистый, резкий, пронзительный, как бы цеплялся и карабкался по стенам домов. Во время этих ночных прогулок вдвоем, когда он не столько беседовал, сколько разглагольствовал один, он чувствовал себя красноречивым и проницательным. Он добивался тогда успеха в собственных глазах и вполне довольствовался им; к тому же, утомившись от ходьбы и разговора, он готовил себе крепкий сон.

А Мариоль действительно изнемогал. Все его горе, все его несчастье, вся его печаль, все его непоправимое разочарование заклокотали в его сердце, едва он переступил порог этого дома.

Он не мог, не хотел больше терпеть. Он уедет и больше не вернется.

Когда он прощался с г-жой де Бюрн, она рассеянно ответила на его поклон.

Мужчины очутились на улице. Ветер переменился, и холод, стоявший днем, прошел. Стало тепло и тихо, так тихо, как иногда бывает ранней весной после ненастья. Небо, усеянное звездами, трепетало — словно веяние лета, пронесшись в беспредельных пространствах, усилило мерцание светил.

Тротуары уже высохли и посерели, но на мостовой, под огнями газовых фонарей, еще блестели лужи.

Ламарт сказал:

— Какой счастливец этот Предолэ! Любит только одно — свое искусство, думает только о нем, живет только ради него! И это его наполняет, утешает, радует и делает его жизнь счастливой и благополучной. Это действительно великий художник старинного толка. Вот уж кто равнодушен к женщинам, к нашим женщинам, с их завитушками, кружевами и притворством. Вы

заметили, как мало внимания он обратил на двух наших красавиц, которые, однако, были очень хороши? Нет, ему нужна подлинная пластика, а не поддельная. Недаром наша божественная хозяйка нашла его несносным и глупым. По ее мнению, бюст Гудона, танагрские статуэтки или чернильница Бенвенуто — всего лишь мелкие украшения, необходимые как естественное и роскошное обрамление шедевра, каким является Она сама; Она и ее платье, ибо платье — это часть ее самой, это то новое звучание, которое она ежедневно придает своей красоте. Как ничтожна и самовлюбленна женщина!

Он остановился и так сильно стукнул тростью по тротуару, что звук от удара пронесся по всей улице. Потом продолжал:

— Они знают, понимают и любят лишь то, что придает им цену, например наряды и драгоценности, которые выходят из моды каждые десять лет; но они не понимают того, что является плодом постоянного, строгого отбора, что требует глубокого и тонкого артистического проникновения и бескорыстной, чисто эстетической изощренности чувств. Да и чувства-то у них страшно примитивны; это чувства самок, мало поддающихся совершенствованию, недоступных ничему, что не задевает непосредственно их чисто женского эгоизма, который поглощает в них решительно все. Их проницательность — это нюх дикаря, индейца, это война, ловушка. Они даже почти не способны понять те материальные наслаждения низшего порядка, которые требуют известного физического навыка и утонченного восприятия какого-нибудь органа чувств,— например, лакомства. Если и случается, что некоторые из них доходят до понимания хорошей кухни,— они все-таки не способны отдавать должное хорошему вину; вино говорит только вкусу мужчины,— ведь и оно умеет говорить.

Он снова стукнул тростью, подчеркнув этим последнее слово и поставив точку.

Потом он продолжал:

— Впрочем, от них нельзя требовать многого. Но это отсутствие вкуса и понимания, которое мутит их умственный взор, когда дело касается вопросов высшего порядка, часто еще сильнее ослепляет их, когда дело

касается нас. Чтобы их обольстить, бесполезно иметь душу, сердце, ум, исключительные качества и заслуги, как, бывало, в старину, когда увлекались мужчиной, ценя в нем доблесть и отвагу. Нынешние женщины — жалкие комедиантки, комедиантки любви, ловко повторяющие пьесу, которую они разыгрывают по традиции, хотя и сами уже в нее не верят. Им нужны комедианты, чтобы подавать реплики и лгать сообразно роли, как лгут они сами. Я разумею под комедиантами и светских и всяких прочих шутов.

Некоторое время они шли молча. Мариоль слушал внимательно, мысленно вторя его словам и подтверждая их правоту своей скорбью. Он знал к тому же, что некий князь Эпилати, авантюрист, приехавший в Париж искать счастья, аристократ из фехтовальных зал, о котором всюду говорили, превознося его изящество и сильную мускулатуру, которою он, надев черное трико, щеголял перед высшим светом и избранными кокотками, — что этот итальянец привлек внимание баронессы де Фремин и что она уже кокетничает с ним.

Так как Ламарт умолк, Мариоль сказал ему:

— Мы сами виноваты: мы плохо выбираем. Есть и другие женщины.

Писатель возразил:

— Единственные, еще способные на привязанность, — это приказчицы да чувствительные мещанки, бедные и неудачно вышедшие замуж. Мне доводилось приходить на помощь таким отчаявшимся душам. Чувство у них бьет через край, но чувство такое пошлое, что отдавать им в обмен наше чувство — значит подавать милостыню. Но, говорю я, у молодежи нашего круга, в богатом обществе, где женщины ничего не желают и ни в чем не нуждаются, а стремятся лишь немного развлечься, не подвергаясь при этом никакой опасности, где мужчины благоразумно размерили наслаждения, как и труд, — в этом обществе, повторяю, древнее, царующее и могучее естественное влечение полов друг к другу бесследно исчезло.

Мариоль промолвил:

— Это правда.

Его желание бежать еще усилилось, бежать прочь от этих людей, от этих марионеток, которые от безделья

пародируют былую нежную и прекрасную страсть, — страсть, наслаждаться которой они уже не умеют.

— Спокойной ночи, — сказал он. — Пойду спать.

Он пришел домой, сел за стол и написал:

«Прощайте, сударыня. Помните мое первое письмо? Я тогда тоже прощался с вами, но не уехал. Какая это была ошибка! Но когда вы получите это письмо, меня уже не будет в Париже. Надо ли объяснять вам, почему? Таким мужчинам, как я, никогда не следовало бы встречаться с женщинами, подобными вам. Если бы я был художником и умел бы выражать свои чувства, чтобы облегчить душу, вы, быть может, вдохновили бы мой талант. Но я всего-навсего несчастный человек, которого вместе с любовью к вам охватила жестокая, невыносимая скорбь. Когда я встретился с вами, я не подозревал, что могу так чувствовать и так страдать. Другая на вашем месте вдохнула бы мне в сердце жизнь и божественную радость. Но вы умели только терзать его. Знаю, вы терзали его невольно; я ни в чем не упрекаю вас и не ропщу. Я даже не имею права писать вам эти строки. Простите! Вы так созданы, что не можете чувствовать, как я, не можете даже догадаться о том, что творится во мне, когда я вхожу к вам, когда вы говорите со мной и когда я на вас гляжу. Да, вы уступаете, вы принимаете мою любовь и даже дарите мне тихое и разумное счастье, за которое я всю жизнь должен бы на коленях благодарить вас. Но я не хочу такого счастья. О, как страшна, как мучительна любовь, беспрестанно выпрашивающая, словно милостыню, задушевное слово или горячий поцелуй и никогда не получающая их! Мое сердце голодно, как нищий, который долго бежал вслед за вами с протянутой рукой. Вы бросали ему чудесные вещи, но не дали хлеба. А мне нужно было хлеба, любви. Я ухожу — несчастный и нищий, жаждущий вашей ласки, несколько крох которой спасли бы меня. У меня ничего не осталось в мире, кроме жестокой мысли, которая вонзилась в меня,— и ее необходимо убить. Это я и попытаюсь сделать.

Прощайте, сударыня. Простите, благодарю, простите! И сейчас еще я люблю вас всей душой. Прощайте, сударыня.

Андре Мариоль».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Лучезарное утро освещало город. Мариоль сел в ожидавшую его у подъезда коляску, в откинутом верхе которой уже лежали его саквояж и два чемодана. Белье и все вещи, необходимые для долгого путешествия, были, по его приказанию, этой же ночью уложены камердинером, и он уезжал, оставляя временный адрес: «Фонтенбло, до востребования». Он не брал с собой никого, не желая видеть ни одного лица, которое напоминало бы ему Париж, не желая слышать голоса, касавшегося его слуха во время его размышлений о ней.

Он крикнул кучеру: «На Лионский вокзал!» Лошади тронули. Тогда ему вспомнился другой отъезд: отъезд на гору Сен-Мишель прошлой весной. Через три месяца этому исполнится год. Чтобы рассеяться, он окинул взглядом улицу.

Коляска выехала на аллею Елисейских Полей, залитую потоками весеннего солнца. Зеленые листья, уже освобожденные первым теплом предыдущих недель и только в последние дни немного задержанные в своем росте холодом и градом, казалось, изливали — до того быстро распускались они в это ясное утро — запахи свежей зелени и растительных соков, которые испарялись из пробивающихся ростков и побегов.

Это было одно из тех утренних пробуждений, сопровождаемых всеобщим расцветом, когда чувствуется, что во всех городских садах, на протяжении всех улиц расцветут в один день шарообразные каштаны, точно вспыхнувшие люстры. Жизнь земли возрождалась на лето, и сама улица с ее асфальтовыми тротуарами глухо содрогалась под напором корней.

Покачиваясь от толчков экипажа, Мариоль размышлял: «Наконец-то я найду немного покоя и увижу, как рождается весна в еще оголенном лесу».

Переезд показался ему очень долгим. Он был так разбит этими несколькими бессонными часами, когда оплакивал самого себя, словно провел десять ночей у постели умирающего. Приехав в Фонтенбло, он зашел к нотариусу, чтобы узнать, не найдется ли меблированной виллы на окраине леса, которую можно было бы снять. Ему указали несколько дач. Та из них, фотография которой больше всех ему приглянулась, была только что освобождена молодой четой, прожившей почти всю зиму в деревне Монтиньи на Луэне. Нотариус, при всей своей солидности, улыбнулся. Вероятно, он почуял здесь любовную историю. Он спросил:

— Вы один, сударь?

— Один.

— Даже без прислуги?

— Даже без прислуги. Я оставил свою в Париже; хочу подыскать здесь кого-нибудь на месте. Я приехал сюда поработать в полном уединении.

— О, в это время года вы будете здесь в полном одиночестве.

Несколько минут спустя открытое ландо увозило Мариоля с его чемоданами в Монтиньи.

Лес пробуждался. У подножия больших деревьев, вершины которых были осенены легкою дымкой зелени, особенно густо разросся кустарник. Одни только березы с их серебристыми стволами уже успели одеться по-летнему, в то время как у громадных дубов лишь на самых концах ветвей виднелись трепещущие зеленые пятна. Бук, быстрее раскрывающий свои заостренные почки, ронял последние прошлогодние листья. Трава вдоль дороги, еще не прикрытая непроницаемой тенью древесных вершин, была густой, блестящей и отлакированной свежими соками; и этот запах рождающихся побегов, который Мариоль уже уловил в Елисейских Полях, теперь целиком обволакивал его, погружал в огромный водоем растительной жизни, пробуждающейся под первыми солнечными лучами. Он дышал полной грудью, точно узник, выпущенный из темницы, и с чувством человека, только что освобожденного

от оков, вяло раскинул руки по краям ландо, свесив их над вертящимися колесами.

Сладко было впивать этот вольный и чистый воздух; но сколько же надо было выпить его, пить еще и еще, долго-долго, чтобы им надышаться, облегчить свои страдания и почувствовать наконец, как это легкое дуновение проникнет через легкие и, коснувшись раскрытой сердечной раны, успокоит ее.

Он миновал Марлот, где кучер показал ему недавно открытую *Гостиницу Коро,* славившуюся своим оригинальным стилем. Дальше покатили по дороге, слева от которой тянулся лес, а справа простиралась широкая долина с кое-где разбросанными деревьями и холмами на горизонте. Потом въехали на длинную деревенскую улицу, ослепительно белую, между двумя бесконечными рядами домиков, крытых черепицей. То здесь, то там свисал над забором огромный куст цветущей сирени.

Эта улица пролегала по тесной долине, спускавшейся к небольшой речке. Увидев ее, Мариоль пришел в полный восторг. Это была узенькая, быстрая, извилистая, бурливая речка, которая омывала на одном берегу основания домов и садовые ограды, а на другом орошала луга с воздушными деревьями, зеленеющими нежною, едва развернувшейся листвой.

Мариоль сразу нашел указанное ему жилище и был очарован им. Это был старый дом, подновленный каким-то художником, который прожил здесь пять лет; когда дом ему надоел, он стал сдавать его внаймы. Дом стоял у самой воды, отделенный от реки лишь хорошеньким садом, который заканчивался площадкой, обсаженной липами. Луэн, только что сбросивший свои воды с двух — трехфутовой плотины, бежал вдоль этой площадки, извиваясь в бойких водоворотах. Из окон фасада виднелись луга противоположного берега.

«Я выздоровлю здесь»,— подумал Мариоль.

Все уже было заранее обусловлено с нотариусом на случай, если дом придется ему по вкусу. Кучер доставил ответ. Началось устройство нового жилища; и все было готово очень быстро, так как секретарь мэра прислал двух женщин — одну в кухарки, другую для уборки комнат и стирки белья.

Внизу помещались гостиная, столовая, кухня и еще две небольшие комнатки; на втором этаже — прекрасная спальня и нечто вроде просторного кабинета, который художник-домовладелец приспособил под мастерскую. Все это было обставлено заботливо, как свойственно людям, влюбленным в местность и в свой дом. Теперь все немного поблекло, немного разладилось и приняло сиротливый, заброшенный вид жилища, покинутого хозяином. Чувствовалось, однако, что в этом домике жили еще совсем недавно. В комнатах еще носился нежный запах вербены. Мариоль подумал: «Ах, вербена! Бесхитростный аромат! Видно, женщина была непритязательная... Счастливец мой предшественник!»

Наступал уже вечер, так как за всеми делами день проскользнул незаметно. Мариоль сел у открытого окна, впивая влажную и сладкую свежесть росистой травы и глядя, как заходящее солнце бросает на луга длинные тени.

Служанки болтали, стряпая обед, и их голоса глухо доносились из кухни, между тем как через окно долетало мычание коров, лай собак и голоса людей, загонявших скотину или перекликавшихся через реку.

От всего этого поистине веяло миром и отдохновением.

Мариоль в тысячный раз за этот день спрашивал себя: «Что подумала она, получив мое письмо?.. Что она сделает?» Потом он задал себе вопрос: «Что она делает сейчас?»

Он взглянул на часы: половина седьмого. «Она вернулась домой и принимает гостей».

Ему представились гостиная и молодая женщина, беседующая с княгиней фон Мальтен, г-жой де Фремин, Масивалем и графом Бернхаузом.

Внезапно душа его содрогнулась, словно от гнева. Ему захотелось быть там. В этот час он почти ежедневно приходил к ней. И он ощутил в себе какое-то недомогание,— отнюдь не сожаление, потому что решение его было непоколебимо, но нечто близкое к физической боли, как у больного, которому в привычный час отказали впрыснуть морфий. Он не видел уже больше ни лугов, ни солнца, исчезающего за холмами на горизон-

те. Он видел только ее — в окружении друзей, поглощенную светскими заботами, которые отняли ее у него. «Довольно думать о ней!» — сказал он себе.

Он встал, спустился в сад и дошел до площадки. Прохлада воды, взбаламученной падением с плотины, туманом поднималась от реки, и это ощущение холода, леденившее его сердце, и так уже исполненное глубокой печали, заставило его вернуться. В столовой ему был поставлен прибор. Он наскоро пообедал и, не зная, чем заняться, чувствуя, как растет в его теле и в душе недомогание, только что испытанное им, лег и закрыл глаза в надежде уснуть. Напрасно! Его мысли видели, его мысли страдали, его мысли не покидали этой женщины.

Кому достанется она теперь? Графу Бернхаузу, конечно! Это тот самый мужчина, в котором нуждается это тщеславное создание,— мужчина модный, элегантный, изысканный. Он нравится ей; ведь, стремясь его покорить, она пустила в ход все свое оружие, хотя и была в это время любовницей другого.

Его душа, одержимая этими разъедающими образами, все-таки начинала понемногу цепенеть, блуждая в сонливом бреду, где снова и снова возникали этот человек и она. По-настоящему он так и не заснул; и всю ночь ему мерещилось, что они бродят вокруг него, издеваясь над ним, раздражая его, исчезая, словно затем, чтобы дать ему наконец возможность уснуть; но как только он забывался, они снова являлись и разгоняли сон острым приступом ревности, терзавшей сердце.

Едва забрезжил рассвет, он встал и отправился в лес, с тростью в руке — здоровенной тростью, позабытой в его новом доме прежним жильцом.

Взошедшее солнце бросало свои лучи сквозь почти еще голые вершины дубов на землю, местами покрытую зеленеющей травой, местами — ковром прошлогодних листьев, а дальше — порыжевшим от зимних морозов вереском; желтые бабочки порхали вдоль всей дороги, как блуждающие огоньки.

Возвышенность, почти гора, поросшая соснами и покрытая синеватыми глыбами камней, показалась с правой стороны дороги. Мариоль медленно взобрался на нее и, достигнув вершины, присел на большой

камень, так как стал задыхаться. Ноги не держали его, подкашиваясь от слабости, сердце сильно билось; все тело было как будто изможденo какой-то непонятной истомой.

Это изнеможение — он хорошо это знал — не было следствием усталости; оно было следствием другого — любви, тяготившей его, как непосильная ноша. Он прошептал: «Что за несчастье! Почему она так властно держит меня? Меня, который всегда брал от жизни только то, что нужно брать, чтобы испробовать ее вкус, не страдая!»

Его внимание, возбужденное и обостренное страхом перед этим недугом, который, быть может, будет так трудно преодолеть, сосредоточилось на нем самом, проникло в душу, спустилось в самую сокровенную сущность, стараясь лучше ее узнать, лучше постигнуть, пытаясь открыть его собственным глазам причину этого необъяснимого перелома.

Он говорил себе: «Я никогда не был подвержен увлечениям. Я не впадаю в восторг, я по натуре не страстный человек; во мне значительно больше рассудочности, чем бессознательного влечения, больше любопытства, чем вожделения, больше своенравия, чем постоянства. По существу, я только ценитель наслаждений, тонкий, понимающий и разборчивый. Я любил блага жизни, никогда ни к чему особенно не привязываясь, я смаковал их, как знаток, не опьяняясь, потому что слишком опытен, чтобы терять рассудок. Я все оцениваю умом и обычно слишком отчетливо подвергаю анализу свои склонности, чтобы слепо им следовать. В этом-то и заключается мой великий недостаток, единственная причина моей слабости. И вот эта женщина стала властвовать надо мной наперекор моей воле, вопреки страху, который она мне внушает, вопреки тому, что я знаю ее насквозь; она поработила меня, завладев мало-помалу всеми помыслами и стремлениями, жившими во мне. Пожалуй, в этом все дело. Раньше я расточал их на неодушевленные предметы: на природу, которая пленяет и умиляет меня, на музыку, которая подобна идеальной ласке, на мысли — лакомство разума, и на все, что есть приятного и прекрасного на земле.

Но вот я встретил существо, которое собрало все мои немного неустойчивые и переменчивые желания и, обратив их на себя, претворило в любовь. Изящная и красивая — она пленила мои глаза; тонкая, умная и лукавая — она пленила мою душу, а сердце мое она поработила таинственной прелестью своей близости и присутствия, скрытым и неодолимым обаянием своей личности, которая заворожила меня, как дурманят иные цветы.

Она все заменила собой, ибо меня уже ничто не влечет; я уже ни в чем не нуждаюсь, ничего не хочу, ни о чем не тревожусь.

Какой бы трепет вызвал во мне, как бы меня потряс в прежнее время этот оживающий лес! Сейчас я его не вижу, не чувствую, меня здесь нет. Я неразлучен с этой женщиной, которую больше не хочу боготворить.

Полно! Эти мысли надо убить усталостью, иначе мне не излечиться!»

Он встал, спустился со скалистого пригорка и быстро зашагал вперед. Но наваждение, владевшее им, тяготило его, как будто он нес его на себе.

Он шел, все ускоряя шаг, и порою, глядя на солнце, терявшееся в листве, или ловя смолистое дуновение, исходившее от сомкнувшихся сосен, испытывал мимолетное чувство некоторой облегченности, точно предвестие отдаленного утешения.

Вдруг он остановился. «Это уже не прогулка,— подумал он,— это бегство». Он в самом деле бежал — без цели, сам не зная куда; он бежал, преследуемый смертельной тоской этой разбитой любви.

Потом он пошел медленнее. Лес менял свой облик, становился пышней и тенистей, потому что теперь Мариоль вступал в самую чащу, в чудесное царство буков. Зимы уже совершенно не чувствовалось. Это была необыкновенная весна, как будто родившаяся в эту самую ночь, до того была она свежа и юна.

Мариоль проник в самую гущу, под гигантские деревья, поднимавшиеся все выше и выше, и шел все вперед, шел час, два часа, пробираясь сквозь ветви, сквозь неисчислимое множество мелких блестящих маслянистых листков, отлакированных собственным

соком. Все небо закрывал огромный свод древесных вершин, поддерживаемый кое-где прямыми, а кое-где склонившимися стволами, то более светлыми, то совсем темными под слоем черного мха, покрывавшего кору. Они уходили далеко ввысь одна за другой, возвышаясь над молодой порослью, тесно разросшейся и перепутавшейся у их подножия, и прикрывали ее густой тенью, пронизанной потоками солнца. Огненный ливень падал и растекался по всей этой раскинувшейся листве, походившей уже не на лес, а на сверкающее облако зелени, озаренное желтыми лучами.

Мариоль вдруг остановился, охваченный невыразимым удивлением. Где он? В лесу или на дне моря — моря листьев и света? На дне океана, позлащенного зеленым сиянием?

Он почувствовал себя несколько лучше, дальше от своего горя, более укрытым, более спокойным и улегся на рыжий ковер опавших листьев, которые эти деревья сбрасывают лишь после того, как покроются новым нарядом.

Наслаждаясь свежим прикосновением земли и мягким, чистым воздухом, он скоро проникся желанием, сначала смутным, потом более определенным, не быть одиноким в этих прелестных местах и подумал: «Ах, если бы она была здесь со мной!»

Он внезапно снова увидел Сен-Мишель и, вспомнив, насколько г-жа де Бюрн была там другой, чем в Париже, подумал, что только в тот день, когда в ней пробудились чувства, расцветшие на морском просторе, среди светлых песков, она и любила его немного, в течение нескольких часов. Правда, на дороге, затопленной морем, в монастыре, где, прошептав одно его имя «Андре», она как будто сказала: «Я ваша», да на «Тропе безумцев», когда он почти нес ее по воздуху, в ней родилось нечто близкое к порыву, но увлечение уже никогда не возвращалось к этой кокетке, с тех пор как ее ножка снова ступила на парижскую мостовую.

Однако здесь, возле него, в этой зеленеющей купели, при виде этого прилива — прилива свежих растительных соков — не могло бы разве вновь проник-

нуть в ее сердце мимолетное и сладкое волнение, некогда охватившее ее на Нормандском побережье?

Он лежал, раскинувшись, на спине, истомленный своею мечтой, блуждая взором по волнам древесных вершин, залитых солнцем; и мало-помалу он стал закрывать глаза, цепенея в великом покое леса. Наконец он заснул, а когда очнулся, увидел, что уже третий час пополудни.

Поднявшись, он уже не чувствовал такой печали, такой боли и снова тронулся в путь. Он наконец выбрался из лесной чащи и достиг широкого перекрестка, в который, словно зубцы короны, упирались шесть сказочно высоких аллей, терявшихся в прозрачных лиственных далях, в воздухе, окрашенном изумрудом. Придорожный столб указывал название этой местности: *Королевская роща.* Это поистине была столица королевства буков.

Мимо проезжал экипаж. Он был свободен. Мариоль нанял его и велел отвезти себя в Марлот, откуда рассчитывал дойти пешком до Монтиньи, предварительно закусив в трактире, так как очень проголодался.

Он вспомнил, что видел накануне вновь открытое заведение, *Гостиницу Коро,* пристанище для художников, отделанное в средневековом духе, по образцу парижского кабаре *Черный Кот.* Экипаж доставил его туда, и он через открытую дверь вошел в просторную залу, где старинного вида столы и неудобные скамейки как будто поджидали пьяниц минувших веков.

В глубине комнаты молоденькая женщина, должно быть, служанка, стоя наверху стремянки, развешивала старинные тарелки на гвозди, вбитые слишком высоко для ее роста. То приподнимаясь на носках, то становясь на одну ногу, она тянулась вверх, одной рукой упираясь в стену, а в другой держа тарелку; ее движения были ловки и красивы, талия отличалась изяществом, а волнистая линия от кисти руки и до щиколотки при каждом ее усилии принимала все новые грациозные изгибы. Она стояла спиной к двери и не слышала, как вошел Мариоль; он остановился и стал наблюдать за ней. Ему вспомнился Предолэ. «Право же,— сказал он себе,— какая прелесть! Как стройна эта девочка!»

Он кашлянул. Она чуть не упала от неожиданности, но, удержав равновесие, спрыгнула на пол с легкостью канатной плясуньи и, улыбаясь, подошла к посетителю.

— Что прикажете, сударь?

— Позавтракать, мадмуазель.

Она дерзнула заметить:

— Скорее пообедать, ведь теперь уже половина четвертого.

— Ну, пообедать, если вам так угодно,— ответил он.— Я заблудился в лесу.

Она перечислила ему блюда, имевшиеся к услугам путешественников. Мариоль выбрал кушанья и сел.

Она пошла передать заказ, потом вернулась накрыть на стол.

Он провожал ее взглядом, находя ее миловидной, живой и чистенькой. В рабочем платье, с подоткнутой юбкой, с засученными рукавами и открытой шеей, она привлекала милым проворством, весьма приятным для глаз; а корсаж хорошо обрисовывал ее талию, которой она, по-видимому, очень гордилась.

Чуть-чуть загорелое лицо, разрумяненное свежим воздухом, было слишком толстощеким и еще детски-пухлым, но свежим, как распускающийся цветок, с красивыми, ясными карими глазами, в которых все, казалось, сверкало, с широкой улыбкой, открывавшей прекрасные зубы; у нее были темные волосы, изобилие которых говорило о жизненной силе этого молодого и крепкого существа.

Она подала редиску и масло, и он принялся за еду, перестав глядеть на нее. Чтобы забыться, он спросил бутылку шампанского и выпил ее всю, а после кофе — еще две рюмки кюммеля. Перед уходом из дому он съел только ломтик холодного мяса с хлебом, так что все это было выпито почти натощак, и он почувствовал, как его охватил, сковал и успокоил какой-то сильный дурман, который он принял за забвение. Его мысли, его тоска и тревога словно растворились, утонули в светлом вине, так быстро превратившем его измученное сердце в сердце почти бесчувственное.

Он не спеша вернулся в Монтиньи, пришел домой

очень усталый и сонный, улегся в постель с наступлением сумерек и тотчас же заснул.

Но среди ночи он проснулся, чувствуя какое-то недомогание, смутную тревогу, как будто кошмар, который удалось прогнать на несколько часов, снова подкрался к нему, чтобы прервать его сон.

Она была здесь, она, г-жа де Бюрн; она вернулась сюда и бродит вокруг него в сопровождении графа Бернхауза. «Ну вот,— подумал он,— теперь я ревную. Почему?»

Почему он ее ревновал? Он скоро это понял. Несмотря на все свои страхи и муки, пока он был ее любовником, он чувствовал, что она ему верна, верна без порыва, без нежности, просто потому, что хочет быть честной. Но он все порвал, он вернул ей свободу; все было кончено. Будет ли она теперь жить одиноко, без новой связи? Да, некоторое время, конечно... А потом?.. Не исходила ли самая верность, которую она до сих пор соблюдала, не вызывая в нем никаких сомнений, из смутного предчувствия, что, покинув его, Марноля, от скуки, она в один прекрасный день, после более или менее длительного отдыха, должна будет заменить его — не по увлечению, но утомясь одиночеством, как она со временем бросила бы его, устав от его привязанности? Разве не бывает в жизни, что любовников покорно сохраняют навсегда только из страха перед их преемниками? К тому же эта смена любовников показалась бы неопрятной такой женщине, как она,— слишком разумной, чтобы поддаваться предрассудкам греха и бесчестия, но наделенной чуткой нравственной стыдливостью, которая предохраняет ее от настоящей грязи. Она светский философ, а не добродетельная мещанка; она не пугается тайной связи, но ее равнодушное тело содрогнулось бы от брезгливости при мысли о веренице любовников.

Он вернул ей свободу... и что же? Теперь она, разумеется, возьмет другого! И это будет граф Бернхауз. Он был уверен в этом и невыразимо страдал. Почему он с нею порвал? Он бросил ее, верную, ласковую, очаровательную! Почему? Потому что был грубой скотиной и не понимал любви без чувственного влечения?

Так ли это? Да... Но было и нечто другое! Был прежде всего страх перед страданием. Он бежал от муки не быть любимым в той же мере, как любил он сам, от жестокого разлада между ними, от неодинаково нежных поцелуев, от неизлечимого недуга, жестоко поразившего его сердце, которому, может быть, никогда уже не исцелиться. Он испугался чрезмерных страданий, он побоялся сносить годами смертельную тоску, которую предчувствовал в продолжение нескольких месяцев, а испытывал всего несколько недель. Слабый, как всегда, он отступил перед этим страданием, как всю жизнь отступал перед всякими трудностями.

Значит, он не способен довести что бы то ни было до конца, не может всецело отдаться страсти, как ему следовало бы отдаться науке или искусству; вероятно, нельзя глубоко любить, не испытывая при этом глубоких страданий.

Он до самого рассвета перебирал все те же мысли, и они терзали его, как псы; потом он встал и спустился на берег реки.

Какой-то рыбак забрасывал сеть у плотины. Вода бурлила под лучами зари, и когда человек вытаскивал большую круглую сеть и расстилал ее на палубе лодки, мелкие рыбки трепыхались в петлях, будто живое серебро.

Теплый утренний воздух, насыщенный брызгами падавшей воды, в которых мелькали зыбкие радуги, успокаивал Мариоля; ему казалось, что река, протекающая у его ног, уносит в своем безостановочном и быстром беге частицу его печали.

Он подумал: «Все-таки я поступил хорошо; я слишком страдал!»

Он вернулся домой, взял гамак, замеченный им в прихожей, и повесил его между двумя липами; расположившись в нем, он старался ни о чем не думать, глядя на скользящую мимо воду.

Он пролежал так до завтрака — в сладком оцепенении, в блаженном состоянии тела, распространявшемся и на душу, и по возможности растянул завтрак, чтобы сократить день. Но его томило ожидание: он ждал почты. Он телеграфировал в Париж и написал в Фонтенебло, чтобы ему переслали сюда письма. Он ни-

чего не получал, и ощущение полной заброшенности начинало тяготить его. Почему? Он не мог ожидать ничего приятного, утешительного и успокаивающего из недр черной сумки, висящей на боку у почтальона, ничего, кроме ненужных приглашений и пустых новостей. К чему же тогда мечтать об этих неведомых письмах, словно в них таится спасение для его сердца?

Не скрывается ли в самой глубине его души тщеславная надежда получить письмо от нее?

Он спросил у одной из своих старушек:

— В котором часу приходит почта?

— В полдень, сударь.

Был как раз полдень. Он со все возрастающим беспокойством стал прислушиваться к шумам, доносившимся извне. Стук в наружную дверь заставил его привскочить. Почтальон принес только газеты и три незначительных письма. Мариоль прочитал газеты, перечитал их, заскучал и вышел из дому.

За что ему взяться? Он вернулся к гамаку и снова растянулся в нем, но полчаса спустя настойчивая потребность уйти куда-нибудь охватила его. В лес? Да, лес был обворожителен, но одиночество в нем ощущалось еще глубже, чем дома или в деревне, где иногда слышались какие-то отзвуки жизни. И это безмолвное одиночество деревьев и листвы наполняло его печалью и сожалениями, погружало его в скорбь. Он мысленно снова совершил вчерашнюю большую прогулку, и когда ему вновь представилась проворная служаночка из *Гостиницы Коро,* он подумал: «Вот идея! Отправлюсь туда и там пообедаю». Такое решение хорошо на него подействовало; это все-таки занятие, средство выиграть несколько часов. И он тотчас же тронулся в путь.

Длинная деревенская улица тянулась прямо по долине, между двумя рядами белых низеньких домишек с черепичными крышами; некоторые домики выходили прямо на дорогу, другие прятались в глубине дворов за кустами цветущей сирени; куры разгуливали там по теплому навозу, а лестницы, обнесенные деревянными перилами, взбирались прямо под открытым небом к дверям, пробитым в стене. Крестьяне не спеша работали возле своих жилищ. Мимо прошла сгорбленная старуха в разорванной кофте, с седовато-желтыми, не-

смотря на ее возраст, волосами (ведь у деревенских жителей почти никогда не бывает настоящей седины); ее тощие, узловатые ноги обрисовывались под каким-то подобием шерстяной юбки, подоткнутой сзади. Она смотрела прямо перед собой бессмысленными глазами — глазами, никогда ничего не видевшими, кроме нескольких самых простых предметов, необходимых для ее убогого существования.

Другая, помоложе, развешивала белье у дверей своего дома. Движение ее рук подтягивало кверху юбку и открывало широкие лодыжки в синих чулках и костлявые ноги — кости без мяса, между тем как ее талия и грудь, плоские и крепкие, как у мужчины, говорили о бесформенном теле, вероятно, ужасном на вид.

«Женщины! — подумал Мариоль.— И это женщины! Вот они какие!» Силуэт г-жи де Бюрн встал перед его глазами. Он увидел ее, чудо изящества и красоты, идеал человеческого тела, кокетливую и наряженную для утехи мужских взглядов; и он содрогнулся от смертельной тоски по невозвратимой утрате.

И он зашагал быстрее, чтобы развлечь свое сердце и мысли. Когда он вошел в гостиницу, служаночка сразу узнала его и почти фамильярно приветствовала:

— Здравствуйте, сударь.

— Здравствуйте, мадмуазель.

— Хотите чего-нибудь выпить?

— Да, для начала, а потом я у вас пообедаю.

Они обсудили, что́ ему сначала выпить и что̀ съесть потом. Он советовался с ней, чтобы заставить ее разговориться, потому что она выражалась хорошо, на живом парижском наречии и так же непринужденно, как непринужденны были ее движения.

Слушая ее, он думал: «Как мила эта девочка! У нее задатки будущей кокотки».

Он спросил ее:

— Вы парижанка?

— Да, сударь.

— Вы здесь уже давно?

— Две недели, сударь.

— Вам здесь нравится?

— Пока не особенно, но еще рано судить; к тому же я устала от парижского воздуха, а в деревне я попра-

вилась; из-за этого-то главным образом я и приехала сюда. Так подать вам вермута, сударь?

— Да, мадмуазель, и скажите повару или кухарке, чтобы они приготовили обед получше.

— Будьте покойны, сударь.

Она ушла, оставив его одного.

Он спустился в сад и устроился в лиственной беседке, куда ему и подали вермут. Он просидел там до вечера, слушая дрозда, свистевшего в клетке, и поглядывая на проходившую изредка мимо него служаночку, решившую пококетничать и порисоваться перед гостем, которому, как она поняла, пришлась по вкусу.

Он ушел, как и накануне, повеселев от шампанского, но темнота и ночная прохлада быстро рассеяли легкое опьянение, и неодолимая тоска снова проникла ему в душу. Он думал: «Что же мне делать? Оставаться ли здесь? Надолго ли я обречен влачить эту безотрадную жизнь?» Он заснул очень поздно.

На следующий день он опять покачался в гамаке, и вид человека, закидывавшего сеть, навел его на мысль заняться рыбной ловлей. Лавочник, торговавший удочками, дал ему указания относительно этого умиротворяющего спорта и даже взялся руководить его первыми опытами. Предложение было принято, и с десяти часов до полудня Мариолю с большими усилиями и великим напряжением внимания удалось поймать три крошечных рыбки.

После завтрака он снова отправился в Марлот. Зачем? Чтобы убить время.

Служаночка встретила его смехом.

Он тоже улыбнулся, забавляясь таким приветствием, и попробовал вызвать ее на болтовню.

Чувствуя себя более непринужденно, чем накануне, она разговорилась. Ее звали Элизабет Ледрю.

Мать ее, домашняя портниха, умерла в прошлом году; тогда ее отец, счетовод, всегда пьяный, вечно без места, живший на счет жены и дочери, внезапно исчез, так как девочка, которая шила в своей мансарде теперь с утра до ночи, не могла одна зарабатывать на двоих. Устав от этого однообразного труда, она поступила служанкой в дешевый ресторанчик и пробыла там около года; она уже чувствовала себя утомленной, а в это

время хозяин *Гостиницы Коро* в Марлот, которому она как-то раз прислуживала, пригласил ее на лето вместе с двумя другими девушками, которые должны приехать немного позже. Этот содержатель гостиницы, видимо, знал, чем привлечь посетителей.

Рассказ пришелся по душе Мариолю. Он ловко расспрашивал девушку, обращаясь с ней, как с барышней, и выведал у нее много любопытных подробностей об унылом и нищем быте семьи, разоренной пьяницей. Она же, существо заброшенное, бездомное, одинокое и все же веселое благодаря своей молодости, почувствовав искренний интерес со стороны этого незнакомца и живое участие, была с ним откровенна, раскрыла ему всю душу, порывов которой она не могла сдерживать так же, как и своего проворства.

Когда она умолкла, он спросил:

— И вы... будете служанкой всю жизнь?

— Не знаю, сударь. Разве я могу предвидеть, что со мной будет завтра?

— Надо все-таки подумать о будущем.

Легкая тень озабоченности легла на ее лицо, но быстро сбежала. Она ответила:

— Покорюсь тому, что выпадет мне на долю. Чему быть — того не миновать.

Они расстались друзьями.

Он снова пришел через несколько дней, потом еще раз, потом стал ходить часто, смутно привлекаемый простодушной беседой с одинокой девушкой, легкая болтовня которой немного рассеивала его печаль.

Но вечерами, когда он возвращался пешком в Монтиньи, думая о г-же де Бюрн, на него находили страшные приступы отчаяния. С рассветом ему становилось немного легче. Но когда наступала ночь, на него снова обрушивались терзавшие душу сожаления и дикая ревность. Он не получал никаких известий. Он сам никому не писал, и ему никто не писал. Он ничего не знал. И вот, возвращаясь один по темной дороге, он представлял себе развитие связи, которую он предвидел между своей вчерашней любовницей и графом Бернхаузом. Эта навязчивая мысль с каждым днем все неотступнее преследовала его. «Этот,—размышлял он,—даст ей именно то, что ей нужно: он будет благовоспитанным светским

любовником, постоянным, не слишком требовательным, вполне довольным и польщенным тем, что стал избранником такой обворожительной и тонкой кокетки».

Он сравнивал его с собой. У того, разумеется, не будет той болезненной чувствительности, той утомительной требовательности, той исступленной жажды ответной нежности, которые разрушили их любовный союз. Как человек светский, сговорчивый, рассудительный и сдержанный, он удовлетворится малым, так как, по-видимому, тоже не принадлежит к породе страстных людей.

Придя однажды в Марлот, Андре Мариоль увидел в другой беседке *Гостиницы Коро* двух бородатых молодых людей в беретах, с трубками в зубах.

Хозяин, толстяк с сияющим лицом, тотчас же вышел его приветствовать, потому что чувствовал к этому верному посетителю отнюдь не бескорыстное расположение. Он сказал:

— А у меня со вчерашнего дня два новых постояльца, два живописца.

— Вот те двое?

— Да; это уже знаменитости; тот, что поменьше, получил в прошлом году вторую медаль.

И, рассказав все, что он знал об этих новоявленных талантах, он спросил:

— Что вы сегодня изволите пить, господин Мариоль?

— Пошлите мне, как всегда, бутылку вермута.

Хозяин ушел.

Появилась Элизабет, неся поднос с бокалом, графином и бутылкой. Один из художников тотчас же крикнул:

— Ну что же, малютка, мы все еще дуемся?

Она ничего не ответила, а когда подошла к Мариолю, он увидел, что глаза у нее красные.

— Вы плакали? — спросил он.

Она просто ответила:

— Да, немного.

— Что случилось?

— Эти два господина нехорошо со мной обошлись.

— Что они сделали?

— Они приняли меня за какую-то...

— Вы пожаловались хозяину?

Она грустно пожала плечами.

— Ах, сударь! Хозяин... хозяин!.. Знаю я его теперь... нашего хозяина!

Мариоль, взволнованный и немного рассерженный, сказал ей:

— Расскажите мне все.

Она рассказала о грубых и настойчивых приставаниях новоприбывших мазил. Потом она снова расплакалась, не зная, что ей теперь делать, брошенной в этом чужом краю, без покровителя, без поддержки, без денег, без помощи.

Мариоль неожиданно предложил:

— Хотите перейти ко мне в услужение? Вам будет у меня неплохо... А когда я вернусь в Париж, вы поступите, как вам заблагорассудится.

Она вопрошающе посмотрела ему прямо в лицо. Потом вдруг сказала:

— Очень даже хочу.

— Сколько вы здесь получаете?

— Шестьдесят франков в месяц.

И с беспокойством добавила:

— Кроме того, чаевые. Всего-навсего франков семьдесят.

— Я положу вам сто франков.

Она удивленно повторила:

— Сто франков в месяц?

— Да, это вам подходит?

— Еще бы!

— Вы будете только прислуживать мне за столом, заботиться о моих вещах, белье и одежде и убирать комнату.

— Понимаю, сударь!

— Когда вы придете?

— Завтра, если вам угодно. После того, что случилось, я обращусь к мэру и уйду во что бы то ни стало.

Мариоль вынул из кармана два луи и, протягивая их ей, сказал:

— Вот вам задаток.

Лицо ее озарилось радостью, и она решительно проговорила:

— Завтра, до полудня, я буду у вас, сударь

II

На следующий день Элизабет явилась в Монтиньи в сопровождении крестьянина, который вез в тачке ее чемодан. Мариоль отделался от одной из своих старушек, щедро вознаградив ее, и вновь прибывшая заняла комнатку в третьем этаже, рядом с кухаркой.

Когда она предстала перед своим хозяином, она показалась ему несколько другой, чем в Марлот, не такой общительной, более застенчивой: она стала служанкой барина, в то время как там, под зеленым шатром в саду ресторана, она была чем-то вроде его скромной подружки.

Он объяснил ей в немногих словах, что́ ей предстоит делать. Она выслушала очень внимательно, водворилась на место и взялась за работу.

Прошла неделя, не внеся в душу Мариоля значительной перемены. Он только заметил, что стал реже уходить из дому, потому что у него уже не было прежнего предлога для прогулок в Марлот, и дом, пожалуй, казался ему менее мрачным, чем в первые дни. Острота его горя понемногу утихала, как утихает все; но на месте этой раны в нем зарождалась неодолимая грусть, та глубокая тоска, похожая на медленную и затяжную болезнь, что иногда приводит к смерти. Вся его прежняя живость, вся пытливость его ума, весь интерес к ранее занимавшим и радовавшим его вещам умерли в нем, сменились отвращением ко всему и непреодолимым равнодушием, которое лишало его даже силы подняться с места и погулять. Он уже не покидал усадьбы, переходя из гостиной в гамак, из гамака в гостиную. Главным его развлечением было смотреть на воды Луэна и на рыбака, забрасывающего сеть.

После первых дней сдержанности и скромности Элизабет стала немного смелей и, уловив своим женским чутьем постоянное уныние хозяина, иногда спрашивала его, если другой прислуги не было поблизости:

— Вы очень скучаете, сударь?

Он с видом покорности судьбе отвечал:

— Да, порядочно.

— Вам следовало бы пройтись.

— Это не поможет.

Она проявляла в отношении к нему скромную и самоотверженную предупредительность. Каждое утро, входя в гостиную, он находил ее полной цветов, благоухающей, как теплица. Элизабет, очевидно, обложила данью как ребятишек, доставлявших ей из лесу примулы, фиалки и золотистый дрок, так и деревенские палисадники, в которых крестьянки по вечерам поливали какие-то растения. Он же в своей отрешенности, в своем отчаянии и душевном оцепенении испытывал к ней особую нежную признательность за эти изобретательные дары и за постоянное старание быть ему приятной во всех мелочах, которое он улавливал в ней. Ему казалось также, что она хорошеет, начинает больше следить за собой, что лицо ее стало белее и как бы утонченней. Он даже заметил однажды, когда она подавала ему чай, что у нее уже не руки служанки, а дамские ручки с хорошо обточенными и безукоризненно чистыми ногтями. В другой раз он обратил внимание на ее почти элегантную обувь. Потом, как-то днем, она поднялась в свою комнату и вернулась в очаровательном сереньком платьице, простеньком, но сшитом с безукоризненным вкусом. Увидя ее, он воскликнул:

— Какой вы стали кокеткой, Элизабет!

Она густо покраснела и пролепетала:

— Что вы, сударь! Просто я одеваюсь немного получше, потому что у меня чуть-чуть больше денег.

— Где вы купили это платье?

— Я сама его сшила, сударь.

— Сами сшили? Когда же? Ведь вы целый день работаете по дому.

— А вечерами-то, сударь?

— А материю вы откуда достали? И кто вам скроил?

Она рассказала, что местный лавочник привез ей образчики материй из Фонтенебло. Она выбрала и заплатила за товар из тех двух луи, которые получила в задаток от Мариоля. Что же касается кройки, а также шитья, то это нисколько ее не смущает, так как она четыре года работала вместе с матерью на магазин готового платья.

Он не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Оно вам очень идет. Вы очень милы.

Она снова зарделась до самых корней волос.

Когда она ушла, он подумал: «Уж не влюбилась ли она в меня, чего доброго?» Он поразмыслил над этим, поколебался, посомневался и наконец решил, что это вполне возможно. Он был с ней добр, посочувствовал ей, помог; он был почти ее другом. Что же удивительного, что девушка увлеклась своим хозяином после всего, что он для нее сделал? Впрочем, эта мысль не была ему неприятна: девочка была действительно недурна и ничем уже не походила на горничную. Его мужское самолюбие, так сильно оскорбленное, задетое, раненное и попранное другой женщиной, чувствовало себя польщенным, утешенным, почти исцеленным. Это было возмещение, очень маленькое, едва ощутимое, но все-таки возмещение, потому что, раз в человека кто-нибудь влюблен — все равно кто,— значит, этот человек еще может внушать любовь. Его бессознательный эгоизм также был этим удовлетворен. Его немного развлекло бы и, может быть, пошло бы ему на пользу понаблюдать, как это маленькое сердечко оживет и забьется для него. Ему не пришло в голову удалить этого ребенка, оградить его от той опасности, которая причинила ему самому такие страдания, пожалеть девочку больше, чем пожалели его,— ибо сострадание никогда не сопутствует любовным победам.

Он стал за ней наблюдать и скоро убедился, что не ошибся. Тысячи мелочей ежедневно подтверждали это. Как-то утром, подавая ему за столом, она слегка коснулась его платьем, и он почувствовал запах духов — простеньких духов, очевидно, купленных в галантерейной лавке или у местного аптекаря. Тогда он подарил ей флакон туалетной воды «шипр», которой сам постоянно пользовался, умываясь, и запасы которой всегда имел при себе. Он подарил ей также хорошее туалетное мыло, зубной эликсир и рисовую пудру. Он искусно способствовал этому превращению, становившемуся с каждым днем все заметнее, все полнее, и следил за ним любознательным и польщенным взглядом. Оставаясь для него скромной и преданной служанкой, она вместе с тем становилась глубоко чувствующей и влюбленной женщиной, в которой наивно развивался врожденный инстинкт кокетства.

Он и сам понемножку привязывался к ней. Он забавлялся, он был растроган и благодарен. Он играл с этой зарождающейся любовью, как играют в часы тоски со всем, что может хоть чуточку развлечь. Он не испытывал к ней иного влечения, кроме неясного желания, толкающего всякого мужчину ко всякой привлекательной женщине, будь она хорошенькой горничной или крестьянкой, сложенной, как богиня, своего рода сельской Венерой. Его больше всего притягивала к ней та женственность, которую он в ней находил и которая была ему теперь нужна. Это была смутная и неодолимая потребность, вызванная другою, любимою, пробудившей в нем это властное и таинственное влечение к женской сущности, к близости женщины, к общению с ней, к тому тонкому аромату, духовному или чувственному, который каждое соблазнительное создание, от простолюдинки до великосветской дамы, от восточной самки с огромными черными глазами до северной девы с голубым взором и лукавой душой, изливает на тех мужчин, для которых еще жива извечная обаятельность женского существа.

Это нежное, непрестанное, ласкающее и затаенное внимание, скорей ощутимое, нежели видимое, обволакивало его рану, как слой ваты, и делало ее менее чувствительной к новым приступам душевных страданий. Но страдания эти, однако, не унимались, ползая и кружась, как мухи вокруг открытой раны. Довольно было одной из них коснуться ее, чтобы мучение возобновилось.

Он запретил давать кому-либо свой адрес, и его друзья отнеслись с должным уважением к его бегству, но отсутствие новостей и каких бы то ни было известий беспокоило его. Время от времени ему попадались в газете фамилии Ламарта или Масиваля в перечне лиц, присутствовавших на званом обеде или на каком-нибудь торжестве. Однажды ему встретилась фамилия г-жи де Бюрн, которую называли одной из самых изящных, самых красивых и изысканно одетых дам на балу в австрийском посольстве. Дрожь пробежала по нему с головы до ног. Фамилия графа фон Бернхауза стояла несколькими строками ниже. И вновь вспыхнувшая ревность до самого вечера терзала сердце Мариоля.

Эта предполагаемая связь стала теперь для него почти несомненной. Это было одно из тех воображаемых убеждений, которые мучительнее, чем достоверный факт, потому что от них нельзя ни избавиться, ни исцелиться.

Не в силах переносить эту неизвестность и неуверенность в своих подозрениях, он решил написать Ламарту, который, зная его достаточно хорошо, чтобы догадаться о его душевных терзаниях, мог бы ответить на его предположения даже без прямого вопроса.

Поэтому однажды вечером, при свете лампы, он составил длинное, искусно сочиненное письмо, неопределенно печальное, полное скрытых вопросов и лирических излияний на тему о красоте весны в деревне.

Через четыре дня, получив почту, он с первого взгляда узнал прямой и твердый почерк романиста.

Ламарт сообщал ему тысячу прискорбных новостей, полных для него глубокого значения. Он говорил о множестве людей, но, не вдаваясь насчет г-жи де Бюрн и графа фон Бернхауза в бо́льшие подробности, чем насчет любого другого человека, он как будто выделял их свойственным ему стилистическим приемом и привлекал к ним внимание как раз до намеченной точки, ничем не обнаруживая при этом своего намерения.

Из письма в общем вытекало, что все подозрения Мариоля были по меньшей мере обоснованы. Его опасения сбудутся завтра, если не сбылись еще вчера.

Его прежняя любовница жила все той же жизнью: суетливой, блестящей, светской. О нем немножко поговорили после его исчезновения, как обычно говорят об исчезнувших,— с безразличным любопытством. Полага́ли, что он уехал куда-то очень далеко, потому что ему наскучил Париж.

Получив это письмо, он до вечера пролежал в гамаке. Он не мог обедать, он не мог уснуть, а ночью у него началась лихорадка. На другой день он чувствовал себя таким усталым, таким подавленным, до того полным отвращения к однообразию дней, проводимых между этим глухим молчаливым лесом, теперь уже дремучим от зелени, и надоедливой речонкой, журчавшей под его окнами, что решил не вставать совсем.

Когда Элизабет вошла на его звонок и увидела его еще в постели, она удивленно остановилась на пороге и спросила, внезапно побледнев:

— Вы захворали, сударь?

— Да, немного.

— Не позвать ли врача?

— Нет; со мной это случается.

— Не угодно ли вам чего-нибудь?

Он велел, как всегда, приготовить ванну, к завтраку только яйца, а чай чтобы был в течение всего дня. Но к часу его охватила такая неистовая тоска, что ему захотелось встать. Элизабет, которую он беспрестанно вызывал, по обыкновению всех мнимых больных, приходила встревоженная, огорченная, горящая желанием быть полезной, помочь ему, ухаживать за ним и вылечить его; видя, как он взволнован и расстроен, она предложила, вся раскрасневшись от смущения, что-нибудь почитать ему вслух.

Он спросил:

— Вы хорошо читаете?

— Да, сударь, когда я училась в школе, я всегда получала награды за чтение и прочла мамочке столько романов, что и заглавия все перезабыла.

Он заинтересовался и послал ее в мастерскую взять среди присланных ему книг самую его любимую — *Манон Леско*. Она помогла ему сесть в постели, подложила ему за спину две подушки, взяла стул и начала читать. Читала она действительно хорошо, даже очень хорошо, потому что была наделена врожденным даром верной интонации и выразительности. Она сразу же заинтересовалась этой повестью и с таким волнением следила за развитием событий, что он иногда прерывал ее, чтобы задать ей какой-нибудь вопрос и немного побеседовать с ней.

В открытое окно вместе с теплым ветерком, напоенным запахом зелени, врывались пение, рокот и трели соловьев, заливавшихся возле самочек на всех окрестных деревьях в эту пору любви.

Андре глядел на девушку, взволнованную, следившую с блеском в глазах за событиями, которые развертывались на страницах книги.

На его вопросы она отвечала с врожденным

пониманием всего, что относится к любви и страсти, придавая своим словам правильный, но немного расплывчатый смысл, вызванный простонародною узостью ее кругозора. Он подумал: «Если бы немного подучить эту девочку, она стала бы совсем смышленой и умницей».

Женское очарование, которое он уже раньше почувствовал в ней, в самом деле благотворно влияло на него в этот жаркий, спокойный день, причудливо сливаясь в его сознании с таинственным и могучим очарованием Манон, которая дает нашим сердцам вкусить величайшую женскую прелесть, когда-либо переданную человеческим искусством.

Убаюканный голосом, увлеченный столь знакомым и всегда новым повествованием, он мечтал о такой же ветреной и пленительной любовнице, как любовница де Гриё, неверной и постоянной, человечной и соблазнительной даже в своих постыдных недостатках, созданной для того, чтобы пробудить в мужчине всю его нежность и весь его гнев, страстную ненависть и привязанность, ревность и вожделение.

Ах, если бы та, которую он только что покинул, таила в своей крови хотя бы только любовное и чувственное вероломство этой манящей куртизанки, он, может быть, никогда не уехал бы! Манон изменяла, но любила; она лгала, но отдавалась!

Мариоль нежился весь день, а с наступлением вечера погрузился в какое-то мечтательное забытье, где сливались все эти женщины. Не испытав со вчерашнего дня никакой усталости, проведя день без малейшего движения, он спал чутким сном и проснулся от какого-то странного шума, раздававшегося в доме.

Уже раза два в ночные часы ему слышались чьи-то шаги и едва уловимое движение в нижнем этаже,— не прямо под ним, а в комнатках, прилегавших к кухне: бельевой и ванной. Он не обращал на это внимания.

Но в этот вечер, устав лежать и чувствуя, что скоро ему не уснуть, он стал прислушиваться и различил странные шорохи и что-то похожее на всплески воды. Тогда он решил пойти посмотреть; зажег свечу и взглянул на часы: не было еще и десяти. Он оделся, положил

в карман револьвер и, крадучись, с бесконечными предосторожностями, спустился вниз.

Войдя в кухню, он с изумлением увидел, что топится плита. Больше ничего не было слышно, но потом ему почудилось движение в ванной, крошечной комнатке, выбеленной известью, где ничего, кроме ванны, не было.

Он подошел, бесшумно повернул ручку и, резко распахнув дверь, увидел распростертое в воде женское тело с раскинутыми руками, с кончиками грудей, выступавшими из воды; прекраснейшее женское тело, какое ему когда-либо случалось видеть.

Она вскрикнула в ужасе: ей некуда было скрыться.

Он уже стоял на коленях у края ванны, пожирая ее пылающими глазами и протянув к ней губы.

Она поняла и, внезапно вскинув руки, с которых струилась вода, обвила ими шею своего хозяина.

III

На следующий день, когда, подавая ему чай, она появилась перед ним и глаза их встретились, она задрожала так сильно, что чашка и сахарница несколько раз подряд стукнулись друг о друга.

Мариоль подошел к ней, взял у нее из рук поднос, поставил на стол и, видя, что она потупилась, сказал ей:

— Взгляни на меня, крошка.

Она подняла на него глаза, полные слез.

Он продолжал:

— Я не хочу, чтобы ты плакала.

Он прижал ее к себе и почувствовал, что она трепещет с головы до ног. «О, боже мой!» — прошептала она. Он понял, что не горе, не сожаление и не раскаяние заставили ее прошептать эти три слова, а счастье, самое настоящее счастье. И чувствуя, как прижимается к его груди это маленькое, полюбившее его существо, он испытывал странное эгоистическое, скорее физическое, чем нравственное, удовлетворение. Он благодарил ее за это чувство, как раненый, брошенный на дороге, поблагодарил бы женщину, которая ему помогла. Он благодарил ее от всего своего истерзанного сердца, алчущего ласки, обманутого в своих тщетных

порывах из-за равнодушия другой; а в глубине души он чуть-чуть жалел ее. Глядя на нее, изменившуюся, побледневшую, всю в слезах, с глазами, горящими любовью, он вдруг сказал сам себе: «Да она ведь красивая! Как быстро преображается женщина, становится тем, чем она должна быть, когда следует влечению души или голосу природы».

— Присядь,— сказал он.

Она села. Он взял ее руки, ее бедные рабочие руки, ставшие ради него белыми и изящными, и потихоньку, осторожно подбирая слова, стал говорить ей о том, каковы теперь должны быть их отношения. Она уже для него не прислуга, но нужно сохранить видимость, чтобы не вызвать сплетен в деревне. Она будет жить при нем в качестве экономки и часто будет читать ему вслух, что послужит оправданием для ее нового положения. А через некоторое время, когда с ее обязанностями чтицы окончательно свыкнутся, она будет обедать с ним за одним столом.

— Нет, сударь, я была и останусь вашей служанкой. Я не хочу сплетен, не хочу, чтобы все узнали о том, что произошло.

Она не уступила, несмотря на все его уговоры. Когда он кончил пить чай, она унесла поднос, а он проводил ее нежным взглядом.

После этого он подумал: «Это женщина; все женщины одинаковы, когда нравятся нам. Я сделал служанку своей любовницей. Из хорошенькой она, может быть, станет очаровательной. Во всяком случае, она моложе и свежей, чем светские женщины и кокотки. Да в конце концов не все ли равно! Разве многие из знаменитых актрис не дочери привратниц?! И, тем не менее, их принимают, как настоящих дам, их обожают, как героинь романов, и короли обращаются с ними, как с королевами. За что? За талант, нередко сомнительный, или за красоту, нередко весьма спорную? Нет! Но действительно, женщина всегда занимает положение, соответствующее той иллюзии, которую она умеет создать».

Он совершил в этот день далекую прогулку и хотя в глубине сердца чувствовал все ту же боль, а в ногах тяжесть, как будто печаль ослабила все источники его

энергии, что-то щебетало в нем, словно птичка. Он был не так одинок, не так заброшен, не так покинут. Лес казался ему менее безмолвным, менее глухим и безлюдным. И он вернулся, полный желания увидеть, как Элизабет улыбнется при его приближении и поспешит ему навстречу со взглядом, исполненным нежности.

Около месяца на берегу маленькой речки длилась настоящая идиллия. Мариоль был любим, как было любимо, быть может, не много мужчин,— безумной, животной любовью, как ребенок — матерью, как охотник — собакой.

Он был для нее все — мир и небо, радость и счастье. Он отвечал всем ее пылким и простодушным женским чаяниям и дарил ей в одном поцелуе всю долю экстаза, какую она способна была испытать. Он один занимал ее душу, ее глаза, ее сердце и плоть; она была опьянена, как впервые захмелевший подросток. Он засыпал у нее на руках, он пробуждался от ее ласки, она обнимала его, отдаваясь с несказанным самозабвением. Полный удивления и восторга, он наслаждался этим совершеннейшим даром, и ему представлялось, что он пьет любовь из самого ее источника, из уст самой природы.

И все-таки он продолжал грустить, грустить и отчаиваться, безнадежно и глубоко. Его юная любовница ему нравилась, но ему недоставало другой. И когда он прогуливался по лугам вдоль берегов Луэна, спрашивая себя: «Почему эта скорбь не покидает меня?» — он при малейшем воспоминании о Париже ощущал в себе такой прилив волнения, что возвращался домой, чтобы не быть одному.

Тогда он укладывался в гамак, а Элизабет, сидя на складном стульчике, читала ему. Слушая ее и любуясь ею, он вспоминал о беседах в гостиной своей подруги, когда он проводил наедине с нею целые вечера. Тогда дикое желание расплакаться увлажняло его глаза и такая жгучая скорбь начинала терзать его сердце, что в нем рождалось настойчивое, нестерпимое желание уехать немедленно, вернуться в Париж, бежать на край света.

Видя, как он печален и мрачен, Элизабет спрашивала его:

— Вам тяжело? Я чувствую, у вас слезы на глазах.

Он отвечал:

— Поцелуй меня, крошка; тебе этого не понять.

Она целовала его, охваченная беспокойством, предчувствуя какую-то неведомую ей драму. А он, немного забываясь под действием ее ласк, размышлял: «Ах, если бы в одной женщине могли слиться обе, любовь этой с очарованием другой! Почему никогда не находишь того, о чем грезишь, а всегда встречаешь только нечто приблизительное?»

Убаюкиваемый однообразным звуком голоса, которого он уже не слушал, он весь отдавался мечте о том, что его обольстило, очаровало, покорило в покинутой им любовнице. Истомленный воспоминанием о ней, одолеваемый ее воображаемым присутствием, которое неотступно преследовало его, как духовидца — призраки, он говорил себе: «Неужели я осужден навеки и никогда уже не освобожусь от нее?»

Он снова принялся совершать дальние прогулки, бродить по лесной чаще, в смутной надежде отделаться от ее образа, оставив его где-нибудь, либо в овраге, либо за темной скалой, или в гуще кустарника, как человек, который стремится избавиться от преданного ему животного, но не хочет его убивать, а только старается завести куда-нибудь подальше.

Как-то раз, под конец одной из таких прогулок, он снова забрел в царство буков. Теперь это был темный, почти черный лес с непроницаемой листвой. Мариоль шел под его необъятным сводом, сырым и глубоким, вспоминая с сожалением о легкой, пронизанной солнцем, зеленеющей дымке едва развернувшихся листочков; но, проходя узкой тропинкой, он вдруг остановился в удивлении перед двумя сросшимися деревьями.

Никакой другой образ его любви не мог бы острее и глубже поразить его глаза и душу: мощный бук сжимал в своих объятиях стройный дубок.

Как отчаявшийся влюбленный, с телом могучим и измученным, бук, вытянув, точно руки, две огромные ветви и сомкнув их, сжимал ствол соседнего дуба. А тот, как будто с презрением вырываясь из его объятий, устремлял в небо, высоко над вершиной обидчика, свой прямой, тонкий и стройный стан. Но, невзирая на

это бегство в пространство, вопреки этому надменному бегству глубоко оскорбленного существа, на коре дуба виднелись два глубоких, давно зарубцевавшихся шрама, врезанных неодолимо могучими ветвями бука. Навеки спаянные этими зажившими ранами, они росли вместе, смешивая свои соки, и в жилах побежденного дерева текла, поднимаясь до самой вершины, кровь дерева-победителя.

Мариоль присел и долго глядел на них. В его больной душе эти два неподвижных врага, рассказывавших прохожим вечную повесть его любви, становились великолепным и страшным символом.

Потом он пошел дальше, еще более опечаленный, и медленно брел, опустив глаза, как вдруг увидел скрытую в траве, смоченную давнишними дождями, испачканную, старую телеграмму, брошенную или потерянную прохожим. Он остановился. Какую радость, какую печаль принесла чьему-то сердцу эта синенькая бумажка, валявшаяся у его ног?

Он не мог удержаться, чтобы не поднять ее, и с любопытством и брезгливостью развернул листок. Кое-как еще можно было разобрать: «Приходите... мне... четыре часа». Имена были стерты сыростью.

Жестокие, обольстительные воспоминания обступили его, воспоминания о всех телеграммах, полученных от нее, то назначавших час свидания, то сообщавших, что она не придет. Ничто никогда не повергало его в большее волнение, не вызывало в нем такой неистовой дрожи, не заставляло так внезапно сжиматься и снова трепетать его бедное сердце, чем вид этих посланниц, повергающих в восторг или в отчаяние. Он весь цепенел от тоски при мысли, что ему уже никогда не придется вскрывать такие послания.

Снова он спрашивал себя, что произошло с ней с тех пор, как он ее покинул? Страдала ли она, сожалела ли о друге, отторгнутом ее равнодушием, или примирилась с этим разрывом, лишь слегка задетая в своем самолюбии?

И желание узнать это дошло до такой крайности, стало таким мучительным, что у него возникла дерзкая и неожиданная, но еще неясная мысль. Он направился в Фонтенебло. Придя туда, он зашел на телеграф, с ду-

шой, полной сомнений и трепетного беспокойства. Но какая-то сила толкала его, какая-то неодолимая сила, исходившая из самого сердца.

Дрожащей рукой он взял со стола телеграфный бланк и вслед за именем и адресом г-жи де Бюрн написал:

«Мне так хотелось бы знать, что вы думаете обо мне! Я не в силах ничего забыть.

Андре Мариоль.
Монтиньи».

Потом он вышел, нанял экипаж и вернулся в Монтиньи, в тревоге и волнении от своего поступка и уже сожалея о нем.

Он рассчитал, что если она удостоит его ответом, он получит ее письмо через два дня; но весь следующий день он уже не выходил из дому, надеясь и страшась получить телеграмму.

Около трех часов дня, когда он качался в гамаке под липами у реки, Элизабет сказала ему, что какая-то дама хочет его видеть.

Он пришел в такое смятение, что у него перехватило дыхание; когда он подходил к дому, ноги его подкашивались, сердце трепетно билось. Он все еще не смел надеяться, что это она.

Он распахнул дверь в гостиную, и г-жа де Бюрн, сидевшая на диване, встала и, улыбаясь немного сдержанной улыбкой, с некоторой принужденностью в лице и манерах, протянула ему руку, говоря:

— Я приехала узнать, как вы живете, потому что телеграф недостаточно обстоятельно выполнил эту задачу.

Он так побледнел, что в глазах ее мелькнула радость, и был настолько потрясен и взволнован, что не мог говорить, а только прижимал к губам протянутую ему руку.

— Боже! До чего вы добры! — промолвил он наконец.

— Нет, просто я не забываю друзей и беспокоюсь о них.

Она глядела ему прямо в лицо тем пытливым, глубоким женским взглядом, который сразу улавли-

вает все, проникает в мысли до самого корня и разоблачает любое притворство. Она, очевидно, была удовлетворена, потому что лицо ее озарилось улыбкой.

— Ваш уголок очень мил. Счастливо в нем живется?

— Нет, сударыня.

— Неужели? В такой прелестной местности, в этом чудесном лесу, на этой очаровательной речке? Вы, вероятно, наслаждаетесь здесь полным покоем и счастьем?

— Нет, сударыня.

— Почему же?

— Потому что и здесь не могу забыть...

— А вам необходимо что-то забыть, чтобы стать счастливым?

— Да, сударыня.

— Можно узнать, что именно?

— Вы сами знаете.

— Значит?

— Значит, я очень несчастен.

Она сказала с самодовольным состраданием:

— Я догадалась об этом, получив вашу телеграмму, и поэтому-то и приехала, твердо решив сразу же вернуться обратно, в случае если я ошиблась.

Слегка помолчав, она добавила:

— Раз я не уезжаю немедленно, нельзя ли мне осмотреть ваши владения? Вон та липовая аллейка кажется мне весьма привлекательной. Там будет немного свежей, чем здесь, в гостиной.

Они вышли. Она была в розовато-лиловом костюме, который сразу же так гармонично слился с зеленью деревьев и голубизной неба, что она представилась ему изумительной, как видение, обольстительной и прекрасной, в совершенно неожиданном и новом для него свете. Ее длинная и такая гибкая талия, утонченное и свежее лицо, легкая прядь золотистых волос, выбившихся из-под большой тоже розовато-лиловой шляпы, обрамленной, как сиянием, большим страусовым пером, ее тонкие руки, державшие закрытый зонтик, ее немного жесткая, надменная и гордая походка — все это вносило в этот деревенский

садик нечто неестественное, неожиданное, экзотическое, странное и сладостное впечатление, как бы от персонажа из сказки, из грезы, с гравюры, с картины Ватто, персонажа, созданного воображением поэта или живописца и вздумавшего явиться в деревню, чтобы поразить своей красотой.

Глядя на нее с глубоким трепетом, полный прежней страсти, Мариоль вспомнил двух женщин, которых он видел на улице в Монтиньи.

Она спросила его:

— Кто эта девушка, которая отворила мне дверь?

— Прислуга.

— Она не похожа... на горничную.

— Да. Она в самом деле очень мила.

— Где вы нашли такую?

— Совсем неподалеку, в гостинице для художников, где постояльцы посягали на ее добродетель.

— Которую вы уберегли?

Он покраснел и ответил:

— Которую я уберег.

— Может быть, себе на пользу?

— Конечно, себе на пользу: я предпочитаю видеть возле себя хорошенькое личико, чем безобразное.

— Это все, что она вам внушает?

— Пожалуй, она мне еще внушала непреодолимую потребность снова увидеть вас, потому что каждая женщина, которая хоть на миг привлекает мое внимание, приводит все мои помыслы к вам.

— Ловко сказано! И она любит своего спасителя?

Он покраснел еще сильнее. Молниеносно промелькнувшая в нем уверенность, что ревность к кому бы то ни было должна воспламенить сердце женщины, заставила его солгать лишь наполовину. Поэтому он нерешительно ответил:

— Об этом мне ничего не известно. Возможно. Она очень заботлива и полна внимания ко мне.

Чуть уловимая досада заставила г-жу де Бюрн прошептать:

— А вы?

Он устремил на нее горящие любовью глаза и сказал:

— Ничто не может отвлечь меня от вас.

Это тоже было очень ловко сказано, но она уже ничего не заметила, до того неоспоримо правдивой показалась ей эта фраза. Могла ли женщина, подобная ей, усомниться в этом? Она действительно не усомнилась и, вполне удовлетворенная, отбросила всякую мысль об Элизабет.

Они сели на парусиновые стулья, в тени лип, над бегущей водой.

— Что вы подумали, когда я уехал?

— Что вы очень несчастны.

— По моей вине или вашей?

— По нашей вине.

— А потом?

— А потом, чувствуя, как вы взволнованы и возбуждены, я рассудила, что самым мудрым будет дать вам прежде всего возможность успокоиться. И я стала ждать.

— Чего же вы ждали?

— Весточки от вас. Я ее получила, и вот я здесь... А сейчас мы побеседуем с вами, как серьезные люди. Итак, вы меня по-прежнему любите? Я спрашиваю об этом не как кокетка... Я спрашиваю как друг.

— Я по-прежнему вас люблю.

— Чего же вы хотите?

— Не знаю! Я в ваших руках.

— О, мне все очень ясно, но я не выскажу вам своих мыслей, пока не узнаю ваших. Расскажите мне о себе, обо всем, что творилось в вашем сердце, в вашем уме, с тех пор как вы скрылись.

— Я думал о вас, вот и все, что я делал!

— Да, но как? В каком смысле? К чему вы пришли?

Он рассказал ей о своем решении излечиться от любви к ней, о своем бегстве, о скитаниях в этом огромном лесу, где он нашел только ее одну, о днях, полных неотступных воспоминаний, о ночах, полных грызущей ревности; он рассказал с полной чистосердечностью обо всем, кроме любви Элизабет, имени которой он больше не произносил.

Она его слушала, уверенная в его правдивости, убежденная чувством своего господства над ним еще

больше, чем искренностью его голоса, в восторге от своего торжества, от того, что снова владеет им, потому что она все-таки очень любила его.

Потом он стал горько жаловаться на безысходность положения и, разволновавшись от рассказа о том, как он исстрадался и о чем так много думал, он в страстном, неудержимом порыве, но без гнева и горечи, возмущенный и подавленный неизбежностью, снова стал упрекать ее за бессилие любить, которым она была поражена.

Он повторял:

— Одни лишены дара нравиться, а вы лишены дара любить.

Она живо прервала его, вооруженная целым рядом возражений и доводов.

— Зато я обладаю даром постоянства,— сказала она,— неужели вы были бы менее несчастны, если бы, после того как я десять месяцев обожала вас, теперь влюбилась бы в другого?

Он воскликнул:

— Неужели женщине невозможно любить только одного человека?

Она с живостью возразила:

— Нельзя любить бесконечно; можно только быть верной. Неужели вы думаете, что исступленное чувство должно продолжаться годами? Нет и нет! Ну, а те женщины, что живут одними страстями, буйными, длительными или короткими вспышками своих капризов, те попросту превращают свою жизнь в роман. Герои сменяются, обстоятельства и события полны неожиданностей и разнообразия, развязка всегда другая. Признаю, что все это для них очень весело и увлекательно, потому что волнения завязки, развития и конца каждый раз вновь возрождаются. Но когда это кончено — это кончено навсегда... для него... Понимаете?

— Да, в этом есть доля правды. Но я не понимаю, куда вы клоните.

— Вот куда: нет такой страсти, которая продолжалась бы очень долго,— я говорю о жгучих, мучительных страстях, вроде той, которой вы еще страдаете. Это припадок, который вам тяжело достался, очень

тяжело, я это знаю, чувствую, из-за... скудости моей любви, из-за моей неспособности изливать свои чувства... Но этот припадок пройдет, он не может быть вечным.

Она умолкла. Он тревожно спросил:

— И тогда?

— И тогда, я полагаю, для женщины благоразумной и спокойной, вроде меня, вы можете оказаться превосходным любовником, потому что в вас много такта. И наоборот, вы были бы отвратительным мужем. Впрочем, хороших мужей не бывает и не может быть.

Он спросил удивленно и немного обиженно:

— Зачем же сохранять любовника, которого не любишь или перестала любить?

Она живо ответила:

— Мой друг, я люблю по-своему! Сухо, но все же люблю.

Он покорно заметил:

— А главное, вам нужно, чтобы вас любили и выказывали это.

Она ответила:

— Правда. Я это обожаю. Но и мое сердце нуждается в тайном спутнике. Тщеславная склонность к вниманию света не лишает меня возможности быть верной и преданной и думать, что я могу дать мужчине нечто совсем особенное, недоступное никому другому: мою честную преданность, искреннюю привязанность моего сердца, полное и сокровенное доверие души, а взамен получить от него, вместе со всей нежностью любовника, столь редкое и сладостное ощущение, что я не совсем одинока. Это не любовь, как вы ее понимаете, но и это чего-нибудь да стоит!

Он склонился к ней, весь дрожа от волнения, и прошептал:

— Хотите, я буду этим человеком?

— Да, немного позднее, когда вам станет полегче. А в ожидании этого примиритесь с мыслью время от времени немного страдать из-за меня. Это пройдет, а так как вы страдаете при любых условиях, то лучше страдать при мне, чем вдали от меня. Не правда ли?

Улыбкой своей она как будто ему говорила: «Ну, поверьте же мне хоть немного». И, видя, как он трепещет от страсти, она испытывала во всем теле какое-то своеобразное наслаждение, какое-то общее довольство, от которого по-своему была счастлива, как счастлив бывает ястреб, бросающийся с высоты на свою зачарованную добычу.

— Когда вы вернетесь? — спросила она.

Он ответил:

— Да... хоть завтра.

— Пусть будет завтра. Вы отобедаете у меня?

— Да.

— Ну, а теперь мне пора ехать,— сказала она, взглянув на часы, вделанные в ручку зонтика.

— О, почему так скоро?

— Потому что я еду с пятичасовым. Я жду к обеду нескольких человек, княгиню фон Мальтен, Бернхауза, Ламарта, Масиваля, Мальтри и одного новенького — господина де Шарлена, путешественника, который только что вернулся из интереснейшей экспедиции в Северную Камбоджу. Все только о нем и говорят.

Сердце Мариоля на мгновение сжалось. Все эти имена одно за другим причиняли ему боль, словно его жалили осы. В них таился яд.

— Тогда,— сказал он,— не хотите ли отправиться сейчас же и прокатиться со мною по лесу?

— С удовольствием. Но сначала дайте мне чашку чая с гренками.

Когда потребовалось подать чай, Элизабет нигде не могли найти.

— Она куда-то убежала,— сказала кухарка.

Г-жа де Бюрн не обратила на это внимания. В самом деле, какие опасения могла ей теперь внушать эта горничная?

Потом они сели в ландо, ожидавшее у ворот. Мариоль велел кучеру ехать дорогой, несколько более длинной, но пролегавшей около Волчьего оврага.

Когда они очутились под высоким зеленым навесом, в мирной тени которого веяло прохладой и слышалось пение соловьев, она воскликнула, охваченная

тем невыразимым ощущением, которым всемогущая и таинственная красота мира с помощью зрения потрясает нашу плоть:

— Боже! Как здесь хорошо! До чего красиво, до чего очаровательно, как умиротворяет!

Она дышала полной грудью, радостная и взволнованная, словно грешница у причастия, вся проникнутая истомой и умилением. Она положила свою руку на руку Андре.

А он подумал: «Да! Природа! Опять гора Сен-Мишель!» — так как в глазах его промелькнул, как видение, поезд, идущий в Париж. Он проводил ее до станции.

Расставаясь с ним, она сказала:

— До завтра, в восемь.

— До завтра, в восемь, сударыня.

Она уехала сияющая, а он вернулся домой в ландо, довольный и счастливый, но все-таки полный тревоги, потому что ничто не разрешилось до конца.

Но зачем же бороться? У него уже не было сил. Она влекла его непонятной, неодолимой прелестью. Бегство от нее не освободило его, не разлучило с ней, а было только невыносимым лишением, между тем как, покорясь ей, он получит от нее все, что она обещала, потому что она не лжет.

Лошади рысью бежали под деревьями, и он подумал, что за все их свидание ей даже не пришло в голову, ей ничто не подсказало хоть раз протянуть ему губы. Она была все та же. Ничто никогда не изменится в ней, и, может быть, он всю жизнь будет так же страдать из-за нее. Память о жестоких часах, уже пережитых им, о часах ожидания в невыносимой уверенности, что ему никогда не удастся ее воспламенить, снова сжимала его сердце, вызывая в нем предчувствие и боязнь предстоящей борьбы и тех же душевных терзаний в будущем. И все-таки он был готов лучше все перетерпеть, чем снова потерять ее, готов был снова покориться вечному желанию, превратившемуся в его жилах в какую-то свирепую и неутолимую жажду, сжигавшую его тело.

Дикие приступы бешенства, столько раз пережитые им при его одиноких возвращениях из Отейля,

уже снова поднимались в нем, заставляя его метаться в ландо, катившем в прохладной тени высоких деревьев, как вдруг мысль, что его ждет Элизабет, такая свежая, юная и хорошенькая, с сердцем, полным любви, с поцелуями на устах, разлилась в нем сладкой отрадой. Сейчас он обнимет ее и, закрывши глаза, обманывая самого себя, как обманывают других, сливая в опьянении объятий ту, которую он любит, с той, которая любит его, он будет обладать ими обеими. Конечно, даже и сейчас его влекло к ней тем благодарным влечением плоти и духа, которое рождается сознанием разделенной любви и взаимной нежности и всегда пронизывает животную природу человека. Не будет ли для его мучительной и иссушающей любви это соблазненное им дитя светлым родником, обретенным на вечернем привале, надеждой на прохладную воду, поддерживающей бодрость духа при переходе пустыни?

Но когда он приехал домой, оказалось, что Элизабет еще не вернулась; он испугался, встревожился и спросил у другой служанки:

— Вы уверены, что она ушла из дома?

— Да, сударь.

Тогда он тоже вышел, надеясь где-нибудь ее встретить.

Пройдя несколько шагов, перед тем как свернуть на улицу, тянувшуюся вдоль долины, он увидел перед собой старую, широкую и приземистую церковь с низенькой колокольней, прикорнувшую на бугре и распростершуюся над домами деревушки, как курица над цыплятами.

Догадка, предчувствие подтолкнули его. Как знать, какие страшные мысли могут родиться в сердце женщины? Что она подумала? Что поняла? Где, как не здесь, ей укрыться, если тень истины промелькнула перед ее глазами?

В храме было очень темно, потому что уже вечерело. Только один догоравший светильник у дарохранительницы свидетельствовал о незримом присутствии божественного Утешителя. Мариоль быстро прошел между скамьями. Подойдя к хорам, он увидел женщину, которая стояла на коленях, закрыв лицо

руками. Он подошел к ней, узнал ее и коснулся ее плеча. Они были одни.

Она сильно вздрогнула и подняла голову. Она плакала.

Он спросил:

— Что с тобой?

Она прошептала:

— Я все поняла. Вы здесь потому, что она огорчила вас. Она за вами приехала.

Он был тронут страданием, которое на этот раз причинил он сам, и проговорил:

— Ты ошибаешься, детка, я в самом деле возвращаюсь в Париж, но и тебя увожу с собой.

Она недоверчиво повторила:

— Неправда! Неправда!

— Клянусь тебе.

— Когда же?

— Завтра.

Опять зарыдав, она прошептала: «Боже мой, боже мой!»

Тогда он обнял ее за плечи, помог ей встать, увлек за собой, спустился с нею по склону холма в сгустившуюся темноту ночи, а когда они вышли на берег реки, он усадил ее на траву и сел рядом с ней. Он слышал, как билось ее сердце и прерывалось дыхание, и, смущенный раскаянием, прижимая ее к себе, стал шептать ей на ухо такие ласковые слова, каких еще никогда ей не говорил. Он был охвачен жалостью и пылал желанием, он почти не лгал, почти не обманывал ее; и сам удивляясь тому, что́ он говорит и что́ чувствует, он спрашивал себя, как может он, еще весь трепещущий от встречи с той, чьим рабом будет навеки, так волноваться и дрожать от вожделения, утешая это любовное горе?

Он обещал ее «очень любить» — он не сказал просто «любить»,— обещал нанять ей совсем близко от себя хорошенькую дамскую квартирку, обставленную изящной мебелью и с горничной, чтобы та прислуживала ей.

Внимая ему, она успокаивалась, приходя понемногу в себя, не в силах поверить, чтобы он стал ее так обманывать, понимая к тому же по звуку его го-

лоса, что он говорит искренне. Убежденная наконец и восхищенная мыслью, что она тоже будет «барыней», ослепленная грезой девочки, родившейся в бедности, мечтой трактирной служанки, вдруг ставшей подругой столь богатого и важного господина, она охмелела от вспыхнувших в ней желаний, гордости и благодарности, которые смешивались с ее любовью к Андре.

Она вскинула руки ему на шею и, покрывая его лицо поцелуями, лепетала:

— Я так вас люблю! Вы для меня все на свете!

Он был глубоко растроган и, отвечая на ее ласки, прошептал:

— Милая, милая крошка!

Она уже почти забыла о появлении незнакомки, только что причинившей ей столько горя. Но все-таки безотчетное сомнение еще шевелилось в ней, и она спросила его вкрадчиво-ласковым голосом:

— А вы вправду будете меня любить так же, как здесь?

Он уверенно ответил:

— Я буду тебя любить так же, как здесь.

МЮЗОТТА

МЮЗОТТА

Пьеса в трех актах

(В сотрудничестве с Жаком Норманом)

Александру Дюма-сыну
в знак великого восхищения
и сердечной преданности

Ги де Мопассан
Жак Норман

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Жан Мартинель — племянник г-на Мартинеля, художник, уже пользующийся известностью и награжденный орденом, 30 лет.

Леон де Петипре — брат Жильберты Мартинель, молодой адвокат, 30 лет.

Г-н Мартинель — бывший гаврский судовладелец, 55 лет.

Г-н де Петипре — бывший член суда, кавалер ордена Почетного легиона, 60 лет.

Д-р Пеллерен — врач, очень элегантный, 35 лет.

Г-жа де Роншар — сестра г-на де Петипре, 55 лет.

Анриетта Левек, по прозвищу Мюзотта,— натурщица, бывшая любовница Жана Мартинеля, 22 лет.

Г-жа Флаш — акушерка, бывшая танцовщица Оперы, 35 лет.

Жильберта Мартинель — дочь г-на и г-жи де Петипре, только что вышедшая замуж за Жана Мартинеля, 20 лет.

Лиза Бабен — кормилица, 26 лет.

Слуги

Действие происходит в наши дни, в Париже. Первый и третий акты — в гостиной у г-на де Петипре. Второй акт — в комнате Мюзотты.

АКТ ПЕРВЫЙ

Строгого стиля гостиная в доме г-на де Петипре. Посредине стол. Направо диван. Налево стулья и кресло. В глубине дверь, выходящая в галерею. Боковые двери. Лампы зажжены. Выходят из-за стола.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Г-н де Петипре, г-н Мартинель, г-жа де Роншар, Леон де Петипре, Жан, Жильберта в подвенечном платье, но без цветов и вуали.

Г-жа де Роншар *(поблагодарив поклоном г-на Мартинеля, который вел ее под руку, садится направо и зовет)*. Жильберта! Жильберта!

Жильберта *(отпуская руку Жана)*. Что, тетя?

Г-жа де Роншар. Кофе, деточка!

Жильберта *(подходя к столу)*. Иду, тетя.

Г-жа де Роншар. Береги свое платье!

Леон *(подбегая)*. Нет, нет, сегодня сестренка не должна разливать кофе. В день ее свадьбы! Я сам займусь этим... *(Г-же де Роншар.)* Знаете, тетя, как адвокат я на все руки мастер.

Г-жа де Роншар. О, я знаю твои качества, Леон... и ценю их...

Леон *(смеясь, подавая ей чашку)*. Вы слишком добры.

Г-жа де Роншар *(взяв чашку, сухо)*. ...по их достоинству!

Леон *(про себя, возвращаясь к столу)*. Вот те на! Маленький щелчок... Без этого никогда не обходится. *(Предлагает другую чашку Мартинелю.)* Три куска, не правда ли, господин Мартинель, и немного коньяку? Я знаю ваш вкус. Мы за вами будем очень ухаживать, вы увидите.

Мартинель. Благодарю, мой друг.

Леон *(отцу)*. Хочешь кофе, отец?

Петипре. Да, сынок.

Леон *(к молодоженам, которые сели налево и разговаривают вполголоса)*. А вы, молодые супруги?

Молодые люди, поглощенные разговором, не отвечают.

Вопросов больше не имеем! *(Ставит чашку обратно на стол.)*

Петипре *(Мартинелю)*. Вы, кажется, не курите?

Мартинель. Благодарю, никогда.

Г-жа де Роншар. Это меня удивляет. Мой брат и Леон никак не могут обойтись без этого, даже в такой день, как сегодня... Какая это гадость — сигара!

Петипре. Приятная гадость, Кларисса.

Леон *(подходя к тетке)*. Почти все гадости приятны, тетя; я знаю такие замечательные...

Г-жа де Роншар. Повеса!

Петипре *(беря сына под руку)*. Пойдем курить в бильярдную, раз твоя тетка этого не любит.

Леон *(отцу)*. Ах, разве она любит что-нибудь, кроме своих пуделей?..

Петипре. Ладно, молчи.

Оба выходят в среднюю дверь.

Мартинель *(г-же де Роншар)*. Вот эта свадьба в моем вкусе; такие не часты здесь, в вашем Париже. После церкви — завтрак, затем все приглашенные уходят, даже подружки и шафера. Остаешься своей семьей, а к обеду приходит несколько родственников. Играют на бильярде или в карты, как в обычные дни, новобрачные флиртуют...

В этот момент Жильберта и Жан подымаются и медленно выходят под руку в среднюю дверь в глубине сцены.

Потом, не позже двенадцати, бай-бай.

Г-жа де Роншар *(в сторону)*. Как он вульгарен!

Мартинель *(садится направо, на диван, рядом с г-жой де Роншар)*. А молодые вместо нелепого традиционного путешествия отправляются себе по-хорошему в приготовленную для них квартирку. Я знаю, что вы считаете это не шикарным, не изысканным. Что поделаешь, я так люблю.

Г-жа де Роншар. Но так не принято в большом свете, сударь.

Мартинель. В большом свете! Да их у нас тридцать шесть тысяч, этих светов. Знаете, в одном только Гавре...

Г-жа де Роншар. Я знаю только наш... *(спохватившись)* мой, который достаточно хорош для меня.

Мартинель. Разумеется. В конце концов, сударыня, что бы там ни было, а со свадьбой дело сделано,

и я надеюсь, что вы будете жаловать моего племянника, который до сих пор...

Г-жа де Роншар. Придется, раз он зять моего брата и муж моей племянницы.

Мартинель. Но ведь не только поэтому? Я очень рад, что с этим покончено, потому что хотя жизнь у меня и прошла в затруднениях...

Г-жа де Роншар. У вас?

Мартинель. ... в коммерческих затруднениях, а не в брачных.

Г-жа де Роншар. Это вы-то говорите о затруднениях! Вы, крез, дающий полмиллиона приданого своему племяннику. *(Со вздохом.)* Полмиллиона франков! Ровно столько, сколько прокутил мой покойный муж.

Мартинель. Да... Я знаю, что господин де Роншар...

Г-жа де Роншар *(вздыхая)*. Разорил меня и бросил через год после свадьбы, через год, сударь!.. Этого времени мне только на то и хватило, чтобы понять, как я могла бы быть счастлива! Ведь этот бездельник умел добиться, чтобы его обожали.

Мартинель. Вот прохвост!

Г-жа де Роншар. О сударь! Он был светский человек.

Мартинель. Одно другому не мешает!

Г-жа де Роншар. Не будем говорить о моих горестях. Это было бы слишком долго и слишком печально. Здесь все так счастливы.

Мартинель. А я, признаться, больше всех. Мой племянник — такой славный малый! Я люблю его, как сына. Сам я пошел по торговой части...

Г-жа де Роншар *(в сторону)*. Это и видно.

Мартинель. ... по морской торговле; а он собирается прославить нашу фамилию как художник; он зарабатывает деньги кистью, как я кораблями. Искусство, сударыня, приносит нынче столько же, сколько торговля, да и риска меньше. Между прочим, таким быстрым успехом он обязан мне. Мой бедный брат умер, жена его вскоре последовала за ним, и я остался одиноким холостяком с мальчишкой на руках. Конечно, я обучил его всему, чему мог. Он пробовал силы и в естественных науках, и в химии, и в музыке, и в лите-

ратуре. Но к живописи его тянуло больше всего. Я и толкнул его на этот путь. Как видите, он преуспел. В тридцать лет он уже известен и недавно награжден орденом...

Г-жа де Роншар. Получить орден в тридцать лет — поздновато для художника.

Мартинель. Ничего, он наверстает потерянное время... *(Вставая.)* А я все болтаю и болтаю... Извините меня. Я человек прямой. Да и немного навеселе после обеда. Это уж виноват Петипре, бургонское у него замечательное, как и полагается члену суда. Но и мы в Гавре недурно выпиваем! *(Идет к столу и допивает рюмку с коньяком.)*

Г-жа де Роншар *(в сторону)*. И надоел же он со своим Гавром!

Мартинель *(возвращаясь к г-же де Роншар)*. Так! Вот мир между нами и заключен. Верно? Настоящий, прочный мир. Он не нарушится из-за всякой ерунды, вроде той, которая чуть не расстроила свадьбу.

Г-жа де Роншар *(вставая и переходя налево)*. Ерунда?.. Странная у вас манера выражаться! Конечно, дело уже сделано... Но я все-таки мечтала о другом... пастушке для моей племянницы. Однако, если нет певчего дрозда, мирятся на простом, как говорит пословица.

Мартинель. На редкостном дрозде, сударыня! А ваша племянница — настоящая жемчужина! Счастье этих детей озарит мои последние дни.

Г-жа де Роншар. Желаю этого, сударь, но не смею надеяться.

Мартинель. Ну что вы, я хорошо разбираюсь в достоинствах женщин... и в высших сортах вина.

Г-жа де Роншар *(в сторону)*. Особенно в последних!

Мартинель. А больше ничего и не надо в жизни.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же и Петипре, входящий с Леоном из средней двери.

Петипре. Все обстоит благополучно, не угодно ли вам поэтому сыграть со мной партию на бильярде, господин Мартинель?

Мартинель. Еще бы не хотеть! Обожаю бильярд.

Леон *(выходит на авансцену)*. Как и папа!.. Ведь всем известно, что любовь к бильярду переходит в страсть. И эта страстишка есть у вас обоих?

Мартинель. Что поделаешь, мальчик, когда человек уже немолод и без семьи, приходится утешаться такими развлечениями. Утром ловля рыбы, вечером бильярд — вот тебе уже два серьезных и увлекательных занятия.

Леон. Ох, уж эта рыбная ловля! Вставать спозаранку, сидеть на сыром берегу, под дождем и ветром, ради того, чтобы вытащить рыбешку величиной со спичку... И это может увлекать?

Мартинель. О, еще бы! Найдется ли на свете влюбленный, способный делать то же самое для женщины в продолжение десяти, двенадцати или пятнадцати лет своей жизни? Да он откажется от этого через две недели!

Г-жа де Роншар. Ах, конечно!

Леон. Что до меня... я бы не выдержал и недели!

Мартинель. Вот видите!

Петипре. Пойдемте, дорогой Мартинель. Хотите по пятидесяти?

Мартинель. Согласен! До скорого, госпожа де Роншар.

Г-жа де Роншар. И надоел же он со своим Гавром!

Мартинель и Петипре выходят в среднюю дверь.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Леон, г-жа де Роншар.

Леон. Славный он человек, господин Мартинель. Не слишком образованный, но такой веселый, такой прямодушный.

Г-жа де Роншар *(садится налево)*. Ему недостает воспитания.

Леон *(забывшись)*. А вам, тетя?

Г-жа де Роншар. Что ты сказал?

Леон *(спохватившись и подходя к ней)*. Я говорю: а вам, тетя... Вам это хорошо известно... и вы можете

судить об этом лучше, чем кто-либо... при вашем знании света.

Г-жа де Роншар. Конечно! Ты был слишком мал и не помнишь, но я в свое время часто бывала в свете, до моего разорения. Я даже имела успех. На одном балу в турецком посольстве, когда я была в костюме Саламбо...

Леон. Вы — в костюме карфагенянки?

Г-жа де Роншар. Ну да, карфагенянки... И знаешь, я была очень интересна! Это было в тысяча восемьсот шестьдесят...

Леон *(садясь около нее)*. Не надо дат! Я не требую дат.

Г-жа де Роншар. Не издевайся.

Леон. Я издеваюсь? Избави бог! Ну вот, хотя вы не желали этого брака, а я желал, и он совершился... то как хотите, но я доволен! Я сегодня торжествую, шумно торжествую. А завтра триумфатор исчезнет... и останется только маленький почтительный племянник, смирный-пресмирный. Ну, развеселитесь, тетя! Не такая уж вы злая, раз у вас при ваших небольших средствах хватило великодушия основать в Нейи больницу... для бездомных собак.

Г-жа де Роншар. Что ж поделаешь! Когда человек одинок, когда у него нет детей... Я так недолго была замужем!.. Что я такое по существу? Старая дева, и как все старые девы...

Леон. ... любите собачек...

Г-жа де Роншар. Так же, как ненавижу мужчин...

Леон. Вы хотите сказать, одного мужчину — вашего мужа. В этом вы правы.

Г-жа де Роншар. И если бы ты знал, ради какой женщины, ради какой девки он разорил и бросил меня!.. Ты никогда не видел эту женщину?

Леон. Простите... один раз, в Елисейских Полях. Я гулял с вами и с папой. Навстречу шли господин и дама, вы очень взволновались, ускорили шаг, лихорадочно дернули моего отца за руку, и я слышал, как вы сказали ему шепотом: «Не смотри! Это она!»

Г-жа де Роншар. А ты что сделал?

Леон. Я? Я посмотрел!

Г-ж а д е Р о н ш а р *(вставая)*. И ты нашел ее отвратительной? Не правда ли?

Л е о н. Не знаю, мне было всего одиннадцать лет.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(переходя направо)*. Ты невыносим! Смотри, я тебя высеку.

Л е о н *(вставая, льстиво)*. Ну хорошо, это в последний раз, честное слово! Обещаю не злить вас больше. Простите меня.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(делая вид, что уходит в среднюю дверь)*. Нет!

Л е о н. Да!

Г-ж а д е Р о н ш а р *(возвращаясь)*. Нет! Если бы ты только дразнил меня, это еще не беда. Я умею защищаться. Но ты поступил неосторожно по отношению к сестре. А это посерьезней!

Л е о н. Неосторожно? Я?

Г-ж а д е Р о н ш а р *(стукнув рукой по столику, стоящему направо)*. Да. Эта свадьба устроена тобой.

Л е о н *(стукнув рукой по столику, стоящему налево)*. Верно. И я был прав! Я никогда не перестану говорить об этом.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(повторяя тот же жест)*. А я никогда не устану повторять, что вовсе не такого жениха нужно было Жильберте!

Л е о н *(повторяя тот же жест)*. Кого же тогда нужно было Жильберте?

Г-ж а д е Р о н ш а р. Человека с положением, чиновника, врача, инженера.

Л е о н. Как бывает в театре?

Г-ж а д е Р о н ш а р. Так бывает и в жизни. И прежде всего — не красавца.

Л е о н. Так вы это ставите в вину Жану? Ах, тетя, какая нелепость, хотя в свете то и дело слышишь об этом. Мужчина не должен быть красивым! Что же, он должен быть уродом?

Г-ж а д е Р о н ш а р *(садясь на табурет перед столом)*. Мой муж был красив, даже великолепен, настоящий гвардеец! Но я знаю, во что мне это обошлось.

Л е о н. Будь он уродом, ему это обошлось бы дороже. *(Прерывая г-жу де Роншар, готовую выйти из себя.)* К тому же Жан не красавец — он просто хорош собой. Он не фат, он прост. У него талант, растущий с

каждым днем. Он несомненно попадет в академию. Ведь вам доставит удовольствие, когда он станет академиком? Это будет почище вашего инженера. Впрочем, все женщины, кроме вас, находят его очаровательным.

Г-жа де Роншар. Это-то я и ставлю ему в вину. Он слишком интересен. Он написал уже портреты многих женщин. И будет еще писать их. Женщины будут оставаться наедине с ним, в мастерской, целыми часами... А мы знаем, что происходит в мастерских!

Леон. Вы там бывали, тетя?

Г-жа де Роншар *(уязвленная)*. О! *(Спохватившись.)* Ах, да, один раз, у Ораса Верне.

Леон. У баталиста!

Г-жа де Роншар. Наконец, я утверждаю, что все эти художники — неподходящий народ для судейской семьи, вроде нашей. Это приводит к катастрофе. Разве можно быть хорошим мужем, когда вокруг тьма женщин, которые только и делают, что раздеваются и одеваются! Клиентки, натурщицы... *(Подчеркнуто.)* В особенности натурщицы... *(Встает.)*

Леон молчит.

Я сказала: натурщицы, Леон.

Леон. Отлично слышу, тетя. Это тонкий и деликатный намек на биографию Жана. Ну так что ж! Одна из его натурщиц была его любовницей. Он любил ее три года, очень искренне любил...

Г-жа де Роншар. Как можно любить таких женщин!

Леон. Всякую женщину можно любить, тетя, а эта красавица заслуживала любви больше, чем кто-либо.

Г-жа де Роншар. Разве это достоинство для натурщицы — быть красивой! Это — ее ремесло.

Леон. Ремесло ремеслом, а красота — все-таки красота. Но она была не только красива, она была исключительно любящей, доброй и преданной...

Г-жа де Роншар. Тогда не надо было ее бросать!

Леон. Как, это вы говорите такие вещи? А ведь вы так цените общественное мнение! *(Скрестив руки.)* Значит, вы за свободную любовь, тетя?

Г-жа де Роншар. Какая гадость!

Л е о н *(серьезно)*. Нет! С Жаном случилось то же, что и с многими другими. Встречают девятнадцатилетнюю девочку, влюбляются... живут с нею *(спохватившись)* ...вступают в связь, которая длится год, два, три — столько же, сколько длится аренда по желанию квартиранта. Потом наступает разрыв, иногда бурный, иногда спокойный, но редко мирный... А дальше люди расходятся в разные стороны... В общем, это вечно повторяется в жизни, и оттого это банально... Но история Жана стоит особняком: женщина оказалась поистине замечательная.

Г-ж а д е Р о н ш а р. О! О! Замечательная? Мадмуазель... *(Запнувшись.)* Как, собственно, зовут эту девицу? Я забыла. Мадмуазель... Мюз... Мюз...

Л е о н. Мюзотта, тетя. Крошка Мюзотта...

Г-ж а д е Р о н ш а р. Мюзетта? Фу! Как это старо! Латинский квартал, жизнь богемы... *(С презрением.)* Мюзетта!

Л е о н. Да не Мюзетта, а Мюзотта. Через о... Мюзоттой ее прозвали за хорошенькую мордочку [1]. Вы понимаете? Мюзотта — этим все сказано.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(с презрением)*. Да... Мюзетта конца века, это еще хуже... Но Мюзотта — это ведь не имя!

Л е о н. Это только прозвище, тетя, прозвище натурщицы... Ее настоящее имя — Анриетта Левек.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(уязвленно)*. Левек?..

Л е о н. Ну да, Левек! [2] Именно так, и я тут ни при чем. Так вот, Анриетта Левек, или Мюзотта, если это вам больше нравится, за все время связи не только была верна Жану, боготворила его, окружала его нежной заботой, но и в момент разрыва обнаружила величие души!.. Она согласилась на все, без упреков, без обвинений... Она поняла, бедняжка, что пришел конец, безусловный конец... Своим женским инстинктом она почувствовала, насколько любовь Жана к моей сестре была серьезной и глубокой. Она подчинилась, исчезла и даже не без сопротивления согласилась на то, чтобы Жан ее обеспечил. И хорошо сделала, что согласилась,

[1] По-французски «мордочка» — petit museau.

[2] Во французском оригинале игра слов: имя Левек (Lèvêque) звучит как l'èvêque (епископ).

потому что скорее убила бы себя, чем стала... *(запнувшись, продолжает с почтительностью к тетке)* куртизанкой! В этом я уверен!

Г-жа де Роншар. И с тех пор Жан ее не видел?

Леон. Ни разу. Вот уже месяцев восемь. Ему хотелось узнать, что с ней, и он поручил мне заняться этим. Но я не мог ее разыскать. Я ничего не узнал о ней, с таким тактом и благородством ушла она с его пути. *(Меняя тон.)* Однако зачем я повторяю все это? Вы это знаете не хуже моего, ведь я вам двадцать раз рассказывал.

Г-жа де Роншар. Это настолько неправдоподобно, что я и в двадцатый раз верю не больше, чем в первый.

Леон. Однако это правда.

Г-жа де Роншар. А если это правда, то ты нехорошо поступил, помогая разрыву Жана с такой... замечательной женщиной.

Леон. Нет, тетя, я исполнил свой долг. Вы меня иногда называете ветрогоном и часто бываете правы. Но вы знаете также, что я могу быть серьезным, когда нужно. Если бы эта трехлетняя связь затянулась, Жан загубил бы свою жизнь.

Г-жа де Роншар. А нам-то какое дело?

Леон. Для мужчины ужасны эти... сожительства. Слово сорвалось — ничего не поделаешь!.. Повторяю: я как друг должен был отвлечь Жана от этого и как брат — заставить сестру выйти замуж за такого человека, как он. Будущее меня оправдает, увидите... А кроме того, когда у вас будет внучек или внучка, которого вы будете нянчить, баюкать... тут уж вы забудете всех ваших пуделей в Нейи.

Г-жа де Роншар. Бедняжки! Я их никогда не покину. Я люблю их, как мать.

Леон. Прекрасно! Вы останетесь для них только теткой, а матерью станете своему внучатному племяннику.

Г-жа де Роншар. Замолчи, ты меня приводишь в отчаяние.

Жан *(появляется с Жильбертой в глубине галереи и говорит своему лакею)*. Жозеф, вы ничего не забыли?.. Чтобы всюду были цветы!

С л у г а. Пусть барин и барыня не беспокоятся. Все будет в порядке. *(Уходит.)*

Л е о н *(тетке)*. Ну, взгляните на них, как они милы!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Те же, Жан и Жильберта.

Ж а н *(г-же де Роншар, подходя к ней)*. Знаете ли, о чем мы только что говорили, сударыня? Мы говорили о вас.

Л е о н *(в сторону)*. Гм... гм...

Ж а н. Да, я говорил о том, что еще не преподнес вам подарка по случаю свадьбы, потому что должен был как следует об этом подумать.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(сухо)*. Жильберта сделала мне очень хороший подарок за вас обоих, сударь.

Ж а н. Этого мало. Я хотел придумать что-нибудь такое, что доставило бы вам особенное удовольствие. Знаете, что мне пришло в голову? Очень простая вещь. Прошу вас, сударыня, принять этот бумажник с несколькими банковыми билетами для ваших бездомных собачек. Вы сможете устроить в вашем приюте несколько новых конурок, а я с вашего разрешения зайду раз — другой приласкать новых пансионеров, при условии, что вы не выберете для меня самых злых.

Г-ж а д е Р о н ш а р *(тронутая тем, что ее причуде польстили)*. Но... благодарю вас, сударь. Так мило, что вы подумали о моих бедных животных.

Л е о н *(на ухо Жану)*. Дипломат!

Ж а н. В этом нет ничего удивительного, сударыня. Я дружелюбно отношусь к животным. Это обиженные братья человека, его рабы и его пища; они настоящие мученики на этой земле.

Г-ж а д е Р о н ш а р. Ваши слова, сударь, весьма справедливы. Я об этом часто думала. Вспомните о бедных лошадях, как бьют их кучера на улице!

Л е о н *(с пафосом)*. А дичь, тетя! Обезумевшая птица падает под градом свинца или в ужасе улетает от этого ужасного избиения!.. Пиф, паф, паф!

Г-ж а д е Р о н ш а р. Не говори об этом... Меня бросает в дрожь... Это ужасно.

Жан *(подходя к Жильберте)*. Ужасно.

Леон *(помолчав, весело)*. Да... Но вкусно.

Г-жа де Роншар. Ты безжалостен!

Леон *(тихо тетке)*. У меня, может быть, нет жалости к животным, а у вас к людям.

Г-жа де Роншар *(так же тихо)*. Что ты хочешь сказать?

Леон *(так же, показывая на Жильберту и Жана, севших на диване направо)*. Вы думаете, ваше присутствие очень приятно им сегодня вечером? *(Взяв ее под руку.)* Папа, наверно, кончил курить... Пойдите ненадолго в бильярдную.

Г-жа де Роншар. А ты?

Леон. Я схожу вниз, в свой рабочий кабинет, и тотчас же приду к вам.

Г-жа де Роншар *(иронически)*. Твой рабочий кабинет... это твоя мастерская, повеса?.. Клиентки?

Леон *(целомудренно)*. Ах, тетя... у нас не раздеваются. *(В сторону.)* К сожалению. *(Выходит направо, благословляя обоих молодых людей.)* Дети мои, благословляю вас.

Г-жа де Роншар удаляется в среднюю дверь.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Жан, Жильберта

Жан *(сидя на диване направо)*. Да, да, вы и в самом деле моя жена, мадмуазель.

Жильберта. Мадмуазель?

Жан. О, простите! Я не знаю, как вас назвать.

Жильберта. Называйте Жильбертой, в этом нет ничего неприличного.

Жан. Жильберта! Наконец-то, наконец-то вы моя жена!

Жильберта. Право, это далось нелегко.

Жан. Ах, какое вы милое и энергичное создание! Как вы боролись против отца, против тетки! Если мы принадлежим друг другу, то только благодаря вам, вашей настойчивости. Спасибо от всего сердца... оно принадлежит вам.

Жильберта. Я вам доверяла, вот и все.

Жан. Только доверяли?

Жильберта. Не кокетничайте. Вы нравились мне и хорошо об этом знали... Если бы вы не понравились мне, доверие было бы ни к чему. Сначала просто нравятся; не будь этого, ничего бы и не вышло, господин...

Жан. Скажите Жан, как я сказал Жильберта...

Жильберта *(колеблясь)*. Это не то же самое... Мне кажется... однако... Нет, не могу! *(Встает и переходит налево.)*

Жан *(тоже встает)*. Как я вас люблю! Клянусь, я не только увлечен вами; я глубоко люблю вас, потому что нашел в вас неоценимые достоинства. Вы совершенство: в вас столько же рассудка, сколько и сердца. И ваше чувство совсем не похоже на обычную женскую чувствительность. Вы наделены великим и прекрасным даром отзывчивости; это качество благородных душ, и его теперь редко встречаешь в свете. Потом, вы красивы, очень красивы, исключительно и по-особенному изящны, а я как художник обожаю красоту. Но главное, вы очаровали меня до такой степени, что я не замечаю всего остального мира и не думаю о нем.

Жильберта. Я слушаю вас с большим удовольствием, но, пожалуйста, не продолжайте — это меня немного смущает. Впрочем, я хорошо знаю — я почти все предвижу,— что надо пользоваться сегодняшним днем, чтобы всем этим насладиться: это еще взволнованные слова жениха. Со временем они, может быть, будут тоже восхитительны, если люди умеют говорить, как вы, и любить так, как вы меня, кажется, любите. Но это будут иные слова.

Жан. О!

Жильберта *(садясь на табурет перед столом)*. Так говорите же еще.

Жан. Меня привлекла в вас таинственная гармония формы и внутренней природы вашего существа. Помните тот день, когда я в первый раз пришел к вам?

Жильберта. Да, очень хорошо. Мой брат привел вас обедать. Вы, кажется, даже немного сопротивлялись.

Жан *(смеясь)*. Можно ли доверяться вашему легкомысленному брату? Он проговорился вам об этом!.. Мне до сих пор неловко, что он вам все рассказал. Признаюсь, я немного сопротивлялся. Я художник, я при-

вык к нашему особому обществу, живому и шумному, свободному в выражениях, и меня несколько беспокоила мысль попасть в такой почтенный дом, как ваш, в дом судейского чиновника, где есть молодая девушка. Но я так люблю вашего брата!.. Он такой оригинальный, веселый, он одарен такой умной иронией и такой проницательностью под маской легкомыслия, что я пошел бы за ним куда угодно,— и пошел за ним к вам. Но как же я был ему за это благодарен! Когда я входил в гостиную, где собралась вся ваша семья, вы ставили в китайскую вазу принесенные цветы. Помните?

Жильберта. Да, конечно.

Жан. Ваш отец заговорил со мной о моем дяде Мартинеле, которого он когда-то знал. Это сблизило нас. Но, разговаривая, я смотрел, как вы занимаетесь цветами.

Жильберта *(улыбаясь)*. Вы даже слишком много смотрели на меня для первого раза.

Жан. Я смотрел на вас как художник и любовался вами, находя восхитительной вашу фигуру, позу и движения. После этого в течение полугода я часто бывал в вашем доме: меня часто приглашал ваш брат и влекло ваше присутствие. Я почувствовал ваше очарование, как человек, начинающий любить. Это была какая-то непонятная сила, неодолимо притягивавшая меня к вам. *(Садится около нее с правой стороны стола.)* Тогда у меня мелькнула смутная надежда, что вы, может быть, станете моей женой. Я постарался возобновить знакомство между вашим отцом и моим дядей. Они стали друзьями. Вы ничего не понимали в моих маневрах?

Жильберта. Понимала? Нет. Порой немного догадывалась. Но я была поражена, что такой человек, как вы,— в разгаре успеха, с таким именем, с такой славой — уделяет столько внимания скромной девочке, вроде меня, и я не могла по-настоящему поверить в искренность ваших намерений.

Жан. Но мы скоро сумели разгадать и понять друг друга.

Жильберта. Мне нравился ваш характер. Вы мне казались очень честным; кроме того, вы меня очень интересовали, я чувствовала в вас художника, вы про-

буждали во мне мысль. Должна признаться, что и брат хорошо подготовил меня к тому, чтобы как следует оценить вас. Леон очень вас любит.

Жан. Я знаю. Думаю даже, что ему первому пришла в голову мысль об этом браке. *(Помолчав немного.)* Помните наше возвращение из Сен-Жермена, где мы обедали в павильоне Генриха Четвертого?

Жильберта. Еще бы!

Жан. Мой дядя и ваша тетушка сидели в глубине ландо. Вы и я — на передней скамейке, а ваш отец и Леон — в другом экипаже. Какая была чудная летняя ночь! Вы были со мной очень холодны.

Жильберта. Я так была взволнованна!

Жан. Вы, однако, должны были ожидать, что в один прекрасный день я задам вам этот вопрос; не могли же вы не знать, что я очень увлечен вами и мое сердце покорено.

Жильберта. Это правда. Но все же этот вопрос поразил и взволновал меня. Ах, я часто думала об этом потом и до сих пор не могу вспомнить, какие слова вы мне сказали! Вы не помните?

Жан. Нет. Они поднялись из глубины сердца и слетели с моих губ, как пылкая мольба. Помню только, я сказал вам, что перестану бывать у вас, если вы не оставите мне хотя бы искру надежды на ваше согласие, когда узнаете меня ближе. Вы долго раздумывали, прежде чем ответить, и ответили так тихо, что я чуть было не попросил вас повторить...

Жильберта *(повторяя, как во сне)*. «...Мне было бы тяжело не видеть вас больше...»

Жан. Да!

Жильберта. Вы ничего не забыли!

Жан. Разве такие вещи забываются? *(С глубоким волнением.)* Знаете, о чем я думаю? Глядя на вас, заглянув в ваше сердце, душу и чувствуя, как мы понимаем и любим друг друга, я начинаю думать, что нас ждет впереди настоящее счастье! *(Целует ее. Они сидят некоторое время молча.)*

Жильберта *(поднимаясь)*. Но я должна вас покинуть. *(Идет к двери налево.)* Я пойду приготовиться к отъезду. А вы пока идите к моему отцу.

Жан *(идя за ней)*. Хорошо, но только скажите сначала, что вы меня любите.

Жильберта. Да... я люблю вас.

Жан *(целуя ее в лоб)*. Любимая моя.

Жильберта уходит налево. Через секунду из средней двери выходит возбужденный Мартинель с письмом в руке

Мартинель *(заметив Жана, быстро прячет письмо в карман и старается принять спокойный вид)*. Ты не видал Леона?

Жан. Нет. Он вам нужен?

Мартинель. На два слова... Пустячная справка.

Жан *(замечая Леона)*. Да вот он.

Леон выходит из правой двери. Жан уходит через среднюю дверь.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Мартинель, Леон.

Мартинель *(быстро подходя к Леону)*. Мне нужно поговорить с вами пять минут. Случилась ужасная вещь. Никогда в жизни я не был так взволнован и в таком затруднении.

Леон. Говорите.

Мартинель. Я кончал партию на бильярде. Вдруг ваш слуга приносит письмо. Оно адресовано господину Мартинелю, без имени, с припиской: «Очень срочно». Думая, что оно адресовано мне, я вскрыл его и читаю. А письмо написано Жану, и говорится в нем о таких вещах, что я совсем потерял голову. Я стал искать вас, чтобы посоветоваться; надо что-то предпринять, и сейчас же!

Леон. Говорите!

Мартинель. Я человек решительный, господин Леон, и если бы дело касалось меня, я бы ни у кого не спрашивал мнения, но дело идет о Жане... Я не знаю, что делать... Это так серьезно... И тайна принадлежит не мне. Я узнал ее случайно.

Леон. Говорите, не сомневайтесь во мне.

Мартинель. Я не сомневаюсь в вас. Возьмите письмо. Оно от доктора Пеллерена, врача и друга Жана, нашего общего друга. Он ловелас, прожигатель

жизни, врач хорошеньких женщин, но он не написал бы этого, не будь крайней необходимости. *(Протягивает письмо Леону, тот читает его вслух.)*

Леон *(читает)*. «Дорогой друг. Мне очень тяжело, особенно в такой день, сообщать вам то, что я считаю своим долгом открыть. Но я говорю это только, чтобы оправдать себя, так как знаю, что, поступи я иначе, вы, может быть, никогда не простите мне этого. Ваша бывшая любовница, Анриетта Левек, умирает и хочет проститься с вами. *(Бросает взгляд на Мартинеля, тот делает ему знак продолжать.)* Она не доживет до утра. Она умирает. Две недели тому назад она родила ребенка. Вы его отец, она клянется в этом на смертном одре. Пока не было никакой опасности, она не хотела сообщать вам о существовании ребенка. Теперь, видя себя обреченной, она зовет вас. Я знаю, как вы любили эту женщину. Поступите, как найдете нужным. Ее адрес: улица Шапталь, 31. Жму вашу руку, дорогой друг».

Мартинель. Вот! И это сваливается на нас сегодня вечером, то есть в такой момент, когда подобное несчастье становится угрозой для всего будущего, для всей жизни вашей сестры и Жана. Как бы вы поступили на моем месте? Скрыли бы это письмо? Или отдали? Скрыв его, мы, может быть, спасем положение, но это кажется мне непорядочным.

Леон *(решительно)*. Да, это непорядочно! Надо отдать письмо Жану.

Мартинель. Но как он поступит?

Леон. Пусть сам решает, как ему поступить! Мы не имеем права от него скрывать.

Мартинель. А если он спросит моего совета?

Леон. Не думаю, чтобы он это сделал. В таких случаях спрашивают совета только у своей совести.

Мартинель. Но он относится ко мне, как к отцу. Если он хоть на минуту задумается, как ему поступить,— отдаться ли порыву великодушия или охранять свое счастье,— что мне ему посоветовать?

Леон. То, что вы сделали бы сами.

Мартинель. Я пошел бы. А вы?

Леон *(решительно.)* Я тоже.

Мартинель. Но ваша сестра?

Л е о н *(печально, садясь перед столом)*. Да, бедная сестренка. Какое несчастье!

М а р т и н е л ь *(после некоторого колебания, порывисто переходя с правой стороны сцены на левую)*. Нет, это слишком жестоко. Я не дам ему этого письма. Пусть я буду во всем виноват, но я его спасу.

Л е о н. Вы не можете так поступить, сударь. Мы оба знаем эту бедную девушку, и я с дрожью спрашиваю себя, не этот ли брак — причина ее смерти. *(Вставая.)* Будь что будет, но если вас три года всем сердцем любила такая женщина, мыслимо ли не проститься с ней, когда она умирает?

М а р т и н е л ь. Как поступит Жильберта?

Л е о н. Она обожает Жана... но она горда...

М а р т и н е л ь. Примирится ли она с этим? Простит ли?

Л е о н. Сильно сомневаюсь, особенно после всего того, что говорилось об этой женщине в нашей семье. Но что поделаешь! Надо сейчас же предупредить Жана. Я иду за ним и приведу его к вам. *(Направляется к средней двери.)*

М а р т и н е л ь. Как мне сообщить ему?

Л е о н. Просто отдайте письмо. *(Уходит.)*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

М а р т и н е л ь *(один)*. Бедные дети! В разгаре счастья, в разгаре радости... И та, бедняжка, страдающая на пороге смерти... Черт возьми! Жизнь иногда слишком несправедлива и слишком жестока.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

М а р т и н е л ь, Ж а н, Л е о н.

Ж а н *(быстро выходя из средней двери)*. Что случилось, дядя?

М а р т и н е л ь. Вот, бедный мальчик, прочти и прости меня, что я вскрыл это письмо. Я думал, что оно ко мне. *(Дает ему письмо и следит за ним, пока он читает. Леон тоже следит, стоя с другой стороны.)*

Ж а н *(с глубоким волнением, прочитав письмо, но сдерживаясь, про себя)*. Да! Я должен... *(Мартинелю)* Дядя, я вас оставляю с моей женой. Не говорите ниче-

го до моего возвращения, но не уходите отсюда, что̀ бы ни случилось. Дождитесь меня. *(Оборачивается к Леону.)* Я тебя достаточно знаю и уверен, что ты меня не осуждаешь. Поручаю тебе свое будущее. Прощайте! *(Идет в правую дверь, бросив взгляд на левую, ведущую в комнату Жильберты.)* Ты подарил мне любовь своей сестры. Сохрани же мне ее. *(Быстро уходит направо.)*

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Мартинель, Леон.

Мартинель *(садясь направо)*. Что нам теперь делать? Что мы ей скажем? Как мы все объясним?

Леон. Предоставьте это мне. Справедливость требует, чтобы это сделал я, ведь я устроил их брак.

Мартинель *(вставая)*. Все равно. Я предпочел бы, чтобы все это уже было позади. О нет, я не поклонник любовных драм. А эта история с ребенком просто ужасна. Что будет с бедным малюткой? Не отдавать же его в воспитательный дом! *(Замечая Жильберту.)* Жильберта!

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Те же. Жильберта выходит из левой двери. Она сняла подвенечное платье и надела изящный вечерний туалет. Она держит манто и, входя, кладет его на стул.

Жильберта. А где Жан?

Леон. Не беспокойся. Он скоро вернется.

Жильберта *(изумленно)*. Он ушел?

Леон. Да.

Жильберта. Ушел! Он! В такой день?

Леон. Обстоятельства, и очень важные, заставили его отлучиться на час!

Жильберта. Что произошло? Что ты от меня скрываешь? Это невыносимо. Случилось какое-то несчастье!

Леон и Мартинель. Да нет же, нет...

Жильберта. Какое несчастье? Говори!

Леон. Я ничего не могу сказать. Подожди немного. Только он сам может сообщить тебе, какая неожиданность, какой священный долг заставил его уйти в такую минуту.

Жильберта. Что за слова ты употребляешь! Неожиданность, священный долг! Но ведь он одинок... У него нет родственников, кроме дяди. Тогда что же? Кто? Почему? Боже, как мне страшно!

Леон. Бывают разного рода обязанности: долг дружбы, жалость, участие. Я больше ничего не имею права сказать тебе. Потерпи этот час...

Жильберта *(Мартинелю)*. Тогда хоть вы, его дядя, скажите, умоляю вас! Что с ним? Куда он пошел? Я чувствую, о, чувствую, надо мной, над нами нависло страшное несчастье. Умоляю вас, говорите!

Мартинель *(со слезами на глазах)*. Я тоже ничего не могу сказать, дорогое дитя. Не имею права. Как и ваш брат, я обещал молчать. Но я поступил бы так же, как Жан. Подождите час, только час.

Жильберта. Вы расстроены! Какая-нибудь катастрофа?

Мартинель. Нет, нет. Меня расстроило ваше волнение, ведь я и вас люблю от всего сердца! *(Целует ее.)*

Жильберта *(брату)*. Ты говорил о дружбе, о жалости, об участии?.. Но обо всем этом можно сказать открыто. А глядя на вас обоих, я чувствую что-то, в чем нельзя признаться, какую-то тайну, пугающую меня.

Леон *(решительно)*. Сестренка, ты доверяешь мне?

Жильберта. Да. И тебе это хорошо известно.

Леон. Вполне доверяешь?

Жильберта. Вполне.

Леон. Клянусь тебе честью, я поступил бы совершенно так же, как Жан. Но его порядочность по отношению к тебе, порядочность, которой он придает, может быть, преувеличенное значение с тех пор, как тебя любит, помешала ему узнать раньше ту тайну, которую он только что узнал.

Жильберта *(смотря брату в глаза)*. Я тебе верю, спасибо. Но я вся дрожу и не успокоюсь до его возвращения. Ты клянешься, что мой муж не знал того, что заставило его покинуть меня в такую минуту. Если так, я безропотно покорюсь, справлюсь с собой, насколько могу, и доверюсь вам обоим. *(Протягивает руку обоим мужчинам.)*

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Те же. Г-н де Петипре и г-жа де Роншар одновременно входят через среднюю дверь.

Петипре. Что я узнаю? Господин Жан Мартинель только что ушел?

Мартинель. Он вернется, сударь.

Петипре. Но как он мог уйти в такой вечер, не сказав ни слова своей жене? Ведь ты не знала об этом, не правда ли?

Жильберта *(сидя у стола налево)*. Да, отец, я не знала.

Г-жа де Роншар. И не сказав ни слова семье... Это неуважение!

Петипре *(Мартинелю)*. Что заставило его так поступить, сударь?

Мартинель. Ваш сын знает, в чем дело, так же, как и я, но мы не можем вам это открыть. К тому же ваша дочь согласна ни о чем не спрашивать до возвращения мужа.

Петипре. Дочь согласна... но я не согласен. Ведь в конце концов вы один были предупреждены об этом уходе...

Г-жа де Роншар *(с дрожью в голосе, Мартинелю)*. Ведь вам передали письмо... Вы прочитали его первым.

Мартинель. Вы хорошо осведомлены, сударыня. Действительно, было письмо. Но я не пожелал брать на себя всю ответственность за это дело. Я ознакомил с письмом вашего сына, сударь, и спросил его мнение, чтобы поступить так, как он решит.

Леон. Совет, который я подал, совершенно совпал с тем, что сделал мой зять; он поступил так, правда, по собственному побуждению, и это я особенно в нем ценю.

Петипре *(подходя к Леону)*. Нужно было советоваться со мной, а не с тобой. Если поступок по существу можно извинить, то никак нельзя простить недостаток уважения.

Г-жа де Роншар. Это скандал.

Леон *(отцу)*. Да, лучше было бы посоветоваться с тобой, но спешность дела не позволила. Ты начал бы спорить, тетя начала бы спорить, мы проспорили бы

целую ночь, а в некоторых случаях нельзя терять ни секунды. До возвращения Жана нам нужно молчать. Он от вас ничего не скроет, и ты сам, надеюсь, будешь судить о его поступке так же, как я.

Г-жа де Роншар *(подходя к Мартинелю)*. Но письмо? От кого было письмо?

Мартинель. Это я могу сказать. От одного врача.

Г-жа де Роншар. От врача... от врача... Значит, кто-то болен!.. Значит, он должен был отправиться к больному... Кто же болен? Ах, держу пари, это та женщина, его прежняя... это она сыграла с ним сегодня такую штуку... Больна... может быть, она притворяется, что отравилась, чтобы доказать, что она его еще любит? Ах, потаскушка! *(Леону.)* И ты защищаешь таких людей?

Леон *(направившийся было к выходу, возвращается)*. Было бы лучше, тетя, если бы вы, ничего еще не зная, не высказывали вслух в присутствии Жильберты таких возмутительных предположений.

Жильберта *(вставая)*. Прошу вас больше не говорить об этом. Все, что я слышу, разрывает мне сердце, мне претит эта грязь. Я буду ждать мужа. Я доверяю ему и хочу обо всем узнать от него самого. Если случилось несчастье, у меня хватит мужества... Но я больше не хочу слушать подобные вещи! *(Она выходит в левую дверь, сопровождаемая Петипре.)*

Молчание.

Г-жа де Роншар. Ну, Леон, ты и теперь торжествуешь? Видишь, каковы мужья-красавцы? Все они одинаковы!

АКТ ВТОРОЙ

Комната Мюзотты. Обставлена кокетливо, но без роскоши. В глубине сцены слева неубранная постель Мюзотта лежит в шезлонге, на левой стороне авансцены, за ширмой. Около кроваги колыбель, изголовьем к зрительному залу. На камине и на столике около него пузырьки с лекарством, чашка, грелка, сахарница. Справа на авансцене стол.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Мюзотта спит. Бабен, г-жа Флаш.

Бабен *(вполголоса)*. Заснула.

Г-жа Флаш *(так же)*. О! Она долго не проспит, если только не заснет навсегда.

Бабен. Вот уж не повезло ей! И хлопот же нам, женщинам, с этим делом! Подумать только, помереть из-за ребенка!

Г-жа Флаш. Что ж делать, госпожа Бабен! Раз люди рождаются, надо им и умирать. А то на земле и места не хватит.

Бабен *(садясь у стола с правой стороны)*. Хорошо бы отправляться туда всем по-одинаковому, в одном возрасте; по крайней мере, не было бы неожиданностей.

Г-жа Флаш *(наливая себе чай)*. Вы просто смотрите на вещи, госпожа Бабен. А я предпочитаю не знать наперед. Я хотела бы умереть, как засыпаешь,— ночью, во сне, без страданий, от паралича сердца.

Бабен *(смотря на больную)*. Вот еще безумие — захотела перейти на шезлонг! Ведь врач говорил, что от одного этого она может помереть.

Г-жа Флаш *(садясь с левой стороны стола)*. Я ее понимаю. Знаете, когда привязана к человеку, можно сделать любую глупость. А если женщина кокетлива,— вам-то, кормилица, деревенским, это незнакомо,— так это уж свойство души, все равно как набожность. Вот ей и захотелось немножко принарядиться. Она боялась, что будет неинтересной, понимаете? Мне пришлось расчесать ей волосы, уложить их, навести красоту, как говорится.

Бабен. Уж эти парижанки!.. До самого-то конца им надо франтить! *(Пауза.)* А придет ее барин?

Г-жа Флаш. Не думаю. Мужчины не очень-то любят, когда прежние зовут их в такие минуты. Вдобавок он сегодня женится, бедняга!

Бабен. Дело дрянь!

Г-жа Флаш. Вы правы!

Бабен. Уж, конечно, не придет. Пошли бы вы в такой день навестить мужчину?

Г-жа Флаш. Если бы очень любила, пошла бы.

Бабен. Даже если бы в этот день выходили за другого?

Г-жа Флаш. Даже тогда. Это меня растрогало

бы, доставило бы сильное ощущение. Я люблю сильные ощущения!

Бабен. Ну, а я-то уж не пошла бы. Нет, нет, не пошла бы. Я побоялась бы растревожить себя.

Г-жа Флаш. Доктор Пеллерен уверен, что он придет.

Бабен. Вы хорошо знаете врача?

Г-жа Флаш. Доктора Пеллерена?

Бабен. Да. Больно он франтоват.

Г-жа Флаш. Да, это франт, франт... но вместе с тем хороший врач. А какой чудак! Чудак и кутила! Вот уж кто умеет устроить себе приятную жизнь! Недаром он врач Оперы!

Бабен. Такой пустозвон и кривляка?

Г-жа Флаш. Пустозвон! Не часто встретишь такого пустозвона! А уж как любит женщин, ах-ах! Правда, и другие врачи такие же! Я на них насмотрелась в Опере.

Бабен. В Опере?

Г-жа Флаш. Я восемь лет была танцовщицей. Да, я самая. Я танцевала в Опере.

Бабен. Вы, госпожа Флаш?

Г-жа Флаш. Да. Мама была акушеркой и научила меня своему ремеслу, а в то же время и танцам: всегда нужно иметь две тетивы на луке,— так она говорила. С танцами, видите ли, можно далеко пойти, если только не любишь вкусно покушать, а я, к сожалению, это как раз любила. В двадцать лет я была, как былинка, тоненькая, гибкая! Но потом разжирела, отяжелела, стала страдать одышкой. А когда мама умерла, у меня уже был акушерский диплом, и я забрала себе ее пациенток, прибавив к званию слова́ «акушерка Оперы»: я ведь у них у всех принимаю. Меня там очень любят. Когда я была танцовщицей, меня звали мадмуазель Флакки Первая.

Бабен. Мадмуазель?.. Вы, значит, потом вышли замуж?

Г-жа Флаш. Нет, но акушерке всегда следует называться мадам — так солиднее. Это внушает больше доверия. А вы, кормилица, откуда? Ведь вы только что появились. Вас наняли, не спросив моего совета.

Бабен. Я из-под Иветò.

Г-жа Флаш. В первый раз кормите?

Бабен. В третий. У меня было две девочки и мальчик.

Г-жа Флаш. Кто ваш муж? Крестьянин? Или садовник?

Бабен *(простодушно)*. А я девица.

Г-жа Флаш *(смеясь)*. Девица, а троих уже родила? Поздравляю вас. Из молодых, да ранняя. *(Чокаясь с ней.)* За ваше здоровье!

Бабен. И не говорите. Я тут ни при чем. Это уж воля божья! Тут ничего не поделаешь.

Г-жа Флаш. Вот простота! А когда вернетесь домой, глядишь, и четвертый будет?

Бабен. Все может статься.

Г-жа Флаш. Чем же занимается ваш любовник? Он-то у вас один?

Бабен *(с возмущением)*. Всегда был только один. Честное слово! Разрази меня бог! Он официант в кафе в Иветò.

Г-жа Флаш. Красивый парень?

Бабен *(с гордостью)*. Еще бы не красивый. *(Доверительно.)* Если я вам все это говорю, так только потому, что вы акушерка, а говорить акушерке об этих делах — все равно как священнику в исповедальне. Ну, а у вас, госпожа Флаш, раз вы в Опере танцевали, уж у вас-то, наверно, немало было полюбовников и ухажеров?

Г-жа Флаш *(польщенная, мечтательно)*. Были кое-кто.

Бабен *(смеясь)*. А с вами никогда не случалось... такой беды? *(Показывает на колыбель.)*

Г-жа Флаш. Нет.

Бабен. Как же вы так?

Г-жа Флаш *(вставая и подходя к камину)*. Наверно, потому, что я акушерка.

Бабен. А я знаю одну, у которой было пятеро.

Г-жа Флаш *(презрительно)*. Значит, она не была парижанкой.

Бабен. Что правда, то правда. Она была из Курбевуа.

Мюзотта *(слабым голосом)*. Никого еще нет?

Г-жа Флаш. Просыпается. Мы здесь. *(Складывает ширмы, закрывавшие шезлонг.)*

Мюзотта. Он еще не пришел?

Г-жа Флаш. Нет.

Мюзотта. Придет слишком поздно... Боже мой! Боже мой!

Г-жа Флаш. Глупости... Он придет!

Мюзотта. А малютка... Мое дитя?

Г-жа Флаш. Спит, как ангел.

Мюзотта *(посмотрев на себя в ручное зеркало)*. Такая, как сейчас, я его не испугаю. Ах, боже! Мой малютка! Я хочу посмотреть на него.

Г-жа Флаш. Если я его вам принесу, он проснется; а скоро ли он заснет снова?

Мюзотта. Придвиньте колыбельку.

Г-жа Флаш делает отрицательный жест.

Да, да!..

Г-жа Флаш и кормилица тихонько подвигают колыбель.

Ближе, еще ближе... Чтобы я как следует видела мое сокровище! Дитя мое, дитя мое! И я должна его покинуть, должна умереть! Боже мой, как это печально!

Г-жа Флаш. Да не мучьте себя, вы совсем не так плохи. Я видела, как поправляются еще более тяжело больные. Ну вот, вы его и разбудили. Давайте отнесем колыбель, кормилица. *(Они ставят колыбель на прежнее место. Кормилице.)* Оставьте, оставьте, это уж мое дело! Только я и могу его успокоить. *(Садится около колыбели и напевает, укачивая ребенка.)*

Баю-баюшки, баю,
Слушай курочку мою!
Нам она яйцо снесет,
Если мой малыш заснет...
Баю-баюшки, баю,
Слушай курочку мою!

Бабен *(в глубине сцены, около камина, пьет сахарную воду и набивает карманы сахаром; про себя)*. Про жратву нечего забывать. Да и на кухне, я заметила, осталось жареное мясо; надо и с ним перемолвиться. Прямо подыхаю с голоду!

Г-жа Флаш *(продолжая петь, тише)*.

Бай-бай, баю-бай,
Пошла курочка в сарай.
Там она яйцо снесет,
Если мой малыш заснет.
Спи, цыпленочек, бай-бай,
Пошла курочка в сарай.

Мюзотта *(стонет, потом говорит лежа)*. Уснул?

Г-жа Флаш *(подходя к ней)*. Да, мадмуазель. Как ангелочек! Знаете, что я вам скажу? Вы еще отведете этого молодого человека под венец. Девочка моя, ваш крошка — прелесть, я от него без ума.

Мюзотта. Вы находите, что он хорошенький?

Г-жа Флаш. Честное слово акушерки, я не часто принимала таких хорошеньких. Мне, право-таки, приятно сознавать, что через мои руки прошел такой душка.

Мюзотта. Подумать только, что, может быть, через несколько часов я не буду больше видеть его, смотреть на него, любить его!

Г-жа Флаш. Нет, нет! Вы напрасно вбили себе это в голову.

Мюзотта. Ах, я хорошо знаю! Я слышала, как вы говорили с кормилицей. Я знаю, что скоро конец,— может быть, нынче ночью. Разве доктор написал бы Жану, чтобы тот пришел сегодня вечером, в день своей свадьбы, если бы я не была безнадежна?

Звонок.

(Вскрикивает). Ах, вот и он! Это он! Скорей отоприте, госпожа Флаш. Скорей, скорей, скорей! Ах, боже мой, как мне больно! *(Она смотрит на дверь, в которой исчезла акушерка.)*

Появляется доктор Пеллерен, элегантный, во фраке, с белым галстуком.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же, доктор.

Мюзотта *(с отчаянием)*. Ах, не он!

Доктор *(подходя к Мюзотте)*. Он еще не пришел?

Мюзотта. Он не придет.

Доктор. Придет, я в этом уверен. Я его знаю.

Мюзотта. Нет.

Доктор. Клянусь вам! *(Поворачивается к г-же Флаш)*. Он ведь ничего не ответил?

Г-жа Флаш. Нет, господин доктор.

Доктор. Придет. А как она?

Г-жа Флаш. Немного отдохнула.

Мюзотта *(сильно волнуясь)*. Все кончено, все кончено... Я чувствую, не будет мне покоя, пока он не придет или пока я не усну навеки, не повидав его!

Доктор. Он придет. А потом вы заснете до завтрашнего утра.

Мюзотта. Вы бы не заставляли его прийти сегодня вечером, если бы я могла подождать до завтрашнего утра! *(Звонок. Мюзотта вскрикивает и лепечет.)* Если это не он, если не он, я погибла.

Г-жа Флаш идет открывать. За сценой слышен мужской голос. Мюзотта слушает.

(Шепчет в отчаянии). Это не он!

Г-жа Флаш *(возвращаясь с пузырьком в руках)*. Принесли микстуру из аптеки.

Мюзотта *(сильно волнуясь)*. Ах, боже мой, как ужасно! Он не идет. Что я сделала? Доктор, покажите мне ребенка. Я хочу еще раз посмотреть на него.

Пеллерен. Но он спит, Мюзотта.

Мюзотта. Он-то еще успеет выспаться!

Пеллерен. Ну, ну, успокойтесь!

Мюзотта. Если Жан не придет, кто позаботится о моем ребенке? Ведь он от него, клянусь вам в этом! Вы мне верите? Я его так любила!

Пеллерен. Да, деточка, верю, но только успокойтесь.

Мюзотта *(волнуясь все сильнее и сильнее)*. Скажите мне... После того, как вы ушли отсюда, где вы были?

Пеллерен. У одного больного.

Мюзотта. Это неправда! Вы были у Жана, и он не захотел идти, иначе он пришел бы вместе с вами.

Пеллерен. Честное слово, нет.

Мюзотта. Нет, я чувствую, вы его видели. Вы не решаетесь сказать, боясь, что убьете меня.

Пеллерен. Опять начинается лихорадка. Так больше нельзя. Я не хочу, чтобы вы были в беспамятстве, когда он придет! *(Г-же Флаш.)* Сделаем укол! Дайте мне морфий, госпожа Флаш.

Г-жа Флаш берет с камина шприц с морфием и подает ему.

Мюзотта *(сама открывает руку и бормочет)*. Если бы не это лекарство, не знаю, как бы я перенесла эти последние дни.

Доктор делает укол.

Пеллерен. Теперь вы заснете. Я запрещаю вам говорить и больше не буду вам отвечать. Клянусь, что не позже, чем через четверть часа, Мартинель будет здесь.

Мюзотта послушно ложится на спину и засыпает.

Бабен *(медленно подвигает ширму, закрывающую Мюзотту от публики)*. Засыпает! Ну и благодать это снадобье! Но себя я не дала бы колоть! Я бы совсем перепугалась! Это от нечистого. *(Садится около колыбели и читает газету)*.

Г-жа Флаш *(вполголоса Пеллерену)*. Бедная женщина! Какое горе!

Пеллерен *(так же)*. Да. Замечательная девушка! Я давно уже знаю и ее и Жана Мартинеля, он обязан ей тремя годами счастья. Она проста и прямодушна.

Г-жа Флаш. А он-то, господин Мартинель, придет?

Пеллерен. Думаю, что да, он человек сердечный, но нелегко же ему бросить так, впопыхах, свою жену и ее прекрасную семейку.

Г-жа Флаш. Да, совпадение скверное. Прямо ведь как кирпич на голову.

Пеллерен. Ты права.

Г-жа Флаш *(меняя тон)*. А где вы только что были? Ведь не для больной же вы надели сегодня вечером фрак и белый галстук?

Пеллерен. Я посмотрел начало балета Андре Монтаржи.

Г-жа Флаш *(заинтересованная, садится на край стола)*. Ну, как, хорошо?

Пеллерен *(садится слева от стола)*. Танцевали отлично.

Г-жа Флаш. Новая дирекция хорошо ведет дело.

Пеллерен. Жанна Мерали и Габриель Пуаврие становятся настоящими артистками.

Г-жа Флаш. Пуаврие, маленькая Пуаврие... Не может быть! Мерали меня не удивляет: она очень некрасива, но у нее есть пуанты. А Мори?

Пеллерен. О, чудо, настоящее чудо! Танцует, как никто!.. Это настоящая птица, не ноги, а крылья. Само совершенство!

Г-жа Флаш. Вы влюблены в нее?

Пеллерен. Нет, я просто восхищаюсь. Ты знаешь, что я обожаю танец.

Г-жа Флаш. А иногда и танцовщиц?.. *(Опуская глаза)*. Ты забыл?

Пеллерен. Таких артисток, как ты, никогда нельзя забыть, дорогая.

Г-жа Флаш. Вы не смеетесь надо мной?

Пеллерен. Нисколько. Я отдаю тебе должное. Когда-то, еще совсем молодым врачом, я был очень увлечен тобой — месяца полтора. Ты не жалеешь об этом времени, об этом празднике?

Г-жа Флаш. Немного сожалею... Но когда молодость прошла, надо мириться... Да и мне не на что жаловаться. Акушерские дела идут неплохо.

Пеллерен. Ты хорошо зарабатываешь? Мне говорили, что ты даешь обеды.

Г-жа Флаш. Да еще какие! На славу! Сделайте мне удовольствие, милый доктор, приходите как-нибудь на днях обедать.

Пеллерен. С величайшим удовольствием, дитя мое.

Г-жа Флаш. С другими врачами или один?

Пеллерен. Если хочешь, один. Я не люблю своих собратьев.

Звонок.

Мюзотта *(просыпаясь)*. Ах, звонок... Подите же посмотрите.

Г-жа Флаш выходит. Молчание. Все прислушиваются.

Голос *(за дверью)*. Здесь живет госпожа Анриетта Левек?

Мюзотта *(резко вскрикивает)*. Ах! Это он! Вот он! *(Делает усилие, чтобы встать.)*

Появляется Жан Мартинель.

Жан! Жан! Наконец! *(Приподнимается и протягивает ему руки.)*

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же и Жан Мартинель.

Жан *(бросается на колени около шезлонга и целует руки Мюзотты)*. Бедная, милая Мюзотта! *(Плачет и вытирает глаза. Некоторое время они остаются неподвижными. Наконец Жан подымается и здоровается с Пеллереном.)*

Пеллерен. Я хорошо сделал?

Жан. Хорошо! Благодарю вас!

Пеллерен *(представляя)*. Госпожа Флаш, акушерка... Кормилица. *(Важным жестом показывая на колыбель.)* А вот...

Жан подходит к колыбели, приподнимает полог, наклоняется и целует ребенка, утопающего в кружевах.

Жан *(подымаясь)*. У него вполне здоровый вид.

Пеллерен. Прекрасный ребенок!

Г-жа Флаш. Великолепный! Это моя жемчужина в этом месяце.

Жан *(тихо)*. А как ее здоровье?

Мюзотта *(услыхав)*. О, я умираю. Это конец. *(Жану)*. Возьми стул, сядь поближе; поговорим, пока я еще в силах. Мне столько надо сказать тебе! Ведь мы больше не увидимся. Ты-то успеешь быть счастливым, а я... я... О! Прости! Прости! Я так рада видеть тебя, что все остальное мне безразлично.

Жан *(подходит к ней)*. Не волнуйся, не шевелись, Мюзотта.

Мюзотта. Как же я могу не волноваться, когда снова вижу тебя?

Жан *(пододвигает маленький стул и садится, потом берет Мюзотту за руку)*. Бедная Мюзотта! Каким ударом было для меня, что ты так больна!

Мюзотта. Наверно, жестоким ударом, особенно сегодня.

Жан. Как, ты знала?

Мюзотта. Да, с тех пор как я почувствовала себя плохо, я справлялась о тебе каждый день. Я не хотела уйти из жизни, не повидав тебя: мне нужно поговорить с тобой.

По знаку Жана г-жа Флаш, Пеллерен и Бабен выходят в правую дверь.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Мюзотта, Жан.

Мюзотта. Ты получил письмо?

Жан. Да.

Мюзотта. И сразу пришел?

Жан. Конечно.

Мюзотта. Спасибо, ах, спасибо! Видишь ли, я долго колебалась, извещать тебя или нет; колебалась до сегодняшнего утра. Но я слышала разговор акушерки с кормилицей и поняла, что завтра, может быть, будет поздно; я вызвала доктора Пеллерена, узнала о тебе и решила позвать тебя.

Жан. Почему же ты не позвала меня раньше?

Мюзотта. Я не думала, что дело обернется так серьезно. Я не хотела вносить расстройство в твою жизнь.

Жан *(показывая на колыбель)*. Но ребенок... Почему я о нем не знал?

Мюзотта. Ты никогда и не узнал бы о нем, если бы он не убил меня. Я бы избавила тебя от этой заботы и помехи в твоей новой жизни. Когда мы расстались, ты меня обеспечил. Все было кончено между нами. Останься я жива, разве ты поверил бы мне, если бы я тебе сказала: «Это твой сын»?

Жан. Поверил бы. Я никогда не сомневался в тебе.

Мюзотта. Ты такой же добрый, как всегда, мой Жан. Так знай, я тебе не лгу. Эта крошка — твой сын, клянусь в этом на смертном одре, клянусь перед богом!

Жан. Я сказал, что верю тебе и всегда бы поверил...

Мюзотта. Слушай, вот как это случилось. Когда

ты меня покинул, я заболела... очень заболела... Я думала, что умру, так мне было плохо. Мне предписывали перемену климата. Ты помнишь?.. Это было летом... Я поехала в Сен-Мало, знаешь, к той старой родственнице, о которой часто говорила тебе...

Жан. Да... да...

Мюзотта. Там-то спустя некоторое время я и узнала, что будет ребенок... от тебя. Моим первым побуждением было сообщить тебе. Ты честный человек... Ты признал бы ребенка, а может быть, даже отказался бы от женитьбы... Но вот этого я и не хотела! Все было кончено, не правда ли? Так и должно было остаться... Я прекрасно понимала, что не могу быть твоей женой. *(Смеясь.)* Госпожа Мартинель! Это я-то, Мюзотта! Подумать только!

Жан. Ах, бедный друг! До чего мы, мужчины, грубы и жестоки, сами того не сознавая и не желая!

Мюзотта. Не говори так! Я не была создана для тебя. Я была только натурщицей, ты же художник. Я никогда и не думала, что останусь с тобой навсегда.

Жан рыдает.

Ну, будет! Не плачь. Тебе не в чем упрекать себя: ты всегда был добр ко мне. Это бог поступил со мною жестоко!

Жан. Мюзотта!

Мюзотта. Не мешай мне говорить. Я пробыла в Сен-Мало сколько могла, скрывая свое положение... Потом вернулась в Париж, и через несколько месяцев родился малютка. Ребенок! Когда я поняла, что случилось, мне сперва сделалось страшно... Да, страшно. Потом я подумала, что ведь это твоя кровь, частица твоей жизни, что он останется у меня, как что-то твое! Глупа бываешь, когда необразованна, и мысли путаются, словно у тебя ветер в голове... И вот я сразу обрадовалась, думала, что буду его воспитывать, что он будет расти, что он будет звать меня мамой... *(Снова рыдает.)* А он теперь уж никогда не скажет мне «мама», никогда не обнимет меня ручонками: я должна покинуть его и уйти неведомо куда... куда уходят все! Боже мой! Боже мой!

Жан. Успокойся, милая Мюзотта. Разве ты могла бы говорить, если бы была так плоха, как думаешь?

Мюзотта. А ты разве не видишь, что меня жжет лихорадка, что я теряю голову и сама не знаю, что говорю?..

Жан. Да нет же, нет... Успокойся.

Мюзотта. Ты успокой меня. Ты можешь меня успокоить.

Жан *(целует ей волосы, потом продолжает)*. Вот так... Теперь помолчи немного. Побудем так, друг подле друга.

Мюзотта. Но мне нужно говорить. Столько еще надо сказать тебе! А я не могу, в голове все спуталось... О боже мой! Я все забыла... *(Она приподнимается, смотрит вокруг себя и замечает колыбель.)* Ах, да! Вспомнила... Это о нем, о ребенке. Скажи, что ты с ним сделаешь? Ты ведь знаешь, я сирота. Малютка останется один, совершенно один на свете. Слушай, Жан, я совсем пришла в себя. Я пойму все, что ты мне ответишь, и от этого будет зависеть спокойствие моих последних минут... Мне некому его оставить, кроме тебя.

Жан. Клянусь тебе, что я возьму его к себе и воспитаю.

Мюзотта. Как отец?

Жан. Как отец.

Мюзотта. Ты уже видел его?

Жан. Да.

Мюзотта. Поди посмотри на него еще.

Жан идет к колыбели.

Хорошенький он, а?.. Все говорят это. Посмотри на него. Несчастному малютке всего несколько дней; он наш, ты его папа, я его мама, но сейчас у него больше не будет мамы... *(С отчаянием.)* Обещай, что у него всегда будет папа!

Жан *(возвращаясь к ней)*. Обещаю, дорогая.

Мюзотта. Настоящий папа, который будет его очень любить!

Жан. Обещаю.

Мюзотта. Который будет добрым, добрым, добрым, очень добрым к нему!

Жан. Клянусь тебе в этом.

Мюзотта. И еще одно... Но я не решаюсь...

Ж а н. Говори.

М ю з о т т а. Вернувшись в Париж, я старалась повидать тебя так, чтобы ты меня не заметил, и видела тебя три раза. Ты был с ней, со своей невестой, с женой... и с вами был еще господин, наверное, ее отец. О, как я на нее смотрела! Я спрашивала себя: «Будет ли она любить тебя так, как любила я? Сделает ли она тебя счастливым? Добра ли она?» Скажи, ты веришь, что она добра?

Ж а н. Да, верю.

М ю з о т т а. Ты в этом вполне уверен?

Ж а н. Конечно.

М ю з о т т а. Я тоже это подумала, даже увидев ее мельком. Она так красива! Я немножко ревновала. Вернувшись домой, я плакала. Но как ты будешь выбирать между ней и сыном?

Ж а н. Я исполню свой долг.

М ю з о т т а. А в чем твой долг? Быть с ней или с с ним?

Ж а н. С ним.

М ю з о т т а. Жан, слушай! Когда меня не будет, попроси ее, твою жену, от меня, от имени покойницы, усыновить этого ребенка и полюбить его так, как любила бы я; попроси ее стать его мамой вместо меня. Если она добра и нежна, она согласится. Скажи ей, как я страдала; скажи, что моя последняя просьба, последняя мольба на этом свете была обращена к ней. Ты сделаешь это?

Ж а н. Обещаю.

М ю з о т т а. О, спасибо, спасибо! Больше мне ничего не страшно: мой малютка спасен! Я счастлива, я спокойна. Ах, как я успокоилась!.. Ты знаешь, я назвала его Жаном, в честь тебя... Ты ничего не имеешь против?

Ж а н *(плача)*. О нет!

М ю з о т т а. Ты плачешь! Значит, еще любишь меня немножко? Спасибо, Жан, спасибо... Ах, если бы не умереть! А впрочем, это возможно. Я себя лучше чувствую с тех пор, как ты здесь и мне все обещал; я больше уж не тревожусь. Дай мне руку. Теперь я вспоминаю всю нашу жизнь, я довольна, мне почти весело, мне хочется смеяться... Хочется смеяться, сама не знаю, почему. *(Смеется.)*

Жан. Успокойся, милая Мюзотта!

Мюзотта. Если бы ты знал, какие на меня нахлынули воспоминания! Помнишь, как я позировала тебе для «Нищенки», для «Продавщицы фиалок», для «Грешницы», за которую ты получил свою первую медаль?.. А завтрак у Ледуайена в день вернисажа? Больше двадцати пяти человек за столом на десятерых. Сколько тогда глупостей наговорили! Особенно тот маленький... маленький... как его? Такой маленький шутник, он постоянно пишет портреты и всегда непохожие... Ах, да, Таверньe!.. А когда ты перевез меня к себе и поместил в той комнате, где стояли два больших манекена... Я боялась их ночью... Я звала тебя, и ты приходил меня успокаивать. Ах, как это было смешно!.. Помнишь? *(Опять смеется.)* Если бы это могло повториться снова! *(Вскрикивает.)* Ах, мне больно!.. Больно... *(Жану, который хочет позвать доктора.)* Нет! Останься! Останься! *(Пауза. Ее выражение лица и тон вдруг меняются.)* Смотри, какая замечательная погода! Хочешь, поедем с ребенком покататься в лодочке?.. Я так люблю эти лодочки! Они такие красивые... Быстро-быстро скользят по воде и совсем бесшумно! Если я твоя жена, то могу встать, я выздоровела... Милый! Я никогда не думала, что ты женишься на мне... А наш малютка, посмотри, какой он хорошенький, как он вырос... Его зовут Жаном, как и тебя... У меня два маленьких Жана, и оба мои!.. Как я счастлива!.. Знаешь, он сегодня начал ходить!.. *(Опять смеется, протягивая руки вперед, как бы показывая ребенка, которого видит перед собой.)*

Жан *(плача)*. Мюзотта, Мюзотта, ты меня узнаешь?

Мюзотта. Как же мне не узнать тебя, ведь я твоя жена! Обними меня, милый! Обними меня, любовь моя...

Жан *(обнимает ее, рыдая и повторяя)*. Мюзотта, Мюзотта!

Мюзотта приподымается и указывает Жану рукой на колыбель, к которой тот направляется, кивнув ей утвердительно головой. Когда Жан доходит до колыбели, Мюзотта становится на колени и безжизненно падает обратно на шезлонг.

Жан *(испуганно зовет)*. Пеллерен! Пеллерен!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Те же. Пеллерен, г-жа Флаш, Бабен вбегают в правую дверь.

Пеллерен *(быстро подойдя к Мюзотте, наклоняется и прислушивается)*. Сердце не бьется. Дайте зеркало, госпожа Флаш.

Жан. Ах, мне страшно!

Г-жа Флаш передает Пеллерену ручное зеркало, которым тот медленно проводит перед ртом Мюзотты.

Пеллерен *(тихо)*. Умерла!

Жан *(бросается к умершей и долго целует ей руку; голос его дрожит от слез)*. Прощай, бедная подруга! Подумать только, минуту назад она говорила со мной!.. Минуту назад она смотрела на меня, узнавала, видела... И все кончено!

Пеллерен *(подходя к нему и беря его за плечо)*. Уходите! Уходите! Вам больше здесь нечего делать. Вы исполнили свой долг. Уходите!

Жан *(вставая)*. Иду!.. Прощай, бедная Мюзотта!

Пеллерен. Здесь я обо всем позабочусь, сегодня же. Но ребенок... Хотите, я помещу его в приют?

Жан. Нет, нет, я его беру. Я поклялся в этом покойнице. Поезжайте сейчас же с ним ко мне... Потом я попрошу вас о другом одолжении. Но... с ней... Кто останется с ней?

Г-жа Флаш. Я, сударь. И будьте покойны, я это дело знаю.

Жан. Благодарю вас, сударыня. *(Подходит к кровати, закрывает глаза Мюзотте и целует ее в лоб долгим поцелуем.)* Прощай... навсегда. *(Медленно идет к колыбели, приоткрывает ее, целует ребенка и говорит ему твердым, но полным слез голосом.)* До скорого свидания, маленький Жан! *(Порывисто уходит в среднюю дверь.)*

АКТ ТРЕТИЙ

Декорация первого акта.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Г-н де Петипре, г-жа де Роншар, г-н Мартинель, Леон де Петипре.

Г-жа де Роншар *(взволнованно ходит взад и вперед, не присаживаясь)*. Без семи двенадцать! Уже почти два часа, как он ушел!

Леон *(сидит с левой стороны)*. Ну, тетя, если считать полчаса на дорогу в экипаже да полчаса на обратный путь, ему остается всего час на то, что нужно сделать.

Г-жа де Роншар. Значит, то, что ему нужно сделать,— долгая история?

Леон. Да, тетя. И зачем нервничать из-за каких-то минут? Ваше волнение ничего не изменит, не ускорит ни на секунду возвращение Жана, и стрелки часов не побегут быстрее.

Г-жа де Роншар. Как можно не нервничать, когда люди в тревоге, когда сердце колотится и слезы подступают к глазам?

Леон. Видите, тетя, вы совсем не такая злая.

Г-жа де Роншар. Ты мне надоел!

Мартинель *(сидя около стола)*. Не мучьте себя, сударыня. Положение щекотливое, но нет ничего тревожного и угрожающего, надо только сохранить в нужный момент хладнокровие и рассудок.

Леон. Да, тетя, господин Мартинель прав.

Г-жа де Роншар *(переходя направо)*. Прибить бы вас обоих! Вы обо всем знаете и ничего не хотите сказать... Как ужасны эти мужчины! Никаким способом не заставишь их выдать тайну.

Мартинель. Придет Жан и все расскажет. Немного терпения.

Петипре. Да, надо успокоиться. Поговорим о другом или помолчим...

Г-жа де Роншар. Помолчать? Это самое трудное...

Слуга *(входя в правую дверь)*. Внизу спрашивают господина Мартинеля.

Мартинель. Вы позволите? *(Слуге.)* Хорошо! Хорошо! Иду. *(Уходит в правую дверь.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же, кроме Мартинеля; слуга.

Г-жа де Роншар *(быстро подходя к слуге)*. Батист... Батист... Кто спрашивает господина Мартинеля?

Слуга. Не знаю, сударыня, наверх поднялся швейцар.

Г-жа де Роншар. Подите посмотрите незаметно и вернитесь сказать нам.

Петипре *(вставший, когда вошел слуга)*. Нет. Я не хочу шпионить за ними. Подождем. Теперь уже недолго *(Слуге.)* Ступайте.

Слуга уходит.

Г-жа де Роншар. Я тебя не понимаю, Адольф! Ты так спокоен. Можно подумать, что это не касается счастья твоей дочери. Я же вся киплю.

Петипре. Какой от этого толк?

Г-жа де Роншар. Ах, если бы мы делали лишь то, от чего бывает толк!

Петипре *(садясь с правой стороны стола)*. Давайте лучше поговорим. Поговорим рассудительно. Господин Мартинель ушел, и мы одни.

Г-жа де Роншар *(садясь рядом)*. Пускай бы он вернулся обратно в Гавр!

Леон *(садясь с левой стороны стола)*. А что изменилось бы, если бы он был в Гавре?

Петипре. Я лично полагаю...

Г-жа де Роншар *(перебивая его)*. Угодно вам знать мое мнение? Нам что-то готовят, и нас собираются во что-то впутать.

Петипре. А чего ради? С какой целью? Господин Жан Мартинель — честный человек, он любит мою дочь. Леон, мнение которого я ценю, хотя он и мой сын...

Леон. Спасибо, папа!

Петипре. ...Леон питает к нему уважение и дружбу. Что же касается дяди...

Г-жа де Роншар. Не будем говорить о них, прошу тебя. Нас хочет во что-то впутать эта женщина. Она разыграла какую-то комедию, а сегодняшний день выбрала для развязки. Это театральный прием. Коварная интрига!

Л е о н. Как в Амбигю.

Г-ж а д е Р о н ш а р. Не шути. Я знаю этих женщин. Достаточно я от них настрадалась.

П е т и п р е. Эх, бедная Кларисса, если бы ты сумела понять своего мужа, ты бы его удержала!

Г-ж а д е Р о н ш а р *(вставая)*. Что ты называешь понять его? Простить, жить с этим шалопаем, никогда не зная, откуда он возвращается домой? Я уж предпочитаю разбитую жизнь и одиночество... с вами!

П е т и п р е. Как супруга, ты по-своему, конечно, была права. Но существуют и другие точки зрения, менее эгоистичные и, безусловно, более высокие, например, точка зрения семьи.

Г-ж а д е Р о н ш а р. Семьи? Ты, судья, говоришь мне, что я была неправа с точки зрения семьи?

П е т и п р е. То, что я был судьей, сделало меня очень осторожным. Перед моими глазами прошло столько двусмысленных, столько страшных драм,— они мучили мою совесть и доставили мне жестокие часы сомнений. Нередко человек так мало может отвечать за себя, а обстоятельства так сильны, непостижимая человеческая природа так капризна, инстинкты так таинственны, что надо быть терпимым и даже снисходительным к ошибкам, которые не имеют ничего общего с преступлениями и совершенно не доказывают наличия в данном человеке злого умысла или порочности.

Г-ж а д е Р о н ш а р. Обманывать жену — это не злодейство? И ты говоришь так в присутствии сына? Хорошее воспитание! *(Переходит налево.)*

Л е о н. О тетя, у меня на этот счет мнение уже сложилось.

П е т и п р е *(вставая)*. Это раньше было преступлением, а теперь смотрят иначе. Теперь это считается настолько естественным, что почти не подлежит наказанию. Это наказывают разводом, а он для многих — освобождение. Теперь закон предпочитает разъединять втихомолку, при закрытых дверях, а не карать, как раньше...

Г-ж а д е Р о н ш а р. Ваши нынешние теории возмутительны!.. И я считаю...

Л е о н *(вставая)*. А вот и господин Мартинель.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же, г-н Мартинель.

Мартинель *(очень взволнованно)*. Я должен выполнить крайне щекотливое поручение. Жан поехал к себе. Он не осмеливается появиться здесь, а ко мне прислал доктора Пеллерена. Он уполномочил меня поставить вас в известность о горестном положении, в котором находится он, как и все мы.

Г-жа де Роншар. Наконец мы что-то узнаем!

Мартинель. Письмо, доставленное сегодня вечером сюда, сообщило нам ошеломляющую новость. Я дам его вам прочесть. Женщина, о существовании которой вы все знаете, была при смерти.

Г-жа де Роншар. Говорила же я, что дело идет о ней!

Леон. Не мешайте ему, тетя.

Г-жа де Роншар. Ну, а теперь, когда они повидались, как здоровье вашей умирающей? Конечно, лучше?

Мартинель *(просто)*. Она умерла, сударыня, умерла в его присутствии.

Г-жа де Роншар. Именно сегодня?.. Не может быть!

Мартинель. Тем не менее это так, сударыня.

Леон *(в сторону)*. Бедная Мюзотта!

Мартинель. Но есть еще одно серьезное обстоятельство. Она оставила ребенка, и этот ребенок от Жана.

Г-жа де Роншар *(пораженная)*. Ребенок!

Мартинель *(г-ну Петипре)*. Прочтите письмо врача, сударь. *(Передает ему письмо, которое Петипре читает.)*

Г-жа де Роншар. У него был ребенок, и он об этом ничего не сказал, не признался, скрыл его от нас? Как это бесчестно!

Мартинель. Он сам только что узнал об этом.

Г-жа де Роншар. Только что... Это уж слишком! Вы смеетесь над нами, сударь.

Леон. Но дайте же отцу ответить, тетя! А я пойду за Жильбертой. Она, наверно, умирает от тревоги. Мы не имеем больше права скрывать от нее истину. Я скажу ей все.

Г-жа де Роншар *(следуя за ним)*. Что бы ты ни говорил, что бы ни делал, ты этим ничего не уладишь.

Леон *(у левой двери)*. Во всяком случае, ничего не запутаю, как делаете вы! *(Уходит.)*

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Петипре, Мартинель, г-жа Роншар.

Петипре *(кончив читать письмо)*. Итак, сударь, вы утверждаете, что ваш племянник не знал о положении этой женщины?

Мартинель. Клянусь честью!

Г-жа де Роншар. Это невероятно!

Мартинель. Отвечу только одно. Если бы он знал, мог ли бы он сделать то, что сделал сегодня вечером?

Петипре. Говорите яснее.

Мартинель. Очень просто! Если бы он раньше знал об опасности, в которой находится эта женщина, неужели он стал бы ждать до последнего часа? Неужели выбрал бы именно этот вечер, эту торжественную минуту, чтобы пойти проститься с умирающей и обнаружить перед всеми существование незаконного ребенка?.. Да ведь таких детей прячут всеми способами, черт подери! Вам, сударь, так же хорошо это известно, как и мне. Чтобы нас всех так взволновать, чтобы так погубить свое будущее, надо быть болваном, а Жан не таков. Знай он раньше обо всем, неужели он не признался бы мне и я тоже был бы так глуп, что не сумел бы избежать этой катастрофы? То, что я вам говорю, ясно, как божий день.

Г-жа де Роншар *(волнуясь и продолжая ходить взад и вперед по левой части сцены)*. Ясно, как божий день... ясно, как божий день...

Мартинель. Ну да! Если б эта новость не свалилась как снег на голову, лишив всех рассудка, у нас с ним было бы время обсудить, сговориться, и мы могли бы скрыть от вас все. И вы ни черта не узнали бы! Наша вина, что мы слишком искренни и слишком честны. Впрочем, я об этом не жалею. В жизни всегда нужно поступать честно.

Г-жа де Роншар. Позвольте, сударь...

Петипре. Замолчи, Кларисса! *(Мартинелю.)* Хо-

рошо, сударь. Речь идет не о вашей чести и не о вашей честности, которых абсолютно никто не оспаривает. Я согласен допустить, что ваш племянник ничего не знал о положении вещей. Но ребенок? Где у вас доказательство, что это его ребенок?

Мартинель. А какие доказательства у Жана? Однако он поверил, хотя — провалиться ему! — это было не в его интересах. Когда вдруг появляется маленький пискун, которого вы не ждали, да еще в самый день вашей свадьбы,— тут нечему радоваться! Однако он поверил. И я, и вы, и все мы — разве мы не согласились бы на то, на что согласился он, на что согласился отец?.. Полно вам! *(Пауза.)* Вы требуете от меня доказательств, что это ребенок Жана?

Г-жа де Роншар и Петипре. Да

Мартинель. Докажите, что он не от него

Г-жа де Роншар. Вы требуете невозможного.

Мартинель. И вы тоже... Единственный судья в этом деле — мой племянник. Нам остается принять его решение.

Г-жа де Роншар. Однако...

Петипре. Замолчи, Кларисса!.. Господин Мартинель прав.

Г-жа де Роншар. Опять прав?

Мартинель. Никогда нельзя быть правым наполовину, сударыня. *(Г-ну Петипре.)* Я был уверен, что вы поймете меня, сударь. Вы человек здравого ума.

Г-жа де Роншар. А кто же тогда я?

Мартинель. Вы светская женщина, сударыня.

Г-жа де Роншар. Вот именно как светская женщина я и протестую, сударь. Хорошо вам рассуждать, но факт остается фактом: господин Жан Мартинель преподносит своей супруге в виде свадебного подарка в день бракосочетания незаконного ребенка. И я спрашиваю вас: может ли женщина, светская она или нет, примириться с этим?

Петипре. На этот раз права моя сестра, господин Мартинель.

Г-жа де Роншар. Хорошо, что хоть на этот раз!

Петипре. Дело идет о несомненном, очевидном и не подлежащем спору факте, который создает для нас невыносимое положение. Мы отдали нашу дочь че-

ловеку, свободному от какой-либо связи, от каких-либо жизненных оков. И вот случилось то, о чем вы знаете. За последствия должен расплачиваться он, а не мы. Наше доверие оскорблено и обмануто, и согласие, данное нами на этот брак, ни в коем случае не было бы дано при обстоятельствах, какие складываются теперь.

Г-жа де Роншар. Конечно, не было бы дано! Мы дважды отказали бы, а не один раз! К тому же этот ребенок явится, безусловно, причиной ссор между нами всеми. Подумайте: Жильберта ведь тоже станет матерью. Сколько будет ревности, соперничества, может быть, ненависти между этим втирушей и другими! Это дитя будет яблоком раздора!

Мартинель. Нет, тысячу чертей! Этот малютка ни для кого не будет бременем. Благодаря Жану мать ребенка, наверно, оставила ему средства, которые обеспечат ему безбедное существование. А позже, когда он вырастет, он будет работать, черт возьми! Он будет жить, как жил я, как живут девять десятых человечества. Одним дармоедом будет меньше, и тем лучше!

Петипре. Кто же возьмет на себя заботу о нем до этого времени?

Мартинель. Я, если хотите. Я холостяк, я перестал заниматься делами. Это меня займет... развлечет... Я готов взять с собою этого крошку. *(Посмотрев на г-жу де Роншар.)* Но, может быть, вы, сударыня, вы, любящая спасать бездомных собак?..

Г-жа де Роншар. Этого ребенка? Мне?.. О, это уже переходит все границы! *(Проходит направо.)*

Мартинель. В самом деле, сударыня, если вы будете настаивать, я от всего сердца уступлю вам свое место.

Г-жа де Роншар. Нет, сударь... Я этого еще не сказала...

Мартинель. Еще не сказали... Но, может быть, вы это еще скажете... Потому что я, знаете ли, начинаю вас понимать. Вы притворяетесь злой, и только!.. Вы были несчастны в жизни... Вы скисли, как молоко, на поверхности... Но внутри... там масло первого сорта.

Г-жа де Роншар *(уязвленная)*. Какое сравнение!.. Молоко, масло... Фу, какая мерзость!

Петипре. Однако, Кларисса...
Мартинель. Вот и ваша дочь.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Те же, Жильберта и Леон входят из левой двери.

Петипре. Прежде чем ты встретишься с мужем... если только тебе следует с ним встретиться, нам нужно сообща решить, что ты ему скажешь.

Жильберта *(очень взволнованная, садится с левой стороны стола)*. Я так и знала, что произошло несчастье.

Мартинель *(садится около нее)*. Да, дитя мое. Но есть два рода несчастий. Одни происходят от ошибок людей, другие исключительно от рокового стечения обстоятельств, то есть от судьбы. В первом случае человек виновен, во втором — он жертва. Вы меня хорошо понимаете?

Жильберта. Да, сударь.

Мартинель. Несчастье, постигшее одного человека, может жестоко задеть другого. Но разве раненное без вины сердце не простит тому, кто невольно нанес ему рану?

Жильберта *(страдальческим голосом)*. Это зависит от того, насколько сильно было страдание...

Мартинель. Вы знали, что у моего племянника, до того как он полюбил вас и до того как у него появилась надежда жениться на вас, была... связь. Вы приняли этот факт. Он, впрочем, так обычен.

Жильберта. Да, я приняла его.

Мартинель. Ваш брат сообщил сейчас вам обо всем остальном?

Жильберта. Да, сударь.

Мартинель. Что же мне ответить Жану?

Жильберта *(вставая и подходя к авансцене)*. Я еще слишком взволнована, чтобы сказать вам. Я совсем не думала об этой женщине. Живая она была мне безразлична, но ее смерть пугает меня. Мне кажется, что она встала между мною и Жаном и будет стоять всегда. Все, что я узнала о ней, причинило мне странную боль. Вы тоже знали эту женщину, сударь?

Мартинель *(тоже вставая)*. Да, сударыня, и мог бы сказать о ней только хорошее. Ваш брат и я, мы всегда считали ее безупречной по отношению к Жану. Она любила его настоящей любовью, преданно, верно, беззаветно. Я говорю как челозек, которого глубоко опечалила связь Жана,— ведь я считал, что заменяю Жану отца. Но надо быть справедливым ко всем.

Жильберта. А Жан тоже очень любил ее?

Мартинель. Да, конечно. Но его любовь уже ослабевала. Между ними была слишком большая разница и в развитии и в общественном положении. Однако он был к ней привязан из благодарности за глубокую любовь с ее стороны.

Жильберта *(серьезно)*. Жан видел, как она умерла?

Мартинель. Он успел проститься с нею.

Жильберта *(вполголоса)*. Если б мне только узнать, что произошло в его душе в этот момент! О, насколько эта покойница страшнее для меня, чем живая!

Г-жа де Роншар *(сидевшая на правой стороне, вставая и идя в глубь сцены)*. Я тебя перестаю понимать. Она умерла, и тем лучше. Бог избавил тебя от нее!

Жильберта. Нет, тетя, у меня сейчас такое тяжелое чувство! Я предпочла бы, чтобы она была где-нибудь далеко, но была жива.

Петипре *(подходя к авансцене)*. Я понимаю это чувство молодой женщины, потрясенной ужасным событием. Я вижу только одно серьезное, очень серьезное осложнение — это ребенок. Как бы с ним ни поступить, он не перестанет быть сыном моего зятя и опасностью для нас всех.

Г-жа де Роншар. И посмешищем. Подумайте только, что скажут в свете!

Леон. Оставим свет в покое, тетя, и займемся нашими собственными делами! *(Подходя к сестре.)* А тебя, Жильберта, очень мучит мысль о ребенке?

Жильберта. О нет! Бедный крошка!

Петипре. Вот безумие, сразу видно, что женщины ничего не понимают в жизни.

Леон. Ах, папа! Почему у нас бывает разная мораль,— когда мы зрители и когда мы участники собы-

тий? Почему такая разница между воображаемой и реальной жизнью,— между тем, что̀ следовало бы делать, что̀ мы хотели бы, чтобы другие делали, и тем, что̀ делаем сами?.. Да, случившееся очень тяжело; неожиданность же этого события, его совпадение с днем свадьбы делают его еще тяжелее. Но мы все преувеличиваем своими переживаниями только потому, что все это происходит в нашей семье. А представьте себе, что вы прочли об этом в вашей газете...

Г-жа де Роншар *(сидя с левой стороны стола, с возмущением)*. Да разве в моей газете...

Леон. Или в романе! Сколько было бы волнений! Боже мой, сколько слез! Как быстро вызвал бы вашу симпатию этот несчастный ребенок, рождение которого стоило матери жизни!.. С каким уважением отнеслись бы вы к Жану, честному, прямому и неизменно доброму! А если бы он бросил умирающую и скрыл ребенка в какой-нибудь пригородной деревне, сколько бы презрения... сколько порицаний досталось на его долю!.. Он стал бы человеком бессердечным, бездушным. И вы, тетя, подумав о бесчисленных собачках, обязанных вам своей жизнью, вы, конечно, воскликнули бы с величественным жестом: «Какой негодяй!»

Мартинель *(сидя с левой стороны сцены)*. Ну конечно!

Г-жа де Роншар. Собаки лучше людей!

Леон. Дети еще не люди, тетя. Они еще не успели сделаться злыми.

Петипре. Все это очень остроумно, Леон, и ты замечательный адвокат.

Г-жа де Роншар. Если бы ты так говорил на суде!

Петипре. Но здесь дело идет не о романе и не о вымышленных персонажах. Мы выдали Жильберту за молодого человека, холостого и без семьи.

Г-жа де Роншар. Выдали без всякого энтузиазма!

Петипре. Без энтузиазма, это правда! Но так или иначе, мы ее выдали. И вот в день свадьбы он приносит нам подарок... Я не хочу этого пискливого подарка.

Леон. Но не доказывает ли это, что у тебя зять —

честный парень? То, что он сделал, рискуя своим счастьем, чтобы выполнить свой долг,— разве это не свидетельствует лучше всего, на какую преданность он способен?

Мартинель. Это ясно, как божий день!

Г-жа де Роншар *(в сторону)*. Как надоел этот человек из Гавра!

Петипре. Значит, по-твоему, допустимо, чтобы Жильберта начала свою замужнюю жизнь с того, что стала приемной матерью незаконнорожденного ребенка своего мужа?

Леон. Вполне. Я считаю допустимым все, что благородно и бескорыстно. И ты думал бы точно так же, если бы дело шло не о твоей дочери.

Петипре. Нет, это — недопустимое положение.

Леон. Что же ты тогда предлагаешь?

Петипре. Развод, черт возьми! Сегодняшний скандал — достаточный повод.

Г-жа де Роншар *(вставая)*. Жильберта — разведенная жена!.. Да ты подумай, что говоришь!.. Половина наших друзей закроет перед нею двери, большинство ее знакомств расстроится. Развод!.. Полно вам! Полно! Несмотря на все ваши новые законы, развод не вошел в обычай и не скоро войдет... Религия его запрещает, свет принимает его, но смотрит косо, а уж когда против тебя и религия и свет...

Петипре. Однако статистика доказывает...

Г-жа де Роншар. Ах, уж эта статистика! Ее можно заставить говорить что угодно!.. Нет, о разводе Жильберты не может быть и речи!

Общий вздох облегчения.

(Продолжает кротким голосом.) Просто маленькая разлука. Это допустимо. Это хороший тон. Они разойдутся... Мне же пришлось... Все порядочные люди расходятся, это вполне прилично, тогда как развестись...

Леон *(серьезно)*. Мне кажется, что здесь только одно лицо имеет право решать, а мы об этом забываем! *(Сестре.)* Ты все слышала. В твоей власти и суждение и решение... От тебя, от одного твоего слова зависит прощение или разрыв... Отец высказал тебе свои доводы. Что отвечает на них твое сердце?..

Жильберта хочет говорить, но останавливается и начинает плакать.

Подумай также, что, отказываясь простить, ты ударишь и по мне и что я... буду мучиться, если увижу тебя несчастной только из-за упорного желания сказать «нет». Господин Мартинель просил сейчас дать ответ для передачи Жану. Но мы сделаем иначе: я пойду за ним. Он узнает свою судьбу из твоих уст, вернее, из твоего взгляда. *(Тихонько подводя ее к авансцене.)* Сестренка, сестренка, не будь слишком горда... Не будь тщеславна. Слушай, что говорит тебе твое горе, твое сердце... Слушай хорошенько... чтобы не спутать его голоса с голосом гордыни.

Жильберта. Но во мне нет гордыни. Я сама не знаю, что чувствую. Мне плохо. Для меня отравлена всякая радость...

Леон. Берегись. В такие моменты достаточно очень немногого, чтобы нанести неизлечимые раны!

Жильберта. Нет... нет... я слишком взволнована... Я, может быть, буду суровой, я боюсь и его и себя... Я боюсь все разрушить или во всем уступить.

Леон. Я иду.

Жильберта *(решительно)*. Нет! Я не хочу... Я тебе запрещаю...

Леон. Знаешь, что я тебе скажу, Жильберта? Ты совсем не такая смелая, как я думал!

Жильберта. Почему?

Леон. Потому что в такие моменты надо уметь сразу сказать либо «да», либо «нет».

Жан появляется в правой двери.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Те же. Жан Мартинель стоит на пороге.

Жильберта *(подавляя крик)*. Он!..

Леон *(идя к нему и пожимая ему руки)*. Ты?

Жан. Я, как подсудимый, ожидающий приговора: оправдания или смерти. Никогда не забуду этих минут.

Леон. Твой дядя и я сказали все, что могли. Говори.

Жан. Ах, я не в силах!.. Я могу сказать только мо-

ей жене... При всех я не посмею... Я прошу у нее одну минуту; после этого я уйду, покину этот дом, если она потребует этого. Я поступлю, как она захочет, стану тем, чем она прикажет стать. Но я хочу услышать из ее уст решение моей участи. *(Жильберте.)* Вы не можете отказать мне в этом, сударыня. Если моя единственная мольба к вам будет отвергнута, то, даю клятву, я не обращусь к вам больше никогда ни с какой просьбой.

Они стоят друг против друга.

Жильберта. Нет, в самом деле, я не могу отказать. Отец, тетя, оставьте меня на несколько минут одну с... господином Мартинелем. Вы видите, я спокойна.

Петипре. Все же...

Жан *(с живостью г-ну де Петипре)*. Сударь, я ни в чем не буду противоречить вашей воле. Я ничего не сделаю без вашего одобрения. Я не затем вернулся сюда, чтобы оспаривать ваш авторитет или говорить о каком-то своем праве. Я почтительно прошу у вас позволения остаться на несколько минут наедине... со своей женой! Подумайте, что это, быть может, наше последнее свидание и что от него зависит наше будущее.

Г-жа де Роншар. Нас интересует только будущее Жильберты.

Жан *(г-же де Роншар)*. Я обращаюсь к вашему сердцу, сударыня, к вашему исстрадавшемуся сердцу. Не забывайте, что горечь и раздражение против меня проистекают от зла, которое вам причинил другой. Он разбил вашу жизнь, так не желайте мне за это зла. Вы были несчастны, вы были замужем меньше года... *(Показывает на Жильберту.)* Неужели вы хотите, чтобы она была замужем меньше одного дня и потом говорила бы о своей разбитой жизни, навсегда сохранив воспоминания о сегодняшней катастрофе?

Г-жа де Роншар делает движение.

Я знаю, что вы добры, хотя и подавляете в себе доброту, и я обещаю вам, сударыня, если останусь мужем Жильберты, любить вас, как сын, как достойный вас сын.

Г-жа де Роншар *(очень взволнованно, обраща-*

ясь к самой себе). Как сын!.. Он меня совсем растрогал! *(Вполголоса г-ну де Петипре.)* Пойдем, Адольф, оставим их одних, раз уж он этого просит. *(Целует Жильберту.)*

Петипре *(Жану).* Ну, хорошо, сударь. *(Идет в глубину сцены и выходит в среднюю дверь под руку с сестрой.)*

Мартинель *(Леону).* Уж они поговорят... вот так... *(Ударяет себя в грудь.)* Вот где настоящее красноречие! *(Уходит вместе с Леоном в среднюю дверь.)*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Жильберта, Жан.

Жан. Вы все знаете, не правда ли?

Жильберта. Да, все, и это причинило мне глубокую боль.

Жан. Я надеюсь, что вы не заподозрили здесь никакой лжи и никакой скрытности с моей стороны?

Жильберта. О нет!

Жан. Вы меня порицаете за то, что я был там сегодня?

Жильберта. Разве можно порицать того, кто исполняет свой долг?

Жан. Вы знали об этой женщине... К тому же она умерла.

Жильберта. Именно потому, что она умерла, меня так волнует мысль о ней.

Жан. Этого не может быть! У вас, наверно, какая-нибудь другая причина... *(Нерешительным голосом.)* Ребенок?

Жильберта *(живо).* Нет, нет, вы ошибаетесь! Бедный малютка! Разве он в чем-нибудь виноват? Нет, меня заставляет страдать что-то другое — то, что происходит во мне одной и в чем я не могу вам признаться. От этого болит мое сердце; боль, которую причинили мне слова брата и вашего дяди, была так остра, что я никогда бы не решилась на брак, если бы знала, что мне придется так страдать, став вашей женой.

Жан. Но в чем же дело?

Жильберта. Не могу сказать. *(Садится с левой стороны.)*

Жан *(продолжая стоять)*. Выслушайте меня. Нельзя, чтобы в такой момент между нами оставалась хотя бы тень недоразумения. От этого зависит вся наша жизнь. Вы моя жена, но после того, что произошло, я считаю вас совершенно свободной. Я поступлю так, как вы захотите, я согласен на все условия, даже на развод, если вы этого потребуете. Но что будет со мной? Не знаю; ведь я вас так люблю, что мысль о возможности утратить вас после того, как я вас завоевал, наверно, толкнет меня на какое-нибудь отчаянное решение.

Движение Жильберты.

Я не хочу разжалобить вас или тронуть, я просто говорю вам правду. В продолжение всей этой ночи, потрясенный ужасной драмой, которую я пережил и которая уже позади, я чувствовал, что самую большую боль доставляла мне мысль о вас! Если вы оттолкнете меня, я погиб.

Жильберта *(взволнованно)*. Вы так горячо любите меня?

Жан. Я вас люблю любовью, от которой мне никогда не исцелиться.

Жильберта. Но ее вы тоже любили?

Жан. Я был увлечен. У меня была нежная привязанность к этому милому, преданному существу... *(Вполголоса, страстно.)* Знаете, то, в чем я вам сейчас признаюсь, может быть, низко, даже подло... но ведь я только человек, такой же слабый, как и другие... Вот что: тогда, около этой несчастной девушки, мои глаза плакали, рыдания душили меня, все мое существо трепетало от боли, но в душе, в самой глубине души, я думал только о вас!

Жильберта *(быстро вставая)*. Правда?

Жан *(просто)*. Я не умею лгать.

Жильберта. Ну так вот! Знаете, что заставляло меня сейчас так страдать, когда брат рассказывал мне о вашей связи и об ее смерти? Теперь я могу вам это сказать: я ревновала. Это гадко, не правда ли? Ревновать к мертвой! Но когда он так хорошо говорил

о ней, чтобы разжалобить меня, я почувствовала: она так горячо любила вас, что я после нее, может быть, покажусь вам равнодушной и холодной. От этого я и страдала, этого я и боялась — настолько, что хотела даже отказаться от вас.

Жан. А теперь... Жильберта?

Жильберта *(протягивая ему обе руки)*. Я ваша, Жан!

Жан. О, благодарю... благодарю! *(Целует ей руки. Затем сразу же продолжает, волнуясь.)* Но теперь меня тревожит другое: я обещал этой несчастной женщине взять ребенка и оставить его у себя...

Движение Жильберты.

Это не все... Знаете, каково было ее последнее желание, какова была ее последняя просьба?.. Она умоляла меня поручить его вам...

Жильберта. Мне?

Жан. Вам, Жильберта.

Жильберта *(глубоко взволнованная)*. Она этого хотела, бедняжка?.. Она верила, что я его возьму?..

Жан. Она надеялась, и ей не так тяжело было умирать.

Жильберта *(возбужденно переходит на правую сторону)*. Конечно, я возьму его! Где он?

Жан. У меня.

Жильберта. У вас? Надо сейчас же пойти за ним.

Жан. Уйти, покинуть вас в такую минуту?

Жильберта. Нет... Мы пойдем вместе, ведь я все равно должна была переехать к вам сегодня вечером...

Жан *(радостно)*. О, Жильберта! Но ваш отец не позволит вам.

Жильберта. Тогда, знаете, что надо сделать? Ведь мои вещи перевезены и горничная ждет меня у вас? Надо меня похитить, сударь!

Жан. Похитить вас?

Жильберта. Дайте мне манто, и идемте. Все устроится, все объяснится завтра. *(Показывает ему на манто, оставленное в первом акте на стуле около левой двери.)* Манто!

Ж а н *(быстро берет манто и накидывает ей на плечи)*. Вы самая очаровательная из женщин! *(Берет ее под руку, и они направляются к правой двери.)*

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Те же, г-жа де Роншар, Петипре, Мартинель и Леон выходят из средней двери.

Г-жа де Роншар. Как! Что с вами!.. Вы уходите?

Петипре. Что это значит?

Жильберта. Да, отец, я хотела уйти... с моим мужем, но завтра пришла бы просить у вас прощения за это бегство и объяснила бы его причины.

Петипре. Ты хотела уйти, не простившись с нами, не поцеловав нас?..

Жильберта. Да, чтоб не слышать больше споров.

Леон. Она права, пусть они уходят, пусть уходят!

Жильберта *(бросаясь на шею г-ну де Петипре)*. До завтра, отец! До завтра, тетя!.. Прощаюсь со всеми, я изнемогаю от волнения и усталости.

Г-жа де Роншар *(подходя к ней и целуя ее)*. Да, иди скорее, милочка! Ведь там ребенок ждет мать!

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В настоящий том включены книги Мопассана, изданные в 1890—1891 годах.

Книга «Бродячая жизнь» была выпущена издательством Олендорфа в начале 1890 года. В нее вошли путевые очерки Мопассана, опубликованные в разные годы. Три первые ее главы — «Усталость», «Ночь» и «Итальянское побережье» — появились в «Эко де Пари» в январе 1890 года: первая — 6 января, вторая — 10-го, третья — 15 и 17 января. Прочие главы были опубликованы Мопассаном еще раньше: они появились в качестве хроник в «Фигаро» и «Жиль Блас» за 1885—1886 годы, в «Нувель ревю» за 1886 год и в «Голуа» и «Эко де Пари» за 1888—1889 годы.

В «Бродячей жизни» Мопассан описывает свои впечатления от путешествия по Италии, Сицилии и Тунису. По Италии он путешествовал дважды. Первый раз он выехал из Парижа 18 января 1885 года и посетил Геную, Венецию, Пизу, Флоренцию, Рим и Неаполь. Спутником его сначала был художник Жервекс, а затем литератор Анри Амик, с которым Мопассан посетил Сицилию и Калабрию. 28 марта 1885 года писатель возвратился в Париж. Второе путешествие Мопассан предпринял в августе — октябре 1889 года: это была поездка на яхте вдоль лигурийского и тосканского побережий, подробно описанная в XIV главе воспоминаний Тассара. Мопассан не ограничивался поездкой вдоль берегов Италии: в октябре он сходит на берег в Санта-Маргерита и посещает ряд итальянских городов, в частности Флоренцию и Пизу.

Плодом второго путешествия по Италии была объемистая рукопись, судьба которой необычайна: Мопассан сжег ее в ноябре или декабре 1889 года

Никто из биографов Мопассана еще не уделил внимания этому загадочному происшествию, и о нем известно только сообщение Тассара, однажды утром обнаружившего в камине следы сожженной рукописи и клочки исписанных страниц

«Я не верил своим глазам,— рассказывает Тассар.— Я направился было в угол библиотеки, где вчера находилась рукопись, как вдруг заметил на столе моего господина несколько

страниц с пометкой синим карандашом: «Пересмотреть»... Не оставалось сомнений: рукописи в 220 страниц, представлявшей невыразимую ценность, больше не существовало!.. В ней были собраны воспоминания о путешествии, совершенном моим господином по Италии».

Из последующего крайне скупого рассказа Тассара явствует, что Мопассан уделил в сожженной рукописи много внимания прошлому Италии, в частности ее бесконечным средневековым войнам. «Он описывал женщин Виченцы, заключенных в глубине пещеры, борьбу Пизы, Флоренции и Милана... Это было передано с такой яркостью, словно все эти происшествия развертывались у вас на глазах. Вы волновались, вы чувствовали запах крови на поле битвы, которое он изображал,— словом, это захватывало вас, как сама жизнь... Далее мой господин говорил об искусстве и в особенности о выдающихся талантах этой страны».

Это — все, что известно о сожженной рукописи, и, по словам того же Тассара, только «несколько уцелевших от огня страниц были впоследствии переработаны и опубликованы»; по всей вероятности, речь идет об «Итальянском побережье», третьей главе «Бродячей жизни».

«Я пытался узнать причину уничтожения рукописи,— продолжает Тассар.— Но мой господин отмалчивался и лишь несколько раз сказал мне по поводу Криспи:

— Это низкое существо причиняет много зла своей стране! Я не хочу больше и читать все то, что этот беспринципный человек заставляет печатать в своих газетах по поводу Франции и темперамента ее народа. Но,— прибавил он,— если мне когда-нибудь случится встретиться с ним, не знаю, сумею ли я сдержаться! Я думаю, что выскажу ему такие вещи, которые он не очень-то рад будет услышать!..

Слушая много раз, как господин мой с таким ожесточением говорил об Италии, я заключил, что он предпочел лучше уничтожить свое произведение, чем хорошо отзываться о стране, правители которой преследовали Францию вероломной враждебностью» (Souvenirs... par François. P. 1911, pp. 221—222).

Франческо Криспи (1819—1901), один из крупнейших итальянских политических деятелей XIX века и верный слуга итальянского капитализма, пришел к власти в 1887 году. Он выдвинулся в пору зарождавшихся империалистических стремлений Италии, которые вступили в острое противоречие с империалистическими интересами Франции, особенно после того, как Франция опередила Италию, захватив в 1881 году Тунис. Потеря Туниса, давно заманчивого для Италии благодаря его природным богатствам и стратегическому положению, не только усилила антифранцузские настроения в правящих итальянских кругах, но сыграла активную роль в сближении Италии с Германией и даже со своим вековечным врагом — Австрией. Так образовался в 1882 году Тройственный союз, способствовавший усилению Италии, росту ее колониальных притязаний и разжигавший ее вражду к Франции

За постоянными и все более резкими нападками правящих кругов Италии и ее печати на Францию в марте 1888 года на-

чалась «таможенная война»: итальянское правительство установило высокие пошлины для ввозимых французских товаров, на что Третья республика ответила аналогичными мерами, стараясь, кроме того, восстановить римского папу против Криспи. Положение становилось все напряженней, появлялась перспектива военного столкновения, крайне волновавшая Мопассана, который считал правителей Италии единственными виновниками всего происходящего. Отсюда его раздраженные слова о Криспи, высказанные Тассару.

Так как рукопись Мопассана, несомненно, была проникнута симпатией к Италии и ее культуре, то писатель мог опасаться, как бы в существующей обстановке ее издание не стало невольно разоружать французское общество и притуплять его бдительность по отношению к стране, правителей которой активно поддерживала и поощряла та бисмарко-мольтковская Германия, которую автор «Пышки» и «Мадмуазель Фифи» никогда не переставал ненавидеть...

Конечно, это только предположения, только поиски внутренних причин, толкнувших Мопассана на уничтожение его рукописи. Но повторяем, вопрос этот еще не привлек внимания исследователей Мопассана и, разумеется, нелегок для разрешения.

С путешествиями Мопассана по Италии связаны и два его очерка, напечатанные в «Жиль Блас» в 1885 году: «Венеция» (опубликован 5 мая 1885 года) и «Иския» (опубликован 12 мая 1885 года) (см. XI том). Друг Мопассана Анри Амик, сопровождавший его в путешествии по Италии в 1885 году, сообщает в своих воспоминаниях (En regardant passer la vie.., par l'auteur d'«Amitié amoureuse» et Henri Amic. P. 1903, pp. 38—39), что Мопассан написал тогда и очерк «Неаполь», оставшийся ненапечатанным, но это неверно: то описание Неаполя, о котором говорит Амик, вошло в очерк «Иския».

«Сицилия», четвертая глава «Бродячей жизни», составилась из очерков, связанных с путешествием 1885 года и вскоре после этого напечатанных в газетах. Так, в «Фигаро» появился 13 мая 1885 года очерк «Сицилия, Палермо», а в «Жиль Блас»—три других очерка: «Греческие храмы» (6 сентября 1885 года), «Сера» (29 сентября 1885 года) и «Об одной Венере» (12 января 1886 года).

Три последние главы «Бродячей жизни», а именно «Из Алжира в Тунис», «Тунис» и «На пути в Кайруан», представляют собою запись непосредственных впечатлений от путешествия Мопассана по Алжиру и Тунису в октябре — декабре 1887 года.

Это путешествие Мопассан предпринял, по-видимому, желая отдохнуть и рассеяться после интенсивной работы над «Пьером и Жаном», а также намереваясь пройти курс водолечения на юге. В записях Тассара от ноября и декабря 1887 года не раз говорится о ваннах, которые принимал Мопассан в горячих источниках Хаммам — Рига (Алжир) и в Тунисе.

Путешествие Мопассана по Алжиру и Тунису описано Тассаром в VIII и IX главах его воспоминаний. Здесь говорится о пешеходных экскурсиях Мопассана, о его попытках охотиться, о бытовых условиях его жизни, о посещении им мечетей и гробниц.

Тассар указывает, что к записям своих путевых впечатлений Мопассан приступил уже 17 декабря. Работа день ото дня шла все более интенсивно. Запись от 23 декабря: «Г-н де Мопассан работает все больше и больше. Сегодня я увидел, что груда исписанной им бумаги значительно увеличилась; я считаю, что он пишет за день по 37 страниц школьного формата. Я обратил его внимание на это, сказав, что это слишком много, что он переутомляет себя, что у него опять, пожалуй, возобновятся головные боли. Мои соображения заставляют его улыбнуться, и он отвечает: «Да нет же, нет, я нисколько не устаю; ведь это путевые записки, и с ними все идет, как по маслу, без всякого напряжения, потому что памяти моей хватило бы на два таких пера, как мое».

В несомненной связи с путешествием по Алжиру и Тунису Мопассаном написаны две новеллы: «Аллума» и «Вечер» (см. VIII том). По словам Тассара, Мопассан замышлял написать целый роман на тему о нравах и обычаях городского населения Северной Африки.

Сборник рассказов «Бесполезная красота» был выпущен Аваром в апреле 1890 года и при жизни Мопассана переиздавался без всяких изменений в составе новелл

Мопассан и его издатель долго колебались в выборе заглавия для книги.

Авар писал Мопассану 15 января 1890 года: «Будьте добры подыскать для Вашего тома хорошее заглавие и дайте мне его: я собираюсь основательно заняться подготовкой успеха книги, и как только у меня будет заглавие, я тотчас же пошлю объявления за границу,— этим пренебрегать не следует».

Мопассан сначала желал поставить первой новеллой в сборнике «Оливковую рощу», вызвавшую восхищение известного французского критика Тэна, и озаглавить ею сборник. Но он долго не находил заглавия для самой новеллы и сначала думал назвать ее «Аббат Вильбуа». Лишь 18 января 1890 года он сообщил Авару: «Вот окончательное заглавие для моей новеллы в «Фигаро» и для всего тома — «Оливковая роща». Можете дать о нем объявление, когда захотите».

В ответном письме Авар писал 23 января 1890 года: «Заглавие «Оливковая роща» — абсолютно неподходящее для продажи; таково мое глубокое убеждение, и я проверил его более чем на десяти особах, вполне согласившихся со мною. Первое заглавие, «Аббат Вильбуа», тоже не было вполне удачным, но по сравнению с этим имело громадное преимущество в благозвучности, гармоничности и легко останавливало внимание; я предпочел бы его сотне других. Вы знаете, какую роль играют заглавия для продажи... Пораздумайте, пожалуйста, пока еще есть время, и сообщите мне о своем решении запиской. Пред Вашими оливковыми деревьями, если Вы будете на них настаивать, я, разумеется, склонюсь, но, как говорится, с отчаянием в душе».

Однако и в феврале еще не был решен вопрос о том, какая новелла пойдет в сборнике первой и озаглавит его.

7 марта Авар писал: «Весь том набран, исключая двух последних маленьких новелл; корректуры Вам посланы. В понедельник Вы получите верстку «Оливковой рощи» и новые коррек-

туры гранок «Бесполезной красоты»... Не имею нужды говорить Вам, с какой жадностью я прочел обе Ваши длинные новеллы — другие я ведь уже знал,— и об «Оливковой роще» мне хочется сказать несколько слов. Эта «Оливковая роща» — настоящий шедевр; по-моему, Вы никогда еще не создавали ничего более сильного: это Мопассан во всей полноте его чудесного таланта. Когда дают издателю отведать такой лакомый кусочек, то если только он обладает инстинктивной склонностью к красоте и большому искусству, он не может совладать с глубоким волнением, хотя бы и был всего лишь торговцем бумагой; но это крайне затрудняет для него обычную работу, потому что невозможно ничего читать после этого».

Вопрос о заглавии сборника был решен только в конце марта. В письме от 17 марта к Авару Мопассан говорил: «Относительно вашего тома хочу вас уверить, что «Бесполезная красота» в сто раз ценнее «Оливковой рощи». Мещанской чувствительности последнее произведение придется более по вкусу, но у людей, обладающих этой чувствительностью, нервы вместо суждения. «Бесполезная красота» — ценнейшая новелла из всех, которые я когда-либо написал. Она не что иное, как символ». 25 марта, отвечая на письмо неизвестного корреспондента, Мопассан сообщал: «Разумеется, мы поместим «Бесполезную красоту» во главе тома и дадим ему именно это заглавие, с которым все меня поздравляют».

Сборник «Бесполезная красота» Мопассан посвятил Анри Казалису (1840—1909), одному из своих друзей, врачу и поэту-парнасцу, писавшему под псевдонимом Жан Лаор. Мопассан особенно сблизился с Казалисом в последние годы жизни, когда пользовался его медицинскими советами.

После смерти Мопассана Казалис, исполняя его волю, отказался опубликовать имевшиеся у него письма автора «Жизни» и часть из них, по имеющемуся свидетельству (A. Lumbroso, p. 586), уничтожил; сохранившаяся часть этих писем была продана в январе 1937 года на одном из парижских аукционов.

Над романом «Наше сердце» Мопассан начал работать, по-видимому, не раньше лета 1889 года. Первое упоминание о романе в записках Тассара не имеет твердой даты и может быть приурочено либо к последним дням июля 1889 года, либо к первым дням августа, когда Мопассан прибыл из Парижа в Этрета. «Он отложил на неделю начатое уже «Наше сердце»,— пишет Тассар,— и занялся хроникой для «Голуа» и новеллой, тема которой совершенно внезапно пришла ему в голову».

Работа Мопассана над «Нашим сердцем» шла очень медленно из-за обострившейся болезни писателя, лишившей его прежней работоспособности. В записи Тассара от конца марта 1890 года читаем: «Господин чувствует себя лучше, но все-таки недостаточно хорошо для того, чтобы приняться за последние главы «Нашего сердца»...

По свидетельству Тассара, роман был окончен во второй половине мая 1890 года.

Современники Мопассана, доктор Балестр и м-ль Рей, основываясь на каких-то словах матери писателя, утверждали в одной

статье, что прототипом г-жи Бюрн является приятельница Мопассана г-жа Леконт дю Нуи.

Лумброзо, поместивший в своей книге эту статью, делает к ней следующее примечание: «В тот день, когда помрачилось сознание Мопассана, ему нанесла визит в Канне, за несколько часов до покушения на самоубийство, героиня «Нашего сердца». Это абсолютно достоверно — согласно указаниям, которые дает мне д-р Балестр. Но можно утверждать, что Мопассан встречался не с г-жой Леконт дю Нуи, которая в этот момент была в Париже. Смешивать этих двух особ было бы ошибкой» (A. Lumbroso, p. 329).

Имя настоящего прототипа г-жи де Бюрн французскими биографами еще не установлено. Возможно, что прав последний исследователь Мопассана, Андре Виаль, считающий, что у образа г-жи де Бюрн могло быть несколько прототипов: ими он считает приятельниц Мопассана, парижских светских дам — украинскую еврейку г-жу Канн, урожденную Варшавскую; итальянку графиню Потоцкую и ту же г-жу Леконт дю Нуи, которая, по его словам, «сама узнала себя в чертах г-жи де Бюрн» (A. Vial. Guy de Maupassant et l'art du roman. P. 1954, pp. 422—424).

В примечаниях к «Нашему сердцу» в издании Конара говорится: «Рукопись «Нашего сердца» составляет 271 лист форматом in — 8°. По обилию поправок, а также брошенных или переделанных мест видно, что на этот раз для Мопассана процесс писания, кажется, был затруднителен. Из всех рукописей Мопассана, которыми мы располагаем, ни одна не свидетельствует, как эта, о бо́льших колебаниях в отделке фразы».

Первая часть рукописи заключает в себе четыре главы, тогда как в печатном тексте (в книге) их оказалось только три: Мопассан переработал начало и объединил две первые главы в одну, значительно их сократив.

«Наше сердце» печаталось в журнале «Ревю де Дё Монд» в мае — июне 1890 года. В письме от 20 мая этого года Мопассан сообщал матери: «О моем романе в «Ревю де Дё Монд» отзываются как об удаче. Он поражает новизной жанра и обещает мне много хорошего».

В июне 1890 года роман вышел отдельной книгой в издании Оллендорфа.

В одном из июльских писем 1890 года Мопассан жаловался матери на то, что издание романа расходится плохо. О том же писал он ей и 5 августа: «Продажа почти не подвигается, несмотря на крупный успех этой книги. Дело в том, что появление этой вещи в «Ревю де Дё Монд» отняло у меня таких покупателей, как весь парижский свет, а в провинциальных городах — мир чиновничества, мир профессуры и должностных лиц, что соответствует, по мнению Оллендорфа и книжных комиссионеров, уменьшению количества покупателей, по крайней мере, тысяч на 25—30. Это имело и свои положительные стороны, как, например, проникновение романа в различные слои общества. Однако в целом это потеря».

В конце жизни Мопассан не раз заявлял, что собирается заняться драматургией. Он имел в виду приступить к инсцени-

ровке некоторых своих новелл, не разрешал делать это другим драматургам и сделал единственное исключение для Жака Нормана (1848—1931), в соавторстве с которым им написана пьеса «Мюзотта».

Первое указание о «Мюзотте» встречается в воспоминаниях Тассара и датировано маем 1890 года: «Г-н де Мопассан предупредил меня, что в один из ближайших дней, утром, у него будет г-н Конен, директор театра «Жимназ». После визита, во время которого я был оглушен громким и повелительным голосом этого господина, патрон рассказал мне, зачем приходил к нему директор: «Он просил меня переделать для него, согласно моему вкусу, а также отчасти и по его указаниям, рукопись пьески, которую г-н Х (Жак Норман.— *Ю. Д.*) извлек из одной моей новеллы. Дело не представит для меня никакой трудности; на эту работу он дает мне месяц, но я назначил ему свидание через две недели, и к этому сроку все будет готово».

Пьеса была принята к постановке в «Жимназ», где премьера ее состоялась 4 марта 1891 года. Одна из сцен пьесы была напечатана в «Голуа» 6 марта 1891 года. В том же году пьеса вышла отдельным изданием.

Жак Норман, соавтор Мопассана, сообщает в своих воспоминаниях: «Мопассан был на репетициях только два или три раза. Он находился в прохладных отношениях с Виктором Коненом, директором «Жимназ», маленьким человеком, жирным, бледным, умным и завитым, как пудель. Мопассан забрал себе в голову, что Конен не верит в пьесу и играет ее скрепя сердце и даже с тайным желанием, чтобы она не имела успеха».

«В вечер премьеры,— рассказывает далее Норман,— мы были вдвоем с Мопассаном в театре, в маленькой директорской ложе бенуара. Успех, определившийся сразу, возрастал от одного действия к другому... В ту эпоху казалось, что пьеса полна смелого реализма. Она была из тех, которые теперь называются передовыми. Публика премьеры выказала к ней благосклонность, подкрепленную на следующий день высказываниями критики.

Разумеется, Мопассан, подобно мне, был в восторге от этого успеха, превзошедшего наши ожидания. Но радость его была молчалива и отравлена физическими страданиями. Я, кажется, еще вижу, как он во мраке бенуара все выше поднимает экран, загораживающий нас от света рампы, и все еще слышу, как он бормочет: «Этот свет... как он жжет мне глаза!» (Jacques Normand. Le temps a des ailes. P. 1929, pp. 258, 260—261).

Сохранились некоторые высказывания Мопассана о пьесе и ее постановке. 22 февраля 1891 года он писал матери: «Я присутствовал вчера на репетиции нашей пьесы... Идет неплохо. *Громового* успеха не будет, но и провала, полагаю, бояться нечего. Г-жа Паска согласилась взять роль (г-жи де Роншар.— *Ю. Д.*) только из-за дружеского ко мне расположения, так как это не главная роль. Это даже не выигрышная для нее роль. Но она в ней очень хороша».

«Я надеюсь на успех, хотя пьеса сама по себе особого интереса не представляет. Актеры хорошие и играют хорошо»,— пишет он матери в марте. А после премьеры Мопассан писал

Роберу Пеншону: «Вот я и драматург, да к тому же преуспевающий, чему очень удивлен, ибо мне кажется, что я так и не открыл пресловутого секрета драматургии, непостижимого для романистов».

В письме к матери от 14 марта Мопассан отмечает большой успех «Мюзотты», полные сборы в «Жимназ» и говорит о предстоящей постановке этой пьесы на провинциальных и заграничных сценах (в том числе и в Петербурге).

«Мюзотта» — это инсценировка новеллы Мопассана «Ребенок» (см. III том). Первоначально пьесу предполагалось назвать «Вечер свадьбы». «Мопассан полностью написал или переделал I и III акты, тогда как II акт принадлежит Жаку Норману»,— указывает Р. Дюмениль.

Из театральных критиков о пьесе Мопассана писали: Альбер Вольф («Фигаро», 5 марта 1891), Жюль Леметр («Журналь де Деба», 9 марта) и Франсиск Сарсэ («Тан», 9 марта). Рецензия Сарсэ отмечала значительную долю сотрудничества Мопассана и указывала, что пьеса глубоко, до слез растрогала публику.

После смерти Мопассана были инсценированы и некоторые другие его новеллы. Так, в театре Антуана были поставлены «Пышка» и «Мадмуазель Фифи», в «Водевиле» — «Иветта» и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ

Стр. 5. *Эйфелева башня* — одна из достопримечательностей Парижа, металлическая башня высотой в 300 метров, построенная в 1889 году французским инженером Гюставом Эйфелем (1832—1923).

Стр. 6. *Всемирная выставка* — выставка, состоявшаяся в Париже в 1889 году.

Стр. 9. *...гений того, кто единым взлетом своей мысли...* — Речь идет о Ньютоне.

Американский изобретатель — Эдисон.

Стр. 14. *Природа — это храм, где камни говорят...* — Приведенный сонет находится в книге стихотворений Бодлера «Цветы зла».

Стр. 15. *Артюр Рембо* (1854—1891) — французский поэт, один из основоположников декадентства.

Стр. 17. *Жюль де Гонкур* (1830—1870) — французский писатель, сотрудничавший со своим братом Эдмоном де Гонкуром (1822—1896).

Стр. 21. *Баланчелла* — легкое итальянское судно, плавающее в Средиземном море.

Стр. 30. *...я выбрал бы женщину Тициана...* — Речь идет об одной из двух «Венер» Тициана, находящихся во Флоренции, в галерее Уффици, по-видимому, о так называемой «Венере с куропаткой».

Стр. 31. *Лука делла Роббиа* (1400—1482) — итальянский скульптор.

Донателло (1386—1466) — итальянский скульптор.

Стр. 32. *Бонанн* — итальянский архитектор, скульптор и чеканщик XII века.

Джованни да Болонья (1524—1608) — скульптор, по происхождению фламандец, долго работавший в Италии, почему его имя, Жан де Болонь, итальянизировалось

Стр 39. *Рожер II* — король Обеих Сицилий (старинного объединенного королевства, включавшего в себя Неаполь и Сицилию), правивший с 1098 по 1154 год.

Пюви де Шаванн (1824—1898) — французский художник, мастер фресковой живописи.

Стр. 40. *Парсифаль* — последняя опера Вагнера, написанная им в 1882 году.

Стр. 47. *Теодор де Банвиль* (1823—1891) — французский поэт-парнасец, замечательный версификатор Речь идет о книге Банвиля «Трактат о французской поэзии», изданной в 1872 году.

Стр. 48. *Фра Дьяволо* — знаменитый предводитель итальянских разбойников, сражавшийся против войск Наполеона I; был взят в плен и повешен в 1806 году

Стр. 52. *Сопровождающий меня друг* — Анри Амик.

Стр. 55. *Храм Нептуна.*— В истории искусства этот памятник более известен под именем храма Посейдона. Посейдон, бог морей в древнегреческой мифологии, назывался у римлян Нептуном.

Стр. 57. *Зевксис* — древнегреческий живописец V века до н. э., ученик Аполлодора, принадлежавший к так называемой ионической школе.

Акрагас — пуническое название Агригента.

Стр. 58 *Полибий* (ок. 201— ок 120 до н. э.) — древнегреческий историк.

Диодор (ок. 80—29 до н. э.), иначе Диодор Сицилийский,— древнегреческий историк

Построен в V веке —в V веке до нашей эры.

Стр. 60. .. *За плату в одно су.*— Су составляет одну двадцатую франка, то есть около двух копеек по золотому курсу начала XX века.

Стр. 66. *Вулкан* — в античной мифологии бог огня, кузнечного и слесарного мастерства.

Пиндар (518 или 522—ок. 442 до н э.)—древнегреческий поэт.

Сиканы — первобытные обитатели Сицилии.

Стр. 71. *Венера Сиракузская.*— Статуя этой Венеры была найдена в 1804 году.

Стр. 72. *Эмпедокл* — древнегреческий философ и врач

(ок. 490 — ок. 430 до н. э.), почитавшийся своими современниками за волшебника По легенде, Эмпедокл бросился в кратер Этны, чтобы его сограждане, не найдя ни тела его, ни одежды, решили, что он вознесся на небо. Но вулкан выбросил при извержении медные котурны Эмпедокла, благодаря чему стали известны обстоятельства его смерти.

Никий (ок. 470—413 до н. э.) — афинский полководец, предпринявший во время Пелопоннесской войны поход против Сиракуз, где он был разбит и погиб в 413 году.

Дионисий (ок 431—367 до н. э.) — Речь идет о сиракузском тиране Дионисии-Старшем

Стр. 73. *Венера Милосская* — знаменитая статуя Венеры, находящаяся в Луврском музее в Париже и найденная на острове Милосе в 1820 году.

Джоконда — картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Луврском музее.

Стр. 75. *Венера Каллипига* — одна из статуй Венеры подчеркнуто эротического характера, находящаяся в Неаполе.

Афиней — греческий писатель III века нашей эры.

Лампридий — римский историк IV века нашей эры.

Гелиогабал (204—222) — римский император.

Стр. 81. *Этот посредник — марабут.*— В записках Тассара (запись от 9 ноября 1887 года) говорится о посещении Мопассаном старинной гробницы некоего знатного араба, сделавшегося марабутом:

«Уже стемнело, когда мы добрались до гробницы марабута, о которой нам говорил проводник Бу-Хиайя; он перечисляет все чудеса, совершенные этим магометанским святым, что мало интересует моего господина. По правде говоря, все эти чудеса почти всегда похожи одно на другое, и после всего, что рассказал наш проводник, самым очевидным из чудес этого знаменитого святого было, конечно, то, что он научился ловко и беззастенчиво выуживать из кармана крестьян-бедняков их скудные сбережения.

Это возмутило моего господина.

— Да,— воскликнул он,— это всегда так, какая бы ни была страна и какая бы ни была религия; куда ни пойди, всюду одно и то же: постоянно всем руководит выгода. Эти религии вызывают у вас тошноту, но попробуйте запретить их, и они тотчас же будут заменены другими, а результаты получатся те же самые.

Он прибавил:

- Вы не читали Вольтера, Франсуа?

— Нет, сударь.

— Ну так вот, то, что сказал нам Бу-Хиайя по поводу своего марабута, заставило меня подумать о Вольтере. После того, как он поднял на смех все религии, особенно же католическую, его изгнали из Франции; он обосновался в одной маленькой общине по имени Фернэй, близ швейцарской границы, и, очутившись без всяких ресурсов, сумел благодаря своей ловкости — чисто марабутовской, если хотите,— создать себе ренту из доверчивости бедных крестьян местечка и жил припеваючи. Он провел конец своей жизни самым приятным образом в замке, выстроенном им на те экю, которые приносили ему католики».

Стр. 82. *Гиньоль* — театр французского Петрушки.

Стр. 86. *Блаженный Августин* (354—430) — церковный писатель и один из «отцов» католической церкви.

Декурион — начальник десятка в римском войске; в городских общинах — лицо, ответственное за сбор налога.

Траян (53—117) — римский император.

Стр. 88. *Суки* — мавританские лавочки.

Стр. 92. *Юты* — евреи.

Стр. 95. *Киф.*— Так называются искрошенные листья конопли, примешиваемые к табаку для усиления его наркотического действия.

Стр. 100. *Дарбука* — род бубна.

Стр. 103. *Аисса* — имя Иисуса Христа у магометан.

Изабелла Католическая (1451—1504) — королева Кастилии; при ней произошло объединение Испании, завершившееся изгнанием мавров из Гренады в 1492 году.

Стр. 109. *Караван-сарай* — арабский постоялый двор.

Стр. 110. *Бордж* — крепость, замок.

Стр. 111 *Велизарий* (ок. 505—565) — византийский полководец. Имеется в виду поход Велизария на государство вандалов в Северной Африке, разгромленное им в 533 году.

Антонин (86—161) — римский император Антоний Пий.

Стр. 112. *Плиний.*— Имеется в виду один из римских литераторов: естествоиспытатель Плиний-Старший (умер в 79 году нашей эры) или его племянник Плиний-Младший (ок. 62—114).

Птоломей (ум. 168) — греческий астроном, математик и географ.

Стр. 115. *Дантовский лес.*— Намек на описание «леса самоубийц» в XIII песне «Ада» Данте.

Стр. 125. *Мираб* — род ниши, устраиваемой в стене мечети; в этой нише помещается имам и, обратившись лицом в сторону Мекки, руководит общею молитвой.

Стр. 128. *Майор Ринн* — французский офицер, крупный деятель алжирской колониальной администрации 80-х годов, начальник центрального управления по арабским делам и автор ряда книг и брошюр, посвященных географии, истории, экономике, лингвистике и религиозной жизни Алжира. Указываемая Мопассаном монография Ринна была издана в Алжире в 1884 году под заглавием «Marabout et Khouan, étude sur l'Islame en Algérie»

Стр. 131. *Тереза* (1515—1582) — испанская монахиня, одна из «святых» католической церкви, прославившаяся своими «видениями».

Стр. 136. *Бюретт* (1804—1847) — французский историк и педагог, автор многочисленных школьных учебников, из которых особенной известностью пользовалась его «История Франции».

Стр. 137. *Критский лабиринт.*— В древнегреческой мифологии говорится о лабиринте, построенном архитектором Дедалом на острове Крит для заключения чудовища Минотавра, получеловека, полубыка, пожиравшего брошенных туда людей. В лабиринт брошен был Тезей, один из мифических героев Греции. Царевна Ариадна, дочь критского царя Миноса, дала Тезею клубок ниток, благодаря которому Тезей мог выбраться из лабиринта, после того как он убил Минотавра.

Стр. 138. *Мушараби* — решетчатая ширма в окне, сквозь которую можно смотреть, оставаясь невидимым.

Лотофаги — легендарное племя в древней Африке, питавшееся плодами лотосов и получившее поэтому способность забывать о прошлом.

БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

Бесполезная красота

Новелла печаталась фельетонами в «Эко де Пари», в номерах от 2 и 7 апреля 1890 года. Для книги Мопассан переработал конец новеллы.

Мопассан долго не находил заглавия для этой новеллы. Сначала он назвал ее «Который?». Затем Авар предложил заглавие «Отец и муж». Отвечая ему в марте 1890 года, Мопассан писал: «Заглавие, предложенное вами («Отец и муж»), мне в высшей степени претит. Я не могу принять его и нахожусь в большом затруднении».

Стр. 141. *Виктория* — открытая четырехместная коляска.

Лес.— Имеется в виду Булонский лес, место прогулок парижского светского общества.

Стр 145. *Брэк* — четырехколесный экипаж, где пассажиры сидят на двух лавочках боком к направлению движения

Стр 150 *«Роберт-Дьявол»* — опера в пяти актах Мейербера; либретто Скриба.

Оливковая роща

Новелла печаталась фельетонами в «Фигаро», в номерах от 14 и 23 февраля 1890 года Первоначально развязка новеллы была иной, чем в книге: сын аббата, обвиненный в убийстве, подвергался смертной казни.

Вот этот конец, замененный в окончательной редакции последней фразой новеллы:

> «Филипп Огюст находился под судом в Эксе, в Провансе, и был приговорен к смертной казни. До самой последней минуты он твердил о своей невиновности с таким отчаянным упорством, что убежденность судей колебалась не раз.
>
> Но против него имелись подавляющие улики, а показание служанки придавало им особенную тяжесть.
>
> Защищаясь, он рассказал странную историю, из которой следовало, что священнослужитель был его незаконным отцом. Ему не поверили, ведь никому и в голову не могло прийти, что аббат Вильбуа, может быть, сам себе перерезал горло.
>
> Обвиняемый в виде последнего довода сослался на свидетельство почтенного сенатора, г-на графа де Правалон. Но данные, сообщенные этим свидетелем о прошлой жизни обвиняемого, были настолько плачевны, что лишь способствовали его осуждению.
>
> Он был гильотинирован на городской площади».

Новеллу «Оливковая роща» Мопассан читал Тэну (о взаимоотношениях Тэна и Мопассана см. у A Lumbroso, pp 279—285). Тассар сообщает: «Я помогал г-ну де Мопассану одеваться и узнал от него, что он был у г-на Ипполита Тэна «Я отправился к нему, чтобы прочесть ему новеллу «Оливковая роща»,— говорил он — Тэн был в восхищении и сказал мне, что это достойно Эсхила». Потом, взглянув на меня и видя, что я не понял, господин объяснил мне, что Эсхил был несравненным писателем, ге-

циальным поэтом, подлинным создателем греческой трагедии» (Souvenirs... par François, p. 220).

Новелла эта была впоследствии, в 1892 году, выпущена отдельным изданием Обществом современных библиофилов, с иллюстрациями Поля Жерве.

Стр. 164. *Одеон* — один из парижских театров, актеры которого обычно набираются из молодежи, окончившей Парижскую консерваторию.

Стр. 179. *Монте-Кристо* — авантюрный роман Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо» (1844—1845).

Мушка

Новелла напечатана в «Эко де Пари» 7 февраля 1890 года. Ее появление, как рассказывает Анри Сеар, было встречено публикой с восторгом: «Самые закоренелые скептики, люди, наиболее пресыщенные всем, что появлялось удачного в искусстве и литературе, останавливались в этот день на бульварах и спрашивали друг друга: «Вы читали «Мушку»?» (A. Lumbroso, p. 247).

Новелла эта была в 1892 году переиздана Обществом современных библиофилов с рисунками Фердинанда Гельдри.

В основе этой новеллы лежит подлинное происшествие из жизни Мопассана в 70-х годах. Жозеф Прюнье — это он сам (этим псевдонимом подписана первая новелла Мопассана «Рука трупа»; см. том X), Ток — Роберт Пеншон, Синячок — Леон Фонтен, Одноглазый — А. де Жуанвиль. Кто из друзей Мопассана носил имя Томагавк, биографы не сообщают. Леон Фонтен отмечал в своих воспоминаниях, что имелись и другие эпизодические участники «их банды», тоже наделенные прозвищами. Что касается героини новеллы, то, по свидетельству Шарля Лапьерра, она умерла почтенной матерью семейства (A. Lumbroso, p. 608).

Стр. 190. *...популярного тогда романа Кладеля.*— Речь идет о романе французского писателя Леона Кладеля (1835—1892) «Одноглазый», посвященного событиям французской революции XVIII века.

Стр. 192. *Опера, Комеди Франсэз* — парижские театры.

Стр. 194. *...разыскивать отца воспрещается.*— Одноглазый иронически цитирует популярную статью французского закона.

Утопленник

Новелла напечатана в «Голуа» 16 августа 1888 года.

Испытание

Новелла напечатана в «Эко де Пари» 13 июля 1889 года.

Стр. 206. *Сен-Жермен.*— Здесь имеется в виду городок под Парижем, Сен-Жермен-ан-Ле.

Маска

Новелла напечатана в «Эко де Пари» 10 мая 1889 года.

Стр. 216. *Ми-карем* — середина «великого поста», четверг на третьей неделе поста, католический праздник.

Стр. 217. *Музей Гревен* — парижский музей восковых фигур, основанный в 1882 году художником Альфредом Гревеном (1827—1892).

Портрет

Новелла напечатана в «Голуа» 29 октября 1888 года.

Стр. 228. *Бодлер* (1821—1867) — французский поэт.

Калека

Новелла напечатана в «Голуа» 21 октября 1888 года.

Стр. 231. *...до войны.*— Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 годов.

Двадцать пять франков старшей сестры

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 28 марта 1888 года.

Дело о разводе

Новелла была напечатана в «Жиль Блас» 31 августа 1886 года.

Стр. 243. *...недавно скончавшегося злосчастного и диковинного короля...*— Речь идет о короле Людвиге II Баварском (1845—1886), правившем с 1864 года; вследствие психического заболевания он был отстранен в июне 1886 года от управления, а несколько дней спустя бросился в озеро и утонул.

Кто знает

Новелла напечатана в «Эко де Пари» 6 апреля 1890 года.

Стр. 252. *Сигурд* — опера (1885) французского композитора Эрнеста Рейера (1823—1909).

НАШЕ СЕРДЦЕ

Стр. 270. *Эдем, Фоли-Бержер* — парижские театры, превратившиеся к концу XIX века в кафешантаны.

Стр 276. *Опера́-Комик* — парижский театр оперетты; *Гранд Опера* — парижский театр оперы и балета.

Стр. 298. *Реставрация* — период истории Франции с 1814 по 1830 год.

Империя.— Здесь имеется в виду период Второй империи (1852—1870).

Стр. 311. *Политехническая школа* — высшее учебное заведение в Париже.

Стр. 330. *Отейль* — в старину один из пригородов Парижа, в эпоху действия романа — XVI округ французской столицы.

Стр. 340. *Дидона* — одна из героинь «Энеиды» Вергилия, легендарная основательница Карфагена. Во время своих странствий герой поэмы Эней попал в Карфаген и стал возлюбленным Дидоны, но затем бросил ее, и царица, страстно влюбленная в него, полная безутешного отчаяния, покончила жизнь самоубийством.

Стр. 341. *Финистер* — один из северо-западных бретонских департаментов Франции.

Стр. 344. *...в один день стал знаменитостью, вроде Сары Бернар.*— Своим первым и сразу же чрезвычайно шумным успехом знаменитая французская артистка (1844—1923) была обязана своему выступлению в пьесе Франсуа Коппе «Прохожий», поставленной в 1869 году.

Стр. 348. *Я рассуждаю, как господин Прюдом* — то есть с банальной наставительностью Образ Прюдома, напыщенного, дидактического и ограниченного буржуа, был создан французским писателем-сатириком Анри Монье (1799—1877).

Стр. 385. *Гудон* (1741—1828) — французский скульптор.

Клодион (1738—1814) — французский скульптор.

Буль (1642—1732) — французский резчик по дереву, особенно славившийся как мастер художественной мебели.

Танагрские статуэтки — античные статуэтки из раскрашенной глины, полные изящества и жизни, найденные при раскопках древнегреческого города Танагры.

Стр. 386. *Дедал* — персонаж древнегреческой мифологии, строитель Критского лабиринта, куда сам же он и был заключен и откуда спасся, приделав себе крылья.

Стр. 387. *Фальгиер* (1831—1900) — французский скульптор.

Никола и Джованни Пизанские. — *Никола Пизанский* — итальянский скульптор (ум ок. 1280); *Джованни* — его сын, тоже скульптор (ум ок. 1328).

Донателло (1386—1466) — итальянский скульптор и живописец.

Лоренцо Гиберти (1378 — ок. 1455) — флорентийский скульптор, архитектор и живописец.

Стр. 396. *Коро* (1796—1875) — французский пейзажист.

Стр. 402. *«Черный Кот»* — один из парижских кафешантанов, открывшийся в 80-х годах.

Стр. 417. *Манон Леско* — героиня романа французского писателя аббата Прево (1697—1763) «История Манон Леско и шевалье де Гриё» (1731).

Стр. 418. *Любовница де Гриё* — Манон Леско.

МЮЗОТТА

Стр. 443 *Саламбо.*— Речь идет о героине одноименного романа Флобера (1862).

Стр. 445. *Орас Верне* (1789—1863) — французский художник-баталист.

Стр. 446. *Мюзетта* — одна из героинь романа французского писателя Анри Мюрже (1822—1861) «Сцены из жизни богемы» (1851).

Стр. 461. *Иметь две тетивы на луке* — быть на все руки мастером.

Стр. 477. *Как в Амбигю.*— Парижский театр Амбигю специализировался в XIX веке на постановке мелодрам.

Стр. 485. *Несмотря на все ваши новые законы, развод не вошел в обычай.*— Новый закон о разводе был введен во Франции 27 июля 1884 года.

Ю ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 64. «Итальянское побережье». Худ. Лано. 1903.
Стр. 65. «Сицилия». Худ. Лано. 1903.
Стр. 96. «От Алжира до Туниса». Худ. Лано. 1903.
Стр. 97. «На пути в Кайруан». Худ. Лано. 1903.
Стр. 224. «Бесполезная красота». Худ. Морис Ламбер. 1908.
Стр. 225. «Оливковая роща». Худ. Морис Ламбер. 1908.
Стр. 256. *Вверху:* «Двадцать пять франков старшей сестры». Худ. Морис Ламбер. 1908.
Внизу: «Наше сердце». Худ. Рене. Лелон. 1902.
Стр. 257. «Наше сердце». Худ. Рене Лелон. 1902.

СОДЕРЖАНИЕ

БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ

Перевод Г. А. Рачинского

Усталость 5
Ночь 10
Итальянское побережье 19
Сицилия 35
От Алжира до Туниса 78
Тунис 86
На пути в Кайруан 102

БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

Перевод А. Ромма

Бесполезная красота 141
Оливковая роща 161
Мушка 188
Утопленник 198
Испытание 206
Маска 216
Портрет 225
Калека 230
Двадцать пять франков старшей сестры 236
Дело о разводе 242
Кто знает? 250

НАШЕ СЕРДЦЕ

Перевод Е. А. Гунст

Наше сердце 265

МЮЗОТТА

Перевод Н. В. Костовской

Мюзотта 437

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 492
Примечания 500
Перечень иллюстраций 510

ГИ ДЕ МОПАССАН.
Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 9.

Редакторы
О. В. Моисеенко и
М. В. Вахтерова.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подписано к печати 19/XI 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 1254.
Заказ 2095. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Печ. л. 26,24+4 вкл. (0,41 п. л.).
Бум. л. 8. Уч.-изд. л. 26,18.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.